ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

№ 5 | 2018

Геннадий Кузьмин (Иркутская область) | Хужир | 90 × 130 | 2014

Юрий Белокриницкий (Кемеровская область) | Окраина | 85 × 155 | 2015

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2018

В номере

ДиН юбилей
Михаил Тарковский
3 «Мне хорошо, когда холодно»
Юрий Беликов
5 Ода Тарковскому Третьему
Михаил Тарковский
6 Под восточным крылом орлана…

ДиН диалог
Юрий Беликов, Геннадий Зайцев
10 Коридор для спасения родины

ДиН ревю
Виталий Молчанов
14 Свѣтъ
Елена Тимченко
80 Аня идёт в театр
Александр Астраханцев
160 Хроника потерянных
Николай Ерёмин
185 Раритет
Виктор Мельников
190 Ты мне навстречу из осени шла…

ДиН краеведение
Владимир Шанин
15 «Он был весь русский, огневой»

ДиН встреча
Марина Саввиных, Нина Ягодинцева
17 «Чтобы край процветал,— его надо воспеть!»

ДиН проза
Сергей Кузичкин
23 Погружение в листопад
Дарья Верясова
33 Из книги о Зое
Борис Берлин
49 Магнолия
Арсен Титов
61 Немного горький цвет

ДиН стихи
Наталья Ахпашева
81 Мнемоника
Виталий Молчанов
83 Гофманиада
Александр Орлов
85 Дух Смоленщины пасхален
Сергей Брель
87 Чайная ода
Борис Бергин
89 Время моё застыло там, где война
Лада Миллер
161 В переводе с птичьего
Валентин Нервин
163 Странная жизнь
Наталья Семёнова
165 Рай для старого самолёта
Дана Курская
167 Осенняя полудница

ДиН пародия

Евгений Минин
84 Печально, что пародисты есть…
86 В чём суть?

ДиН роман

Вячеслав Миронов
91 Королевские шахматы

Библиотека современного рассказа

Анастасия Астафьева
116 Давай поженимся!

Андрей Калинин
130 Зима кончается

ДиН эссе

Александр Ломтев
142 Не бойся

Кирилл Анкудинов
149 Поэзия и прогресс

ДиН штудии

Эльдар Ахадов
169 Мудрость старой сказки

Клуб читателей

Ольга Немежикова
178 Мёртвые души, покой и любовь

Миясат Муслимова
186 О феномене женского

Синяя тетрадь

191 Красноярский литературный лицей

195 ДиН авторы

ДиН галерея

Родина—Сибирь

Межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа

В октябре в Международном выставочном деловом центре «Сибирь» (Красноярск) ценители современного изобразительного искусства могли увидеть выставку сибирского пейзажа «Родина—Сибирь».

В экспозиции представлены 150 художественных произведений живописи и графики академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств и представителей сибирских региональных отделений Союза художников России. В выставке приняли участие такие сибирские художники, как Герман Паштов, Константин Войнов, Валерий Кудринский, Валерьян Сергин, Николай Ротко и другие.

В одном выставочном пространстве—разные школы сибирского пейзажа, по-своему отразившие красоту, богатство и величие природы, используя различные методы и техники.

В дополнение к выставке в зале Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств прошли XI Сибирские искусствоведческие чтения «Сибирский пейзаж: от топа к типу, от мотива к художественному образу».

Организаторы выставки: Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Красноярская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», МВДЦ «Сибирь», при поддержке министерства культуры Красноярского края.

к 60-летию

Михаил Тарковский

«Мне хорошо, когда холодно»

Фрагменты интервью 21 сентября 1998 года[1]

Я родился в Москве. Но уже лет двадцать живу в Красноярском крае в Туруханском районе, так что не знаю, как о себе правильно сказать… Виктор Петрович[2] назвал меня «осибирячившимся москвичом». Да вообще-то говоря, сплошь и рядом люди, родившиеся в городе, уезжали за его пределы, и любой человек, который любит природу, может понять такой поворот событий. Потом обычно же это не так бывает, что взял—вскочил, куда-то помчался и там на всю жизнь осел. Дело это постепенное. Сначала приехал, посмотрел, понравилось… потом приехал—побыл подольше… потом, глядишь, и остался. Годы жизни уходят на это. Всё как-то естественным путём в таких случаях бывает. У нас среди охотников—у нас дружный такой коллектив, пятнадцать человек,—есть ребята, которые тоже здесь не родились. Есть парень из Питера. Мужики из-под Красноярска. Из-под Астрахани. Из Твери. Для них ничего удивительного нет в том, что кто-то, нацеливаясь ещё с юности стать охотоведом, связать свою судьбу с тайгой, в конце концов оказался здесь. Всё вполне закономерно. У меня примерно так же было. Я сначала занимался зоологией. Птицами. Работал здесь в Туруханском районе… такая была биостанция. Я сначала там пять лет отработал. А потом уже в соседнюю деревню Бахту в охотники пошёл.

Судьба меня сюда затащила. Я ещё в школе здесь, под Кызылом, в противочумной экспедиции работал. Потом—в Иркутской области. Но дело в том, что здесь мои друзья многие в этой экспедиции работали. Так что я уже настроен был на Енисей. А может, с подачи бабушки, которая Андрея Арсеньевича[3] отправила на Курейку в экспедицию после школы, чтобы отвадить его, как это называлось, от дурной компании. Он тоже лето здесь отработал, и она мне рассказывала в подробностях всю эту эпопею. О его приключениях. Может быть, это повлияло тоже. Да, Андрей Тарковский,—это мой дядя. Но я его помню как-то по детству, а когда уже подрос, повзрослел, когда могло возникнуть какое-то интересное общение… к тому времени уже дороги наши разошлись. Я его считанные разы видел. Ничего особенного я у него не спрашивал, потому что побаивался, стеснялся… просто смотрел на него, какие-то дурацкие вопросы задавал… ну, конечно, авторитета боялся, и какая-то общая неуверенность на фоне знаменитого человека имела место. С дедом больше повезло. Дед всё время был в моей жизни. Я приезжал к нему в Москву и даже стихи показывал. Хотя тоже… он уже был старенький и в каком-то полусонном старческом состоянии находился, видно было, что он очень устал от жизни, и ему не особенно нравится, что кто-то к нему пристаёт, ходит… лучше б его все в покое оставили. Но это только в последние годы у него такое было, когда я уже стал воспринимать его адекватно… мне уже было лет за двадцать, пожалуй… он как-то угасал, угасал, угасал… я как-то приехал: он сидит и вверх ногами книжку держит… До этого, когда я маленький был, он был на редкость живым, остроумным… всё время балагурил…

Я как уехал сюда, тишина такая наступила… тут, в общем-то, всё и началось. До этого как бы не слышал себя. Здесь другая совсем обстановка. Во-первых, один долго… просто какое-то зрение прорезалось. Ясность на душе постоянная. От природы, от холода, от всего. Читать сразу стал много. Я стихи сначала писал. Несколько лет, а потом как-то всё это дело отгорело, и последние лет шесть я уже не пишу никаких стихов. С прозой больше дружу.

…У меня какая-то своя жизнь была в этом смысле. Обидно, конечно, что невпопад, не вовремя, но я всё равно от своего не отступал. А почему перестал? Потому что ушло это состояние, когда стихи пишутся легко. Стало неинтересно, стало казаться, что они не дают ничего, что они дают какую-то одну тысячную того, что остаётся. Как будто я сижу в четырёх стенах—и маленькая форточка. А нужно, чтобы было от потолка до пола—стёкла одни. У меня, по крайней мере, чувство, что я

1. Материал любезно предоставлен кинорежиссёром В. Кузнецовым.
2. В. П. Астафьев.
3. Имеется в виду кинорежиссёр А. А. Тарковский.

как-то отрабатываю то, что должен. Нет ощущения того, что совсем маленькая часть… хотя всё равно, конечно, мало. Всегда кажется, что мало. Но тут, по крайней мере, какое-то удовлетворение даёт работа. То, что накапливается, успеваешь перерабатывать. И даже бывают минуты, когда кажется: пусть что-нибудь произойдёт, потому что вроде вычерпано. Хотя это тоже обман, конечно. Но что-то есть в этом… раньше-то всегда казалось, что столько всего в закромах, в амбарах памяти, что только разгребать, а в этом году случилось так, что вроде бы всё—выбрал… выскреб по сусекам. А потом снова всё началось.

Тяжёлая жизнь. Это понятно. Но надо жить дальше. Это раз. Трудно так быстро сказать, что главное. Главное, что вроде бы и горько бывает—и утраты, и тяготы, и трудности… но всегда должен оставаться свет… пройдя через страдания, человек должен очиститься—банальная вроде бы вещь, но вот это очищение, осветление, свет так называемый в конце туннеля… как у Бунина в рассказах… вроде и смерть, но обязательно остаётся какой-то луч… любовь побеждает смерть… красота побеждает смерть… в двух словах невозможно это объяснить, это в произведении находится—в целом. Человек прочитал—да, он это понял. Он закрыл книжку с ощущением какого-то горького света жизни. Горькие бывают книги, горькие бывают рассказы. Вот я тоже написал недавно… горькая история совершенно. Но в этой горечи есть что-то, может быть, объединяющее людей. Очень важный момент, мне кажется, это когда мы понимаем, что те беды, которые мы переживаем, уже тысячи раз были и у наших предков сто, двести лет назад. Они так же мучились, так же проходили через все муки жизни, и ощущение, что мы таким образом как бы протягиваем им руку, принимаем эстафету жизненного груза, чтобы передать её своим детям… эта связь времён—один из главных моментов.

Говорят, это самая большая радость. Я пишу всегда так, чтобы всё было понятно. Не для городского читателя, для которого сноски какие-то нужны… очень приятно в этом году было, что Гена Соловьёв, друг мой и товарищ, охотник, который типа такого старшого у нас, мужик прекрасный, плотник, охотник, в газете даже очерк был о нём, он прочитал и сказал, что здорово… понравилось, и он даже зачитывал товарищам нашим несколько строф. Очень было приятно. Самая большая награда, наверное. Хотя, с другой стороны, то, что про город, Гена говорит, что ерунда. Плохо. Любую книжку открой—там то же самое. Как-то получается так, что увидели свою жизнь немножко со стороны. Может быть, как-то относились к ней недостаточно внимательно… а тут поняли, насколько всё драгоценно. И красота природы, и их труд, и обстановка, в которой это всё происходит. Обстановка потная, снежная… на износ.

Место очень красивое. Поворот Енисея. И в одну сторону на двадцать вёрст видать… плёс тянется. Три километра шириной. И в другую—километров на десять. И как раз в этом повороте впадает Бахта. Пятьсот километров длиной эта речка, стекает она с гор… и посёлок стоит, основанный в начале 17 века, живёт там 350 человек. Есть люди, которые там родились, их большинство, часть—приезжие с разных уголков, живут люди, которые далеки совершенно от литературы, от всяких высоких материй. У них забота—выжить, прожить, рыбу поймать… чтоб зарплату платили вовремя… а насчёт обстановки—мне физиологически нравится, когда прохладно. В жару у меня мозги свариваются просто. Я ничего не могу. А когда холод, всё настоящее вокруг, печка… затопил, а на улице там… воет… всё прекрасно сразу делается. Сразу кристальная чёткость. На душе становится… видишь просто очень отчётливо всё. Всё воспринимаешь так, как оно должно быть. А в городе как будто через какую-то плёнку видишь—и жизнь, и прошлое своё, и книги, которые читаешь… я вот это объясняю просто какими-то своими физиологическими особенностями. Мне хорошо, когда холодно. Кому-то нравится, когда тепло.

Скучаю ли я по городу? Ну, есть, может быть, по Москве—детство… а так, я бываю каждый год там. Но это смешанное такое… нельзя одно от другого отделить. Но никаких иллюзий насчёт современной Москвы у меня нет. Действительно, трудно жить там… вот эта вуаль, которая на глаза падает тебе… как будто ты через какую-то пелену на всё это смотришь. Исчезает ощущение реальности происходящего. Ощущение жизни. Здесь—замёрз так замёрз. Согрелся так согрелся. Грубо говоря. У тебя постоянно есть ощущение, что ты живой.

Фильмы Андрея Тарковского… давно не смотрел. Но вообще смотрю. Смотрю не очень часто, чтобы перебора не было. У меня любимый фильм—«Андрей Рублёв». «Зеркало». Последние два как-то труднее воспринимать. «Жертвоприношение», например. Такое—от ума. Хотя тоже давно не пересматривал. У меня впечатление от него—4-летней давности. Я эти фильмы смотрел много раз. Когда я был маленький, они как-то постепенно влились в мою жизнь… тогда-то всё понятно было, никаких загадок. Не надо там искать, чего нету, за каким-то образом. Просто смотреть и всё. Никаких загадок, ничего там не зашифровано. Нет, оно не умное и не заумное это кино. Какие-то другие слова здесь нужно подобрать. Но что не заумное—точно. Умными его фильмы нельзя назвать, потому что они всё-таки какие-то… он с чувствами зрителей

работает. А не с мозгами. Он давит на чувства, прежде всего, своей магией. Там не важно даже, с какой части смотреть. С конца, с середины. Просто он тебя приводит в такое состояние неопределённое. Во всех фильмах в одинаковое. Когда ты открываешься чему-то. Шкуру с тебя сдирает и в такое расклеенное состояние тебя приводит. Ну что там умного такого особенного? Поэзия кино. Доводилось встречаться с Маргаритой Борисовной Тереховой и с Юрием Владимировичем Назаровым — вот с ними. Они замечательные люди совершенно. Настоящие. Подвижники своего дела. Их работа с Андреем Арсеньевичем наложила неизгладимый отпечаток на них, и они как-то до сих пор под впечатлением, по-моему, находятся. А Маргарита Борисовна всегда очень хорошо говорит, она умеет взять на себя удар всех вопросов — очень интересно, диво, с подвижнической такой ноткой рассказывает о работе над этими фильмами, о нём самом… с большим удовольствием слушаю. Недавно как раз какое-то выступление было.

Я когда стихи начал писать, я хотел даже взять псевдоним — бабушкину фамилию — Михаил Вишняков. А… в Иркутске есть такой поэт. Кстати. И уже было хотел-хотел, а потом дядя умер как раз… и — не стал. По-моему, когда своё дело делаешь, уже неважно становится. Потом я на людях-то редко бываю. В Бахте этим никого не удивишь. Кого там только не было. Тем не менее жизнь людей, которые там живут, совершенно не связана с политическими страстями. Люди живут своей жизнью. Тайга. Река. Кто-то даже говорил, что, мол, сам бы согласился, чтобы меня в такую ссылку сослали. То есть — кому ссылка, а кому — то, о чём мечтал… «Не бросай меня в терновый куст». А Гена Соловьёв даже советует мне — напиши, говорит, роман про крестьянина, которого сослали в Сибирь, и он увидел всё это раздолье, засучил рукава и за работу взялся. И Бога благодарит за то, что так сложилась его судьба.

Я всё отдам за это вдовье
Лицо земли, где дождь, как штрих,
Где жизнь сплошное предисловье,
А смерть — загадка для живых.
Где всё, что есть, и грех, и слава —
Лишь голос предков в нас самих,
Где мы не заслужили права
И в мыслях быть счастливей их.

ДиН юбилей

Юрий Беликов

Ода Тарковскому Третьему

Лишь Миша Тарковский не предал меня…
Пришёл в эту «Юность» — и прямо со входа
сморозил: «В Москве наступила фигня!
Зачем вы изгнали того, кто два года
на стульях на сдвинутых спал здесь? Не те
в Москве остаются… И я не останусь…»
И вирши забрал свои, будто в Бахте
дверями избушки бабахнул, повстанец!..

Лишь Миша Тарковский в три года разок
с мобилы подсаженной («Что за Царьковский?!» —
мне — мама. — «Ну как же, — соболий царёк!»)
звонит мне из поезда: «Юрка, перцовки!..»

Лишь Миша Тарковский, надравшись в Москве,
в Перми похмеляется, а к Енисею
грозит корефанам: «Самцы, я трезвею!» —
ступает на берег с царьком в голове:
Тарковский в бразды принимает Расею.

Он вывернул мехом наружу отъезд
смятенного дяди, он деда подправил —
фамильный, на Запад повёрнутый крест,
на равные доли отверженных мест
к Востоку, в чалдонские сны переставил.

Где соболь в соборе сибирской зимы
поклоны кладёт пред иконкой капкана,
где прикорм в чулках убегает с кормы,
где Карна и Жля, где меняется карма,
да так, что ни тройка строптивых коней
в своей многолюдно описанной пляске —
Расею и Духа Святаго над ней
Тарковский в собачьей вывозит упряжке.

— Давай, Михаил, вывози! — Вывожу!
— А я уже выпал… Я дальше не еду…
— Зачем же ты выпал? — Я дяде и деду
твоим всё-всё-всё про тебя расскажу…

к 60-летию

Михаил Тарковский

Под восточным крылом орлана…

Стихи из романа «Тойота Креста»

● ● ●

Там, где кедр с обломанной вершиной
Над седой стеной монастыря,
Где встаёт над мокрою машиной
Сизая осенняя заря,

Как в огромной выстывшей квартире,
Где по стенам солнечные швы,
Я живу в пустеющей Сибири
И люблю Марию из Москвы.

В головах Саянские отроги,
Енисей вливается в висок,
Руки, как огромные дороги,
Пролегли на запад и восток.

В каждой я держу по океану,
Не испить, не слить, не уронить,
Как же мне, разъятому орлану,
Самого с собой соединить?

Снег идёт задумчиво и косо,
Головы застыли на весах,
И бессонно крутятся колёса
В головах, машинах и часах.

● ● ●

На дороге сумрачно и сыро,
До Урала близко, и уже
Белый «Марк» работы Кунихиро
Не прижмёт плавник на вираже.

Стрелки лобового циферблата
Расчищают память, не щадя,
И мешают зарево заката
С пеленой холодного дождя.

Снова ночь над лесом и степями,
И под синим маревом светил
Кажется ненужными словами
Всё, что я тебе наговорил.

Леденеет крестик на решётке,
Свет восхода льётся в зеркала,
И считают вытертые щётки
Километры мокрого стекла.

● ● ●

Помнишь, Маша, снежные равнины,
Облаков тяжёлые гряды,
Лошадей заснеженные спины
И костры мятежной слободы?

Помнишь синеватые рассветы,
На окне морозные цветы,
Розвальни, телеги, лазареты,
Перевязки, свечи и кресты?

Помнишь, как ты плакала с причала,
Как ждала, безногого, с войны,
Как меня с тобою разлучала
Полоса взбесившейся волны?

Как ждала годами из острога,
Как крестила с берега в Крыму?
Как меня последняя дорога
Забирала в ночь на Колыму?

Помнишь суету у вертолёта?
Как белели пятнами снега,
И сверкали зеркалом болота,
И дрожала синяя тайга?

Как возили письма на оленях,
Строили дороги и мосты?
Как над океаном на коленях,
Я стоял, слепой от красоты?

Как прошли сквозь столькие разлуки?..
Что же между нами пролегло?
То ли деньги высушили руки,
То ли небу выбили стекло,

То ли ничего не происходит,
То ли одинокий человек
В своём сердце больше не находит
Отраженья гор, морей и рек,

То ли что-то главное забыто,
То ли тебе правда всё равно,
То ли мира спятившая бита
Выбивает слабое звено.

* * *

Снова выезжаю на дорогу,
Всё, как прежде, дали и снега,
Снова ночь. И снова внемлют Богу
Океаны, горы и тайга.

Под капотом тихо и бесстрастно
Пьёт мотор ночную синеву,
Звёзды светят холодно и ясно
Над землёй, которой я живу.

На душе старинная тревога…
И опять заправка, переезд,
Дробь колёс и дальняя дорога,
Как «Корона», «Креста» или крест.

Из «Распилыша»

1.

Здравствуй, ты, не берущая трубку,
Переполненная золой,
Ты оставишь на мне зарубку,
Истекающую смолой.
И крылатый вздымщик, десницу
Простирая с небесных верхов,
Поутру соберёт живицу
Освящённых тобой стихов.

2.

Не жалею, не жду, не мечтаю,
Только вижу в стотысячный раз,
Как опять подъезжаю к Алтаю
Сквозь песок перетруженных глаз.
Снова вёрсты бессонного бега,
Предрассветная сыпь огоньков,
И опять на стекле вместо снега
Подсыхающий гель мотыльков.
Полоса почти с Искитима
Всё неистовей дышит тобой.
Я и рад бы проехать мимо,
И пускай этот привод—твой,
Я лечу не к тебе. Я полночи
Слеп под фарами в дальней езде,
Чтоб добраться и вымочить очи
В млечно-синей катунской воде.
Чтоб объять эти воду и сушу,
Разделённое наше житьё,
Расстояния, рвущие душу,
И над ними молчанье твоё.
Снова дворники ходят мерно,
И колёса гудят в висках.
Барнаул. Никогда так неверно
Не лежал ещё руль в руках.

3.

Я стою у поста сиротски,
Теребя глухой телефон:
Не молчи, пропусти меня в Сростки,
Отзови путевой заслон!
Видишь, хвост растёт час от часу
Вереницей коптящих труб.
Улыбнись. Отвори мне трассу
Чуть заметным касанием губ.
Изумрудом замрут светофоры,
Влажный дым отойдёт от земли,
И Алтайские зрячие горы
Белым сном замаячат вдали.
И, внимая каждому такту
Свежестихших шагов твоих,
Я уеду по Чуйскому тракту
Не смыкать очей за двоих.
Будет день. И погибнут беси
Осужденья. И встанет в круг,
И вспоёт в едином замесе
Всё, что есть святого вокруг,
Всё, что светлого есть в этой шири,
Гор верхи и литые низа…
Нераздельное чувство Сибири
Льётся поровну в наши глаза.
И за счастье короткое это
Буду я целовать дотемна
Богоданную землю Пикета
И босые ступни Шукшина.

* * *

Больше нет ни юга, ни востока,
Только ветры стылые сквозят.
Маша, ты всё так же одинока,
Как и триста лет тому назад.

Ну чуть-чуть… Ну еду… Ну немного—
И споют под утро тормоза.
Почему ж так пристально дорога
Смотрит в запотелые глаза?

Что за непосильная забота
Сводит переезды и мосты?
Впереди огромные ворота,
И открыть их можешь только ты.

Ты открой, и стихнут ураганы
Над моей двуглавой головой,
И тогда охотские туманы
Встретятся с балтийской синевой.

И над этой слившейся пучиной
Я замру, ни с кем не говоря,
Словно кедр со сломанной вершиной
Над седой стеной монастыря.

Е. М. Барковцу

1.

Под восточным крылом орлана
На излёте последней строки
Ты стоял на краю Океана
И туманы поил с руки.

Ты стоял на краю. Стыли реки.
Замирал океанский накат,
Я прощался с тобой навеки,
Мой напарник, учитель и брат.

Только дрогнуло небо: трогай!
Ты остался на берегу.
Я уехал твоей дорогой
По щебёнке, желтевшей в снегу.

Облака расступились рвано…
Мне так трудно расстаться с тобой,
Будто я—на краю Океана
И грохочет в висках прибой.

Будто соль омывает ноги,
Будто Маша зовёт с крыльца…
Будто нет конца у дороги,
И у книги не будет конца.

2.

Был асфальт в снежной насечке,
Чья-то «креста» в коричневом льду,
Обжиг ветра, жара из печки
И «камаз» в солярном чаду.

Был ночлег, и была дорога
И морозные звёзды с утра,
И щиты отсекали строго:
Лондоко, Биракан, Архара.

Я летел в версте от Талдана
По гребёнке дроблёных скал,
Ты стоял на краю Океана
И две сотни страниц не спал.

Сколько вёрст под тенью крылатой!
Как умеешь ты им служить!
Мой братишка и мой соглядатай,
Постарайся меня пережить!

О тебе будут помнить дети
И участок Хабаровск—Чита,
И когда-нибудь в дальнем свете
Твоё имя сверкнёт с щита.

3.

О тебе говорили очи
Синих звёзд в седой высоте,
О тебе на исходе ночи
Прокричал Амазар Чите.

По тебе резина, лысея,
Шелестела сквозь ночь: «Прости…
От Амура до Енисея
Остаётся три дня пути».

Народится из сизых полос
Облаков, полыней и льдин…
И окликнет огромный голос:
«Почему ты приехал один?

Или чем-то тебя не уважил
Твой собрат по судьбе и рулю,
Или новых героев нажил,
Или я—тебя не люблю?

Или манят другие книжки,
Или Маня уходит к Гришке,
Или денег просит сума
Или лира сошла с ума?»

Я ответил: «А что мне лира,
Если это моя земля?
Я отдам все награды мира
За один поворот руля».

Вот Чита впереди как в чашке
И в шершавой пыли капот…
Я прижался к худой листвяшке.
Сделал вдох…
И включил поворот.

4.

Я вернулся к тебе с полдороги,
Когда понял, что я не смогу
Без твоей бесконечной дороги
По щебёнке, утопшей в снегу.

Рыжей пыли на снежной бровке
Вымерзающий варенец…
Даль хребта в серой штриховке.
И заезжки жданный дворец.

И опять не сомкнутся очи.
Тарахтит стоянка во мгле.
(В синей туши—остаток ночи.
Гарь под сопкой—в чернейшем угле).

В синеве пройду Магдагачи,
(Лиственничник—в карандаше…)
Лишь бы было светлей и богаче
На бескрайней твоей душе!

Снова сопки берут в объятья
И колёса бегут легко,
И кивают названья-братья
Архара, Биракан, Лондоко.

Вот Хабаровск с морозным чадом…
И в солярном чаду «камаз».
Слышишь, Жека, дождись, я рядом,
Не закончился наш рассказ

Под восточным крылом орлана…
Где горчей с каждым годом жить,
И дорогу до Океана
Извели, не успев проложить.

Перевалы, петли, уклоны,
Обжитые с таким трудом,
Где когда-то неслись перегоны,
В кузовах, оперённых льдом.

5.

Океан с дождевым зарядом
Слёг в туманное молоко.
Слышишь, Жека, дождись я рядом.
Это край. Ты стоишь высоко.

Это тихо проходит в жилы
Терпеливая наша земля,
Где цепями пилят могилы
И не глушат зимой дизеля.

Где в апреле снега как сварка,
И глотками морозных лет
Леденея, течёт солярка
В обжигающий пистолет.

Это что-то случилось с нами…
И теперь с каждым днём больней
Эта даль у тебя за плечами,
Ты расскажешь мне всё о Ней?

Как ей терпится, как не спится?
Как живётся впригляд и впотай,
Как тревожится, как лежится,
Так вот свесившись за Китай?

Как ей хочется быть любимой
И единственной, как в ответ
Лишь наката гул недробимый
Да планет сухой пересвет.

Ты стоишь на краю Океана,
И иначе не может быть.
За твоею спиною рана…
Кто-то должен её промыть.

Под огромным крылом орлана,
У восточной его головы,
Ты стоишь на краю Океана,
И вот-вот разойдутся швы.

И небес полотно сырое
Упадёт в страшный просвет…
Мне не надо другого героя
И да будет извечный свет

На границе седых туманов,
На базальтовом голыше,
На распятой меж океанов
Необъятной твоей душе.

6.

Под восточным крылом орлана
На камнях ледовый узор.
Ты стоишь на краю Океана,
Не кончается твой дозор.

Оживает в антеннах и тросах,
Ветерка океанский ток,
Вереницами фар раскосых
Просыпается Владивосток.

Слышишь, Жека, ещё так рано,
Что слышны голоса земли,
И видна голова орлана,
И двуглаво лежат рули

По бокам Енисея, Жека…
Знаешь, что страшнее петли,
Одиночество человека?
Одиночество русской земли!

И так страшно за эту землю—
Енисей, отпусти и прости,
Я опять на краю, и внемлю,
И опять в верховьях пути.

Золотишко зимнего солнышка
Обожгло островов края…
Сторона ты моя, сторонушка,
Спаси Господи, люди Твоя.

7.

Ты стоишь на краю Океана
И наверно сойдёшь с ума.
Над Хоккайдо полоска тумана
И полны гребешком трюма.

Всё вдали: и тайга, и кочкарник,
Сахалин превратился в нить,
Слышишь, Жека, я твой напарник,
Я вернулся тебя сменить.

Слышишь, дело не только в «кресте»,
И не в Маше, ты знаешь сам,
Божьей милостью быть на месте,
Вместо счастья досталось нам.

Как во сне выплывает навстречу
Главный остров моей земли…
Поезжай домой. Я отвечу—
И за «кресту», и за рули.

Будет пыль на фарах раскосых
И колёс дроботок сухой,
Скалы, мост, Селенга в торосах,
Черемшаный голец и Танхой,

Будут гор ребристые ноги,
И всё то, что ты мне рассказал:
Проколевшие были дороги
И открытый в небо финал.

Будет небо и край Океана,
Где отлитые на века
Белоплечим крылом орлана
Пролегли за край облака.

Юрий Беликов, Геннадий Зайцев

Коридор для спасения родины

Священник на пути БэТээРа

Я против названия «Белый дом». Это он у них, у американцев, «Белый». А у нас… Во всяком случае, когда в здание Верховного Совета РСФСР, расположенное в центре Москвы у Краснопресненской набережной, осенью 1993 года палили из танковых орудий, оно, доселе обшитое белым мрамором, в одночасье стало чёрным.

Эти кадры у многих в памяти. Тем болеме что их в прямом эфире транслировала Си-эн-эн. Но постигшая нас обезьянья страсть к американизации, то бишь всё переиначивать на их лад, похоже, постепенно перекрасила и ту общероссийскую трагедию, включая и строптивую цитадель, где заседали народные избранники.

Устойчивое словосочетание тех лет: «Живое кольцо вокруг «Белого дома». Мне довелось быть его частицей в августе 1991-го. У нашей 138-й сотни, в свою очередь, делившейся на взводы, были свои баррикадные посты, в том числе у одного из подъездов Верховного Совета. А когда под обманное «Ура!» над зданием падал красный флаг и в небо лихорадочно вползал трёхцветный, защитникам раздавали бумаги за подписью Ельцина, в которых тот благодарил их за проявленное мужество.

Что тут скажешь?.. Каждому Папе Карло — по Буратино. Вскоре «проявившие мужество» начали наблюдать, как вчерашние лавочники, обильно и умильно подносившие им в 1991-м сосиски и кофе, вдруг вырвались на плечах победителей в держатели акций. И без того длинный нос Буратино стал прямо-таки непомерным — погружённым во все сферы российского социума. А Папы Карлы августовской революции стали просто карлами при тех самых буратинообразных.

Последний шанс хоть как-то исправить случившееся — осень 1993 года, столкновение двух ветвей власти — парламентской и президентской. С той поры не вытравишь шевчуковское: «Осень. В небе жгут корабли…».

Именно 21 сентября — то есть четверть века назад — Борисом Ельциным был издан Указ под номером 1400, согласно которому Президент распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Помню телевизионный призыв председателя Конституционного суда Валерия Зорькина: «Борис Николаевич, вернитесь в конституционное поле!» Если перевести этот оклик на более понятный язык, тогдашний глава государства, хотел он того или нет, но вытер ноги о Конституцию.

Ответная реакция не заставила себя ждать: Президиум Верховного Совета РСФСР (само собой, ссылаясь на параграфы той самой Конституции) объявил, что с этого момента полномочия Президента России можно считать исчерпанными, а сам Указ №1400 квалифицировался как попытка государственного переворота. Дальше произошло то, что произошло…

Вместе с телевизионной картинкой менялось и моё отношение к учинившему сей Указ. Убеждён, не только у меня одного. Из горячих сторонников человека, бросившего вызов партийной номенклатуре и её привилегиям, мы превращались в его стойких противников.

Уже 8 октября (через три дня после расстрела российского парламента) в пермской газете «Звезда» выйдет статья автора этих строк, озаглавленная «Народ безмолвствует, но юродивый скажет». На правах того самого несгибаемого юродивого воспроизведу из неё часть выкрикнутой им речи четвертьвековой давности: «Я не знаю, в какой ещё стране могут транслировать на весь белый свет методичный расстрел русскими русских с привлечением американского рефери и западных боковых судей, словно это чемпионат мира по боксу? Для чего? Для того чтобы осознанно или по воле случая в коллективный разум будущей Государственной Думы закодировать страх. Говорят, что дитя, находящееся во чреве, имеет генетический слух. И когда оно вдруг да повзрослеет и попробует проявить характер, можно будет приблизить к его задранному носу кулак, и повзрослевший ребёнок сей кулак вспомнит, потому что этим кулаком перед самыми родами били его мать…»

Тогда же, в октябре 1993-го, я приехал в Москву и почувствовал, как меня потянул к себе обуглившийся «Белый дом», знакомый мне ещё с августа 1991-го. И хотя минуло два с половиной десятилетия, но до сих пор перед моими глазами бурое пятно, расплывшееся на подходе к зданию и пропитавшее асфальт. Наполовину оно было прикрыто венком из живых цветов… Рядом, на листе ватмана, — надпись от руки: «На этом месте был

раздавлен православный священник, вставший с поднятым крестом на пути ельцинского БэТээРа».

«Россия, где твои персты?»

Как странно иногда переплетаются и аукаются события давно минувших дней! Летом этого года в парке истории реки Чусовой на открытии памятного знака в честь спецподразделения «Альфа» и его командира Героя Советского Союза Геннадия Зайцева при большом стечении народа я буду читать стихотворение «Пальцы», начатое ещё тогда, в девяностые, а законченное в двухтысячные («Видно, остальные „пальцы“ были ещё целы»,— так объяснит мне это моё промедление один из моих московских друзей-поэтов Юрий Уваров). Приведу начальные строфы (образ, увиденный на церковной паперти):

Старуха нищая с клюкой
среди таких же постояльцев
стоит с протянутой рукой,
где есть ладонь, да нету пальцев.

Россия, где твои персты —
за тем холмом или за этим?
Не подадим. И не ответим.
И пальцы в крест не сложишь ты.

В какой, Россия, стороне
следы семян твоих сохранны?
Твой указательный — в Чечне?
А в «Белом доме» — безымянный?

И вот, когда уже завершится наш разговор с легендарным командиром «Альфы», принявшим историческое решение не выполнять приказ Ельцина о штурме здания российского парламента, но обеспечить гарантированный коридор для выхода из осаждённого Дома Советов его защитников, казалось бы, далёкий от поэзии «рыцарь плаща и кинжала» вдруг скажет:

— А мне очень понравились ваши стихи…

И — заговорщицки:

— Где бы их прочесть?

Оказывается, нас сближала не только малая родина (будущий Герой явился на свет в деревне Антыбары Чусовского района), но и тот самый «Белый дом» — разбитый в кровь «безымянный» палец России.

Мы обменяемся книгами: Зайцев подарит мне свою — «Альфа» — моя судьба» (здесь отображён по-настоящему достойный путь первого в СССР, а затем и в РФ антитеррористического подразделения и его командира), а я — собственный сборник «Я скоро из облака выйду», в котором те самые «пальцы» державы не могут сжаться в кулак.

Геннадию Николаевичу восемьдесят четыре. В походке — некоторое преодоление, но взгляд — несгибаемый, пристальный, я бы даже сказал, амбразурный. В одном из пермских кафе, где мы определили встречу, он сел спиной ко входу-выходу, и я ощущал, как генерал, за чьими плечами не одна стычка со шпионами, изменниками Родины и захватчиками заложников, буквально спинным мозгом лоцировал происходящее. Правда, в нескольких шагах от нашего столика его «прикрывал» водитель (он же телохранитель?) с редкостным, прямо-таки антыбарским имечком Евдоким. Если учесть, что уже тогда, после октябрьских событий 1993-го, Зайцев подал рапорт об отставке по выслуге лет (хотя внутренний посыл был, разумеется, другим), это переросший в привычку профессиональный автоматизм? Или бывших «альфовцев» не существует?

Нормативы для героев

— Геннадий Николаевич, судя по вашей книге «„Альфа“ — моя судьба», вам, в силу служебных обстоятельств, приходилось пересекаться со многими сильными мира сего? Например, с Ельциным… Чем закончились эти пересечения?

— Я руководил «Альфой» дважды. В первый раз — с 1977 по 1988 год. 4 июля 1992 года Ельцин своим указом вновь вернул меня в это подразделение. 1 августа (месяца не прошло) он прибыл в полевой учебный центр, провёл практически весь день и инспектировал группу «А». Мы ему показали шесть фрагментов своих практических действий. Я сидел с ним рядом и давал пояснения. Вот тогда Ельцин и молвил: «Я понял: если бы в 91-м году начали штурмовать „Белый дом“, через пятнадцать минут от нас один бы пшик остался!»

И в 93-м году, 4 октября он вызвал руководящий состав «Альфы» к себе — мы располагались в зале заседаний Совета безопасности, недалеко от его кабинета. Ельцин ставил задачу: «Вот то, что вы продемонстрировали мне 1 августа, теперь покажите это в „Белом доме“».

Я твёрдо могу сказать: Хасбулатов и иже с ним, они ему живыми не были нужны. Это было понятно по его настрою. Ельцин пишет в своей книге «От рассвета до заката»: «Я окинул взглядом этих мужественных людей, которые сидели, потупившись, опустив взгляды в пол… Я задал вопрос: „Вы будете выполнять приказ Президента?“ Гробовая тишина. „Тогда я задам вопрос по-другому: «Вы отказываетесь выполнять приказ Президента?»“ Опять гробовая тишина. Я встал и ушёл. Но, уходя, сказал Барсукову и командиру „Альфы“ Зайцеву: „Приказ Президента должен быть выполнен!“»

— Получается, ваше подразделение своей «гробовой тишиной» потушило пожар гражданской войны, который мог начаться тогда, в октябре 1993-го? «Альфа» отказалась от штурма и предложила защитникам «Белого дома» выходить из осаждённого здания через коридор, состоящий из «альфовцев». И это послужило гарантией?

— Там творилось ужас что!.. Накануне этих событий, поздно вечером, где-то около 23 часов я получил команду выехать вместе с моим замом к «Белому дому». Мол, встретитесь там с первым заместителем министра внутренних дел Егоровым. Мне кажется, он был человеком свирепым — и внешне и внутренне. Мы идём в направлении «Белого дома» по Конюшковской улице. Конец сентября. Одеты мы преимущественно в куртки. И догоняет нас невзрачный такой человечишка и спрашивает: «Мужики! Вы куда идёте?» — «К «Белому дому». — «Да вы что?! Там ментов — туча! Давайте со мной. Я вас проведу!»

И — проходными подъездами — вывел нас в нужное место. А с нами — начальник 7-го управления МВД. Он говорит своим: «Что ж вы докладываете, что „Белый дом" блокирован? А здесь сплошные бреши! Я требую, чтобы сделали, как положено!» Вот там и сделали! И когда даже депутаты Верховного Совета РСФСР выходили через известные им места, то там их отлавливали и дубасили всех подряд. При этом вся милиция была вдупель пьяная...

— Ещё говорят про баржу, на которой от Краснопресненской набережной якобы увозили по реке трупы... Эта информация до сих пор закрыта?

— Я прекрасно помню пресс-конференцию Ельцина, когда один из корреспондентов спросил: «Скажите, Борис Николаевич, сколько людей погибло в „Белом доме?"» Он зло ответил (дословно цитирую): «Что вы ко мне пристали с этим вопросом?! Есть цифры — то ли 142, то ли 146 — вот и руководствуйтесь ими!» Тут необходимо заметить: если бы были названы, предположим, 156 убитых, Гаагский международный суд имел бы возможность возбудить уголовное дело по статье «Геноцид собственного народа».

— Вон чего!.. Тогда понятно, почему были названы такие цифры...

— Цифры «упирались» в потолок требований этой международной статьи. Мне один достаточно информированный человек (фамилию оглашать не буду) назвал цифру в 2600 человек. Это в целом по стране на тот период. А сколько погибло в Доме Советов?.. Ну представьте себе, если по «Белому дому» стреляли кумулятивными снарядами, которые пробивают стену и взрываются внутри, а народу там — будьте любезны... Мы, когда утром появились у «Белого дома», ко мне подошёл командир батальона 45-го полка ВДВ. Майор (фамилию его не помню, да я и не спрашивал) рассказал, как на стадионе крутился «бешеный БТР» и стрелял во всё, что двигалось. «Он уже многих моих подчинённых вывел из строя».

Но суть не в этом. Штурмовавшие «Белый дом» с четырёх утра бились до середины дня, но выше второго этажа так и не поднялись. То есть они не могли ничего сделать с обороной защитников Дома Советов...

— Подобная трагедия, тем более получившая такой резонанс, она должна же быть оценена с точки зрения объективной картины происшедшего?

— Она «оценена» была сразу! Мне один товарищ из президентской администрации передал отпечатанные на очень плохой бумаге «Нормативные документы Президента (лето-осень 1993 года)». Вот там был тот самый Указ №1400. А также — все указы по итогам разблокирования «Белого дома». Я твёрдо помню: в ВДВ — пять человек человек получили звание Героя России, а в МВД — семь. В были отмечены этим же званием.

— И среди них — глава МВД Ерин?

— И Ерин, и Лысюк, командир отряда специального назначения «Витязь», который расстрелял у телецентра «Останкино» пятьдесят с лишним человек, в том числе четырёх американских корреспондентов. Там многие были награждены!..

— А министр обороны Грачёв?

— Грачёв? Думаю, что — да. Он до этого не был Героем.

Лифты для других пассажиров

— Небезызвестный Коржаков, начальник личной ельцинской охраны, в одной из своих книг пишет о том, что тогда, в 93-м, вы хотели застрелиться?

— Да муть всё это!.. Он даже пишет, что я участвовал в трёх заговорах против Президента Ельцина. И якобы мне было поручено войти в кабинет и убить его. При встрече я Коржакову задал вопрос: «Откуда ты всё это взял?» Он: «От Миши». «Миша» — это Барсуков, будущий глава ФСБ, а на тот момент начальник Главного управления охраны. Я спросил: «А откуда он знает?» Коржаков: «Я не знаю». В общем, я Коржакову сказал, что этого не надо было делать, но он ответил, что, дескать, книгу он переписывать не будет...

— Известно, что после событий 1993 года Ельцин издал указ о спецподразделении «Вымпел», которое, как и «Альфа», уберегало выходящих из «Белого дома» людей. Оно было передано в состав МВД. Характерная особенность: списочный состав «Вымпела» — 660 человек. Из них 49 ушло в МВД, остальные уволились. А как сложилась судьба «Альфы»?

— По поводу «Альфы» я не только ходил к Барсукову, но и во все кабинеты, куда пускали. Куда не пускали, пытался второй раз прорываться. И всем, кто принимал, я докладывал, а точнее, доказывал, что уважающее себя государство без такого подразделения существовать не сможет.

А создавать новое?.. Надо ли государству тратить на это средства? Не лучше ли использовать уже существующее? И мне кажется, в определённое время и в определённом месте на вопрос Президента по поводу судьбы «Альфы» Барсуков ответил: «„Альфы“ тоже нет!» И, я думаю, Ельцин забыл об этом... Впрочем, не имею фактического подтверждения. Я спрашивал Барсукова напрямую, он улыбался, но ничего не говорил. Правда, и «Альфа» осталась.

— На мой взгляд, люди с таким уникальным профессиональным опытом, как ваш, и с такою гражданской позицией, они должны быть востребованы в принципе?

— Но они не востребованы. Ни в одной спецоперации, которые проходили позже, моего участия никто даже не просил. И не требовал.

— И всё же, если оглянуться туда, в 91–93 годы прошлого теперь уже века, была ли, по-вашему, у России альтернатива стать другим государством? И, может быть, дальнейший ход событий только подтвердил правоту ельцинской оппозиции?

— Я даже в этом не сомневаюсь, что всё могло быть по-другому! То, что творилось в стране после 91-го года, откровенно говоря, это безумие. В первую очередь, — приватизация, проведённая господином Чубайсом. Благодаря ей, он в основе своей сколотил огромный личный капитал, исчисляющийся миллиардами долларов! Это — раз.

Во-вторых (я ответственно заявляю), практически все государственные секреты были отданы на откуп американцам, которые знакомились с совершенно закрытыми объектами, с документацией — как и что делать. Целый этаж в этом, с позволения сказать, министерстве приватизации был передан всё тем же американским представителям, получающим такую зарплату, которая превышала зарплату президента США! Вход российским гражданам на этот этаж был запрещён категорически. И американцы творили там против Советского Союза и России то, что им заблагорассудится. Этот период разграбления нашего государства был абсолютно бесконтролен со стороны власти.

Вот представьте себе: в ранге первого заместителя председателя правительства человек покупает «Норильский никель» и владеет им до сих пор. Ныне ежегодный чистый доход государства был бы от этого предприятия 10 миллионов долларов! Спрашивается: зачем же надо было рубить голову курице, несущей золотые яйца?

Вообще, я с горечью вспоминаю те времена. Ельцин пил, в том числе на работе. Страной он не управлял. Союз он развалил только потому, что ему надо было свалить Президента СССР Горбачёва. Он мстил ему за то, что был выведен из состава Политбюро и лишён должности первого секретаря Московского горкома партии.

— Но вам, о чём свидетельствует ваша книга, памятен ведь и другой человек? Это Юрий Андропов. Насколько мне известно, вы даже возглавляли его охрану, когда он был председателем КГБ. Я хочу вернуться к вопросу об альтернативе развития нашей страны: если бы Юрий Владимирович прожил немного подольше, был бы шанс у Советского Союза?

— Был бы. Мне рассказывал очевидец торжественного собрания, посвящённого 60-летию образования СССР. С докладом выступал Андропов. И он произнёс знаменательную фразу — о том, что нам наконец-то стоит разобраться, какое государство мы построили. Когда сегодня китайцев спрашивают, в чём заключается секрет такого мощного экономического рывка их государства, они отвечают откровенно: «Мы взяли на вооружение отвергнутую в 1964 году программу Косыгина и реализуем её на практике».

Так вот, Юрий Владимирович хотел вернуться именно к этой программе. Маргарет Тэтчер, когда были подведены итоги работы СССР за первый квартал 1983 года, написала: «Наконец-то в Советском Союзе к власти пришёл руководитель, который, не вложив рубля в развитие государства, получил колоссальную прибыль». Она приехала на похороны Андропова.

А я имел возможность близко созерцать его, потому что, вы правы, был назначен руководителем его личной охраны. И могу сказать: Юрий Владимирович был великим скромником. Дача у него — самая маленькая и непритязательная. Помнится, к нему приехала родственница из Сибири. Так пришлось расшивать террасу, чтобы расширить её и поставить туда раскладушку...

— А Путин? В силу известных причин он ведь наследует андроповские традиции?

— Во второй своей книге, которая называется «Спецназ „Альфа“: дела и люди», я поместил текст телеграммы от Путина, где он поздравляет меня с восьмидесятилетием. Путин в целом производит положительное впечатление. Но... В 2009-м году он открыто заявил, что, пока он Президент, реформы пенсионной программы не будет! Если он дезавуирует собственные слова и всё-таки реализуется программа пенсионной реформы, я изменю о нём мнение...

— Мы с вами родились в Советском Союзе. Может быть, часто его критиковали. Но если взять только вашу судьбу: мальчик из деревни Антыбары Чусовского района Пермской области попадает служить в кремлёвский полк, а дальше дорастает до командира спецподразделения «Альфа». Иными

словами, социальные лифты в Советском Союзе работали. Даже более чем. А сегодня? Если сопоставить их с нынешними социальными лифтами? Смог бы сельский парнишка стать руководителем антитеррористической группы государственного масштаба?

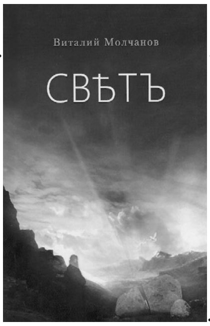
— Я думаю, ему было бы очень тяжело. Гораздо тяжелее. Это я совершенно отчётливо и твёрдо заявляю. Сейчас многое изменилось в худшую, на мой взгляд, сторону в требовании к подбору кадров. Если бы я был Президентом, то из нынешнего состава правительства половину бы близко не допустил до той работы, которую они обязаны выполнять! Близко! Скажу, почему.

Вот Мантуров. Министр торговли. Плюс к этому ему поручили руководить авиастроительными делами. Ну как можно соединить ежа с ужом?! Обанкротился самолётостроительный завод в Канаде. Это — в наше время. Два-три года назад. Он, не согласовывая ни с кем, направляет для поднятия этого завода сотни миллионов долларов. С тем, чтобы потом покупать там эти самолёты для нашего государства.

Второе. Есть два отечественных лайнера — Ил и Ту. Облётанных. Пассажирские магистральные самолёты. По многим позициям превосходящие в том числе и Боинги. Но на строительство Ил и Ту нет денег. Заводы, которые их выпускают, стоят, потому что отсутствуют заказы. А теперь ответьте: это государственный подход? И таких примеров, знаете, сколько?!

— Стало быть, в нынешних социальных лифтах поднимаются другие пассажиры?

— Другие пассажиры, которые в своё время ездили и в иных средствах передвижения — с теми, кто сейчас этими лифтами пользуется.



Виталий Молчанов

Свѣтъ

Москва: «У Никитских ворот», 2018

● ● ●

В Макеевке читающей стихи
Готов простить огрехи, не грехи —
Неточность рифм и ритма спотыкачи.
В четырнадцатом начала писать —
И горем переполнилась тетрадь,
Такая, что не плачущий заплачет.

К ней Муза приходила между дел,
Когда закончен вражеский обстрел
И раненые помощь получили.
Харону медный уплатив обол,
Садилась медсестра за шаткий стол
День превращать в рифмованные были.

Бушует Украины водоём —
Майдан, скандал, коррупция, погром.
Неправедные праведными правят.
Лишь доллары иудины в глазах,
Пора прикрыть от срама образа…
В Донецке снова сталь в мартенах плавят.

● ● ●

Колёса жизни мчатся сквозь года
На скорости непостижимой мозгом.
Моя Россия вечно молода,
Девчонка в сарафанчике неброском.

Беспечная наивность и печаль
В распахнутом навстречу синем взоре,
А на плечах — кокетливая шаль —
Цветы и птицы в сказочном узоре.

Блистает нецелованной красой,
Без украшений, парика и грима.
Всегда невеста с золотой косой —
Ты мной до гроба искренне любима!

Колёса жизни остановят бег,
И свечка в храме захлебнётся воском.
Одна Россия вечно лучше всех,
Девчонка в сарафанчике неброском.

Владимир Шанин

«Он был весь русский, огневой»

Рано утром 8 января 2001 года в одной из бытовок Центрального рынка города Красноярска было обнаружено тело сторожа с проломленным черепом. Рана была глубокой, как раз в переносице — ударили, очевидно, кастетом; удар точный, смертельный, рассчитанный на убийство. Всё лицо было залито кровью, уже взявшейся бурой коркой, и никто не мог опознать труп. В кармане убитого оперативники обнаружили паспорт на имя Захарова Ивана Алексеевича, 1928 года рождения, и членский билет Союза писателей России. Иван Алексеевич был уже не молод, шёл ему 73-й год.

Семидесятилетие поэта мы отмечали в помещении Дома писателя (тогда он ещё так назывался). Было много званых и незваных гостей — добрая душа, Иван Алексеевич пригласил всех, кто «хочет выпить» за его, разумеется, здоровье и русскую поэзию! Он так и говорил: «За русскую поэзию!». Кроме писателей, были там его верные друзья-композиторы и просто друзья. Многих из них я видел впервые. Весь вечер Захаров читал стихи, был бодр, весел, подчёркнуто вежлив… Разговаривали о поэзии, музыке, пели песни на стихи юбиляра: «Сибирячка друга провожала», «Едет в отпуск пограничник», «Улетели лебеди», «Эх, звени, коробушка!», написанные красноярскими композиторами. Пела скрипка, звенела гитара, бренчала балалайка. Было шумно, весело. И все затихали, когда балалаечник-виртуоз начинал «выдавать» что-нибудь из классического репертуара. Русская балалайка — и «Танец маленьких лебедей» Чайковского или «Танец с саблями» Хачатуряна… После сказали мне, что замечательный композитор и музыкант (не буду называть его имя: кто знает — вспомнит) подрабатывает себе на хлеб, сидя с балалайкой в подземном переходе. Не только он из творческого Союза, но и все те пенсионеры — Николай Черемных, Леонид (Алексей) Масленников и другие советские композиторы, писавшие музыку на слова поэта Ивана Захарова, — вынуждены заниматься не свойственной их таланту работой.

Юбиляр в этот персональный вечер был самым счастливым человеком. Отзывчивый, добрый, обаятельный, он всех любил — и композиторов, и писателей, всех, — подсаживался то к одному, то к другому, заговаривал с ним, читал стихи, привычно подёргивая правым плечом, затем доставал из кармана тоненькую книжечку своих стихов и «от всего сердца» дарил, подписывая своим красивым каллиграфическим почерком.

Красивый почерк — это его первая «профессия», полученная в Мастерской профтехшколе Владимирской области, где Иван Захаров с 1943 по 1948 год изучал живопись, чеканку, гравёрное дело, филигрань. Получив свидетельство и специальность «гравёр по обработке цветных металлов», Захаров становится курсантом военного авиационного училища. После, уже лейтенантом и старшим лейтенантом, двенадцать лет служил в Советской армии. На старых фотографиях, что находятся в Литературном музее, — он ещё в шинели с погонами, но уже смело входит в гражданскую жизнь — в кругу молодых поэтов читает свои стихи…

Впервые я увидел Ивана Захарова за работой. Мне нужно было сделать памятную надпись на каком-то подарке, и сделал мне это приветливый, улыбчивый, разговорчивый гравёр в крохотном закутке Красноярского ЦУМа. Такой высокой каллиграфии я позавидовал, поблагодарил мастера, и он, улыбнувшись, процитировал в ответ какие-то поэтические строчки. Жаль, что я не запомнил их. Потом я встретил Ивана в магазине «Бирюсинка», тоже в качестве гравёра, и мы уже разговорились как старые знакомые. А потом он куда-то надолго исчез. Уволился. Оказалось: гравёр Захаров заочно окончил факультет правоведения Всесоюзного юридического института и с дипломом юриста-правоведа искал работу по специальности.

Но не так-то просто устроиться юристу без практики, без знания рабочей профессии. Иван Захаров работает на шинном заводе, в художественном комбинате Красноярского строительного техникума, на заводе медицинских препаратов слесарем, на Красноярском радиотехническом заводе учеником гравировщика, помощником мастера, художником, лаборантом фармакологического училища и опять художником на радиозаводе, а там чем только не занимался несостоявшийся юрист: старшим инженером, маляром-художником, столяром в цехе микроэлектроники, художником в цехе полуфабрикатов и в цехе механосборочном. В общем, ушёл поэт на пенсию из столяров в августе 1992 года. На более чем скромную, по сравнению с советской, нынешнюю

пенсию не прожить, и Захаров нанимается вахтёром в кустовой вычислительный центр.

Иван Алексеевич Захаров родился 5 августа 1928 года в деревне Мальцево Южного района — есть такой в Ивановской области, русский, из крестьян, ни в комсомоле, ни в партии не состоял, за границей не был, в выборочных кампаниях не участвовал, зато имеет юбилейную медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР», которой очень гордился. Ведь армия была для него первоначальной школой жизни. Армию он никогда не забывал, это видно и по стихам… Первое стихотворение под названием «Отец» было напечатано в 1943 году в газете «Голос ударника» (г. Южа Ивановской области). Ване Захарову было тогда 15 лет. В 28 лет в Красноярске выходит первый стихотворный сборник «Первые встречи», а в следующем году — сразу два сборника: «На фестиваль» и «Поёт молодёжь» с авторскими песнями. Композитор Николай Черемных написал музыку на слова Ивана Захарова «Едет в отпуск пограничник», а Леонид Масленников — на стихи «Сибирячка друга провожала». В Москве издательством «Советский композитор» издан песенник «Перед дальней дорогой» в 1983 году, и в нём помещена песня «Саяны» (стихи Ивана Захарова, музыка Николая Голосова). Всесоюзная фирма «Мелодия» записала на грампластинку песню «Сибирячка друга провожала», и её запела вся страна. Песни Захарова стали широко известны в самодеятельных коллективах Красноярского края, исполнялись по краевому радио и телевидению. Сейчас этих песен не поют: не нравится «демократам», что автор прославляет Советскую армию…

Увлечение таким поэтическим жанром, как песня, по признанию самого поэта, началось «с живого» интереса, который Иван Захаров испытывал к своему знаменитому земляку, поэту-фронтовику Алексею Фатьянову. «Очарованный богатым песенным даром Фатьянова и широтой его истинно русской натуры, Захаров стал постоянным гостем фатьяновских праздников, проходивших в селе Вязники Владимирской области, где жил поэт-песенник», — сказала о нём поэтесса Аида Фёдорова. «Сначала они были районными, — говорил Захаров о фатьяновских праздниках, — потом областными, сейчас они стали всероссийскими. Уже много лет, почти каждый год, я принимаю в них активное участие. И, естественно, на праздниках я читал свои стихи о нём:

Он был весь русский, огневой,
И песни — стрелы из колчана.
Любовь звала его домой,
А долг — к друзьям-однополчанам.
И если где-то запоют
О соловьях, об их звучанье,
Все умолкают и встают…
И нерушимо то молчанье».

«С годами Захаров так освоил песенный жанр, столько открытий сделал на „ниве песни“, что, будь его любимец жив, непременно сказал бы по поводу песни своего ученика немало лестных слов», — подчеркнула Аида Фёдорова.

Впрок пошла учителя наука,
Не забыта Мстёры колыбель…
За моделью хитрого рисунка
Я ходил за тридевять земель.

Захаров не стремился тотчас же вступать в Союз писателей, считая себя «недозрелым» поэтом, хотя к маю 1993 года, когда на писательском собрании рассматривался вопрос о его приёме, он уже был автором около десяти поэтических сборников и многих публикаций в газетах и журналах. Стихи и песни Захарова печатались в журналах: «Москва», «Турист», «Подъём», издавались в Москве, Дивногорске, Красноярске, Кызыле. Последние издания — уже не за счёт государства, как практиковалось ранее, а за свой счёт, как говорится, на свой страх и риск. Стихи Ивана Захарова, отметил поэт Николай Ерёмин, когда подписывал рекомендацию, «написаны на оптимистической волне, автор старается извлечь из воспоминаний о детстве всё самое светлое, самое радостное, самое дорогое. Тут и мотивы фатьяновских песен, тут и образы родственников, земляков, картины родной природы…». Членом Союза писателей России Москва утвердила Ивана Захарова 13 июня 1994 года. Было ему тогда 66 лет, но он считал себя молодым, энергия в нём «била ключом». Став членом творческого союза, работать стал с удвоенной силой. Написал две поэмы: «Тальков» и «Номер на предплечье» — о трагической судьбе двоюродного брата Владимира Александровича Захарова, комиссара, узника фашистского концлагеря; составил сборник стихов «И сердце песню обрело», но чтобы всё это обрело форму книг, Иван устроился ещё на одну работу — сторожем на Центральный рынок…

Прощание с покойным поэтом проходило в Доме писателя на пр. Мира, 3. Писатели, композиторы друзья и просто знакомые ставили к стенке венки, клали в гроб цветы и, удивлённые, спрашивали:

— А что у него лицо-то прикрыто?

Дочь поэта, вся в чёрном, печальная, так же тихо отвечала:

— Смотреть страшно: не лицо — сплошная рана…

— Что говорит следствие? милиция?

— Ничего. Будем, говорят, искать убийцу. Да разве найдут?

Вспомнились трагические строки из его поэмы «Тальков», изданной за собственный счёт:

Певец убит. Живёт вражина…
Осталось песен торжество.
Храни, земля, отца и сына,
И правдолюбца своего.

Марина Саввиных, Нина Ягодинцева

«Чтобы край процветал,—его надо воспеть!»

В начале августа гостьей Красноярска ненадолго стала *Нина Александровна Ягодинцева*, самобытный русский поэт, исследователь такой важной, хотя и мало изученной научной дисциплины, как «психология литературного творчества», педагог, общественный деятель и заядлая путешественница. Мы воспользовались случаем и организовали с ней интервью. Вот оно—слово в слово.

Редакция «ДиН»

мс. Ниночка, ты приехала на этот раз в Красноярск на несколько дней для того, чтобы участвовать в таком, на мой взгляд, странноватом мероприятии, как «литературный сплав». Расскажи, пожалуйста, что это такое? Как ты сподобилась приобщиться к этому делу? Как это дело шло? Что интересного, какие проблемы?

ня. Я приехала по приглашению Красноярского Дома искусств вести литературный семинар на сплаве. Вообще эта идея очень интересна—совместить водный туристический маршрут по одной из красивейших рек Сибири, по Мане, с суровой литературной работой, с разбором рукописей. Это великолепная возможность не только неформальной встречи для серьёзного разговора, это ещё и возможность, особенно для городских авторов—на природе по-иному открыться, в другой обстановке—в максимальной близости к небу, воде, тайге… В городе это ощущение близости к первоначальным стихиям истончается, рвётся. Ведь поэзия—тоже стихия. В городе поэзия начинает двигаться в сторону филологии, а природа даёт другую возможность—живое соприкосновение стихий. Это оказался очень интересный опыт. У нас в семинаре было 13 поэтов. По возрасту они были и очень молодые, 19-ти лет, и более зрелого возраста, и старше 50-ти лет. Красота Маны никого не оставила равнодушным, и это работало… Человек, особенно поэт, не может на это не откликнуться. И косвенным результатом, не прямым, естественно, потому что цели такой не было писать об этом… но эти впечатления могут лечь в основу и поэзии, и прозы. Прозаиков было 7 человек. Прозаический семинар вела С. В. Василенко, председатель СРП. Они работали на верхней палубе речного трамвайчика, мы сидели на нижней палубе за столом. Мы очень интересно друг с другом соседствовали, при этом друг другу не мешая. Им ничего не было слышно снизу, до нас тоже сверху ничего не доносилось… был слышен только плеск воды. Так что вот такая двоякая цель—сугубо профессиональная, причём она осуществилась на очень хорошем уровне, я довольна разговором, состоявшемся на семинаре, потому что ребята открылись немножко по-другому, даже, как ни странно… не знаю, предполагалось ли это… для меня это было довольно неожиданно… иная глубина разговора, чем в аудитории. То есть, с одной стороны, очень серьёзный разговор, с другой—поэты и прозаики, в произведениях которых Мана может материализоваться потом в слове… это ведь очень интересно краю! В своём конечном прикладном варианте—это литературный туризм. Чтобы край процветал—его надо воспеть! Литературный сплав работает и на это, конечно. Другое дело, что человек, проживающий в городе, не имеющий опыта таких туристических путешествий, должен быть готов к ночёвке в палатке, к вечерам у костра, к капризам погоды, и это—другая сторона. Для меня это не составляло проблемы. Я путешественница, сплавщица. Единственное затруднение—когда мы работали с рукописями, практически не было возможности смотреть по сторонам. Но зато потом, когда мы завершили работу, мы уже только смотрели на эту необыкновенную красоту. На эту реку, на горы, на тайгу—и понимали, сколько в мире этой естественной, природной могучей красоты. Думаю, что этот проект очень перспективный. И хотелось, чтобы он был не только продолжен, но и расширен. Потому что на этом сплаве было два события. Даже три. Семинар прозы. Семинар поэзии с выходом впоследствии на публикации. Я авторов с удовольствием публикую на сайте Ассоциации писателей Урала и там обязательно расскажу об этом сплаве. Можно ведь расширять каким образом? Можно проводить презентации книг и журналов. Проводить какие-то мастер-классы.

Очень бы хотелось, чтобы был представлен журнал «День и ночь» в рамках сплава, потому что поэты приехали из самых разных регионов Сибири и Урала. И это могло бы быть очень интересно, потому что есть возможность не только во время движения катамарана, есть и вечер на берегу, где мы у костра читали стихи, говорили о каких-то очень интересных для всех нас вещах, общались лично, обсуждали какие-то вопросы вместе… так что формат сплава позволяет расширять поле деятельности, разнообразить его. Для первого такого опыта программа была достаточной, потому что он был пробный, открывающий—и оказался очень удачным, предполагающим интересные перспективы. Мне кажется, и культура края должна быть в этом заинтересована.

мс. Конечно, трудно говорить о репрезентативности материала для каких-то оценок, для выводов. Но тем не менее всё-таки молодые люди приехали из разных городов… пусть их было немного, но они каким-то образом представляют литературное пространство, которое мы сегодня имеем. Что можно о нём сказать? Чем живут поэты? Чем живут прозаики? О чём они пишут? Что их волнует? Опровергает ли их работа в каком-то смысле расхожий миф о том, что русская литература погибла, что её нет, у неё нет будущего и что действительно стоит прислушаться к западным ценностям, которые вовсю распространяются сейчас?

ня. Я могу сказать, что этот семинар подтвердил, укрепил моё давнее впечатление, теперь уже убеждение, что в литературу приходит очень сильное поколение, которое с разных сторон подходит к материалу жизни, потому что есть и очень глубокая личная лирика, есть и очень интересные метафизические опыты, пытающиеся объединить физическую и духовную реальность в единое пространство, и эта молодая метафизика, скажем так, она ищет современные знаки, через которые можно передать вот это ощущение, эту энергию. Это очень интересно. Есть, как ни удивительно, певцы городских окраин. Это та территория, тот образ жизни, уклад жизни, который, с одной стороны, вроде городской, с другой—организован не так плоско, не так угловато, не так раняще для человека… это то место, где человек и природа, город и село находятся в неразрывном единстве. Оказывается, это отдельное направление в молодой поэзии. Для меня были удивлением и открытием очень интересные опыты в области композиций сюжетных. То есть рассказанный поэтическими средствами какой-то жизненный сюжет. Есть интересные попытки работать с мелодическим сюжетом стихотворения. С эмоциональным мелодическим сюжетом. Всё разнообразие, которое в принципе должно быть в литературе и освещать разные стороны жизни,—у молодого поколения присутствует. У ребят есть огромное желание реализовать себя. Им это дано. Другое дело, что им нужен культурный опыт, им нужен культурный фундамент, потому что в силу так или иначе сложившихся обстоятельств они оказались от этого опыта отдалены, а иногда и вообще отсечены. Такое чувство, что многие начинают с нуля. Изобретают велосипеды, причём это не только велосипеды—сюжетные, образные и прочие… речь идёт о совсем простых вещах: синтаксисе, пунктуации и прочих, которые вообще являются безусловной основой владения материалом, в котором ты выражаешь себя… и в этом плане, конечно, семинар—очень большая помощь. Мне трудно судить о прозе, я работала только в рамках поэтического семинара, 13 человек на такой небольшой промежуток времени—это очень много. Это такой долгий разговор, поэтому мне хватило поэзии. На прозу я не заглянула. Но по поэзии—отрадная картина. Она такая же, какую я наблюдаю последнее время на творческих семинарах везде, и это очень радует… если ещё буквально лет пять назад у молодых авторов была такая позиция—мы другое поколение, мы сами всё знаем, не учите нас жить и писать… мы новые, мы пишем по-новому, мы несём новое… эта самонадеянность исчезает. Причём всё быстрее и всё заметнее. Эти ребята нуждаются в культурном опыте, в каких-то подсказках, они выстраивают свой путь. Это очень интересно и очень важно.

мс. Тогда возникает вопрос: а какая судьба их ждёт? Что—дальше? Вот они приехали со своими рукописями. То, что молодой автор подготовил рукопись к семинару, это уже очень много. Вот они обсудились на семинаре, получили что-то… а дальше что? Какие у них возможности? Какие судьбы их могут ожидать в современном мире? В современном литературном пространстве? Где всё так непросто… Это вопрос о судьбе молодой литературы. Что ждёт начинающих писателей, поэтов? Денег им эта деятельность точно не принесёт.

ня. То же, что и во все времена. Многое ведь зависит от состояния культуры, от состояния культурного поля. Если культура выстроена как система, если она утверждена, если она кристаллизована, то молодому человеку трудно найти в ней своё место. Надо потеснить, освободить для себя какое-то пространство, чтобы встать в этот ряд и доказать, что ты можешь. Если культурное поле рассеяно, культурные связи разорваны,—задача такой же степени сложности. Она другая,

но степень сложности остаётся. Собрать себя, свой опыт и кристаллизовать так, чтобы он стал точкой опоры в этом культурном поле. Это тоже очень трудно. Единственный момент, который может считаться благоприятным для литератора, но всегда осложняется какими-то социальными коллизиями, это момент, когда культура выстраивается. Когда она находится в состоянии строительства и человек—поэт, писатель—находит в этом строительстве своё место. Выполняет свою миссию. Но очень часто получается, что эти пути быстро расходятся, потому что социум и искусство существуют по разным законам. Моменты счастливой творческой судьбы очень редки, зависят от стечения многих обстоятельств, и никто не может этого молодому человеку обещать. Надо понимать, что литература—это служение. Надо понимать, что она забирает человека целиком. Я об этом говорила на семинаре. Нельзя заниматься литературой как хобби. Литература может быть только служением. Чем глубже человек вникает в этот диалог, тем больше собеседников и более важная и глубокая нравственная проблематика открывается ему. Лёгкой судьбы поэту никто не обещает. Но её никто не обещает никогда и никому. К этому надо быть готовым. К этой профессии, к служению. Второй момент—востребованность… потребность в смыслотворении, чем, собственно, и занимается литература в обществе,—колоссальная. Но эта потребность идёт снизу. Это такой неформализованный запрос. Скажем так, подлинный запрос. Одно дело—есть социальный заказ. А другое дело—есть запрос. Глубинный. Это есть. И они стремятся на это ответить. Востребованность даёт надежду, что отдача от этого труда, который будет вложен или должен быть вложен молодыми в это служение,—обязательно будет. У нас принято почему-то расценивать её в рамках каких-то преференций… ничего этого ожидать не следует. Они будут—и слава Богу, если их не будет—значит, время не пришло…

мс. Готовы ли они к этому? Не к служению, а к тому, что никто тебя не будет осыпать золотым дождём, хвалить не будет…

ня. По большому счёту, останется лишь тот, кто готов. Никто ведь не говорил, что этот путь усыпан розами. Литература—жестокое ремесло. Высокое и жестокое по отношению к человеку, который это делает. С другой стороны, существует такая развилка, очень странная и достаточно опасная. Сейчас очень развито фестивальное движение. И с одной стороны, это возможность общения и создания общего литературного поля, а с другой стороны—это поле почему-то не возникает. Я скажу—почему. Другая сторона—это организация качественных семинаров. Сегодня очень много семинаров, среди них можно выбрать качественные. Есть куда пойти учиться. Есть где получить какую-то поддержку. Есть где сориентироваться, что ты такое, кто ты такой и куда тебе двигаться. В частности, вот на этом семинаре мы очень много говорили именно о направленности каждого автора. Что является для него характерным. Потому что сам автор не видит… он пока ещё не может это увидеть… это кристаллизуется потом. Много позже. Так вот проблема фестивалей в том, что они сегодня, по моему впечатлению, создают тусовку. А тусовка никогда не рождает общее культурное поле. Она наоборот—разбивает культурное поле на группки, где людям хорошо, где они друг друга хвалят и, раз меня признают свои, всё нормально. И ещё одна проблема разбитого на тусовки пространства—в том, что оно не может выработать литературную иерархию, которая нам очень нужна. Поэтому сегодня всё, что пишется, находится в единой плоскости. И непонятно, что хорошо, что плохо. А без различения, что хорошо, что плохо, невозможно ни развиваться, ни двигаться в какую-то сторону… что написано—всё хорошо. Что написано—всё литература. И в этом плане, конечно, гораздо благодатнее семинары. И вот опять я возвращаюсь к семинару на Мане. Это оказался опыт учёбы очень серьёзной. Дело даже не в том, что многие авторы по итогам обсуждений на этом семинаре получат какую-то публикацию. Мы очень старались предоставить им качественную информацию для развития… а дальше—судьба. Потому что писать без судьбы… включаются какие-то обстоятельства, в которых складывается и характер, и материал для творчества, и в конечном итоге—судьба… это всё очень сложные процессы, очень сложные… здесь далеко не всё зависит от нас. От пишущих и от тех, кто пытается поделиться своим опытом. Здесь очень многое зависит от других привходящих обстоятельств. И сегодня, я думаю, не труднее, чем всегда. Но каждый раз чудовища, с которыми автор вступает в борьбу, в каждую эпоху свои, для каждого времени они свои, хотя степень риска и степень необходимого напряжения душевных сил, мне представляется,—одинакова всегда.

мс. На самом деле литературное сообщество—хотя бы внешне—сейчас как-то структурировано. Существуют, например, Союзы писателей. Союз российских писателей и Союз писателей России. И ещё множество всяких. Я понимаю, что государство как-то поддерживает те осколки, которые остались со времён Союза писателей ссср. Но существует ещё и множество других…

у нас в Красноярске действуют ещё как минимум четыре организации. Причём они так называются иногда, что трудно разобраться человеку со стороны. Есть Союз российских писателей, а есть Российский союз писателей… есть Союз профессиональных литераторов… какую роль эти социальные образования играют, во-первых, в развитии и становлении современной литературы, а во-вторых, как раз—в судьбах начинающих авторов, которые ищут себя в этом поле. Многие говорят, что вообще не надо никаких союзов. Они только создают ненужную неразбериху.

нЯ. Вопрос существования союзов писателей муссируется с начала 90-х годов, с конца 80-х. Сразу скажу, что, на мой взгляд, профессиональный союз—союз профессионалов—необходим. Категорически. Потому что мы живём в большой стране, в которой есть очень удалённые от центра регионы. И союз писателей—это возможность держать в фокусе внимания всю территорию и в идеале на всю территорию распространять лучшие образцы. Роль такого аккумулятора. Во-первых. Во-вторых, должна быть чёткая граница между самодеятельностью литературной и профессионализмом. Проблема самодеятельности возникла из такого свойства нашей культуры, как литературоцентричность. Когда человек не может получать поэтическое… глубокое иррациональное понимание жизни из культурных источников, когда как раз оказываются разрушенными культурные связи—он начинает добывать его как умеет. То есть, грубо говоря, не найдя стихов, не имея культурного багажа, культурного опыта—добраться до этого источника, он пытается что-то слепить для себя сам. И поэтому получается, что огромное количество потенциальных читателей, пропагандистов литературы, то есть людей, которые вообще-то поддерживают литературное поле, мы получаем немыслимое число графоманов. Это огромная проблема. На этой проблеме расцветают различные объединения. Ведь что такое, например, Российский союз писателей? Это фактически коммерческая организация. Вступайте к нам. И ведь они действительно назвали себя—Российский союз. Есть Союз российских писателей, есть—Российский союз писателей. Попробуй разберись. Мимикрия, как у бабочек. У нас в Челябинске в иные времена было до пяти разных союзов писателей. И очень часто их создавали люди, обиженные тем, что их не приняли в профессиональные союзы писателей. Союз писателей России и Союз российских писателей. Создавали свою собственную организацию. Благо, это можно сделать сейчас. И в рамках того же самого Российского союза писателей можно номинироваться на премии, получить литературные ордена. И много ещё чего. За деньги. Это коммерческий проект, а не литературный, в силу своей коммерческой сущности. И, конечно, это ещё одно испытание для молодого автора. В какой-то момент в развитии нужно обязательно попасть в это сгущённое поле литературного общения, чтобы, по крайней мере, понять, кто ты есть, в чём твоя сила и что ты можешь реализовать. Профессиональные союзы необходимы ещё и для этого. Особенно—для молодых. А когда человек попадает в коммерческие структуры, у него система культурных ориентиров сбивается совершенно. Я уже не говорю о пресловутых «стихи.ру» и прочих ресурсах, о которых уже все говорили. Основная проблема в том, что сбиваются культурные ориентиры. Разница между хорошей и плохой литературой. Литературой и не-литературой. Она исчезает вообще. Пишешь буковки? Значит, это литература.

мс. Писатель—это тот, кто считает себя писателем.

нЯ. Это испытание для молодых. Ещё один фактор риска. Есть такое понятие в психологии творчества—в той научной области, которой я занимаюсь,—«актуальные риски». Сегодня это актуальный риск. Поэтому профессиональный союз писателей должен существовать. Профессиональное единство. По ассоциативному, по какому-то другому признаку… профессиональное единство. А самодеятельность. То, что исторически является благом, но сегодня стало деструктивным фактором,—это армия пропагандистов литературы, армия читателей, огромного количества людей, которые нуждаются в поэтическом—как очень важной составляющей человеческой жизни. Им надо выстраивать каналы, по которым они могут это получать, а не производить кустарным способом для себя и не издавать толстенными томами в твёрдой обложке.

мс. Я так поняла, что здесь нужно какое-то особое сопровождение пишущих людей… техника безопасности автора—твоё изобретение?

нЯ. Я занимаюсь этими вопросами. Они мне очень интересны.

мс. Я раньше не слышала о таком. Что это такое? Что за техника безопасности? Что она означает для творческого человека? Это, наверное, долгий разговор… к нему надо как-нибудь специально вернуться.

нЯ. Человек—сложнейший, тончайший инструмент познания и творческого преобразования мира. К сожалению, нас не учат владеть самими собой, не дают знаний о нас самих. Мы получаем массу информации о внешнем мире,

которая действительно нужна, и практически не владеем информацией о нашем внутреннем мире. Сегодня — особенно. Человек, который занимается творчеством, сталкивается с этим гораздо более болезненно, зачастую неожиданно, потому что человек, существующий почти или исключительно в обыденности, с этим почти не сталкивается, разве что в моменты каких-то кризисов — жизненных, возрастных… творческий человек с этим сталкивается практически постоянно. Я занимаюсь много с молодыми авторами — веду литературные курсы, литературную мастерскую. Есть школьная литературная студия, есть — для людей очень преклонного возраста — на курсы приходят люди до 75 лет. Авторы. Это редко, но тем не менее. Приходят учиться вместе с молодёжью, и я считаю, что это благо. Рассказывая им о каких-то литературных тонкостях, я отчётливо понимаю, что они или столкнутся, или уже столкнулись с психологическими проблемами, с какими-то аспектами психологии творчества, о которых, если ты знаешь, ты можешь их использовать как ресурс, а если не знаешь, они могут тебя просто разрушить. Например, та же пульсация творческого сознания. В состоянии вдохновения мы выходим за границы собственного сознания, оно становится больше самого себя, но ведь потом оно возвращается. Постоянный переход от себя космического к себе бытовому переживается крайне болезненно. Особенно в первое время. Когда начинаешь осознавать это впервые. Во многих психологических школах эти вопросы так или иначе разрабатываются, но никто не применяет это к той среде, к тем группам, где они наиболее необходимы. Поэтому я постаралась часть проблем рассмотреть на собственном опыте, какие-то решения найдены в других источниках… Творчество — всегда избыток энергии, и поначалу нам кажется, что это — благо. А потом выясняется, что оно благо только тогда, когда мы умеем с этим справляться. Если мы с этим не умеем справиться, оно нас разрушает. Ну и… актуальные риски. Есть то, что в принципе надо знать, что характерно для того или иного времени. «Принципы безопасности творческого развития» — книга была издана в 2008 году. Я очень долго готовила аудиторию к тому, что эта книжка выйдет. Время от времени вытаскивала оттуда какие-то главки и публиковала их. Но всё равно эта книга вызвала много вопросов. Как это так? Поэзия — опасное ремесло. Что тут опасного? Можно пёрышком уколоться? Бритвочкой порезаться нечаянно? Или листочком бумаги? На самом деле наш внутренний космос — это абсолютно неисследованное пространство. И мы не можем говорить о частностях. Я говорю только о каких-то самых общих закономерностях. Но на основе этих закономерностей уже можно изучать себя самого. К числу рисков можно отнести, например, негативную мифологию. О которой я уже давно говорю. Давно исследую мифы, которые нас убивают. Предрассудки, которые сложились в литературе. Например, поэт — избранный, он должен быть свободен от быта, морали. Это обязательно бунтарь. Он всегда против, как баба Яга. Это всё мифы, причём очень опасные. И бунтарь-одиночка, и гуляка праздный, и божий избранник — это всё смертельные ловушки. Плюс ещё по мелочи… поэт должен быть голодным… священные мухоморы… и ещё предрассудок, который очень страшен… — за всё заплачено жизнью: чем раньше ушёл поэт, тем большую загадку он в себе заключает. Эта поэтизация раннего ухода — по сути дела, культ ранней смерти. Страшные вещи. Вот об этом всём я стараюсь как можно чаще говорить с молодыми авторами.

мс. Тогда получается, что человек, который берёт на себя право работать с молодыми, — это специалист высочайшей квалификации. То есть он должен, во-первых, владеть ремеслом. Во-вторых, он должен понимать психологию творчества, должен быть достаточно высокообразованным психологом. И он должен быть настоящим педагогом. Чтобы не навредить.

ня. Да, безусловно.

мс. То есть эта квалификация настолько тонка и высока… меня зачастую обескураживает, что работать с литературной молодёжью берётся кто попало. Это сплошь и рядом. Мы начали с того, что заговорили о великой пользе литературной учёбы, литературных семинаров. Но если посмотреть, кто на местах занимается этими вопросами, становится страшно, потому что… не побоюсь высоких слов и не сочти это за лесть… но сейчас, кроме тебя, почти на всём постсоветском пространстве я никого из специалистов такой квалификации не могу назвать. Может быть, действительно, нужна ещё какая-то система подготовки подобного рода кадров. И для начала необходимо понять, что такие специалисты очень нужны. Нужно как-то их готовить. Специалистов, которые могли бы работать с творческой молодёжью. По-моему, здесь такой дефицит!

ня. Проблема молодого автора — найти своего мастера. Человека, который увидит в тебе тебя. Поможет и подскажет. Когда я подходила к этой теме, технике безопасности… для меня вообще вся эта педагогическая система состоит из трёх частей. Философия, то есть особенный образ мышления. Технология. И безопасность.

Как в любом нормальном производстве. Так и здесь—в производстве смыслов. Проблему подготовки педагогов в этом направлении я пытаюсь решить хотя бы в рамках своих литературных курсов. В литературной мастерской «Взлётная полоса». Вот сегодня в Челябинске есть группа авторов, играющих тренеров, молодых поэтов и прозаиков, которые работают по этой методике. Они, может быть, не владеют ею в полной мере, потому что они ещё очень молоды, но они понимают, что это система. Всё взаимосвязано. Мало хорошо писать, надо ещё и объяснить. Мало сказать—выбирайте точные слова, например. Или… если не пишется—самый популярный совет у нас на семинарах, я это очень часто слышу, и меня это возмущает—если тебе не пишется, тебе нужна какая-то трагедия. Развестись, потерять работу, несчастно влюбиться… когда я такое слышу—я вздрагиваю. Потому что есть другие способы восхождения к поэтической энергии, и, идя к ней через трагедию, человек просто разрушает свою жизнь. Иногда—сознательно! У некоторых это вообще становится сюжетом жизненным. И они потом говорят, что это жертва во имя литературы. На самом деле—напрасная жертва. Мне очень повезло самой с литературными педагогами. Буквально с самого начала. Я училась у Нины Георгиевны Кондратковской в Магнитогорске, в литературном объединении, понимавшей, что есть Магнитогорская школа, а есть я, неизвестно откуда взявшаяся. Зёрнышко, которое другим каким-то ветром занесло. Она никогда не ломала меня. Никогда не преподавала мне некие формы. Она всегда указывала на принципы, которые существуют объективно, но я могу к ним подходить так или иначе. Александр Алексеевич Михайлов в Литературном институте и Галина Ивановна Седых. Когда я начала концентрировать этот опыт, я его начала по литинститутскому принципу собирать, и мне очень хочется, чтобы эти знания, этот опыт подхватили молодые. Сегодня у нас из той группы молодых авторов, которые выпущены «Взлётной полосой», литературными курсами, практически все преподают. Практически у всех есть свои студии. У кого-то детские, у кого-то юношеские… Как можем, мы решаем эту проблему. Но сегодня всё больше молодёжи просто уходят в тусовку. Тусоваться гораздо проще, чем учиться.

мс. Тем не менее такие ячейки хорошего литературного образования есть. А кстати, как ты относишься к тому, что сейчас делается в Литературном институте?

ня. Я об этом, к сожалению, мало знаю. Не могу говорить… Но есть другой поворот этого опыта. Литературный лицей. Ведь это же уникальная система общекультурной подготовки. Базового гуманитарного образования. Мои педагогические технологии направлены более всего на формирование именно литератора. Но ведь общекультурная подготовка с учётом очень важных творческих моментов даёт человеку колоссальную свободу в жизни. И колоссальные возможности. Такой человек в любую сферу с этим багажом придёт и в любой сфере этим богат. Мне кажется, уникальный опыт Лицея должен быть распространён и должен разворачиваться. Потому что это другая сторона… есть литературная учёба, а есть литература как мощнейший инструмент развития личности. И это потом работает во всех сферах жизни.

мс. Кстати, вот тоже интересное наблюдение моё. Практически 90% моих выпускников, выпускников литературного лицея, помимо того, что они, конечно, хотят заниматься литературой, проявляли интерес к педагогической работе. Очень многие из них стали учителями, преподавателями высшей школы… видимо, это очень связанные способности—литературные и педагогические. Это—стремление поделиться опытом, знаниями…

ня. Сама литература—это стремление поделиться. Рассказать о чём-то. А педагогика владеет ещё и дополнительным арсеналом. Реализация сущности литературы ещё и в этом. Мне кажется, это совершенно уникально и очень перспективно.

мс. Очень бы хотелось, чтобы нашей державой это было востребовано. Будем надеяться, что рано или поздно так и будет.

ня. Думаю, что это будет. Важно, что этот опыт есть, что он сформулирован, сконцентрирован. И в принципе те, кто желает этим заниматься, кто желает воспользоваться этим уникальным опытом, могут за ним обращаться и развивать его дальше.

Сергей Кузичкин

Погружение в листопад

Романтическое повествование в прозе, но со стихами

Догнавшие осень

В четырнадцатый год третьего тысячелетия, в тринадцатый день его десятого месяца, мы со Стёпой Славером упали с неба в мягкую московскую осень, в жёлтые ковры переделкинских клёнов. Утром ещё были в самом центре холодной, потерявшей листву и посыпанной первоснежьем Сибири, а после полудня уже шли по солнечным асфальтовым подмосковным дорожкам территории Дома творчества, застеленным специально для нас резными узорами больших жёлтых листьев.

Чудеса техники, воплощённая в реальность мысль человека, и — за пять часов мы переместились на четыре тысячи километров в пространстве, прибавили себе четыре часа к сегодняшним суткам по времени и догнали ушедшую три недели назад от Енисея за Урал золотую осень.

Два провинциальных стихотворца, мы рванули в столицу на фестиваль патриотической поэзии по зову нашего друга поэта Молоткова и собирались на семь дней оккупировать двухместный номер нового корпуса писательского Дома, где до нас уже не однажды жили неделями и месяцами многие известные литераторы страны. От самой проходной до красной кирпичной четырёхэтажки ковры шуршали под ногами и шелестели с деревьев, а с лазурного потолка неба слепила и грела нам макушки яркая лампа солнца. Воздух хрустел в такт нашим шагам, но даже обильно разлитого здесь кислорода не хватило, когда поднялись по ступенькам крыльца.

— Подожди немного, дай отдышусь… — попросил меня Степан, когда я потянул на себя стеклянную дверь писательской гостиницы.

Мы подождали возвращения дыхания и с первыми ровными ударами сердца вошли.

Белокурая дежурная, узнав, что мы сибиряки-енисейцы, признала в нас земляков её мамы, с улыбкой выдала ключ от номера и объяснила, в какое время нам нужно ходить в кафе для завтрака, обеда и ужина.

Обед по расписанию с час как закончился, а до ужина было ещё четыре, поэтому, едва устроившись, мы уничтожили то, что оставалось у нас из продуктов питания, запив колбасу, хлеб, яйца и курицу апельсиновым соком, предусмотрительно купленным Стёпой в павильоне на выходе из метро.

Пятичасовой перелёт и ещё три часа и двадцать минут в дороге от аэропорта, через столицу, до Переделкино остались в прошлом — вместе с усталостью и волнениями. Впереди была московско-переделкинская неделя. Нас ждали друзья-коллеги, нас ждал конкурс-фестиваль.

Да здравствует фестиваль!

После аппетитного перекуса я пошёл исследовать совмещённый санузел, а Славер не был бы Славером, если бы сразу не начал записывать в рифму свои дорожные впечатления.

Пока я принимал душ, Степан, как истинный и первый поэт Сибири, записал стихотворение о сегодняшнем перелёте «Приземлюсь во Внуково» и два первых из будущего цикла «Транзитом в Переделкино». Он заканчивал второе, когда я вышел из душа и, развалившись в кресле, приготовился слушать.

Славер сосредоточился, приподнялся с дивана, где записывал в блокнот строки прямо на коленях, разгладил усы и чуть сбивчиво, но с пафосом прочёл свежие стихи, подавая пример мне, не входящему даже в первую десятку сибирских пиитов.

Душ принимать до ужина он не стал, а, поймав кураж, записал ещё несколько строк очередного своего шедевра. Мы сфотографировались на балконе, на фоне клёнов и фонарей образца середины двадцатого века, а потом на фоне окна и балконной двери постройки восьмидесятых. Солнце уже садилось, когда пошли на ужин в «стекляшку» — пристройку семидесятых к старому корпусу Дома творчества — бывшую столовую, а ныне кафе. Как оказалось, это был первый и последний за все семь дней законный наш ужин там. Начиная со следующего утра, другие дни закружили нас вместе с листьями клёнов, дубов и тополей, завертели в кругу поэтов, критиков и читателей, замотали в бесконечных переходах метро, в пригородной кассе Киевского вокзала, в ранних и поздних электропоездах.

В стоимость нашего проживания в Доме творчества входило трёхразовое питание, но поскольку мы не собирались сутками обитать в Переделкино

и все планы наши были связаны со столицей, то успевали только на завтраки. Что предлагают на обед в переделкинской «стекляшке», мы со Стёпой так не узнали.

Обеденное время мы проводили в столице: один раз у Молоткова, другой — в попутном бистро недалеко от Красной площади, в третий — заглянули в «Макдоналдс» на Тверской. Ещё два раза обошлись чаем с чебуреками возле метро «Баррикадная», а однажды решились спуститься в легендарный подвальчик Центрального Дома литераторов. Но об этом отдельный рассказ.

Дискуссии на фестивале, экскурсия в Литературный институт, выступления в библиотеках (иногда с чаепитием) занимали нас с утра до вечера, и мы добирались до Переделкино в лучшем случае, когда в кафе Дома творчества заканчивали мыть вечернюю посуду.

Возлюбившие лапшу

Каждый раз, шагая от железнодорожной платформы к Дому творчества, мы проходили мимо круглосуточно работающего павильона и, естественно, заворачивали на огонёк, покупая хлеб, колбасу, апельсиновый сок и лапшу быстрого приготовления «Доширак».

«Доширак» вошёл в наш рацион и нашу переделкинскую жизнь в самый первый вечер. Поужинав, мы вышли тогда прогуляться по тёмным улицам посёлка писателей, по тускло подсвеченным редкими фонарями аллеям территории Дома творчества, собирая охапками большие кленовые листья, с намерением сложить их между страницами подаренных нам московскими литераторами книг и увезти в Сибирь. Пока ходили, дышали свежим воздухом, снова почувствовали лёгкий голод, а ноги вывели нас на павильон, так и заманивающий бредущих в полутьме на свой яркий маячок. Вот тогда, покупая колбасу, хлеб, сок, мы решили взять и две пластиковых упаковки «Доширака».

— Надо чего-то горяченького перед сном поесть, — убедил меня Степан.

Залитую кипятком лапшу вприкуску с колбасой мы съели с неожиданным азартом и, довольные, проговорили до полуночи. Спохватились, когда высчитали, что на Енисее, где мы были ещё сутки назад, теперь четыре утра. В общем, первый день, да и вечер, в Переделкино прошёл на возвышенно-поэтическом уровне, и ночь мы спали хорошо.

А во второй наш переделкинский вечер, выжатые фестивальной суетой, но вдохновлённые лауреатством Славера, мы решили обмыть его награду, прихватив в павильоне к колбасе, хлебу, соку и «Дошираку» двухсотпятидесятиграммовую бутылочку водки. Разлив сразу всё в три пластиковых стаканчика, в один из них погрузили Стёпину лауреатскую медаль. К опустившейся на дно нижним лучом звезде поэт-лауреат патриотического фестиваля указательным пальцем правой руки подтолкнул и позолоченную шёлком колодочку, а когда питьевая жидкость стала выходить через край, он наклонился и отхлебнул.

— За нового лауреата Степана Славера! За сибирскую поэзию! — сказал тост я.

Степан протянул руку со своим стаканчиком навстречу моему, слегка задел его, а потом дном коснулся стакана с медалью, после чего выпил. Я тоже последовал примеру старшего товарища: чокнулся со «звёздным» стаканчиком. Естественно, «Доширак» уже ждал нас, залитый кипятком, и колбаса была порезана на тоненькие кружочки.

И на этот раз аппетит был нашим другом.

Сражённые музыкой

После ужина я, по складывающейся уже традиции, пошёл первым в душ, а Стёпа взялся за свой блокнот, чтобы записать срифмованные у него в голове новые строки. Я был в приподнятом настроении. Стоя под горячими струями, радовался за приятеля-лауреата и пел:

> Друга я никогда не забуду,
> Если с ним подружился в Москве!

Да, друзей у нас со Стёпой за первые два дня в Первопрестольной появилось немало. Мы исписали по блокноту, внося на страницы имена, фамилии, номера телефонов и адреса электронных ящиков. Набрали коллекцию визиток поэтов, прозаиков и литературных критиков. А до отлёта на Енисей была ещё уйма времени, и впереди нас ждали новые встречи и новые знакомства. Сердце ликовало, душа пела и исторгала из гортани слова и мелодии.

То усиливая, то понижая пение, я не сразу услышал частый стук в дверь совмещённого санузла. Но когда всё-таки услышал, песню прекратил.

— Серый, ты пока мойся там, а я вниз побегу! У меня что-то живот закрутило… — крикнул из-за двери Степан.

— Куда вниз? Я уже заканчиваю, сейчас оденусь и выйду! — отозвался я.

— Да не могу я уже! — ещё громче крикнул Степан. — Наружу всё с грохотом рвётся! Я там, на первом этаже, туалет видел. Побегу!

— Ну давай!

Услышав, как хлопнула за Стёпой дверь, я через минуту закрыл воду и снял с вешалки полотенце.

> Друга я никогда не забуду… —

продолжал напевать я, но уже вполголоса, выйдя из ванной.

На диванчике, где Славер записывал свои шедевры, лежали блокнот, авторучка и носки. На столе оставалось несколько кружочков полукопчёной колбасы на подложке, прямоугольники нарезанного хлеба, бумажная упаковка с недопитым соком, две пустых упаковки из-под лапши, пустая

бутылочка из-под водки, два пустых пластиковых стакана и один — с утонувшей в водке лауреатской медалью Степана. Надев спортивные штаны, я, немного подумав, накинул и рубашку. Застёгивая пуговицы, обнаружил отсутствие второй сверху. Лениво посмотрев под ноги и на кресло, я решил отложить её поиски на потом, а сначала навести порядок на столе, где, помимо недоеденных нами продуктов, лежали стопочками подаренные нам со Стёпой московскими авторами книжки с автографами-пожеланиями и без таковых. Сложив в одну из упаковок пустые стаканчики и бутылку, я вложил её в другую упаковку и понёс в санузел, к мусорному ведру. Вот там, в санузле, в моё второе за вечер восшествие туда, у меня сначала заурчало в желудке, а потом запело и мелодично рванулось наружу. Мелодия, похожая на звук флейты, прозвучала, едва я освободился от мусора. А следом, после первого же моего шага, грянули трубы, басы и барабаны. Я бросился к унитазу и, уже сидя на белом изделии из фаянса, слушал и слушал непрекращающуюся игру желудочного оркестра.

Я представил дирижёра, взмахивающего палочкой, и музыкантов с трубами, надувающих щёки, скрипачей, перепиливающих смычками прижатые к подбородкам инструменты, контрабасистов, перебирающих большие струны, и стоящего одиноко впереди всех распевающегося солиста.

«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а…»

«О-о-о-о-о-о-о-о-о-о…»

«У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у…»

Минут через десять в дверь санузла постучал Стёпа.

— Серый, ты ещё там? — спросил через дверь лауреат.

— Да, здесь… Меня тоже закрутило… — ответил я, продолжая слушать инструментальный концерт.

— А я еле добежал до первого этажа! — признался друг. — Чуть успел. Прямо перед вахтёршей неудобно. Она ко мне с разговорами, а я ей рожи корчу, едва сдерживаю то, что у меня в желудке бурлит, наружу рвётся…

Переговариваясь через дверь, мы пришли к версии, что причиной нашего желудочного расстройства мог стать «Доширак».

Выйдя из санузла, я порылся в своей походной сумке, нашёл угольные таблетки и убедил приятеля проглотить сразу по три. Запили апельсиновым соком и решили лечь спать.

То ли таблетки действительно подействовали, то ли дала знать о себе усталость, но уснули почти сразу и проспали до завтрака.

Воздержавшиеся от любви

Под утро мне приснились девчонки в купальниках. Их было трое, симпатичных, одна лучше другой. Девчонки, без умолку смеясь, звали меня купаться. А я, испытывая сладкую истому, блаженствовал, лёжа на песке на берегу то ли реки, то ли озера, а может, даже моря, и никуда не хотел идти. Девчонки тянули меня за руки, за ноги, обнимали, даже целовали и поднимали за плечи…

Проснувшись, я увидел Стёпу сидящим на диване и записывающим в блокнот новые строки. Лица и улыбки девчонок ещё стояли перед глазами. Впечатлённый сновидением, я решился было рассказать про сон приятелю, но он меня опередил.

Оторвавшись от блокнота, Степан неожиданно сказал:

— Сегодня всю ночь меня девки мучили.

— В каком смысле? — ошарашенный, задал я ему глупый вопрос.

— Тащили меня за руки и уговаривали на «Мерседесе» кататься…

Когда я, задыхаясь, рассказал ему о своём сне, Стёпа выпустил из рук блокнот и уронил на пол авторучку.

— Это неспроста! — воскликнул поэт-лауреат. — У меня прямо во сне такая ломота началась, что даже домой захотелось, к жене.

— А может, это тоже последствия «Доширака»? — предположил я.

Степан задумался, но ничего не сказал, лишь поднял с пола авторучку и снова записал несколько строк в блокнот.

Пока собирались на завтрак, я нашёл пуговицу от свой рубашки, спрятавшуюся в уголке кресла.

Я был рад находке и поделился новостью со Стёпой.

— А я вот, наоборот, носок потерял, — сказал на это лауреат патриотического конкурса. — Вчера выложил из сумки на диван четыре носка, а утром смотрю — три. Куда один девался? Под диваном нет, под кроватью — тоже, и на полу не валяется.

Степан надел два парных носка, оставив одинокий на диване, и мы отправились на завтрак.

После завтрака настроение наше поднялось. Вчерашние приключения в санузле показались мне недоразумением, и я был уже полон мыслями о предстоящих встречах в столице с друзьями и ещё не знакомыми мне людьми. Стёпа, кажется, тоже забыл о вчерашнем неприятном путешествии на первый этаж и непарном носке на диване.

В общем, мы, как обычно, собрались, совершили марш до железнодорожной платформы, благополучно втиснулись в электричку. Ну а дальше — Киевский вокзал, метро, встреча с друзьями. День снова пролетел как сон. В компании двух поэтесс — Инессы и Велесы — мы съели по два чебурека у станции метро «Баррикадная», под знаменитой московской сталинской высоткой. Поэтессы читали нам свои стихи: Инесса — на манер Поля Верлена в переводе Бориса Пастернака, а Велеса — в стиле русских былин. Я хвалил их и хлопал в ладоши, оценивая стихотворок не за их вирши, а за женственность и привлекательность,

и когда Славер, не терпящий фальши в поэзии, пытался их критиковать, я, как бы случайно, опрокидывал его стаканчик с чаем. Дважды чай выливался на асфальт, один раз на куртку лауреата. После каждого чаепролития я доставал из кармана мелочь и отправлял Степана за новым стаканчиком с горячим чаем и, как полагал, тем самым гасил возможные недоразумения на самой их начальной стадии. Поэтессы мне понравились ещё и потому, что были похожи на девчонок из моего сна. Я даже подумал пригласить их к нам в переделкинский Дом творчества, но они, называя нас ласково Сереньким и Стёпочкой, наперебой говорили, что они наши литературные сёстры. Получалось, что мы были им почти родные братья. Мы со Степаном хоть и были поэтами, но выводы сделали: с собой их так и не позвали.

А московская осень дарила нам ещё один хрустальный денёк. Солнце пригревало по-летнему и ласкало и нежило нас. Хотелось любви и восторга, хотелось общения с прекрасными поэтессами, долгого и даже нескончаемого разговора с женщинами, ранее не виданными нами, хотелось бродить по московским улицам и скверам бесконечно и говорить, и слушать, и снова говорить…

Хотелось…

Наверное, всё же хотелось больше мне. Хотя и Степану, видимо, тоже. Правда, ему ещё всё-таки хотелось провести разбор творчества поэтесс и вынести свой вердикт. Я мешал ему как мог. Даже рассказывал анекдоты.

Девчонки расцеловали нас по-родственному уже в глубоком подземелье, где мы разъехались в разные стороны, договорившись встретиться завтра у памятника Первому Поэту Всея Руси. Стёпа на прощание всё же хотел что-то сказать поэтессам про их стихи, но, поцелованный сразу с двух сторон, закрыл рот, едва разинув.

По пути в Переделкино, в электричке, Степан поведал мне свою тайну, сообщив, что деньги на мелкие расходы у него кончились и ему придётся вскрыть заначку, зашитую супругой в нижнем белье. Стёпа не уточнил—где именно, а я не спросил. Там же, в электричке, вспомнив вдруг вчерашнее приключение, я сочинил несколько вариантов четверостиший, остановившись на вот таком, более приличном, чем остальные:

> Чтоб мужской торчал прибор,
> Вёл желудок разговор,
> Чтоб в стихах ты был мастак—
> Ешь почаще «Доширак»!

Сочинил, наверное, ещё и потому, что понял, что на ужин мы опять опоздали и нам придётся снова, проходя мимо павильона, купить колбасы, хлеба, апельсинового сока и лапшу «Доширак».

Стёпе Славеру такое зачитать я не рискнул, но когда мы пришли в свой номер, загрузив в павильоне пакеты традиционным набором продуктов (водку в этот раз не брали), я размашисто записал эти четыре строчки на листочке своего блокнота, оторвал и прикрепил на скотч в санузле, рядом с зеркалом.

Сделал это после того, как мы съели купленную лапшу и я пошёл принимать душ, а Степан, как всегда, взялся за блокнот и авторучку, устроившись на диване.

Прикрепив листочек со стихами, я отрегулировал потоки воды и встал под душ, на этот раз напевая:

> Москва златоглавая,
> звон колоколов,
> Царь-пушка державная,
> аромат пирогов.

Я пел и вспоминал горячие чебуреки на «Баррикадной», симпатичных поэтесс—неестественно белокурую Инессу и естественно-живую Велесу, отдавая предпочтение Велесе за искренность в глазах и толстую русую косу до пояса. С перекинутой через плечо косой, в лёгкой сиреневой косыночке, Велеса была божественна, как сама Лада.

С чувством лёгкой влюблённости, уже выходя из санузла, я подумал, что «Доширак» всё же не так виноват в наших со Стёпой вчерашних желудочных проблемах. Вчера нас выжал фестиваль, и мы расслабились, а сегодня нас вдохновили Инесса с Велесой и мы прекрасно себя чувствуем, даже поев лапши.

Мысли мои в этом направлении укрепились ещё прочнее, когда я глянул на Стёпу, увлечённо записывающего свои вирши в свой разбухший от стихов блокнот и не обращающего на меня внимания. Поняв, что мне снова убирать со стола, не мешая приятелю, я упаковал в контейнеры из-под лапши, всё, что нам уже было не нужно, и понёс к мусорному ведру в санузел. Листочек рядом с зеркалом сразу бросился в глаза. Я подумал, что теперь строки, записанные мною, не так актуальны, но снимать листочек не стал: пусть останется для истории.

Я бросил мусор в ведро и замер на минуту. Желудок молчал. Концерт не начинался. Оркестранты и солист сегодня отдыхали.

—Серый, я тут Инессе посвящение написал,— сказал мне Стёпа, едва я снова появился перед его очами.—Она хоть и прозападные стихи пишет, но красивая. Сочинил ей пожелание: от корней не отрываться. В душ схожу—Велесе напишу. Тоже красивая… Завтра им прямо под памятником Первому Поэту России и прочту.

Лелеющие унитаз

Стёпа разделся до трусов, сунул ноги в тапочки-сланцы и довольно-сияющим пошлёпал в совмещённый санузел.

Я же сел в кресло и включил телевизор. Искоса глядя на экран, ожидая новостей спорта, раскрыл сумку, достал несколько подаренных мне сегодня книжек. Среди них были небольшие сборники стихов Инессы и Велесы.

Брат сибирский дорогой!
Не забудь сестру свою, девицу,
И октябрьские звёзды над Москвой,
И счастливые сияющие лица!
Нашей встречей буду я гордиться!—

было начертано Велесой на сборнике, подаренном мне. Инесса написала на своей книжке следующее:

Серому от Белой,
Сибиряку от москвички,
Поэту от поэтессы.
Мои стихи—Вам…

Интересно, что они там Славеру написали?

Читать стихи из сборников я не стал, а, полюбовавшись фотографиями столичных див на обороте обложек, вложил в сборнички по кленовому листочку вместо закладок. Уложив эти и другие книжки в большую сумку, где уже лежал с десяток подаренных мне и упакованных для путешествия в Сибирь сборников, я решил попить чаю.

После ужина на столе оставались два кружочка колбасы и кусочек хлеба. Я хотел было отрезать ещё колбасы, но, не найдя на столе ножа, решил обойтись тем, что было.

Дождавшись спортивных новостей и узнав, кто и как с кем сыграл в набирающем ход чемпионате страны по футболу, я переключился на передачу о культуре и литературе.

Прошло примерно полчаса, прежде чем я вспомнил о Степане. Сбавив громкость телевизора, прислушался. В санузле было тихо: ни шума воды, ни шуршания, ни кряхтения.

— Стёпа, ты живой?—спросил я, подойдя к двери туалета.

Степан не ответил.

— Стёпа!—громче позвал я друга.—Степан! Ау!

— Щас, Серый, щас…—услышал я наконец неуверенный голос первого сибирского поэта.

— Всё в порядке?

— Да, всё,—сказал Степан и открыл дверь.

Он стоял в трусах и сланцах, без полотенца на шее, совершенно сухой.

Сделав шаг вперёд, я обомлел: пять пятитысячных бумажек в ряд краснели, разложенные по краю ванны. Будто только произведённые на свет, ещё сырые красные бумажки доходили здесь до кондиции. В умывальнике, что под зеркалом, между ванной и унитазом, лежал потерянный со стола нож. Чуть выше и левее белел прикреплённый скотчем листок с моим четверостишием. Сам Стёпа стоял, чуть пригнувшись, словно готовясь к рывку, и растерянно глядел на меня.

— Ты чё, тут бабло печатаешь?..—сам не ожидая от себя, шёпотом спросил я приятеля-пиита.

— Серый…—так же тихо сказал мне друг-сибиряк и кивнул на унитаз.—Я их оттуда выловил…

Я осторожно подошёл к универсальному тазу и осторожно заглянул.

В прозрачной воде ни денег, ни чего другого не было видно.

— Больше не видно,—продолжал тихо говорить Славер.—Но должно, наверное, быть ещё… Одна или две купюры…

— Откуда они там?

— Не знаю… Выплыли…

— Сами?

Степан пожал плечами.

— Сами выплыли?—повторил я вопрос.

— Ну да…— замялся Степан.—Я хотел сначала присесть, но глянул туда, а там—плавают…

— Может, они из бачка смывного туда попали?—предположил я.—Что-то мало верится, чтобы снизу выплыли…

Я снова заглянул в слегка шипящий унитаз: деньги не выплыли.

— Интересный случай…

Я был в недоумении, скажу больше—в растерянности. Мне не один раз в жизни приходилось находить деньги: и мелкие монеты, и крупные купюры. Они чаще попадались на улицах, на рынках, на вокзалах и в магазинах, лежащими на земле, на асфальте, на полу… Но чтобы купюры выплывали из унитаза!..

— Ну, раз ты утверждаешь, что деньги выплыли снизу, то они и вправду могут выплыть ещё…—сказал я, подумав.—Нам пока бросать в унитаз ничего не надо и слив делать не надо… Будем ходить в туалет на первый этаж…

— Ладно,—кивнул Степан.—А помыться можно? Это не повлияет на состояние унитаза?

— Да мойся, конечно,—разрешил я.—На унитазе это не отразится. Ты только деньги убери с ванны, разложи лучше возле батареи и мойся.

Степан снова кивнул, и я, оставив его, пошёл на первый этаж. В разведку.

— У вас там что-то случилось?—спросила меня встревоженно белокурая дежурная—дочь сибирячки, выдававшая нам ключи в день заселения.

— Да нет, всё нормально,—успокоил я её.—Просто приятель там, в ванной, моется, а мне в туалет нужно…

— А я уж подумала, что у вас там что-то сломалась. Вчера друг ваш санузел искал, теперь вы…—сказала она уже спокойнее.—Дверь налево от лестницы.

— Спасибо.

Я задержался в туалетной комнате подольше, с намерением до утра больше не ходить. Но всё же под утро не выдержал, а после завтрака завернул налево от лестницы ещё раз.

Степан за ночь бегал дважды. И я, и он, уходя на первый этаж, проделывали маршрут через наш санузел и заглядывали в унитаз. Вода в нём оставалась прозрачной. Ни пятитысячные, ни тысячные, ни другого достоинства купюры всплывать больше не хотели.

Той ночью я просыпался ещё раз от негромкого стука и шороха. Степан, кряхтя, отодвигал кресло в комнате и заглядывал под диван, высвечивая там маленьким фонариком, который всегда возил с собой.

Утром он мне объяснил, что искал потерянный носок.

— Зато нашёл вот… твою пуговицу.

Степан протянул мне на ладони пуговицу из разряда таких же, что были на моей рубашке.

— Да я же вчера нашёл…— растерялся я, принимая пуговицу и проверив карман рубашки, куда положил вчера найденную на кресле.

Вчерашняя пуговица была там. А откуда взялась эта?

— Ладно, будет запасной…— улыбнулся я другу, укладывая его находку в тот же нагрудный карман рубашки.

Уходя на завтрак, мы вместе зашли в санузел и поочерёдно заглянули в унитаз. Чистота и прозрачность поражали. В кафе, до завтрака и сразу после него (на всякий случай, для профилактики, как сказал Степан), мы поочерёдно посетили тамошний туалет.

Не выплыли купюры и перед нашим уходом на электричку.

На этот раз нам повезло: в вагоне электропоезда народу было немного, и нам даже удалось найти свободные места. Не мешая думать лучшему пииту Сибири, я записал в свой блокнот такие строки:

А чудеса случаются:
Есть чудо-унитаз—
Купюры там купаются.
Степан поймал пять раз.
Мы возле унитаза
Дежурим по утрам,
Но пока ни разу
Поймать не смог я сам—
Ни тыщи, ни полтыщи,
Ни сотни, ни полста.
Об этом только мысли,
Об этом лишь мечта.
Мы таз универсальный
Лелеем, бережём.
В него мы натуральное
Не льём и не кладём.
Забыв предназначение,
Потребности забыв,
Мы ловим вдохновение,
Не дёргая за слив.

Конечно же, я не рискнул такими виршами потревожить думы лидера сибирских поэтов. Как только показалась платформа Киевского вокзала, я спрятал свой блокнот поглубже в сумку и тронул за плечо задумавшегося Славера:

— Нам сходить…

Пленённые Концентратом

У памятника Главному Поэту Отчизны мы встречались не только с Инессой и Велесой. Там нас ждал ещё и мой друг по Литературному институту Ярослав Армавиров, приехавший в столицу на фестиваль поэзии из Ставрополья. Все вместе мы собирались в Центральный Дом всех литераторов всей страны, где в легендарном кафе-подвальчике в два часа пополудни назначил нам встречу инициатор патриотического фестиваля Сева Молотков. Мы действовали по его плану.

Когда мы со Степаном вышли из подземного перехода в районе станций метрополитена «Пушкинской», «Чеховской» и «Тверской», Ярослав уже фотографировал Инессу с Велесой на фоне памятника Величайшему Поэту. Я сразу же виновато начал извиняться за то, что мы приехали позже всех, приплетая в причины электричку и завтрак по расписанию.

— Не стоит извинений,— оборвала меня Велеса и, взяв под руку, добавила:— Все знают, что вы за городом живёте. Это нам здесь на метро почти ничего не стоит до центра добраться.

Инесса держала под руку Ярослава. Оставшийся без пары, стоявший между нами и напротив памятника Стёпа Славер не растерялся и начал громко читать стихи, посвящённые нашим поэтессам. Когда он закончил, Инесса и Велеса, не отрываясь от нас с Ярославом, уже держали стихотворца с двух сторон под руки. Вот такой плотной группой мы и сфотографировались вначале на фоне Тверского бульвара, а потом у памятника, попросив нажать на кнопку фотоаппарата прохожего молодца.

Потом мы прогулялись вниз по Тверской до Красной площади, по пути зашли в знаменитый книжный магазин, где Ярослав приобрёл большую книгу литературоведа Юрия Лотмана «Беседы о русской культуре». Запечатлевшись на фото возле Кремля и ГУМа, мы прошлись по Александровскому саду до Боровицких ворот, вышли на улицу Моховую, а потом на Большую Никитскую, долгое время носившую имя А. И. Герцена. Конечно же, наш неспешный путь лежал к Центральному Дому литераторов, к ЦДЛ, где, мы не сомневались, нас ждал в назначенное время неугомонный, вечно живой поэт Молотков.

Да, мы не торопились. Шли по улице, останавливались, фотографировались, читали стихи. Степан с Ярославом читку по очереди превратили в поэтическую дуэль. Особенно их шпаги обострились, когда мы подошли к фонтану-ротонде

«Натали и Александр», установленному у Никитских ворот в честь двухсотлетия Великого Поэта. Сфотографировались в ротонде, а потом на фоне церкви «Большое Вознесение», где венчалась великая пара. Остановились у памятника писателю Алексею Толстому, там же решив, что необходимо заглянуть и к его однофамильцу-графу Льву Николаевичу.

Чтобы выйти на Поварскую и к дому Ростовых, мы прошли мимо Дома литераторов, полагая, что до встречи с Молотковым у нас есть ещё час времени.

До чего всем нам было тогда хорошо! Мы чувствовали себя счастливыми! Столица располагала к себе нас, сибиряков, и нашего друга из Ставрополья гостеприимством и погодой. Москва радовалась нам и нашим поэтессам-москвичкам, продолжая шуршать золотом клёнов, бросая нам под ноги резные листья. И мы восторгались непрерывно. Я — от встречи с поэтессами, особенно с Велесой, Ярослав — от счастья побывать на фестивале и встретиться с нами, Степан — от сочинённых здесь им стихов, Инесса и Велеса — от общения с литературными братьями, которых стало больше на одного благодаря Ярославу, и ожидания скорой встречи с ещё одним — Молотковым. И солнце, взобравшись в самый зенит столичного неба, жёлтым алмазом сияло для всех и показывало, что оно сейчас в хорошем расположении к Москве, москвичам и приезжим.

Сфотографировавшись возле Льва Николаевича и прославленного им на века дома дворян Ростовых, мы с Ярославом помахали на всякий случай в окно второго этажа, где находился офис нашего крёстного литературного отца по столице — Леонида Васильевича Критика-Байкальского, главного редактора «Поэтическо-прозаического Парнаса» и по совместительству президента Академии российской словесности. Помахали на всякий случай: вдруг он там, за шторкой, за своим рабочим столом? В план Молоткова, обрисованный нам на сегодня, наше посещение офиса редактора и президента не входило, поэтому мы заходить к крёстному папе не стали, а поспешили в ЦДЛ.

Центральный дом литераторов России и ближнего зарубежья всегда притягивал приезжающих в столицу писателей и поэтов. Попавшие на деньдва, а то и на месяц в Москву литераторы, как правило, стараются выкроить время и заглянуть на какое-нибудь мероприятие в ЦДЛ, и большинство из них обязательно спускаются в знаменитый писательский подвальчик — выпить по сложившейся традиции сто (двести, триста, а то и более) граммов «Столичной» водки и закусить порцией (а то и двумя) почти что фирменной солянки. Ресторанчик этот описан в нескольких литературных произведениях известных всей стране писателей и даже не знакомым многим в России поэтом из Байкита по фамилии Неизвестных. Мы со Стёпой Славером видели этот подвал в фильме «Козлёнок в молоке», снятом бригадой из трёх режиссёров по роману популярного с молодых лет Юрия Полякова. Знаком подвальчик и сам Дом писателей и Ярославу-ставропольскому. В ЦДЛ мы ходили с Яриком каждую пятницу в бытность нашу учащимися Высших литературных курсов, пробираясь дворами из Литературного института на творческие встречи. Заглядывали и в подвальчик, выделяя из скромной стипендии гроши на чай и бутерброды. В большом зале мы встречали Юрия Бондарева и Мустая Карима, приветствовали девяностолетнего Сергея Владимировича Михалкова и всегда молодую Беллу Ахатовну Ахмадулину. В переполненном малом зале попали один раз на выступление Евгения Евтушенко, а в фойе, у книжной лавочки, бывало, сталкивались с Валентином Распутиным, Константином Ваншенкиным, Егором Исаевым и ещё многими, многими и многими…

А скольких знаменитых артистов театра и кино видели мы на сцене ЦДЛ! Георгий Жжёнов, Михаил Ножкин, Василий Лановой, Сергей Никоненко, Лидия Скобцева, Людмила Зайцева… Всех даже не перечтёшь!

Отсюда мы и провожали в последний путь ставшего при жизни классиком поэта Юрия Кузнецова.

Ярослав первым оказался возле стеклянной двери ЦДЛ и, открыв её, пропустил сначала Инессу с Велесой, а потом и нас со Степаном.

— Вы обедать, ребята? — спросил на входе улыбчивый охранник.

— Да, обедать, — ответил за всех Ярослав.

— Проходите, проходите! У нас вкусно готовят. Прямо, направо, вниз!

Охранник, не гася улыбки, сделал несколько дирижёрских движений, показывая, куда нам следовать, и мы, не вступая в разговоры, пошли по указанному им направлению.

Молоткова ещё не было. Пока раздевались, Ярослав переговорил с кассиршей и сообщил, что нам разрешили сдвинуть два столика у стенки в средней части зала.

Степан и девчонки сели за столик, а мы с Ярославом пододвинули впритык ещё один и, подставив два стула, устроились рядом. Впрочем, скорее, устроился я, а Ярослав, присев на полминуты, тут же поднялся и пошёл заказывать обед.

Нам принесли шесть порций солянки, шесть отбивных с гречкой, окроплённой подливом, графинчик с водкой.

— Я на Севку тоже заказал, — пояснил Ярослав, — должен уже быть… С утра звонил, предупреждал, чтобы я не опаздывал, а самого нет что-то… Давайте немного подождём. Минут пять…

Через пять минут Сева не появился, не пришёл и через десять. Солянка остывала, водка выдыхалась, и мы решили выпить по пятьдесят граммов, закусив горячим.

— Я рад, что мы вместе,—сказал короткий прозаический тост ставропольский поэт.

Мы кивнули и сдвинули рюмочки в центре стола. По негласному сигналу Ярослава выпили почти одновременно и взялись за ложки.

Божественная солянка заблаженствовала во рту, протекла, согревая, по трубочке горла и, достигнув желудка, ублажила пищевод. Я не стал выяснять состав блюда, не торопясь делал черпачок за черпачком, неспешно пережёвывал, глотал и наслаждался. Остальные ели азартно, не поднимая голов. Совершив с утра долгую прогулку по столице, мы нагуляли аппетит, и теперь он командовал нами.

Молотков появился неожиданно. Словно вырос за спиной Ярослава, сел на свободный стул.

— Не знаю, что и делать,—сказал он, не здороваясь и не снимая осенней куртки.—Тут ко мне Концентрат прицепился, а я не смог от него отвязаться.

— Какой Концентрат?—потребовал от него ненавязчивого объяснения Ярослав, доев первым свою солянку.

— Да Витамин…—попробовал пояснить Молотков.—Стихотворец один здешний… Не совсем нормальный… Встретил меня возле «Баррикадной» и не отстаёт. Я два круга дал тут, а он за мной ходит, спрашивает, почему я его на фестиваль не пригласил. Там его ещё не хватало!

— А где он?—спросил Ярослав, отодвинув пустую тарелку и потянувшись к другой—с отбивной и гречкой в подливе.

— Пришлось сюда с ним идти. А что ещё делать?—говорил Молотков, расстёгивая молнию куртки.—Он в туалет пока, а я к вам—предупредить. Может, оттуда выйдет, искать меня не станет?

Молотков посмотрел на всех с надеждой и наконец поздоровался: нам со Стёпой кивнул, а девчонкам устало улыбнулся.

— А что он нам сделает, если и найдёт?—поинтересовался Ярослав, пока мы заканчивали с солянкой.

— Да он вообще ничего не даст никому сделать. Даже слова сказать не даст! Его только и будем слушать.

Молотков поднялся, снял куртку, повесил её на спинку стула и снова сел.

— Ну и ладно…—сказал на это более инициативный Ярослав.—Посмотрим, когда придёт. А пока давайте ещё по пятьдесят граммов. У нас гречка остыла уже, а ты, Севка, солянкой закусывай.

Я, Стёпа и Велеса с Инессой снова подчинились команде ставропольского поэта. Рюмочки (на этот раз шесть) опять сдвинулись и повисли в центре стола.

— За встречу, друзья! Рад всех видеть!—сказал Молотков и выпил первым.

Московский поэт после «Столичной» набросился на цэдээловскую солянку, а мы уже орудовали ножами и вилками, разбирая на части отбивные и заедая гречкой с подливом.

Концентрат, названный Молотковым ещё и Витамином, как и многие московские пииты или давно окопавшиеся в столице стихотворцы, тоже имел способность появляться в нужных ему местах неожиданно-незамеченным. Сначала мы услышали полубас-полухрип, а потом уже увидели стоящего за спиной Севы седого длинноволосого небритого человека в выцветающем френче, когда-то имевшем чёрный цвет.

— Пока я в писательском сортире порядок навожу, поэт Молотков уже к столику пристроился и ровняет себе шею с ушами!

Человек засмеялся, разбрызгивая при этом слюну прямо над головой нашего друга, и мы догадались: что это и есть Концентрат-Витамин.

Сева опустил ложку в тарелку и замер. Но не остановился Ярослав: он решил взять сегодня на себя бремя нашего лидера.

— Вам кого, товарищ?—спросил он возникшего из ниоткуда человека, держа в одной руке ножик, а в другой вилку.—Мы все вот здесь—друзья. Съехались из разных городов страны в столицу нашей Родины—город-герой Москву, встретились и решили отметить нашу встречу. Вас мы не знаем и к себе за стол не пригласим. Не надейтесь и идите своей дорогой.

Но Витамин ни грамма не смутился.

— Ты-то вот, землячок, допускаю, обо мне, может, и понятия до сегодняшнего дня не имел, как и вот эти два залетевших на московский листопад красавца,—сказал он, кивнув на нас со Стёпой.—А вот Молотков Всеволод Иванович, поэт и организатор фестивалей, знает меня уже лет двадцать. И этим девицам я тоже знаком, хотя представлен им пока не был. Так что пятьдесят процентов вашей компании обо мне знают, а потому я беру на себя смелость и право присоединиться.

Витамин за годы жизни в столице, видимо, приобрёл сноровку не только появляться неожиданно там, где ему надо, но и способность вживляться в разные компании с ходу, с напору и с натиску.

Концентрат взял стул от соседнего стола и бесцеремонно втиснул его между Молотковым и Славером.

— Всё же позвольте представиться,—с поклоном, приседая и раздвигая Севу со Стёпой, произнёс он басовато-хриповато,—Виталин Концентратов—поэт московских тусовок и подмосковных вечеров. В имени прошу делать ударение на последний слог.

Все, включая Молоткова, молча смотрели на нахально внедряющего в нашу компанию человека.

А поэт тусовок и вечеров, видя нашу растерянность, плеснул из графинчика в опустевшую Севкину рюмку «Столичной», быстро выпил и,

не дав никому опомниться, вцепился вилкой Молоткова в его же отбивную.
— Концентратов — это псевдоним? — спросил пришедший в себя первым наш лидер — поэт из Ставрополья.
— Да, конечно же! — воскликнул Молотков, понявший, что его не только объедают, но ещё и обпивают. — На самом деле это — пытающийся выдать себя за известного поэта некто Виталий Синепопов.
— Я член Союза! — прохрипел Концентратов-Синепопов. — И Синепоповым я никогда не был! Это враньё! Наглая выдумка завистников.
— Только мне не говори! — пошёл в атаку Молотков. — Я твои документы видел в приёмной комиссии в Союз и знаю, как ты туда вступил!
— Вступил, как все нормальные настоящие поэты, — не смущаясь и прожёвывая отбивную, сказал Концентратов. — Не вступил даже, а впорхнул, влетел на Пегасе на второй этаж особняка на Комсомольском проспекте. А потом… — Виталин, названный Севой Виталием, перестав жевать, поднял над головой вилку. — А потом покорённая моими стихами и облитая слезами комиссия долго аплодировала мне стоя… И я ушёл оттуда с членским билетом в кармане и долго-долго летал над столицей.

Виталин Концетратов, по другим данным — Виталий Синепопов, бросил вилку на стол и посмотрел на нас. На всех по очереди.
— У меня, как у настоящего поэта, много завистников и недоброжелателей, — сказал он, остановив взгляд на Молоткове. — Я не отношу тебя, Сева, к таковым, но с фестивалем в этот год ты меня прокатил. Ну и ладно, прощаю. Зато меня в Мытищи, в Люберцы, в Королёв постоянно выступать приглашают. Любят меня там и пожилые, и молодые. Особенно поэтессы начинающие.

Виталин снова рассмеялся и снова обрызгал слюной Молоткова.
— Ну ладно, ладно… — укрывая лицо рукой, чуть отодвинулся Сева. — Ты только, Виталий, стихов нам не читай. Мы уже заканчиваем тут и расходимся по своим делам.
— Да не буду я, не буду, не беспокойся, — закивал Концентрат, выливая из графина остатки водки в рюмочку Молоткова. — Хотя, может, и надо было… Я сейчас в туалет здешний зашёл, а там все четыре кабинки заняты и очередь человек из десяти стоит. Думаю, дай посмотрю, чем тут так кормят, что народ косяками в сортир валит. Гляжу — и вправду вкусно готовить научились. Отбивная — шик!

Концентратов-Синепопов выпил водку и стал доедать молотковскую отбивную.

Мы переглядывались и молчали, пока он ел. Сидели как угодившие под гипнозом в концентратовский плен. Мне показалось, что попроси Виталин у нас ещё водки и закуски — мы бы ему уступили.
— Красивые девчонки, — доев отбивную и доскребая гречку, проговорил Концентрат, довольно и с аппетитом поглядывая на Велесу с Инессой. — Меня на той неделе вот такая же вот пригласила к себе после творческой встречи. Поехали к ней в Строгино. Прошли тихонько, чтобы соседи внимания не обратили. Ну, она там столик организовала: коньячок хороший, лимончики-мандаринчики, сервелат, икорка… Пока поэтессочка ванную принимала, я не удержался — раза три к рюмочке приложился, шоколадом закусил… И, видать, от коньяка-то (я обычно лучше водочку, но в гостях же не будешь командовать: что дают, то и пьёшь) у меня давление поднялось. Носом кровь пошла… Эта Наташа из ванной выскочила, не знает, что делать. А я уже брюки себе кровью закапал, и скатерть, и палас подкрасил… Она вату бросилась искать, не нашла, дала мне бинт. Я в норку себе с полметра затолкал, брюки снял, на диван лёг вверх лицом, а кровь через рот пошла. На подушку, на диван полилось… Она мне какое-то покрывало принесла, я и его тоже уделал… Не знали, как остановить. Я ещё две рюмки коньяку выпил, но не помогло. Пришлось скорую вызывать. Зря от соседей таились, полдома видели, как меня на скорой увозили. Да и увезли ещё в одних трусах… И брюки, и рубашка, и сумка с телефоном и деньгами — всё у неё осталось. Представляешь? — обратился почему-то к Славеру захмелевший уже Виталин-Витамин. — Я в одних трусах в больнице скорой помощи. Они мне там что-то в нос впрыснули, укол поставили, кровь бежать перестала. И всё: гуляй, Виталя! Иди, мол, домой, поэт Концентратов. Позвонить разрешили, правда. А я поэтессы этой, Наташки, фамилию даже не знаю, не то чтобы номер телефона… Дозвонился до одной бывшей, привезла она мне брюки какие-то — джинсы с дырками — и рубашку такую же. Дала сто рублей на автобус…
— Ну а потом? Вещи свои вернули? — спросил с участием Славер.

Остальные молча смотрели на говорившего: Инесса с Велесой — чуть смущённо, я, Ярослав и Сева — с видимым желанием услышать конец рассказываемой истории.
— Да, конечно, вернул… — взмахнул рукой и ударил по столу Витамин. — Чтобы Концентратов да не вернул! Она сама меня нашла и привезла всё…

Не знаю, как бы мы освободились от надоевшего нам поэта Виталина Концентратова. Скорее всего, Ярослав бы снова взял инициативу на себя и дал команду заканчивать трапезу. Сам Концентрат расставаться с нами не спешил. Но тут нам был послан свыше зашедший вдруг в кафе-подвальчик наш любимый наставник Критик-Байкальский.

Он искренне обрадовался нам с Ярославом. Мы не виделись лет пять, и Леонид Васильевич, крепко пожав нам руки, стал приглашать в свой офис.

Мы сразу же дружно и облегчённо поднялись и облегчённо почувствовали, что освободились от концентратовского гипноза. Виталин же не хотел нас отпускать от себя и засобирался было с нами.

Заметив это, редактор «Поэтическо-прозаического Парнаса» и президент Академии словесности порыв поэта подмосковных вечеров остудил, задав ему простой вопрос:

— Ты когда мне, Виталя, двести рублей занесёшь?

Виталин-Виталий тут же замер.

— Третий год уже пошёл, как ты на два дня у меня занял. Учти, инфляция уже в пять раз их подняла за это время. Так что сам считай, сколько это теперь будет по нынешнему курсу…

— Леонид Васильевич, я отдам, я…—замялся поэт тусовок и вечеров.

Блеск в его глазах мгновенно угас, улыбка растаяла, и он как-то сразу стих, сник, стушевался. Будто спрятался в свой выцветший, когда-то бывший чёрным френч.

Улетающие из сказки

Вечером, перед самым нашим отъездом в аэропорт, небо вдруг нахмурилось. Столица то ли сердилась на нас, то ли не хотела отпускать, пугая нелётной погодой. Москва подарила нам семидневную золотую сказку, и теперь сказка заканчивалась. Сказка с добрыми и не очень персонажами, с героями, прилетевшими из-за тридевяти земель, показавшими свою удаль и улетающими теперь из царства золотой осени в своё—суровое, каменное, хмурое. Герои встретились в доброй сказке со старыми верными друзьями, обрели новых и возвращались теперь домой с победой и надеждой на новые встречи.

Ещё вчера улыбалось нам солнышко, мы бегали за чебуреками к станции метро «Баррикадная», пили чай на Поварской у Леонида Критика-Байкальского и строили планы творческие и жизненные, смотрели в окно на великого и каменного Льва Николаевича Толстого.

Ещё вчера мы шли, счастливые, компанией из шести человек пешком от Поварской до Киевского вокзала.

Ещё вчера мы с Велесой жали друг другу руки и расставались со страстным поцелуем и лёгкими слезами.

Ещё вчера Славер с Ярославом обменивались поэтическими сборниками, подписывая книжки один оригинальнее другого.

Ещё вчера жал нам руки сияющий Молотков, взяв с нас обязательство участвовать в фестивале на будущий год.

Ещё вчера мы со Стёпой в последний раз зашли поздним вечером в знакомый павильон и, уже не из-за того, что были голодны, а скорее по сложившейся традиции, взяли две пластиковых упаковки «Доширака» со вкусом говядины и, придя в номер, залив кипятком, съели лапшу, даже без колбасы и хлеба…

Ещё вчера у нас впереди был целый переделкинско-московский день…

А вот сегодня всё заканчивалось…

Прибитые дождём кленовые ковры в двадцатый день десятого месяца уже были не так ярки, дубы и ясени шумели над головами и охапками бросали в нас листву.

Экспресс от Киевского вокзала промчался мимо Переделкино во Внуково, и как мы ни старались, выглядывая в окно вагона,—так и не увидели нового корпуса Дома творчества, где провели семь вечеров и ночей и где остался пустым без нас номер на четвёртом этаже писательской гостиницы. Где остались диван и кресло, с которыми связаны потери наших носков и пуговиц. Где остался не разгаданный нами чудо-унитаз, выбрасывающий пятитысячные купюры. Где жило своей жизнью, принимая новых посетителей, кафе, так и не покормившее нас обедами.

Шумный электропоезд, суетливый терминал аэропорта, неторопливая посадка, волнение перед взлётом—и вот мы уже летим над огнями столицы. Поднимаемся всё выше в тёмное небо. Повыше и подальше от Москвы, от Переделкино, от Молоткова и Ярослава, от Инессы и Велесы, от фестиваля патриотической поэзии, от встреч с друзьями и чебуреков на «Баррикадной», от переделкинского павильона, где продаётся лапша «Доширак»…

Улетаем из сказки.

Улетаем, забрав не только подаренные нам книги, собранные и набитые в сумки кленовые листья. Улетаем, унося с собой воспоминания—тёплые, грустные, щемящие в груди. Улетаем, ещё веря, но уже сомневаясь: а было ли на самом деле всё это?

Улетаем в суровую Сибирь, к угрюмому осеннему Енисею, в реальную творческую жизнь.

«Боинг-737» поднимается за освещённые луной облака, и мелкий моросящий дождик кончается.

А с ним кончается сказка…

Дарья Верясова

Из книги о Зое

Старший брат

Был бы у Сони старший брат, он бы посмотрел свысока на стопку её любимых книг, хмыкнул, а потом рассказал, что в стране настали перемены и надо читать не затёртые до лоска рассказы о пионерах-героях и прочую патриотическую ерунду, а правду. Правду о том, как СССР готовился первым развязать войну, о том, что навязанная народу официальная история—это ложь, о том, что Зойка твоя была придурочной. Да, именно так бы он и сказал: твоя Зойка была сумасшедшей поджигательницей, и весь смысл жизни её был поджигать чужие дома. Об этом писали в газете, разве может это быть неправдой? А книжки—что книжки? Раньше за неверно сказанное слово са-жа-ли. Он бы смаковал это «са-жа-ли», пока в воздухе не запахло огородом и костром, и ещё чем-то удивительным, но Соня взглянула бы в искажённое лицо брата, заревела и побежала к маме.

А мама бы сказала… мама бы сказала… сказала:

— Не выдумывай!

Не было у Сони старшего брата.

Зато был сын маминых друзей. Мишка был добрый, а ещё их связывало братское прошлое: импортная коляска голубого цвета, купленная Мишке за год до Сониного рождения, перешла по наследству именно к Соне.

Неподалёку от Мишкиного дома горел Вечный огонь. Почему-то полагалось бросать в него мелочь, но мелочи у детей никогда не водилось, и было обидно не соблюдать традицию.

— А зачем монетки, не знаешь?—как-то раз спросила Соня у Мишки. Родители устроили сабантуй, а детей отправили погулять. С утра сыпал снег, затем поработали дворники, и площадь вокруг Вечного огня была завалена сугробами, ослепительно-белыми на фоне чёрного зимнего неба. Такими же сугробами высились над вечной мерзлотой гранитные плиты с именами погибших на войне. Сейчас имена были спрятаны под толстым слоем снега, который надо было убрать. Шерстяные варежки быстро промокли и покрылись коркой от мороза, зато стало удобнее счищать снег—каждая рука была, как маленький экскаватор. Четыре экскаватора быстро справились с одной плитой. Пальцы внутри одеревенели, и дети решили отогреть их у огня. Тогда-то Соня и задала вопрос.

— А зачем монетки, не знаешь?

Мишка знал.

— Есть подземная река, она отделяет мир живых от мира мёртвых…—начал он важно.

— Мир мёртвых—это ад или рай?

— Всё вместе. Не перебивай. А на реке работает паром, только почему-то он не на «п», как обычные паромы, а на «х»—харом.

Мишка проводил лето у бабушки на большой реке без моста и точно знал, что такое паром.

— Чтобы переправиться с одного берега на другой, нужны деньги, вот живые и кидают монетки, чтобы мертвецам было чем расплатиться.

— А дальше?

— Дальше их высаживают, делят по грехам, ну и направляют, кого в ад, кого в рай.

— А если нет денег, чтобы заплатить?

Мишка пожал плечами:

— Будешь вечно скитаться по земле. Откуда, думаешь, привидения берутся?

Соня засомневалась:

— Но ведь огонь не для всех мёртвых горит, а только для тех, кто воевал. И для памяти.

— Для памяти,—согласился Мишка.—И плиты с именами вроде бы просто для памяти, а на самом деле под ними люди похоронены.—Он перешёл на зловещий шёпот.—Мы с тобой сейчас могилу раскапывали. Они там, под землёй охраняют переправу. Сколько тут—человек сто? Это рота. Как раз хватит, чтобы от врага обороняться. А чуть что—сами переправились, а враги вплавь. А мы их с той стороны—бац-бац, тра-та-та-та!—Мишка вошёл во вкус.

— Какие враги? Немцы? Там война ещё продолжается?—удивилась Соня.

— Ага! Они же умерли до того, как подписали капитуляцию.

— Я так и знала!

Действительно, такая война не могла закончиться бесследно, это Соня чувствовала каждое девятое мая. Пока в кино и книжках солдаты убивали друг друга, ни о каком мире речи не шло. И по-прежнему где-то поднимались в атаку полки, и хватались за пустой воздух подкошенные пулями люди, и некому было им сообщить, что наступил мир. Здесь, на северной земле было спокойно, и это

внушало подозрения. Война кругами ходит вокруг людей—подсознательно Соня это понимала всегда.

Где-то далеко, «на материке», строилась новая Россия, долетавшая до Крайнего Севера рекламой прокладок с крылышками и безопасного секса, но Соне не было дела до новой России, пока её мирок из мамы, отчима, школы и северного города находился в безопасности.

Ну и, конечно, Мишка.

— Погоди,—вспомнила Соня.—А как же рай и ад? Почему они не переправятся через реку?

— Ты дура,—сообщил Мишка.—Тогда никто в Бога не верил. А какой им рай, если они верят только в войну?

Соня подумала и согласилась. Оставалось решить, что сделать для того, чтобы война кончилась совсем. Если кинуть в огонь записку, она сгорит.

— Надо что-то металлическое,—авторитетно заявил Мишка.—Вот как медаль за Победу. Тогда и наши поймут, и немцы.

Соня кивнула.

Мишка любил фантазировать.

Соня завидовала тому, как здорово выдумывал он игры с мелкими иностранными монетами, которые собирали старшие обитатели дома. На монетах изображались люди, птицы и львы, под ними теснились иностранные буквы, а одна—Мишка утверждал, что японская—денежка была с дыркой посередине. Будь у Сони такая монетка, она носила бы её на цепочке на шее. Денежные столбики надо было сбивать то прицельным ударом крупной монеты, то кручёным, то в отскок от стены. Мишка умел складывать из бумаги зверей и птиц. А потом у него появился набор фокусника, и однажды во время семейного праздника он устроил Соню в первом ряду и стал, как на сцене, изображать волшебство. Соня сидела на ковре, а второй и третий ряд—диван и его спинка—предназначались для почётных гостей, которые непременно должны были явиться в разгар представления. Соня надулась—её не считали почётным гостем.

Мишка налил воду в стакан и перевернул его над головой. Вода крепко держалась за гладкие стенки, и Мишкина шевелюра оставалась сухой. Соня сдержанно поаплодировала.

Мишка показал колоду с дыркой посередине, вставил туда палец и со страданием на лице начал медленно вытаскивать одну карту. Соня смотрела во все глаза, она ждала, что отрезанная фаланга упадёт на ковёр, но карта опустилась обратно, а Мишкина рука осталась цела. Он глубоко вздохнул и утёр воображаемый пот со лба.

— Облейся водой из стакана,—посоветовала Соня.

— Запомни карту!—скомандовал он, показав половину колоды, затем перетасовал карты, повращал глазами, поводил руками и поднял в пятерне того же красного валета. Соня озадачилась. Другие фокусы были понятны и предсказуемы. Здесь же явно что-то было нечисто. Соня потребовала разоблачения.

Мишка сложил руки на груди и вскинул голову:

— Я, великий волшебник Микаэль ибн Бей, клянусь: тебе никогда не постигнуть секрета моего мастерства! Уста мои запечатаны, а печать настояна на молоке семи овец, выкормленных травой с южного склона горы Амальгамы!

— Иди нафиг!—окончательно обиделась Соня и попыталась вырвать у Мишки карты. Драка была короткой и победоносной для противника. Мишка двинул Соню кулаком, и она упала на диван, но разреветься не успела. В комнату заглянула Мишкина мама и позвала к столу, а почётные гости и без того уже звенели посудой в зале—взрослые игры были им интереснее. Мишка захлопнул заветный ящик и засунул его за шкаф.

В зале пахло всей едой на свете: жареная курица сплелась с ароматом огурцов и селёдки под шубой, вдали вился апельсинный запах, такой северный, такой зимний. Детей усадили за раздвинутый стол и Сонина мама начала говорить особым поздравительным голосом:

— Представь, что ты идёшь по лесу. Темно, страшно! И вдруг из-за кустов, из-за стволов к тебе лезут деньги и начинают тебя бить! И вот бьют они тебя, бьют, а ты отбиваешься от них!

Соня сползла со стула и, под пожелание никогда не отбиться от денег, вынырнула из зала. Путь её лежал в Мишкину комнату, и прежде чем отзвенели рюмки, Соня залезла в фокусную коробку. Стакан был с двойным дном, у карты в дырявой колоде был обрезан край, а целая колода попросту не имела рубашек, и сзади показывала то же изображение, что и спереди. Всё стало ясно.

— Мошенник!—возмутилась Соня и стала с Мишкой заклятым врагом, о чём он так и не узнал.

Напоказ ничего не изменилось, но ощущение того, что у Сони есть личный враг, которого она будет ненавидеть до конца жизни, доставляло удовольствие, несравнимое ни с какой—даже самой крепкой—дружбой. Мишка был красивый. Наверняка, он бы первым переметнулся на сторону фашистов, потому что такой красивый.

«Вот захватили нас в плен,—думала Соня,—в кандалы заковали, посадили в подвал. И ведут меня на пытки калёным железом, а его, наоборот, выпускают на волю. Целёхонького. В чистой футболке. И я смотрю на него с презрением, потому что предатель, а он жмётся к стене и опускает глаза, жалкий трус!»

Тут Соне становилось не по себе, и она придумывала Мишке другую судьбу: как будто сначала он смалодушничал и пошёл в полицаи, а потом стал помогать нашим подпольщикам и партизанам—где-то такое было, она читала. И когда не осталось никакой надежды, именно он, Мишка,

ценой собственной жизни помог Соне бежать. Она кожей ощущала мгновения, за которые ей удалось скрыться, оставляя за спиной гибнущего спасителя. Они свистели, как пули у виска, точнее, тянулись вдоль него, как резина, готовая сорваться и полететь назад с невероятной скоростью. Стоп, так тоже не годилось, потому что тогда она сама становилась предателем.

Наверное, лучше ей вернуться и погибнуть вместе с Мишкой, запев напоследок военную песню. В книжках все герои поют «Интернационал», но она его ни разу не слышала. Комелькова в кино пела о любви, а ещё «Катюшу», или был такой раскудрявый клён, или песня про эхо… Да, эхо как нельзя кстати! Правда, оно о любви, но раз они гибнут вдвоём, то это почти любовь.

«Его ранят, я склоняюсь над ним и хочу перевязать, но пуля ударяет в спину…»

Дальше надо было умирать, но умирать не хотелось, а логика событий иного исхода не предусматривала, и Соня злилась на Мишку тем больше, чем туманнее рисовалось их военное будущее.

Мишке не было дела до воображаемых подвигов, а про драку он забыл. Близилось лето, кончался первый класс, и, по словам родителей, сын становился совсем взрослым, потому что дальше — среднее образование, не заметишь, как выпускной, надо в институт, не дай бог, армия, времена страшные, нужна хорошая подготовка, здесь такой нет, надо переезжать в столицу. Мишка в планы родителей не вникал. Ему хватало мыслей об отъезде к бабушке в южный город и грядущей летней свободе.

Но зачем-то мама решила собрать в коробки зимние вещи, и убрать книги из шифоньера, а заодно разобрать и сам шифоньер. Мишка с отцом смахивали пыль с разноцветных томов и связывали их стопками.

— Как думаешь, — отец держал нетолстую книгу в серой обложке, — подарить Соне? Она такое любит.

— Про войну? — уточнил Мишка.

— Не про любовь же, — хмыкнул отец. — Или сам почитай. Тебе полезнее. А то свихнётся девчонка.

Мишка подумал и мстительно решил:

— Подарим.

Когда Соня узнавала о предстоящем походе в гости, она эмоций не показывала. На тот случай, чтобы отчим не придумал оставить её дома в наказание за что-нибудь. И Мишка, увидев её в коридоре, кивал и уходил в свою комнату. Этикет вражды не позволял отправиться следом, и Соня с нетерпением ждала, пока мама с отчимом снимали дублёнки, стряхивая с них уличный иней, который опадал мелким холодом. Затем все шли в зал, где был уже накрыт стол, и по телевизору ведущая местного канала добрым голосом зачитывала пожелания родившимся в этот день. Поздравляли дети, родители, коллеги, друзья. Подарками выступали популярные клипы. Соня мечтала, чтобы когда-нибудь и её так поздравили, но до детей и коллег было далеко, друзей у неё почти не было, а родители бы ни в жизнь не стали тратиться на ерунду.

В такие вечера Мишка всегда приглашал Соню поиграть: построить железную дорогу, сложить из разноцветных пластмассовых деталей город. В последние месяцы Соня холодно отказывалась, а мама возмущалась:

— Соня! Это невежливо! Поиграй с Мишей.

Маму приходилось слушаться, и Соня покорно шла играть с презираемым врагом, пряча радость, вспыхнувшую внутри. Мишка никак не мог понять, отчего злится Соня и поначалу всячески пытался её веселить. То на руках по комнате начнёт ходить, а потом с красным лицом и выпученными глазами падает на ковёр. То набросит простыню на голову и изображает привидение. То ноги за голову закинет и ползает по комнате, как краб.

«Вот дурак!» — думала Соня и осуждающе качала головой.

Мишке становилось скучно, и он уходил к родителям.

Расклеивалась дружба. Соня страдала.

В тот вечер Мишка не стал придуриваться, а сразу вручил Соне книжку.

— Тебе. Там про партизан, ты такое любишь.

— Ой! — сказала Соня и улыбнулась.

А Мишка покраснел.

В книге было несколько рассказов. В одном немцы ловили партизана, и, задержав, вели его в штаб. На допросе он молчал, а в конце вытаскивал из-за пазухи гранату, и, выдернув чеку, бросал в офицеров. Те успевали нырнуть под крепкий дубовый стол и потому оставались живы. Сам партизан погибал, и, оценив его мужество, враги хоронили его, как героя, с воинскими почестями. В другом рассказе почестей не было: группу разведчиков вели на казнь к виселице, и они, обнявшись, запевали песню и безоружными шли на врага. У немцев не выдерживали нервы, и они расстреливали разведчиков из автоматов. Потом, правда, всё равно вешали, уже мёртвых, — для устрашения населения.

Последний рассказ был самым интересным — он был про Зою. К тому времени Соня знала наизусть «Повесть о Зое и Шуре», которую написала их мать, и где ни слова не было о том, что Зою предал товарищ по отряду. В рассказе же подробно описывался допрос Василия, на котором тот рассказывал подробности их задания в тылу, пытки Зои и последний разговор главных героев в запертом чулане деревенского дома.

— Признайся, — уговаривал Зою Василий. — Они всё равно уже знают. Хоть жизнь сохранишь.

Зоя закусывала посиневшие губы и качала головой:

— То, что меня предали, не означает, что я должна стать предателем. Лучше смерть.

Соня читала и покрывалась мурашками. Она третьей мёрзла в чулане, она отчётливо слышала хриплый голос Василия и усталый шёпот обречённой девушки.

«Мерзавец!» — думала Соня, едва не плача. От холода, описанного в книге, её потряхивало, но мужество хрупкой девушки, погибшей, но не предавшей, горячило душу.

Мишкин подарок дорогого стоил, но сообщить ему об этом Соня не успела — наступило лето, а осенью он в город не вернулся…

Ведьма

Тем летом Соню отправили в летний лагерь на Азовское море. В родне нашёлся замдиректора крупного завода, которому лагерь принадлежал. Поговаривали, что именно с подачи замдиректора была выстроена белокаменная набережная, над которой ночами висела круглая жирная луна и где парочками прогуливались вожатые. Вожатая Сониного отряда с лицом скучным, как пропотевшая рыба, была года на три старше подопечных и с тревогой относилась к своему авторитету. Однажды Соня назвала её Леной и та взвилась костром:

— Елена Андреевна! Какая я тебе Лена!

Соня пожала плечами.

В лагере ей пришлось туго: правильный выговор сразу же насторожил остальных девочек, а когда соседка по кроватям, сильно хэкая, рассказала Соне о несчастной любви к Витальке из старшего отряда, та засмеялась и назвала это глупостями.

— А у тебя самой-то мальчик есть? — издевательски протянула соседка.

— Ну, есть.

— И как его зовут?

— Миша, — назвала Соня первое пришедшее на ум имя.

— А фамилия?

Назвать фамилию Соня не решалась — как будто тут же станет ясно, что она врёт, а такого унижения она перенести не сможет, — и Соня не находила, что ответить.

— Ага! Даже фамилии не знаешь! Да нет у тебя никого.

— Нет, есть!

— Если есть, значит, целовалась. Поцелуй Витальку, тогда поверю!

Соня не понимала, зачем ей целовать Витальку.

— У него зубы гнилые, — ответила она. — Сама целуй.

Соседка не преминула сообщить Витальке Сонино мнение, и тогда мальчишки измазали спящей Соне лицо и подушку жгучей зубной пастой, и наутро ей пришлось просить у вожатой другую наволочку. История стала известна начальству, мальчишек наказали, чтобы было неповадно другим. В отместку те украли и выкинули в овраг всю Сонину обувь. И ей опять пришлось жаловаться, и им опять влетело. Взаимная неприязнь нарастала снежным комом. Так Соня стала изгоем, с которым общались только в крайних случаях, но пакостили при любой возможности. Её шпыняли, толкали, обзывали, прятали одежду и лили воду в постель. Чтобы лишний раз не показываться на глаза мучителям, девочка почти перестала появляться в корпусе и получила кличку «бомжовка», особо неприятную именно женским родом. Неприязнь к Соне распространилась даже среди воспитателей и работников лагеря, что уже было обидно. Но был и свой плюс: за ней почти не следили и можно было делать что заблагорассудится.

Однажды вездесущие мальчишки принесли известие: в лесу неподалёку от лагеря стоит избушка ведьмы. Зовут ведьму Зоей, и она страшная. Тот, кто с ней встречался, тут же умирал, потому что Зоя выпивала из человека всю кровь. «До последней капельки!» — с наслаждением тянули мальчишки, а девочки охотно верили.

— Идиоты, — сказала Соня, — ведьм не бывает.

Она сидела неподалёку и делала вид, что читает книгу.

Ребята переглянулись.

— А ты, бомжовка, сходи к ней ночью, поглядим, вернёшься ли?

— Я схожу, а вот вам, уродам, слабо: хоть ночью, хоть днём. И сами вы бомжовки.

— Шо? Это кто уроды? — разъярились дети.

Соня отложила книгу. Внутри что-то мелко и противно дрожало, но она заставила себя встать.

— Совсем страх потеряла?

Соня смотрела на них и вдруг почувствовала, как кровью наливается лицо, сгибаются плечи и сжимаются кулаки. Она ощутила, как крепко стоит на земле и как — не покачнувшись! — врежет первому обидчику под дых, а потом второму по лицу. Будто лишние конечности отросли и заиграли силой. Каждый встречный удар она предвкушала и каждый свой слышала: треск, хруст, крик. Впервые она почувствовала наслаждение драки.

— Идите сюда! — с весёлой яростью заорала Соня. — Поговорим! Ну?

Ребята замешкались, а девочки напряжённо загоготали:

— Совсем чеканутая!

— Окей, — к Соне подошёл Виталька из старшего отряда, — пойдёшь сегодня одна. Мы тебе дорогу покажем.

Толпой довели её до лесной дороги.

— Чего? — спросил Виталька. — Иди!

И Соня шагнула в темноту. Первые метры она спиной чувствовала взгляды и не могла позволить себе трусость. Но темнота шевелилась по краям дороги, трещала и шумела. Когда Соня повернула

в сторону и скрылась из чужих глаз, страх влез в позвоночник, и никакими усилиями нельзя было его изгнать. Каждый шаг давался с трудом и был похож на последний в жизни: касаясь ступнёй земли, девочка вжимала голову в плечи, ожидая удара. Потом села на корточки, обхватила себя руками и заплакала. Ей было страшно, хотелось вернуться, вокруг были дикие звери и первобытный ужас. А в конце пути, меры которому не было, её ожидала патлатая ведьма с кривым зубом и острым ножом. И таким неправдоподобным показался этот зуб, что Соня удивилась, заставила себя подняться и шагнула вперёд. Она сделала ещё шаг, а потом развернулась и прыгнула назад. Она промчалась мимо недругов, и те, опешив, побежали за ней, она вскочила на крыльцо корпуса и с разбегу нырнула под одеяло на своей кровати. Там не грозили ни ведьмы, ни злые пацаны и девчонки, которые прибежали следом, и, перепуганные, звали её и дёргали за одеяло, но ответа не добились. Отныне Соня молчала.

Утром она встала раньше всех и отправилась в лес. Ночью незнакомая дорога чудилась бесконечной, а на рассвете было почти не страшно, только тревожно шныряли в траве какие-то зверьки, и выяснилось, что ведьмин дом находится совсем рядом с лагерем.

Прежде чем заглянуть в окно, Соня исследовала дом со всех сторон. Стоял он на поляне, прямо перед ним находился широкий асфальтированный квадрат, из его трещин торчала трава.

Позади дома кучей были свалены гипсовые фигуры горнистов, барабанщиков и пионеров. Эти семь или восемь грязно-белых тел были совсем как живые, но лежали в странных позах—как стояли, дули в горны и били в барабаны, так и свалились замертво, неестественно застыв друг на друге. Вокруг них и в сгибах прохудившихся рук и ног проросла крапива.

Окно наполовину было забито фанерой, изнутри пахнуло гниющим деревом и сыростью. Сжавшись от страха, Соня медленно приблизила лицо к провалу, оскаленному стеклом. В доме стояли столы, по бокам висели пустые стенды, а с самого края, где всё терялось в темноте, был едва заметен наклеенный на стену портрет: по красному фону белыми линиями были выведены черты лица девушки, и короткие волосы её тянулись кверху языками огня. Рядом с портретом висела крупная надпись в три ряда:

«Мне не страшно умереть…

Это счастье—умереть…

Зоя…»

Сбоку бумага была оторвана, но Соня знала остальные слова: в первом ряду не хватало слова «товарищи», во втором слов «за свой народ», а в третьем наверняка была фамилия—Космодемьянская. Надо же! Дураки какие: придумали ведьму.

В сторону от дома вела широкая дорога, которая кончалась ещё одной поляной, но без асфальта. Поляна заросла высокой травой, среди которой отдельными крупными пучками росли чертополох, крапива и репейник.

Каким-то чутьём Соня поняла, что здесь разводили костёр—тот самый пионерский лагерный костёр, про который она читала в книжках. От поляны ещё одна полузаросшая тропка вела вбок. Аккуратно пригибая у корня и топча сандалией крапиву, Соня прошла по тропе и, раздвинув ветки кустов, увидела стену своего корпуса. Тропа была короче большой дороги минут на пять. Так-так…

Дом ведьмы оказался то ли пионерской комнатой, то ли музеем. Совсем нестрашным.

—Эй, Соооонь!—Соня вздрогнула, но не отреагировала.—Ведьму видела?

И девочки засопели, придвигаясь к ней ближе.

—Чего молчишь?

Соня сумела вернуться незамеченной и забраться в кровать за пять минут до общей побудки.

Теперь же, увидев испуг и любопытство соседок, она поняла: настал час отмщения! Ох, как можно будет покуражиться над всеми—кто как не Соня знал, что угрозы от «дома ведьмы» не исходило. И она молча улыбнулась девочкам жуткой улыбкой, от которой по их спинам пробежал озноб.

В ту же ночь, дождавшись отбоя, группа храбрецов—и мальчики, и девочки—выбралась в окно и отправилась в лес. Следом за ними, стащив с кровати простыню и спрятав её под майкой, отправилась Соня. Девочки явно трусили идти в темноте по узкой лесной тропке, а мальчишки нарочно их пугали. Кроме шёпота, иногда слышались ойканья и повизгивания.

На площадке перед домом ребята остановились.

—Тут.

—Мамочки…

—Загляни в окно, там её портрет.

Девочки осторожно подошли к окну, встав на цыпочки и держась за подоконник, пытались заглянуть внутрь.

—Не видно ничего.

—Там что-то белое.

—Двигается?

—Пойдёмте отсюда!

—Ой!..

В это время на костровой поляне Соня накрылась простынёй и подошла к асфальтовой площадке…

Ребята на поляне услышали странное гудение.

—Слышите?

Они заволновались и стали озираться.

—Смотри!—выдохнул кто-то.

Это прозвучало как команда, и тут же раздался дружный топот—перепуганные мальчики и девочки, не глядя, бежали прочь от страшного дома. По соседней тропке бежала Соня. Она успела первой

домчаться до корпуса, влететь в окно и упасть на кровать. Через несколько минут то же самое проделали остальные девочки.

— Я чуть не умерла!

— А может, показалось?

— Ведьма?!

— Вы видели?!

— Выла!

— Конечно, ты же к ней в дом лезла!

Обрадованные спасением, девочки смеялись и говорили так громко и быстро, что даже не заметили пыхтения Сони. Когда в палату заглянула сердитая вожатая и потребовала тишины, Соня подумала: «Вот бы сейчас на них наклепать!»—и продолжала делать вид, что крепко спит.

Легенда о Зое быстро расползлась по лагерю, дошла она и до директора. В качестве трудового воспитания и борьбы с суеверием тот обязал старшие отряды привести в порядок «дом ведьмы» и костровую поляну. Старшие наотрез отказались, не помогла даже угроза отмены дискотеки. Средние целыми днями обсуждали ведьму и так запугали младших, что те по ночам боялись выходить из палат по естественной нужде и терпели до тех пор, пока простыни не оказывались мокрыми. Дисциплина неуклонно падала, Соня чувствовала себя диверсантом в тылу врага и ликовала.

Директор всё-таки не решился отменить дискотеку: в воскресенье на набережную вытащили колонки и магнитофон. С утра девочки обсуждали самый важный вопрос: как совместить аэрозоль от комаров с туалетной водой, чтобы пахнуть приятно, но не быть покусанной.

— Я в прошлый раз весь медляк терпела—он как сел на спину в начале, так до конца и сидел!—жаловалась одна из признанных фиф.

«Идиотка придурошная,—думала Соня.—Смахнула бы!»

Мальчишки делали безразличный вид. Соня планировала вечерние события на свой лад.

Когда на берег упали морские сумерки, на площадке медленно разгорались фонари, а под музыку уже вовсю извивались тела, Соня в палате залезла в косметичку соседки и стянула оттуда ярко-алую помаду. Потом на зеркале в общем коридоре она написала: «Не спи, я рядом! Zоя» и крупными буквами на кафельной стене умывалки напротив зеркал: «Я ещё вернусь. Zоя». Потом она добежала до Зоиного музея, на стеклянной части окна оставила надпись «Я здесь и позади тебя», измазала ладонь помадой и припечатала фанеру. На окне остался след размазанной пятерни. Помаду она вложила в руку гипсового горниста, лежащего за домом. Вряд ли кто-то отважится идти за дом после того, как увидит надпись, но подстраховаться стоит. Листом лопуха она вытерла ладонь и положила рядом с горнистом. Ну, теперь визгу будет!

Потом вымыла руки под уличным умывальником, на набережной села на скамейку и стала ждать. Вожатые стояли в стороне и кокетничали друг с другом. Воспитателей видно не было, они развлекались сами по себе. Вот закончился медляк и, отлипнув от мальчишек, девочки стайкой отправились в корпус. Соня затаила дыхание.

— Мамаааа!—вопль попал в перерыв между песнями, и толпа с набережной ринулась на звук. Навстречу им уже летели девчонки с выпученными глазами.

— Там!.. Там!.. Там!..—кричали они.

Теперь уже никто не желал танцевать, подростки сбились в стаю и отказывались расходиться по палатам. Кое-как вожатым удалось увести их спать, воспитатели собрались для совета: надо было решить, что делать с повальным суеверием.

Вожатая Лена предложила устроить засаду, её поддержал физрук:

— Там есть замечательные кусты, вдвоём мы прекрасно поместимся. И незаметно.

Лена для виду поломалась, но согласилась. С собой она взяла плед, обрадованный физрук прихватил самогон.

— Надо же как-то время коротать,—пояснил он,—давай на брудершафт?

Взбудораженные происшествием, девочки не спали и перешёптывались. Вместе с мальчишками из старшего отряда они решили снова отправиться в лес, тем более что вожатая почему-то отсутствовала. Снова Соня кралась следом, зажав под мышкой простыню, и снова дожидалась на костровой поляне, пока враги подойдут поближе к дому. Она едва успела облачиться в привидение и завыть, как крепкие руки схватили её за горло. Не хватало воздуха, подкашивались ноги, падая, она услышала крик вожатой Лены:

— Отпусти!

Простыня слетела с её головы, перед ней предстала растрёпанная и румяная Лена. Рядом стоял злой и не менее румяный физрук. От него сильно пахло алкоголем. Узнав Соню, он снова схватил её за горло, та пнула его по колену, и Лене едва удалось их растащить.

— Ах ты паскуда!—процедил физрук.

Соня всхлипнула, держась за горло:

— Я дяде всё расскажу! Он вас уволит!—и она закашлялась.

Лена и физрук переглянулись.

— Давай так,—предложила Лена.—Мы никому не скажем про тебя, а ты—вот про это?

Соня медленно кивнула.

— Пошла спать, дрянь!—прорычал физрук, и Соня, скомкав простыню, двинулась к корпусу коротким путём.

Она размазывала слёзы, сглатывая через силу—болело придавленное горло—и твёрдо знала,

что утром пойдёт к директору и честно всё расскажет. Гнев дяди её не страшил, ужаснее было оставаться в лагере до конца смены. И пусть её выгонят с позором, всё равно она их ненавидит.

— Сссволочи…—шептала Соня, уже лёжа в кровати.

Вскоре Лена и физрук приконвоировали её соседок, впихнули в палату и, грозя всеми карами, ушли.

Наутро директор выслушал историю, но шум поднимать не стал, вызвал дядю и спровадил проблемную девицу прочь. Физрук в тот день уехал в город, и Соня жалела, что не в её силах заставить его извиняться.

Дядя хмурился:

— Ведьмы какие-то…

А Соня довольно улыбалась, глядя в окно автомобиля: на прощание она изобразила девочкам свои чувства всеми неприличными жестами, какие знала. Свобода настолько вскружила голову, что она бы и Витальке из старшего отряда врезала, попадись он на пути. Не попался. Урод.

БДСМ

После зимней сессии стало ясно, что финал неизбежен. Студенты в бешеном темпе искали подработку, которая после выпускного могла бы перерасти в основную работу. Соседушка взялась вести сайт «Дитя порока».

— Вибраторы, бандажи, плётки,—безмятежно пояснила она.—Мероприятия.

— Ужас!—воскликнула Соня и закатила глаза.— Они тебя плохому научат! Беги!

— Платят-то хорошо, тусить опять же можно бесплатно.

— Зачем тебе тусить с извращенцами?

— Интересно же.

Соня не нашла, что возразить. Ей тоже было интересно.

— И что они делают на мероприятиях? Предаются свальному греху?

Соседушка засмеялась:

— Ну, там специальная программа, кого-то порют, кого-то связывают. Госпожи приходят с рабами на поводках, при мне одного отстраппонили.

— Ммм,—кивнула Соня.—А это как?

Соседушка взглянула на неё с жалостью и объяснила. Соня выпучила глаза и покраснела.

Несколько месяцев спустя соседушка так втянулась в повседневную извращенскую жизнь, что и сама стала время от времени принимать участие в показательных выступлениях. Своими переживаниями и ощущениями она делилась с Соней, а в душ старалась ходить в наименее людное время, чтобы не демонстрировать синие полосы на спине. Любопытство росло, и однажды Соня не вытерпела.

— Душа моя,—несмело начала она,—ты же помнишь, что я слегка двинутая?

— Это трудно не заметить,—согласилась соседушка.—Но с годами привыкаешь.

— Я хочу поставить опыт. Нужно, чтобы твои извращенцы устроили мне порку.

Соседушка молча ждала объяснений.

— Понимаешь, в детстве я ходила босиком по снегу, чтобы понять, что чувствовала Зоя, когда её пытали. Вот… Но сама себя я же не выпорю? А по твоим рассказам сложно составить представление…

Соседушка хмыкнула:

— И ты ещё смеешь их называть извращенцами? Нет, я, конечно, могу спросить, но это же не тяп-ляп делается, должно возникнуть особое психологическое состояние, типа доверия, всё такое.

— Боюсь, у Зои доверия к немцам не было.

— Да зачем тебе это?

Соня пожала плечами:

— Не знаю.

Она, конечно, могла объяснить, что слишком долго живёт с Зоей в голове и слишком живо её представляет, чтобы не попытаться ощутить всё, через что той пришлось пройти. Можно было обосновать свои идеалы и принципы, но это прозвучало бы слишком пафосно. В конце концов Соне хотелось испытать себя: выдержала бы она или нет?

— Короче, надо без доверия и так, чтобы до меня допёрло.

— Что именно?

— Всё.

Соня с соседушкой приехали в Выхино, снаружи мелко капал дождь.

— А почему—Фантом?—поинтересовалась Соня.

— Фиг знает.

Он подошёл незаметно—почти подкрался. С Фантомом Соня переписывалась в сети. По соседушкиной наводке именно он должен был выступить в роли мучителя. Его аватарка демонстрировала мощную спину в татуировках, но в жизни он походил на субтильного старшеклассника с робкой порослью под носом. Соня представила, как комично они будут смотреться в паре, и изо всех сил напрягла мышцы лица, чтобы не расхохотаться. Соседушка показала ей кулак, а Фантом принял выражение Сониного лица за волнение и покровительственно похлопал по плечу.

Дождь набирал силу, под козырьком соседнего с клубом супермаркета топтались бомжи. Фантом резко остановился, оказалось, что уже пришли. Никаких опознавательных знаков, железная дверь заперта, звонить пришлось несколько раз, прежде чем из динамика послышался голос:

— Кто?

— Организаторы,— ответил Фантом, и тогда дверь раскрылась.
— Явка провалена,— пошутила Соня, но никто не засмеялся.

Соня и сама своей шутки не поняла — теперь она действительно нервничала.

Крутая лестница вела в подвал, соседушка уверенно миновала гардероб и открыла ключом боковую дверь. За ней оказалась комнатушка с диванами.
— Переодеваемся здесь.

Соня достала из пакета жемчужно-серое платье и туфли на невысоком каблуке, стянула джинсы и свитер. Голое тело покрылось гусиной кожей, и она поскорее влезла в платье.
— А я не замёрзну?
— Нет, там тепло. Есть пледы, можно будет накинуть. Не затягивай ремень туго, у тебя пузо выпирает. Погоди…

Соседушка подошла и стянула ремень, утягивающий платье, с талии на живот.
— Вот так хорошо.

Настроение тут же испортилось.

Потом она взяла Соню под руку и распахнула перед ней дверь:
— Идём?

Шли по коридору, оформленному в чёрные и красные тона. В стенах были сделаны выемки, где висели наручники-зажимы-плётки-заклёпки…

«Словом, всё необходимое для простого извращенского счастья!» — подумала Соня.

Зал выглядел как обычный зал в клубе: с диванами-столиками и барной стойкой.

Едва девушки уселись, как к ним подошёл громоздкий человек с охапкой плетей и фотоаппаратом и спросил:
— Вам какая больше нравится?

Соня с серьёзным видом каждую плеть пощупала, рассмотрела, чуть ли не на зуб попробовала — одно- и многохвостые, разного плетения и толщины — и ответила:
— Простите, я не специалист…
— Она здесь в первый раз,— пояснила соседушка, и Соня почувствовала себя луговым цветочком.
— А что, тут ещё и фотографируют? — спросила она, когда громоздкий человек удалился.
— А как же. Но можно попросить, чтобы никуда не выкладывали. И, кстати, правила ты знаешь?
— Ну… вроде как…

С Фантомом они обговорили зоны и силу порки, но мало ли?
— Сигналы стандартные: «жёлтый» — ослабить, «красный» — прекратить. Вообще ты можешь взять любое слово, только не «стоп» или «хватит».
— А почему не их?
— Такие правила.

Соня послушно кивнула.
— Но скорее всего, ты сразу впадёшь в транс, так что номер закончат без тебя. Я вот впадала — не помню, как отвязывали.

Сцена находилась чуть ниже зрительного зала, с потолка свешивались верёвки, одна из стен была обита чем-то чёрным «под кожу», разделённым на квадраты, и напоминала стену камеры для душевнобольных. Слева стояла клетка, правая сторона зала была занавешена красными портьерами.
— Там зона уединения,— сообщил подошедший с подносом Фантом.— Я принёс вам чай. Сейчас ещё гостя из Индии встречу, и сможем начать.

В зале было прохладно, и чай пришёлся как нельзя кстати. Идущая мимо стола грузная тётка, похожая на Крачковскую, в коже и траурном макияже, впилась глазами в Соню. В груди ёкнуло, захотелось подпрыгнуть и убежать.
— Это госпожа Плюшечка,— шепнула соседушка.
— Она больше на гантелю смахивает,— ответила Соня.

Гость из Индии оказался невысоким, улыбчивым и назойливым. Самым неприятным в нём было то, что он мгновенно положил глаз на Соню, которая изнывала от безделья и неопределённости, ей хотелось, чтобы всё поскорее закончилось, а знакомиться и разговаривать ни с кем не хотелось. Потому она улыбалась, кивала в ответ на все вопросы и курила. Соседушка сообщила индусу, что Соня тут впервые, к «теме» отношения не имеет, просто зашла попробовать.

Люди собирались неохотно, время подбиралось к полуночи, и вместе с ним подбиралось беспокойство о последней электричке.
— Может, уйдём? — предложила Соня.— Надоело ждать.
— Ну, нет! — отрезала соседушка.— Раз уж пришли, то тебя выпорют! На крайняк, уговорим Фантома взять нам такси. Сейчас спрошу,— и она куда-то упорхнула.

Индус подсел к Соне вплотную и стал рассказывать про Амстердам. Потом предложил съездить туда вместе, для чего спросил с акцентом:
— Телефон? — и подмигнул.

«Пакость какая!» — думала Соня, но улыбалась мило и даже продиктовала номер, понимая, что никогда больше не станет отвечать на звонки с незнакомых номеров.
— Ты ремень лучше здесь сними, чтобы на сцене не заморачиваться,— наконец-то вернулась соседушка.— Сейчас начнут. Ты первая, и сразу уходим.

Соня расстегнула ремень и положила на диван. Индус глядел на неё с восхищением.

Заиграла музыка, и началась программа.

Соня не слушала, что говорила ведущая, она следила за Фантомом, и когда тот подошёл, сразу же вскочила со своего места, пожалев напоследок, что не успела зайти в туалет.

Зрители зааплодировали, Фантом взял её руку и помог спуститься на сцену. Стараясь делать всё красиво, Соня откинула распущенные волосы, Призрак расстегнул молнию на её платье и помог стянуть его через голову.

Высоко на чёрной мягкой стене были прочно закреплены два кожаных браслета. Фантом застегнул их у Сони на запястьях и, прижимаясь к ней телом, вплотную придвинул её к стене. Противно было его прикосновение, голая грудь неприятно касалась стены. Справа глазели зрители, и Соня старалась держать голову так, чтобы лицо заслонялось поднятым локтем правой руки. Фантом закинул ей волосы за плечо и отошёл.

Первые удары плёткой-многохвосткой ложились мягко и прохладно. Следующие напомнили похлопывания горячим веником в бане. Соня почти решила, что всё пройдёт безболезненно, когда всей спиной услышала свист плётки и движение воздуха. Она зажмурилась, плётка силой удара швырнула Соню в стену. Лбом она стукнулась так, что лязгнули зубы. Боли не было, только удивление. Боль пришла со следующим ударом. И со следующим. Каждый раз был сильнее предыдущего, Соня снова и снова билась лбом.

Фантом зашёл сбоку, так чтобы не видели зрители, и шепнул:
— Нормально?

Она повернула голову, увидела его разгорячённое лицо с бешеными глазами и кивнула.

Фантом разошёлся и хлестал её без устали. Казалось, уже не может быть больнее, но когда обрушивался новый удар, Соня тихо вскрикивала. Горели правое плечо и бок, по которым плётка ударяла чаще, чем по другим местам. Обещанный транс не приходил, и терпеть было уже невмоготу. Волосы растрепались и легли на спину, подкашивались ноги, и Соня часто переступала, чтобы не упасть. Зал волновался.

Вдруг Фантом прекратил её бить и сильно прижался к ней тазом, поглаживая ей бока и плечи и тяжело дыша в затылок.

«Как кобылу»,—подумала Соня, и её затошнило.

Фантом отскочил и продолжил своё дело.

Головой Соня упиралась в стену, когда она открывала глаза, то видела в стороне тень от замаха и снова зажмуривалась. Надо было держаться. Потом истязатель снова неприятно тёрся о её голое тело, и от унижения ей хотелось заорать «Красный!», а потом, когда Фантом освободит ей руки, надавать ему оплеух на глазах у всего зала. Но именно это унижение и давало сил терпеть дальнейшую порку.

Она не отмечала времени и не считала удары. Вдруг ей стало ясно, что происходящее с ней не имеет смысла, что никакой военной тайны она не знает и выдать не сможет, а её избитая спина никакой пользы Отечеству не принесёт. И когда Фантом попытался прижаться к ней в очередной раз, она повернула к нему лицо и внятно произнесла:
— Красный.

Зрители остались более чем довольны. Под бурные аплодисменты Соня натянула платье и поднялась обратно в зал. Индус пытался целовать ей руки, а соседушка воскликнула:
— У тебя кровь! Ну-ка пошли!—и утащила её в гримёрку.

Пока Соня натягивала джинсы, соседушка осмотрела её спину:
— Да он тебе все родинки посдирал! И платье испачкалось.
— Живот у меня не выпирал?—спросила Соня.
— Нет, ты круто смотрелась. Зал охал и ахал. А я так за тебя переживала, что хотела вскочить и отпинать Фантома. Как ты себя чувствуешь?

Соня пожала плечами:
— Платье жалко. Отстирается?
— Доедем до дома—замочим. Нас уже такси ждёт. Сама-то как?

Соня опять пожала плечами:
— Пойду умоюсь.

Ей было противно и обидно за свою слабость. В туалете она взглянула в зеркало. Румянец во всю щёку, глаза горят. Физиономия—только в цирке показывать. Но почему-то хочется разреветься.
— Это нормально,—кивнула соседушка, когда Соня вернулась.—Меня чайком отпаивали, главное, не оставаться в одиночестве, а то совсем обидно.

Уже шёл другой номер—девицу упаковывали в бандаж, и со сцены звучал такой утробный вой, что впору было вызывать милицию.
— Что ж она так орёт?—удивилась Соня.

Сквозь приоткрытую дверь раздевалки можно было разглядеть, как одно голое тело заламывает и опутывает верёвкой другое голое тело. Это было смешно, но красиво.
— Кайф ловит.

На пути к выходу им попался Фантом. Томно глядя на Соню, он заявил:
— Судя по реакции зала, у тебя есть потенциал. Тебе надо чаще у нас бывать.

Соня вымученно улыбнулась и ответила:
— Пока!

— И как?—спросила соседушка, когда они улеглись в кровати.—Допёрло?

Соня вздохнула.
— Я слабак. Сдала бы всех.
— Не огорчайся, зато ты произвела фурор и можешь завести себе раба-индуса. Будет полы мыть и выгуливать наших воображаемых животных.
— Хоть какая-то польза,—согласилась Соня.

Послушание

Весна была поздней и быстрой. Голые деревья за два дня успели покрыться листьями, земля выпустила на волю траву, и дворники-таджики с волнением посматривали на газонокосилки. Из парка на тротуары устремились полчища жуков, ползли цепочками — след в след, и шагу было не ступить, чтобы не раздавить с десяток. Вечерами в воздухе летал запах свежего хлеба, столь же ощутимый, как и приближение экзаменационной катастрофы.

— Надо сходить к Матронушке, — заявила соседушка. — Мама говорит, она помогает, если хорошо попросить. И госы сдадим, и работу нормальную найдём. — От извращенцев она к тому времени порядком устала.

Соня не представляла жизни вне института, жить снаружи литературы она не умела и потому твёрдо собиралась поступать в аспирантуру — чтобы как минимум сохранить место в общаге.

И она кивнула:

— Надо.

Стояли в хвосте очереди к Матронушке и думали кто о чём: соседушка о делах своих скорбных, а Соня о том, что невозможно подобной вере быть ни к чему, раз люди несут цветы, стоят часами перед входом и ждут чуда — оно должно произойти, и сама начинала мысленно шептать «Матронушка, моли Бога о нас».

Вдоль очереди продвигалась молодая послушница в чёрных одеждах и чёрном платке на ярких жёлтых волосах. Она подходила к людям, что-то спрашивала, и если те кивали, уводила их внутрь храма.

— Сёстры, не желаете поработать на послушании во славу Господа? Четыре часа — до закрытия, — златовласка добралась и до них. Во рту у неё была жвачка.

И таким странным показалось Соне это зрелище, так несопоставимы были храм и жвачка, что от неожиданности она согласилась. И соседушка за компанию.

Жующая златовласка велела им стоять у стеночки вместе с другими работниками, забрала цветы и отнесла их к мощам. Вернулась и спросила, у всех ли есть крест на шее? Все молчали, но златовласка не отступалась, и тогда Соня, которая боялась, как бы её не выгнали из храма, нерешительно потянула вверх руку. Златовласка взяла у неё несколько мелких монет, взамен дала деревянный крест на чёрной нитке. Потом посмотрела на Соню внимательно, выхватила из группки маленькую круглую девочку и вдвоём повела их в подсобку, заставленную цветами в вазах.

— Сюда кладём сумки и запоминаем номер, — звеня связкой ключей, она открыла шкаф с железными секциями, как в супермаркете, — поднимаемся по лестнице, там снимаем верхнюю одежду и надеваем рабочие халаты. Быстро-быстро!

Халаты были сырыми и противными.

— Сёстры, поторопитесь! — донеслось снизу.

Работа оказалась простой: обламывать головы цветам. Называлось это обработкой. Предыдущие послушницы наскоро объяснили, из каких цветов делать короткие букетики, а какие — красивые, длинноногие — по отдельности ставить в вазы. Потом они оделись и ушли, и Соня с девочкой остались наедине с горой цветов. Девочка представилась Антониной («надо же, — подумала Соня, — такое мелкое существо — и Антонина!»), оказалась она вполне совершеннолетней и болтливой.

Прошло полчаса. Приходили парни с цветочными охапками, уносили и опорожняли где-то баки с отломанными стеблями. Кроме того, от них была очень большая польза: пока Антонина строила им глазки, она не лезла с расспросами к Соне. Снаружи уныло топталась соседушка, заглянув внутрь, сообщила, что ей послушания до сих пор не дали. Соня посочувствовала. Обламывать бутоны было легко, но с непривычки она исколола руки шипами от роз. А тут ещё новые ботинки решили поиграть в испанский сапог и корёжили ноги так, будто за что-то возненавидели хозяйку. Когда на пороге подсобки вновь появилась златовласка, Соня спросила про сменную обувь, но её не оказалось.

— Могу сменить вам послушание, — златовласка смотрела с пониманием.

— Нет-нет, спасибо!

Некоторое время работали молча, потом пришла высокая монахиня и дала втык за неправильно обрезанные букетики.

— Мы их людям раздаём, надо, чтобы стебель оставался, — сообщила она гулким капризным голосом. — Вот вам пособие, — она отрезала стебель у хризантемы, затолкала цветок за ручку навесного шкафа и ушла на лестницу разговаривать по телефону.

Кто-то заглянул в каморку и спросил сестру Людмилу. Оказалось, на лестнице с телефоном — это она. Ещё через полчаса стало невмоготу — пальцы на ногах скрючились и ныли от боли. Соня решила разуться.

— Там на лестнице висят тряпки, — сказала Антонина, — может, постелить, и ты бы на них встала?

Соня аккуратно пробралась наверх, под равнодушным взглядом Людмилы сняла с перил сухую половую тряпку, постелила её на кафель возле рабочего стола и разулась. Ноги отозвались воплем благодарности.

— Никто не хочет завтра на службу в Архангельский собор? Есть пригласительный, — голос Людмилы проплыл за спиной и пропал возле выхода. Когда Соня оглянулась, в каморке уже никого не было.

— А ты женатый? — прощебетала Антонина плюгавенькому парню, который носил цветы. Она уже выяснила, что зовут его Владом.

Парень смутился и потащил на мусорку забитый стеблями бак. Вернулся он с цветами.

— Так несёшь, будто предложение сейчас делать будешь! — не отставала от него Антонина.

Парень перепуганно улыбался закрытым ртом и исчезал за дверью. Какие-то люди входили и выходили, спрашивали, где можно заказать панихиду, не дадут ли им временно платок, как можно поработать во славу Господа. В каморку заглядывали монахини, пеняли на гору необработанных цветов, на засыпанный листьями пол, на переполненные баки. Каждая считала своим долгом поторопить, указать, навязать дополнительную работу.

— Это что ещё такое?! — сестра Людмила смотрела на Сонины ноги.

— Каблуки… — пояснила Соня, морально готовясь к расправе.

Сестра Людмила взглянула на неё, как на букашку, и попыталась выяснить у остальных сестёр, куда делись прибережённые на подобный случай тапки. Тапки как в воду канули, Соне разрешили стоять босиком.

— Вам объяснили, что делать? — спросила Людмила. И не дожидаясь ответа, повторила инструкцию предыдущих работниц. — Ни в коем случае не трогайте эксклюзив — его в отдельную вазу.

Кто-то принёс букет с мокрыми и подгнившими стеблями, надо было разобрать его и обработать. Людмила, которая начала отбирать цветы для Матронушки, оглядела букет, выщипала из него сухую пушистую траву и бросила остатки перед Соней. Непослушные стебли проворачивались в руке, пачкали халат, мазнули Соню по запястью, и к запаху привычных духов прибавился аромат гнили. Это беспокоило, и Соня постоянно нюхала запястье, снова и снова убеждаясь в том, что мерзкий запах ещё на месте.

Людмила обрезала розы, не заботясь о том, чтобы стебли падали в бак, и они валились на пол, к самым босым Сониным ногам. Антонина притихла и больше ни с кем не заигрывала.

Очередная гора цветов кончилась, новой не несли, и девушки застыли, облокотившись на стол.

— Простите… А зачем надо обламывать бутоны? — спросила Соня у Людмилы. Та взглянула на них, на опустевший стол и потребовала:

— Не стоим, не стоим! Смотрим, какие цветы в вазах подвяли — и на обработку. Белые короткие туда же. Обламывать и подрезать надо, чтобы не перепродавали потом — разный народ бывает.

Девушки бросились к вазам и, раздвигая высокие пышные цветы, стали искать белые с коротким стеблем. Подвядших не было.

— Занимаемся вазами, только когда нет основной работы! — тут же окрикнула их Людмила, и, обернувшись, Соня увидела, как в каморку вплывает охапка цветов.

Рядом с Людмилой, делающей букет, встала ещё одна монахиня, и от широкого прежде стола послушницам остался лишь край. Соня сжималась и отодвигалась как можно дальше, но Людмила продолжала её теснить и нарочно роняла мокрые колючие стебли на её ноги. Соня нагибалась, подбирала и кидала стебли в мусорный бак. Иногда Людмила швыряла на стол перед девушками цветы и коротко сообщала: «В обработку» — и Соня думала о том, как жутко это звучит. Наконец оба букета были готовы, и монахини, прижав к груди хрустальные вазы, ушли к мощам. Соня огляделась, чтобы никто не услышал, и поделилась с соседкой богохульственной мыслью:

— Чувствую себя работником концлагеря.

— А представляешь, свекровь такую иметь? — засмеялась Антонина.

— Отечественная литература знает немало примеров.

Прошло несколько часов, в коморку зашла соседушка и сообщила, что стояла на подсвечнике возле мощей, что её послушание закончилось, к мощам её провели вне очереди, и можно ехать домой. Соня ответила, что у неё ещё уйма работы, и никто её пока что не отпускал.

— Может, попросить ещё послушание? — задумалась соседушка. — Или домой поехать?.. Дел невпроворот… Ладно, прогуляюсь снаружи, может, вернусь. Но на всякий случай: до свидания!

Соня кивнула.

— Ой, не хочется ей работать! — улыбнулась Антонина.

— Нет, тут другое, — Соня решила защитить подругу. — У неё сомнения. Знаешь, проклятый русский вопрос, точнее, не так, проклятый вопрос русской интеллигенции…

— Сестра! Не надо так выражаться, вы всё-таки в храме! — возле дверей стояла сердитая златовласка.

Соня опешила и попыталась понять, что же именно её так возмутило: русская? интеллигенция? вопрос? Слово «проклятый» не сразу пришло на ум, а когда пришло, Соня от испуга закрыла рот ладонью.

— Ой…

Златовласка укоризненно покачала головой и, прижавшись к косяку, впустила в каморку пожилую монахиню. Та, со словами «Деточка, ну кто же так делает!» немедленно отобрала у Антонины цветы, отодвинула её в сторону и стала сама обламывать бутоны. — Секатор положи, ты так и до ночи не справишься. А ты что ж так длинно стебель режешь? — обратилась она к Соне.

— Нам сестра Людмила сказала так резать, — Соня кивнула на пособие, висящее перед лицом.

— А я не могу без секатора — я руки исколола, — возмутилась Антонина.

— Секатор вообще зря дали, ничего твоим рукам не будет, заживут, а стебель надо короче.
— Так вот же: нам сказали — длиннее.
— Вообще-то у меня руки действительно болят!
Равнодушие монахини сильно задела Антонину.
— Не надо спорить, а лучше бы попросили благословить.

Монахиня глядела выжидающе, но Соня растерялась и не могла заставить себя испросить благословения. Ей вообще было неловко говорить с кем-то в храме — едва ли она помнила хотя бы «Отче наш», а церковные церемонии были для неё тёмным лесом. Называть же совершенно посторонних женщин сёстрами и матерями — казалось дикостью, и потому в течение этого дня она ко всем обращалась так: «Простите».

Монахиня отвернулась и сказала:
— Берите цветы, быстренько.

Антонина стояла напротив неё, уперев руки в бока:
— Хватит на меня кричать! — потребовала она.
— Руки с боков убери, — монахиня была непреклонна. — И работай.
— А вы прекратите командовать!

Монахиня посмотрела на неё внимательно, а потом сказала:
— Одевайся, бери вещи и иди с богом.
— И уйду! Соня, ты идёшь?

Та покачала головой. Антонина пыхнула злостью, развернулась и ушла одеваться.

«Вот тебе и смешливая девочка», — подумала Соня, удивляясь собственному спокойствию.
— Ласковое теля двух маток сосёт, — суровая монахиня вдруг подмигнула Соне. — А эту рогатая рожа баламутит. Ишь ты — руки в боки!

Соне вдруг захотелось спать. Шёл пятый час послушания, одеревенела спина, тряпка, на которой она стояла, промокла, и ноги мёрзли. Соседушка не возвращалась, но так было даже лучше. Внутри растекалась тихая радость, и не хотелось расплескать её в пустой болтовне.
— Тебя как зовут? — спросила пожилая монахиня.
— Софьей.
— Вот что, Сонюшка, давай-ка подмети пол, а потом все букеты, что в вазах — на обработку. Кроме эксклюзива и хризантем. И к мощам за цветами сама ходи, а то мужиков не дождёшься.

Пришлось обуться. Ботинки лежали в углу, отодвинутые сестрой Людмилой, и выглядели жалко: подмокшие, перепачканные зелёным. Пальцы на ногах взвыли, когда Соня обулась и сделала первый шаг, потом притерпелись.

Прошло ещё полчаса, в храме началась вечерняя уборка, мать Елена — та самая пожилая монахиня — объявила прихожанам, что доступ к мощам заканчивается, и вскоре внутри храма не было ни одного постороннего человека. Скрипели вёдра, и шлёпались на пол мокрые тряпки. За спиной кто-то набирал воду, кто-то её выливал. Вновь пришедшая женщина с нерусским разрезом глаз принесла Соне последние освящённые цветы и присоединилась к их обработке.
— Сейчас вернусь, — сказала Соня и, хромая, побежала к Матронушке. Монашка с тряпкой, видимо, уже протёрла раку, но, вздохнув, всё-таки разрешила приложиться к мощам.
— Я просто работала весь день — не успела… — пояснила Соня.

Приложиться удалось на целую секунду дольше, чем обычному прихожанину, а потом раздался заученный возглас охранника:
— Проходим, не задерживаем…

Охранник вдруг посмотрел на неё, на пустоту за её спиной, задумался и добавил:
— …сестра! Проходим, не задерживаемся!

Соня выпрямилась, быстро перекрестилась, поклонилась мощам и побежала к рабочему месту.

В каморке уже хозяйничали две девчушки из монастырского приюта — постарше и помладше — что-то искали.

Следом за Соней вошли мать Елена и сестра Людмила, девчушки завопили хором:
— Благословите!

Мать Елена перекрестила их и спросила, что случилось.
— Завтра в школе праздник! — захлёбываясь говорила та, что помладше, и старшая подхватывала: — Нам нужно сделать двадцать букетов!

Женщины всплеснули руками:
— Где же вы раньше были?! Закончились цветы, только на утро раздача осталась.

Девчушки напряжённо сопели, раздача — отломанные головки цветов — ну никак не годилась для букетов.
— Ладно, что-нибудь придумаем, идите пока, — сказала мать Елена и опять их перекрестила.

Девчушки, наклонив головы, прошмыгнули к двери, сестра Людмила посмотрела им вслед и ласково прошептала:
— Котятки…

Выяснилось, что большинство послушников подтягивается именно к закрытию храма, Соня почти равнодушно отметила, сколько среди них молодых и симпатичных парней, но внезапно сестра Людмила взглянула на часы, потом — на Соню и велела:
— Всё, домой!

Соня поднялась по лестнице, стянула халат и еле отыскала свой плащ под чужой одеждой. Невесть откуда взявшаяся златовласка, отпирая ячейку с Сониной сумкой, спросила:
— Понравилось? Ещё придёте?

Соня кивнула и вдруг поняла, что, надев светскую одежду, снова превратилась в обычного человека, достойного уважения и обращения на «вы». Она и вправду собиралась прийти сюда вновь.

«Судя по реакции монашек, у меня есть потенциал! — хмыкнула она про себя. — Им бы соседушкиных извращенцев на перевоспитание, глядишь, людьми бы стали…»

Последняя ночь

Поздним вечером Прасковья вышла из дома. В морозном воздухе ещё стоял запах гари — день назад кто-то поджёг три избы, и немцы приказали жителям караулить свои дома. Из темноты донёсся скрип шагов. Прасковья насторожилась, но ходоки шли уверенно, а когда шаги приблизились к дому, женщина разглядела, что по заснеженной улице немецкий патруль вёл девушку. Шла она в одной нижней рубашке, ступая босыми ногами по снегу, и руки её были связаны за спиной.

— Матка! — крикнул немец. — Партизан!

Крестьянка посторонилась, и девушку завели в избу. Тут же раздался гогот солдат, стоявших у Прасковьи на квартире, и она поспешила внутрь.

Девушку толкнули на скамейку возле печки, и она охнула от боли. Была она совсем юной, с большими серыми глазами и тёмными стрижеными волосами. Хозяин избы свесил было вниз кудлатую голову, но немец прикрикнул на него, и тот снова скрылся наверху.

— Фрау партизан! — кричали немцы и о чём-то лязгали на своём железном языке.

Солдаты окружили партизанку. Они шпыняли её кулаками и подносили к лицу зажжённые спички, а кто-то провёл по спине пилой. Хозяйка с ужасом смотрела на их забавы. Беззащитная, девушка молча терпела издевательства, пока мучители не натешились и не ушли спать.

И тогда она попросила воды.

— Можно? — спросила Прасковья у часового.

Он схватил со стола керосиновую лампу без стекла и поднёс к лицу девушки. Та не вскрикнула, лишь отшатнулась. Огонь жёг сомкнутые губы, но она в упор смотрела на немца, и тот не выдержал — убрал лампу и разрешил её напоить. Девушка с жадностью опустошила четыре стакана.

— Вставай! — скомандовал часовой и, привязав к её скрученным рукам длинную верёвку, пинком отворил дверь.

«Сейчас? — думала она. — Неужели сейчас?» Колючий ветер забирался под рубашку, и хотелось согнуться и упасть, согреть несчастное тело. Ноги едва держали, и она напрягала каждый мускул, чтобы идти прямо и смерть свою встретить гордо.

Кончилась улица, вдалеке темнел лес. Часовой крикнул «Цурюк!» и повёл девушку в обратную сторону.

«Значит, ещё не всё, — поняла она, — и будут ещё пытки, и надо выдержать».

Мысли путались в голове, но она понимала, что теперь они идут в сторону Москвы, которая не сдалась врагу и никогда не сдастся, потому что есть такие, как она, есть те, кто не даёт покоя немцам, и знание это придавало сил. Но улица заканчивалась, и снова надо было поворачивать к западу, к фашистскому логову, до которого она уже никогда не сможет дойти, и тогда ей казалось, что никогда прежде она не знала ни холода, ни боли.

Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока её мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под тёплый кров. Верёвку он привязал к дверной скобе, а партизанку толкнул на лавку к печке, и от жара окоченевшее тело ломило нестерпимо. Так продолжалось до двух часов ночи: через каждые полчаса она слышала команду «Встать!» и, шатаясь, на негнущихся почерневших ногах выходила на улицу.

Наконец молодого солдата сменил пожилой.

Он глянул на измученную девушку и попросил у Прасковьи подушку и одеяло.

— Ложись, — сказал он партизанке, и когда та непослушным телом повалилась на лавку, сам накрыл её одеялом.

Полежав, она попросила:

— Пожалуйста, развяжите мне руки, — и немец распутал узлы на локтях и запястьях.

Едва ли она спала в эту ночь. Липкий кисель сна на несколько минут обволакивал сознание, но нестерпимо горели отмороженные ноги, и казалось, что кругом бушует огонь — тот самый, который она не успела зажечь. И тогда она просыпалась и хватала ртом воздух, пытаясь надышаться впрок. Она отдавала себе отчёт, что эта ночь — последняя, что немцы её не пощадят и что пощада от них была бы для неё ужаснее любых пыток. И она сжимала кулаки, пытаясь не думать о маме и брате, стараясь сильнее ощутить боль во всём истерзанном теле, чтобы заглушить боль душевную. Узнает ли мама, как погибла её дочь? Или лучше исчезнуть навсегда, раствориться в военной зиме, пропасть без вести? Да, она не увидит весны и не услышит слова «победа», но она знает, она верит в это слово, оно обязательно случится. И значит, надо держаться изо всех сил, чтобы не показать врагу, как ей больно. Пока она их не боится, они боятся её. И значит, надо так умереть, чтобы стало им ещё страшнее, так умереть, чтобы ещё больше стали они бояться каждого, кто умеет так умирать и так не бояться их смерти.

И она снова падала в темноту.

Сумрачным деревенским утром к ней подошла хозяйка. В руках она держала ковш с водой. Девушка благодарно кивнула и опухшими обожжёнными губами припала к краю ковша. Непослушные губы не сжимались, и вода тонкой струйкой текла по подбородку и шее.

— Ты чья?

Девушка рукой отёрла лицо и взглянула на неё исподлобья:

— Московская.
— Родители есть?

Партизанка молчала.

— Кому передать? Убьют они тебя.

С улицы донеслись звонкие удары топоров: через четыре избы от дома Куликов немцы вкопали в землю столб и сейчас прилаживали к нему перекладину. В комнату заглянул офицер. Прасковья ожидала ругани и нырнула было за печку, но тот молча закрыл дверь и вышел из дома. К рядовым, жившим у них с мужем на квартире, она привыкла, а с офицерами дел не имела и оттого побаивалась их.

— Девонька, ой, бедная! — Прасковья покачала головой. — Имечко хоть скажи.

Партизанка с усилием подняла голову.

— Зачем вам это знать, тётенька?

— Помолюсь за тебя. Родителям расскажу, как умерла. Пусть знают, где могилка, — шептала Прасковья, стараясь выдержать её тёмный, ожесточённый взгляд.

— Нет, — выдохнула партизанка, — нет… Пусть эти изверги надо мной издеваются, пусть расстреляют… Нас много, всех не расстреляют. Это наша земля. За меня отомстят.

Удары топоров звенели над деревней, но девушка их не слышала.

— Не расстреляют, — кивнула Прасковья. — Повесят. Слышь? Виселицу ставят.

Медленно, перебарывая боль, девушка распрямила спину и откинулась на белёный бок печки. Вдруг она вздохнула так глубоко, будто пыталась вобрать в себя весь застоявшийся кислый избяной воздух.

Вот и всё. Значит, таким будет её конец. Значит, вся короткая жизнь была нацелена именно сюда — в затерянную среди лесов подмосковную деревню. Она не выполнила задания, деревня цела, ей нечем оправдаться перед командиром. Если бы ей хоть на секунду взглянуть ему в глаза, он бы понял, почему так случилось, он бы рассказал всем, что она не предатель, что на месте встречи была засада и она едва успела скрыться. Что ещё сутки блуждала по лесу, пытаясь найти своих, а когда не сумела, решила выполнить приказ до конца и снова пошла в Петрищево. Что её захватили врасплох, что она не успела вытащить оружие, что даже под пытками ничего не сказала.

Да, не в её силах передать всё это товарищам, она даже не имеет права назвать своё имя. Пусть так, но одно в её силах и в её праве: она умрёт с честью, как обещала маме, товарищам, как обещала стране. Никто не обвинит её в трусости.

— Позавчера это ты была? — не отставала Прасковья.

— Я. Немцы сгорели?
— Нет.
— Жаль. А что сгорело?
— Кони ихние сгорели. Сказывают, оружие сгорело.
— Вам давно надо было уехать из деревни.

Прасковья только рукой махнула. Слишком быстро враг подошёл к Москве. Слишком многие остались под немцем, несмотря на приказ уходить. Да и куда уходить крестьянам, у которых только и есть что изба да кое-какие припасы в подполе. Кому нужны чужие рты, когда свои еле прокормишь? Погорельцы, и те не уходят, ютятся по соседям. А ведь остаться на пепелище среди зимы — что хуже для русского человека? Взять хотя бы позавчерашних погорельцев.

Хлопнула дверь и — легки на помине! — в дом ворвались Федосья Солина со Смирновой Аграфеной, хозяйки сгоревших изб. Они уже знали о поимке поджигателя.

Едва кивнув Прасковье, Федосья огляделась и заметила партизанку. Лицо её исказилось от злости.

— Вот кто тебя пожёг! — крикнула она Аграфене и снова повернулась к девушке. — Ах ты, гадина! Сука ты паршивая!

Она распаляла себя руганью почти вопреки желанию и, может быть, откричавшись, оплакав своё жилище, в которое была вложена вся небогатая жизнь, убралась бы восвояси, но обидчица подняла голову и взглянула на Федосью глазами, полными презрения и ненависти. И так полоснул этот взгляд, так надо было его прервать, что женщина, не помня себя, стала бить партизанку по лицу.

Бывшие в комнате немцы с интересом следили за двумя русскими бабами и не пытались их остановить.

— Да чтоб ты сдохла! — вступила Аграфена, замахиваясь варежкой. — Тварь!

Прасковья без слов начала толкать их к двери, Аграфена схватила стоящий на полу чугун с помоями и швырнула в партизанку. Чугун раскололся, и помои окатили девушку с головой. Хозяйка наконец выгнала непрошеных гостей, молча взяла тряпицу и отёрла девушке лицо. Та не шевелилась. Подошедший солдат схватил Прасковью за плечо и оттолкнул в сторону. Затем велел партизанке встать.

— Где ваш Сталин?

Девушка выпрямила спину и ответила по-русски:

— Сталин на своём посту. И больше я с вами разговаривать не буду.

В девять утра пришли офицеры и переводчик. Начался допрос. Хозяйку выгнали из избы.

Обе погорелицы стояли у крыльца. Как ни жалко было неизвестную партизанку, а своих деревенских бездомовников куда как жальче.

— Что ж вы, бабы?.. — укоризненно вздохнула Прасковья.

— Гляди, пожгёт тебя такая — наплачешься, — злобно ответила Аграфена. — Чужое-то добро, небось, не жалко!
— Да разве побоями да руганью дом вернёшь?
— Не вернёшь, — согласилась Федосья. — Только и этой паскуде неповадно будет, и другим, которые с ней. Не одна она тут шастала, вона как немец всполошился. Теперь бы их всех переловить, пока бед не натворили. Они-то сбегут, а нам терпеть.
— Одна на всех беда досталась, — ответила Прасковья.

Когда она возвращалась, дверь рванулась из рук, навстречу выскочил хмурый переводчик. Офицер сидел за столом и что-то писал, не обращая внимания на партизанку, лежащую на полу в тёмной луже.

«Водой отливали, — догадалась Прасковья. — Ой, застудится!»

Она встрепенулась от глупой мысли, от стыда и ужаса, а подойдя ближе, увидела не воду, а кровь. Партизанка не теряла сознания, но была избита настолько, что не могла встать.

Шёпотом — чтобы не слышал офицер — ругая немцев, Прасковья под мышки подняла лёгкое безвольное тело и усадила на лавку к печке. Девушка села, сгорбившись, и даже не стонала, только дышала хрипло и тяжело.
— Вот ваши немцы, — сказала она, — оставили меня раздетой… Оставили меня в рубашке и трусах…

Вернулся переводчик и бросил на лавку брюки и чулки. Партизанка была настолько обессилена, что не могла сама одеться, и тогда Прасковья встала перед ней и натянула сырые чулки на почерневшие ноги. Девушка только охала от боли.
— Потерпи, милая, — сказала хозяйка. — Теперь недолго мучиться.
— Сапоги… Сапоги были… — взгляд девушки цеплялся за лицо Прасковьи, скользил и падал на пол, но снова поднимался вверх в такт дыханию.

Сапог переводчик не приносил.
— Дайте обуться, — попросила партизанка.

Прасковья, зная, что немцы забрали всё зимнее, растерянно осмотрела избу.
— Ой, милая, одни у нас валенки с мужиком. А тебе на что? Тебе только до виселицы добежать, она близко.
— Рус! — немец схватил партизанку за плечо и потянул вверх. — Шнель!

Из избы два солдата вывели её под руки, сама она идти не могла. Ноги не чувствовали ни снега, ни боли и едва держали небольшое хрупкое тело.

На улице ей на грудь повесили табличку с надписью «Поджигатель» и перекинули через плечо сумку с бутылками керосина, которым она так бесполезно распорядилась. Возле крыльца собирались немцы: конные и пешие — ждали команды. Кто-то курил и каркал на своём вороньем языке, кто-то подкручивал объектив фотоаппарата. Но не солдатня притягивала её взгляд. Невдалеке, через четыре дома ломала буквой «г» свою длинную шею виселица, и было видно, как ветер покачивает верёвку с петлёй.

В её короткой жизни всегда был завтрашний день, который казался таким огромным, что нащупать его предел не хватало мысли. Будущее сияло вдали и манило к себе, оно приближалось, но не становилось меньше. И вот теперь это будущее горбилось на поле в середине захваченной врагом деревни, выставив напоказ всю свою неприглядность, ничтожность и конечность. Можно было обойти его кругом, увидеть три подпорки у основания столба, и скол между двумя из них, и ещё один повыше, и два узла вдоль верёвки, что отобрали у какой-нибудь крестьянки.

Да, будущее можно было рассмотреть как следует, его можно было потрогать и даже обхватить руками, но после такого будущего от человека оставалось лишь прошлое, и потому хотелось отвести глаза, чтобы, зная твёрдо то, что вскоре случится, ещё немного побыть в неведении. Но даже низко опустив голову, она продолжала видеть столб с перекладиной.
— Вперёд! — скомандовал один из немцев и толкнул партизанку в спину.

Двое солдат снова подхватили её под руки и повели туда, где уже толпился согнанный немцами народ.

И вдруг стало пронзительно ясно: это не верёвка качается на ветру, а считает секунды маятник в старых ходиках, что висят в сельской избе у деда с бабушкой, в ходиках, которые после лица матери она первыми помнила в жизни. И родной человеческий запах вспомнился ей, и деревянные полы в сенях, и букетики душицы, и тканые коврики в комнатах, и большие окна с рассадой на подоконнике, и сон на сеновале после долгого летнего дня. И лица родных, и ленты, подаренные бабушкой, и руки отца, и убежавшая за околицу коза. Всё милое и простое, надёжной стеной окружавшее такое недавнее начало жизни, пришло сейчас, чтобы поддержать её в самом конце.

Закаменевшее изуродованное тело вспомнило теплоту солнца, ощутило последнюю предсмертную силу, и тогда она рванулась из рук конвоиров, оттолкнула их локтями и, гордо вскинув голову, пошла прямо к этому маятнику, к своему будущему, к немецкой петле.

Юрка Седов, как все деревенские мальчишки, был любопытен. Накануне, когда патрули привели задержанную в дом, мать загнала его к сёстрам на печку и задёрнула занавеску. Но сквозь небольшую щель было видно, как один солдат рукой прижал девушку к стене, а двое других стали обыскивать.

Стянули со спины рюкзак, потом сняли висевшую через плечо сумку с отделениями для бутылок, каждую из трёх бутылок открывали и нюхали — и по избе поплыл запах керосина. Отобрали отыскавшийся за поясом наган. Потом стали её раздевать: сначала зимний меховой пиджак, затем шапку-подшлемник, курточку и сапоги, пока она не осталась в тёплых брюках, носках и белой кофте с воротником. У партизанки оказались стриженые вьющиеся чёрные волосы, а больше ничего выдающегося Мишка не заметил.

Партизанка стояла, глядя в пол, как будто не чувствуя, что с ней делают — не мешая и не помогая немцам. Те ей вопросов не задавали и переводчика не звали, только переговаривались между собой и хохотали. Несколько раз ударили по щекам, но и тогда она взгляда не подняла.

Затем старший, с двумя кубиками на погонах, скомандовал «Рус, марш!», она повернулась и со связанными руками пошла к двери.

«Когда ей успели связать руки?» — удивился Мишка.

Он думал о судьбе девушки и о том, как ворвутся в деревню партизаны и освободят боевую подругу и как Мишка сумеет им помочь. И они заберут его с собой в отряд, и выдадут автомат, и он будет бить фашистов, и в Кремле товарищ Сталин вручит ему награду за подвиг. Намаявшийся Мишка не заметил, как уснул крепким детским сном.

Когда наутро немцы, жившие в избе, сообщили о предстоящей казни, Мишка помчался к виселице, а оттуда к дому, куда стекались солдаты.

Девушка стояла на земле далеко не так уверенно и безучастно, как вчера. Казалось, ветер качал её в такт петле, на которую она смотрела, не отрываясь. Губы вздулись и кровоточили, а на лбу синел след от удара. Полураздетая, в одних носках, казалось, она не ощущала мороза. Прозвучала команда, партизанку подхватили под руки, и вся толпа двинулась к виселице. Немцы полукольцом следовали за пленной, и юркому Мишке стоило большого труда пролезть между их шинелями. Где-то на полпути всё же сумел пробраться вперёд. Он опять увидел партизанку и удивился. Немцы уже её не держали, но девушка шла ровно и не глядела на верёвку. Сжав кулаки, она смотрела в землю, и шаг её был твёрд.

Процессию опережали два фотографа. Пятясь задом, они щёлкали затворами, но то и дело оглядывались, боясь упасть. Наконец дошли до виселицы. Вокруг неё уже толпился народ, и немцы стали отталкивать крестьян, расширяя круг. Фотографы продолжали щёлкать, стараясь в подробностях запечатлеть казнь.

Мишка почувствовал, как заныло в груди, он испугался, что расплачется. Кое-кто из местных жителей, постояв, тихонько отходил от страшного места, другие, наоборот, подвигались ближе. Были здесь и погорельцы, дед Иван мелко крестился и отводил глаза, одна тётка о чём-то шепталась с соседкой, другая, опершись на палку, пристально следила за происходящим.

Отрывисто перелаивались немцы, негромко гудела толпа, и вдруг над заснеженным полем раздался громкий русский голос.

— Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Это моя смерть — это моё достижение!

И немцы и русские застыли. Голос, который пытались выбить из девушки вчера, зазвучал сегодня — громко и уверенно, но говорил он совсем не то, что было надо. Партизанка, глядя в упор на конвоиров-палачей, произнесла:

— Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!

Офицер растерялся, замахнулся на девушку, а солдаты что-то закричали. Фотографы едва обратили внимание: они сняли виселицу издали и вблизи, а теперь пристраивались, чтобы сфотографировать её сбоку.

Она уже не понимала, что именно говорит, но видела ярость и страх в лицах врагов. Она отдавала последние силы для того, чтобы быть услышанной и чтобы звучать громче, без команды встала на ящик и подставила шею верёвке.

Петля сдавила горло, каждое слово и каждый вздох давались с трудом, но времени не оставалось, и было необходимо сказать последнее, самое главное, такое, что не даст ей умереть навсегда. Такое, что заставит немцев бояться её даже мёртвую, а русским людям даст силы жить и бороться с врагом. Да, это было самое главное, но слов не осталось. Она окинула взглядом толпу и встретилась глазами с мальчишкой. Он смотрел не отрываясь, и такая вера горела в его глазах, такая скорбь о её гибели, что углы её губ дрогнули и она улыбнулась ему на прощание.

Мишка стоял впереди всех и ждал того страшного, что должно было произойти. Он, как и все, вздрогнул, услышав русский голос — за месяц оккупации отучились кричать и взрослые и дети.

Он, как и все, вперился глазами в лицо партизанки, но слов не понимал и застыл на месте, когда та окинула прощальным взглядом толпу и вдруг посмотрела на Мишку. Он скривился от внутренней боли, от понимания чужой близкой смерти и почти не дышал. Девушка смотрела в его лицо, и казалось, она пытается улыбнуться. Палач упёрся кованым сапогом в ящик, тот заскрипел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалился оземь. Раздался чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса…

Борис Берлин

Магнолия

Царство Моё не от мира сего
«Еванг. от Иоанна»,
гл. XVIII, ст. 33, 36, 37

Встреча

Они молчат или говорят очень мало. Не оттого, что не умеют, а оттого, что не хотят лгать и пустословить. Не хотят притворяться. Их пугает шум, который на самом деле пустота. Их молчанье—крик наглухо захлопнувшейся двери.

Они—аутисты.

Нюта родилась в Мексике и всю свою жизнь разговаривала только с родителями, а ещё с Бертой и Мигелем. Ей едва исполнилось семнадцать, когда родители расстались, и мать, забрав Нюту, вернулась в Москву. Оказалось, для того, чтобы мы с ней встретились, но не только. Правда, понял я это гораздо позже, да и то не до конца.

Единственно, на что я тогда повёлся,—её работы. Как о женщине, я о ней не думал ни в тот день, ни ещё много дней потом. Слишком она была маленькая, молчаливая, слишком в себе. Они никак не подходили друг другу—Нюта и её картины. Девочка и бездна, девочка и небо, а скорее всего, и то и другое сразу,—как такое может быть? Пожалуй, я её даже немного опасался, пусть и вполне безотчётно.

Поначалу гораздо опаснее показалась мне её мать. Своё невероятное имя она носила как корону, а морщинки в уголках глаз делали её совершенно неотразимой. И смотреть на неё почему-то хотелось снизу вверх.

Я обратил внимание, как она парковалась,—прямо под окнами мастерской,—быстро и точно, по-мужски.

— Здравствуйте! Я Этери,—ладонь у неё была узкая и очень живая. Она обвела взглядом всё вокруг: подрамники, холсты, увешанные картинами и набросками стены,—потрогала лежащий на столе незаконченный витраж и тихо, сама себе, пробормотала:

— Ну, что же, может быть, в самом деле…

Лет сорок-сорок пять—в матери она мне не годилась, но глядела очень строго.

— Я готова показать вам то, что привезла. Вас не затруднит принести из моей машины картонную папку? Она на заднем сиденье, вы увидите,—и, не дожидаясь моего ответа, она протянула мне ключи.

…—Здесь только графика и несколько акварелей. Если я не ошиблась, совсем скоро вы увидите и остальное.

— Не ошиблись во мне? Что я способен оценить то, что вы хотите мне показать?

— Не в этом дело. Оценить способен каждый,—увидев такое хотя бы однажды, уже не забудешь. Нужен человек, способный поверить.

— Во что же?

— В то, что это возможно. Даже у меня получилось не сразу, а ведь речь о моей дочери.

— Очевидно, я не понял… Я почему-то думал, речь о вас.

— Нет-нет, о ней. Её зовут Нюта, то есть Анна. Анна Вагнер,—она потянула за тесёмку, развязывая папку.—Она—гений. И я ничего не могу с этим поделать…

Так это началось.

Нюта—дневник

Два года назад мама сказала, что мне было бы полезно завести дневник. Так и сказала: «Полезно».

— Разве я больна?—спросила я.

— Нет, что ты. Откуда такие мысли?

— Ты сказала: «Полезно». А это слово находится в коробке «Здоровье».

— Видишь ли… Бывает, что слова перескакивают из одной коробки в другую.

— Как зайцы?

— Ну да. Только солнечные.

— Потому что они неживые?

— Слова-то?—мама задумалась и вдруг улыбнулась.—Слова, они как раз живые, даже слишком. Может быть, поэтому вместо того, чтобы произносить, ты раскладываешь их по своим коробкам. Дневник тебе поможет.

— Чем поможет?

— Выпустить слова на волю.

Про эти мои коробки отдельная история. Я расскажу, но не сейчас, ведь если начинаешь отвлекаться с самого начала, до конца, скорее всего, так и не доберёшься. А не доводить начатое дело до конца, это никуда не годится—так говорит папа. Вернее, он так говорил раньше, потому что мы

с ним больше не живём. Такая незадача — расставаться с тем, кого любишь. Как-то вдруг, и не потому, что он меня и маму не любил или обижал, — нет. Но однажды мама полюбила другого мужчину. Хотя я думаю, она и папу продолжает любить, она сама так говорит, а значит, это правда. Только того, другого, гораздо больше. Так бывает. Поэтому мы с ней уехали, хотя и не сразу. Сначала мама становилась всё грустнее, это было долго, и папа всё понял без слов. То есть все его слова тоже остались в своих коробках. Когда я спросила почему, мама сказала, что словом можно убить. Так что, может быть, всё к лучшему. Только вот разве солнечным зайцем убить можно?

В аэропорту, когда мы прощались, папа хотел сказать очень много, но вышло только два слова: «Если что…» Я видела, что губы его совсем не слушались. Мы улетели.

Я никогда не бывала раньше в Москве, потому что родилась и всё время жила в Мексике. Прошло уже полгода, а я всё ещё не привыкла. Ещё мне очень не хватает моего дневника, того самого, который я завела два года назад. Он стал мне настоящим другом, почти как Мигель. Перед самым отъездом я подарила его папе, чтобы ему не было так одиноко. Там и в самом деле много смешного, правда. Ну и совсем чуть-чуть грустного. Ещё там всякие глупости, которые я и повторять-то стесняюсь, но папа всё поймёт правильно.

Бабушка Алекс нашла маме человека, который поможет устроить выставку моих картин. У него странное имя Саша. Он приходил к нам домой, чтобы всё увидеть самому, и я даже успела заглянуть в его коробки со словами, правда, совсем немного. Я ужасно обрадовалась, потому что так бывает не всегда и не со всеми. Мама пока не знает, что я завела новый дневник, чтобы рассказать про Мексику, про то, почему я рисую и почему я — это я. Это будет даже не дневник, а настоящая книга. Начало — вот оно. Окончание тоже будет, хотя до него ещё далеко. А между ними мне предстоит написать много-много слов, которым давно скучно и тесно в своих коробках. И когда они будут написаны, может быть, исчезнет это странное чувство внутри, что его, чувства, нет. Ничего нет. Будто там, где солнечное сплетение, — дыра и все слова улетели. Разве так бывает?

Мексиканка

У неё были необычайного цвета глаза — тёмно-синие, почти фиолетовые на детском, неожиданно бледном лице и прямые чёрные волосы, собранные в хвост. Ни дать ни взять, школьница, лет пятнадцать, не больше.

— Привет! Ты та самая Нюта, верно?

Прозвучало покровительственно и совершенно по-дурацки. У меня никак не получалось совместить то, что выходило из-под её кисти и её облик. Этери была права, я ещё не научился верить, что этот, в сущности, ребёнок способен видеть, понимать и передавать такое. К тому же я был почти в два раза старше и казался себе вполне умудрённым жизнью.

Она промолчала. Она вроде бы и не смотрела на меня, но впервые в жизни я почувствовал себя прозрачным как стекло.

Я не знал ещё, что у Нюты синдром Аспергера — нечто вроде лёгкой формы аутизма, не знал, что она разговаривает только с Этери, я ещё ничего не знал. Много позже, когда между нами уже появились слова, она призналась, что с детства боится незнакомых. Почти всех.

— Почти? — спросил я. — Значит, кого-то нет?

— Тебя. Ты был не как все.

— А остальные? Ты продолжаешь их бояться?

— Наверное. Да. Они не такие, как я.

— Что же в этом плохого?

— Не знаю. Но это страшно. Будто входишь в лес.

— И что? Лес, это всего лишь деревья.

— Нет. Деревья, когда каждое отдельно, а лес — все вместе.

— Какая же разница?

— С деревьями я могу говорить, они мне как родные. Раньше я всегда разговаривала с секвойей и с цветами в саду. А ещё с Мигелем, нашим садовником.

До этих слов было ещё далеко, очень далеко. А сейчас она просто стояла напротив, повернувшись спиной к окну, — маленькая, хрупкая, — и от её фиолетовых глаз делалось горячо и больно в груди. Словно там зажглось солнце и ты вот-вот сможешь понять…

Я не услышал, как подошла Этери. Поступь у неё была мягкая, как у кошки, скорее даже как у пантеры, — с таким именем по-другому просто не могло быть.

— Привет, Саша!

— Здравствуйте, Этери. Мы вот тут с Нютой беседуем…

— Я вижу, но не торопитесь. Вам обоим понадобится время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Она подошла к Нюте, обняла, они тихо о чём-то заговорили, и я понял, что совершенно для них не существую. Они были вдвоём и одно — не такие, как все, не такие, как я. И почему-то вспомнились слова Маугли из детской книжки: «Мы с тобой одной крови, ты и я».

— Я вам очень благодарна, Саша, — Этери оторвалась от Нюты и обратилась ко мне. — Вы были правы, это именно то, что нужно. Пространство просто идеальное, и свет, самое главное — свет. Через неделю там смена экспозиции, и у нас будет целых четыре дня до открытия следующей. Четыре дня в одной из лучших галерей — и это благодаря вам.

— Нет, это Нюта и её картины,— я покачал головой и посмотрел на девочку.— А что, если я захочу тебя о чём-то попросить? Не сейчас, когда-нибудь потом. Можно?

Она продолжала молчать, затем перевела взгляд на мать и заговорила — тихо-тихо, почти одними губами,— я, во всяком случае, не услышал ничего. Вместо неё ответила Этери:
— Нюта знает, о чём вы хотите попросить, так она сказала. Ещё она сказала, что пока нет. Не обижайтесь и не удивляйтесь, Саша, вы ведь уже немножко поняли, правда? И хотя бы чуть-чуть поверили.
— А разве у меня есть выбор?— я улыбаюсь и пожимаю плечами.— Нюта, очевидно мне пора переходить с тобой на «вы». Может, начнём прямо сейчас? Ты не против?

Здесь она впервые мне улыбнулась.

Так что там говорил Маугли?

Нюта — дневник

Мои родители познакомились и поженились в Москве. Папа — немец, он был тогда дипломатом, так же, как его отец и его дед. Он работал в посольстве, а мама только что закончила университет. Кажется, это называлось германо-романские языки, я точно не знаю. Они встретились на какой-то выставке, и случилась любовь. Но чтобы жениться на маме, папе пришлось оставить службу. Тогда они решили уехать. Когда я спросила маму, почему в Мексику, она засмеялась и рассказала, что в тот момент им было всё равно, они просто ткнули в карту наугад, и это оказалась Мексика. Когда у них родилась я, папа привёз из Германии Берту, и она стала моей няней. В Москве осталась мамина мама — моя бабушка Алекс. На самом деле её зовут Александра, и я её никогда не видела, только на фотографиях. По-моему, между ними что-то произошло, но мама не любит об этом вспоминать.

Дома мы всегда говорили с мамой по-русски, с папой на его родном немецком и английском, а с Мигелем на испанском. Получается, что я говорю на четырёх языках, но на самом деле ни на одном, потому что я говорю только с ними и немного с Бертой, а больше ни с кем. Это потому, что у меня синдром Аспергера и я разговариваю только с теми, с кем могу, а могу только с ними. Я уже привыкла, но иногда думаю, что, может быть, появится кто-нибудь ещё. Когда-нибудь потом. А пока у меня есть дневник и ещё — слова внутри. Мигель всегда говорил, что самое главное — то, что внутри. Что это и есть бог, и хотя он у каждого свой, но в то же время один на всех. Мне это непонятно, но я ему верю. Скорее всего, я говорю только с теми, кому верю, а таких всего четверо. Если не считать деревьев. Правда, они не отвечают мне так же, как я всем остальным. Может быть, я тоже немного дерево?

Я много раз пыталась вспомнить, когда начались картины, но так и не смогла. Наверное, потому, что они были всегда или даже ещё раньше. И раньше, чем я. Я точно знаю, что и мысли и слова, и картины живут сами по себе, в своей собственной вселенной. Как они попадают к нам и зачем мы им нужны? Может, чтобы питаться нашей любовью, а может, чтобы помочь любить нам. Непонятно. Но они — единственная ниточка между нами и той, другой жизнью, жизнью без боли. Хотя, скорее всего, и там она тоже есть. Не может не быть.

…Мне пять лет, и я бегу к маме. У меня в руках рисунок.
— Погляди!— я почти кричу.— Ну погляди на это дерево. Оно ухватилось руками за землю. Оно стоит на руках и улыбается. Как в цирке, видишь? Оно живое!

Мама берёт в руки рисунок и разглядывает его так долго, так ужасно долго, что уже нет сил ждать. Наконец, не отрывая глаз от рисунка, мама прижимает меня к себе.
— Нюта, доченька, ты очень хорошо рисуешь. Даже слишком хорошо. Я обязательно поговорю с папой. Это надо показать художнику. Может быть, тебе стоит учиться.

Мои рисунки в самом деле показали одному художнику, и я стала ходить к нему в студию. Вернее, меня возил туда папа. Два раза в неделю. Нас всегда провожали мама и Берта. Они стояли рядом. Мама светилась горячим оранжевым, а Берта холодным синим, зато видно её было почти отовсюду. В студии занимались и другие дети, но я их не помню. Я вообще об этом не помню почти ничего, потому что была там очень недолго. Художник сказал папе, что не сможет меня ничему научить, и мы перестали туда ездить. Я не огорчилась, потому что дома было гораздо лучше, и там я могла не только рисовать. Те, кто умеет говорить, никогда меня не поймут, ведь они не представляют, как им повезло. Может быть, если бы я была, как они, мне не пришлось бы рисовать. Я не жалуюсь, хотя краски меня мучают с детства, а несказанные слова ещё больше. И ещё то, что всем в этой жизни больно. Всем. И людям, и деревьям, и даже облакам. Сначала я рассказывала об этом маме, она слушала, а потом плакала, но потихоньку и тайком. Я перестала рассказывать, и несказанных слов стало ещё больше.

Выставка

Стороны света
Анны Вагнер
Майя — Люди — Война — Деревья

Афиш было всего две: одна на улице у самых дверей, вторая внутри. Заказывать больше не имело

смысла — народа не ожидалось, да и не могло быть много, по крайней мере, в первый день. Я пригласил тех, кого было можно и кого полагал нужным из своих, то же самое сделал владелец галереи. И, конечно, Алекс — Этери называет её именно так — с её связями и кругом знакомых.

В углу, у входа в зал, сидит Нюта, держа в руке пластиковый стаканчик с водой. Кажется, что происходящее не имеет к ней никакого отношения, точно так же, как она к нему.

Зал квадратный. Шестнадцать картин — по четыре на каждой стене. Ещё одну, семнадцатую, появившуюся неожиданно лишь накануне, поначалу не замечаешь вовсе, но вся экспозиция подводит тебя именно к ней — миновать её невозможно.

Мы с Этери осматриваем и проверяем всё в последний раз — от освещения до набора напитков.
— Саша, ну как?
— Удивительно. Знаете, в самый последний момент обязательно что-то оказывается не так, какая-нибудь мелочь. А мы всего за сутки поменяли, ни больше ни меньше, всю философию экспозиции. Эта её «Магнолия», её последняя работа, сразу оттянула всё на себя, да иначе и не могло быть. От неё невозможно оторваться, хочется смотреть и смотреть. И как точно Нюта нашла ей место. Но, Этери, если не секрет, почему так внезапно? Почему Нюта не хотела её выставлять с самого начала?
— Это её желание, я могу лишь догадываться. Конечно, спроси я, она бы, скорее всего, ответила, но я задаю ей не все вопросы.
— Наверное, я не должен этого говорить, и вы удивитесь, но мне кажется, я знаю, почему.
— Нет, — Этери посмотрела на часы. — Боже мой, ещё целых полчаса, время остановилось. Нет, Саша, в вашем случае не удивлюсь. Иногда я на самом деле боюсь. Именно поэтому.
— Чего? Что не услышите или не поймёте ответ?
— Чаще наоборот, что пойму, — она ещё раз огляделась вокруг и сказала:
— Всё вот это и ещё многое сделано за пять лет. Первую картину она написала, едва ей исполнилось двенадцать. Это был «Эль Мирадор», и с него начались «Майя». Именно тогда я стала понимать, что такое Нюта на самом деле. Вернее, кто она такая. Впрочем, — она вздохнула, — сейчас не время. И лучше, если об этом вы услышите от неё.
— Но как? Она ведь говорит только с вами. Она не может...
— Она может. Я слишком хорошо знаю свою дочь, поверьте. Она готова с вами заговорить. Впервые в жизни с почти посторонним человеком. Это меня тревожит. Очень.
— Почему? Разве это плохо?
— Нет, просто я не уверена, что к этому готовы вы. Но и об этом не время тоже, — Этери улыбнулась. — Знаете, что? Приходите к нам, когда всё это закончится, ладно? Хотя бы в ближайшую субботу. Отпразднуем первую Нютину выставку. Узкий круг, только свои...

Не понимаю, каким образом, но с появлением публики выставка ожила. Люди переходили от картины к картине, и на их плечи садились птицы, а под ногами шуршали облетевшие листья. Воздух и камни оживали и превращались в слова, которые, казалось, невозможно забыть. Может, потому, что картины и люди наконец увидели друг друга? Научились друг с другом говорить?

— Погляди, какие они молодые, счастливые, красивые! Какие лица! И вдруг понимаешь, что на самом деле их уже нет. Разве такое возможно?
— Эта девочка изображает не людей. Она изображает их судьбы...
— И то, какими они могли бы быть. Мне кажется, она ощущает мир целиком. Весь и сразу...
— Дело не в том, что она видит так глубоко. Дело в том, что она видит так.

Около «Магнолии» все затихали, было слышно только дыхание. И я так до сих пор и не знаю, — может быть, это дышала сама картина.

Нюта была в фойе. Она сидела на подоконнике, болтала ногой и смотрела на улицу. Я подошёл.
— Поздравляю! Я не знаю, как это назвать. У меня просто нет слов, вот и всё. Ну а то, что ты оттуда ушла... Нюта, ничего не поделаешь, это просто надо пережить, как ветрянку, — я уселся рядом с ней, и она... она вдруг взяла меня за руку — будто ребёнок — и выдохнула:
— Да.

Показалось, что мы разговариваем весь день, не умолкая. А ещё я внезапно осознал, что у меня есть сердце.

Что оно в самом деле бьётся.

Нюта — дневник

Москва не понравилась мне сразу. Всё было слишком большим и слишком шумным. И очень мало солнца. Люди показались серыми, пасмурными и почему-то все на одно лицо.

В аэропорту я впервые увидела бабушку Алекс — мамину маму. Для своих лет она выглядела на удивление молодой и очень живой. Я представляла её совсем иначе. Рядом с ней мама вдруг сделалась похожей на ребёнка, они обнялись и заплакали, было видно, как они рады, что помирились. Меня она обняла и поцеловала тоже. Это было забавно. У неё необычная профессия — историк моды и даже профессорское звание, потому что она читает лекции в университете.

Мы все живём в доме, который бабушка называет зимней дачей. Здесь самый большой телевизор, который я когда-либо видела, и целая коллекция одежды разных времён. Рассматривать её ужасно

интересно—много новых слов, и они не такие, как раньше. Зато телевизор работает почти круглые сутки. Я было решила, что из-за этого никогда не смогу здесь рисовать, и даже рассказала об этом маме. Мама засмеялась и ответила, что телевизору, наверное, просто скучно и не с кем поговорить и что я, конечно же, сильнее его.

Она очень изменилась. Бабушка Алекс считает, что во всём виноват «этот человек»,—так она называет того мужчину, из-за которого мы уехали от папы. Ещё ей не нравится быть бабушкой, вернее, само это слово. С самого начала она сказала, что вовсе не чувствует себя старухой и хочет, чтобы я называла её просто Алекс. Может быть, когда-нибудь так и будет, а пока я разговариваю по-прежнему только с мамой.

Так вот про «этого человека». Я никогда его не видела, но мне кажется, что он присутствует в нашем доме почти всё время, хотя мама не говорит о нём ни слова. Вечерами она часто уходит, а возвращается красивее и, может быть, счастливее, чем была. Я за неё рада, хотя… нет, она не стала мне чужой,—она стала не только моей. Оказывается он приезжал в Мексику по каким-то своим делам, и надо же было им с мамой случайно встретиться. Всё очень похоже на то, как когда-то она встретилась с папой. Так говорит Алекс. Тогда они уехали отсюда, чтобы быть вместе. А теперь наоборот, чтобы быть вместе с «этим человеком», маме пришлось сюда вернуться. Странно, как всё замкнулось. Продолжу завтра.

Только что от меня ушла Алекс. Я записываю услышанное от неё сразу, не дожидаясь завтрашнего дня, ведь у меня в голове сейчас океан слов, и все они рвутся наружу из своих коробок. Она рассказала мне про моего дедушку—маминого папу. Я запишу её рассказ слово в слово, это нетрудно,—слова ведь не исчезают. Неважно, скачут ли они, как зайцы, или просто перешёптываются друг с другом о чём-то своём,—забыть их невозможно.

«Мы с твоим дедушкой познакомились случайно, хотя чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что случайностей не бывает. Может быть, ты об этом уже догадываешься или просто знаешь, ведь в тебе и его кровь тоже. Ты сама и есть лучшее подтверждение этой мысли. Мне было двадцать два, я училась на последнем курсе Суриковского института. Навряд ли тебе это о чём-то говорит, это просто часть моей жизни. Самой лучшей, самой близкой моей подругой была Тамара, или Тамрико, так её звали все. Она была родом из Тбилиси, из семьи грузинских евреев, хотя тогда это не имело для нас никакого значения, мы просто учились в одной группе. У неё был жених, и летом, после окончания института, в Тбилиси должна была состояться их свадьба. Разумеется, она пригласила и меня, и я поехала. То, что произошло дальше,—это или мистика, или судьба, или боюсь даже думать что, хотя поняла я это, лишь когда увидела тебя. Теперь… теперь, мне кажется, я знаю ответ. Несмотря на то, что свадьба должна была быть светской, неделей раньше состоялось обручение по еврейской традиции, когда для всех остальных мужчин на невесту налагается запрет. Там всё и случилось, и, знаешь, как будто это было вчера. Один из друзей жениха… Его звали Давид, он был в чёрном костюме и ослепительно белой рубашке. Дело не в том, что он был красив, красив по-мужски, и не в том, что я увидела его и пропала. Мы с ним пропали одновременно. Оба и сразу. И уже ничего не надо было объяснять ни себе, ни друг другу. На следующее утро он заехал за мной, чтобы показать город, и всё произошло, и не было в моей жизни ничего прекраснее. Но… Давид был сыном раввина, как раз того самого, что проводил обручение моей Тамрико. С самого начала и он и я знали, что не сможем быть вместе. Отец никогда не позволил бы ему на мне жениться, а пойти против воли отца… На вокзале, перед самым отъездом, Тамрико передала мне его письмо. Я помню его на память—каждое слово. Вот что там было:

„Не удивляйся и не спрашивай почему, я не смогу тебе ответить. Я знаю то, о чём ты ещё не догадываешься. У нас с тобой родится дочь, наше с тобой дитя. По причинам, которые тебе известны, я никогда не смогу ни признать её, ни дать ей своё имя, но ничто не может помешать мне помнить тебя и любить её. Ничто не может помешать мне молиться за вас. Со временем ты поймёшь многое, а пока просто верь мне: наши пути слились, и не в человеческих силах их разъединить. Поверь—и всё исполнится. Назови её Этери. Прощай“.

Я не буду говорить о своих чувствах—они понятны, и дело не в этом. Главное—именно так всё и случилось. Родилась твоя мама, и хотя, видит бог, я хотела дать ей другое имя, но…

Замуж я так и не вышла, хотя мужчины в моей жизни, конечно, были, но и Давида больше не видела никогда, да и зачем? Жизнь шла своим чередом, и я стала тем, кем стала. Пока Этери не исполнилось двадцать, мне приходили деньги, два-три раза в год, и довольно крупные суммы, разумеется, я понимала, от кого и почему. С Тамрико мы встречались достаточно редко, лишь когда она бывала в Москве. О Давиде она не упоминала ни разу, а я не спрашивала. Лишь однажды—Этери было уже лет четырнадцать или пятнадцать—она обмолвилась, что он пошёл по стопам отца, то есть стал раввином. С тех пор я не знаю о нём ничего. Я вспоминаю об этой истории нечасто—сорок шесть лет—это долго. Но вот появилась ты и твои картины… Не потому, что я кое-что понимаю в этом и даже кое-что могу, но я чувствую в них,

в тебе ещё что-то, чему нет названия. И я спрашиваю себя: может быть, круг замкнулся? Кто, кроме тебя, может ответить? И знаешь ли ты ответ? Ты знаешь его, скажи? Боже мой, Нюта, девочка моя, я совсем забыла, ты же ещё не можешь, ещё не научилась со мной говорить. Прости меня, доченька, а?»

Почему-то она назвала меня доченькой, как маму. Неожиданно для себя я наклонилась и положила голову ей на колени. И прижалась щекой к её запястью, как собака.

Чаепитие

Когда чего-то ждёшь, оно наступает рано или поздно, даже суббота.

Алекс встретила меня на пороге, улыбаясь почти по-детски, и, вообще, выглядела совсем как подросток. Впервые я увидел их дома — её, Этери и Нюту, — так долго и так рядом.

Мы сидели за круглым столом под абажуром с кистями, пили чай из тонких, почти прозрачных чашек и беседовали о Нютиной выставке и об искусстве, а о чём же ещё мы могли говорить? Впрочем, и за столом, и в разговоре командовала Алекс. Мы с Этери лишь вставляли реплики, я из вежливости, она — потому что большую часть времени была не здесь и говорила не с нами, или мне это только показалось?

Потом Алекс показывала мне Нютины рисунки, те, которых я ещё не видел.

— Видите ли, Саша, довольно часто я чувствую себя рядом с ней, даже не знаю, как сказать… наверное, как студент рядом с профессором, несмотря на то, что на самом деле профессор всётаки я. Порой мне кажется, что она неспособна ошибаться, и знаете, это меня совсем не радует. Возможно, поэтому ей так непросто говорить. Видеть дальше и знать больше нелегко само по себе, а уж рассказать об этом другим…

— Да и захотят ли они слушать… — вставляю я.

— Именно, — она кивает. — Поэтому она рисует. Её рисунки, её картины — это её речь, её несказанные слова. Она ведь видит людей с первого взгляда, вы не замечали? — Алекс улыбнулась. — Несколько дней назад она нарисовала меня, и знаете, как? В виде кактуса. Стоит такой крепенький кактус, обхватил себя руками, именно руками, и молчит. И ты слышишь, как он молчит. Невозможно понять, как это у неё выходит. Я уже заказала раму. Повешу в кабинете, подождём, когда расцвету.

Нюта была в чём-то матово-зелёном, лёгком. Других деталей я не заметил, потому что как-то само собой получалось смотреть только ей в глаза. Они притягивали и не отпускали, приходилось делать усилие, чтобы оторвать взгляд. Остальное было просто фоном. Она всё время молчала, но слушала очень внимательно, так слушала, словно вот прямо сейчас рисовала всё и всех вокруг, причём в каком-то своём и только ей доступном измерении. Может быть, тогда я впервые увидел её по-другому, увидел не просто девочку, не просто гениальную девочку, не художника, — увидел Нюту. Впрочем, я увидел ещё кое-что.

В какой-то момент Этери отошла поговорить по телефону, а когда вернулась, Алекс посмотрела не неё долгим взглядом и после паузы спросила:

— Это ведь он, да? Глеб, кажется? Ты могла бы его пригласить.

— Глеб, да… — Этери произнесла это медленно, как бы возвращаясь откуда-то, хотя ей этого вовсе не хотелось, и мне пришлось опустить глаза, чтобы не видеть столь явного — до неприличия — проявления чувств. Показалось, что комната наполнилась тяжёлым и сытым дыханием двоих, когда они одно.

— Я приглашала, но он не смог. В следующий раз обязательно.

— Ну что же, надеюсь, в следующий раз он окажется не так занят. — Алекс замолчала снова, и стало очевидно, до какой степени она её ревнует. Я с удивлением поймал себя на мысли, что в этом она здесь вовсе не одинока, и было бы любопытно взглянуть, как этого самого Глеба изобразит Нюта. То есть какой он на самом деле. Аутисты — они ведь не умеют лгать.

Но об этом я, кажется, уже говорил.

Нюта — дневник

Я рада, что выставка наконец закончилась. Не знаю, сколько народа там побывало. Я с самого начала не понимала, зачем она вообще нужна, ведь всё, что я рисую, я рисую для себя. Я никогда не собиралась никому ничего показывать, тем более устраивать выставку, и согласилась только, чтобы сделать приятное маме и, наверное, Алекс. Честно говоря, мне там было не по себе, но помог Саша. Как только он увидел мои картины, всё пошло очень быстро и, как мне показалось, легко, хотя я понимаю, что на самом деле это совсем не так. Странно, я почти сразу научилась с ним говорить, раньше такого никогда не случалось.

«Этот человек», Глеб, по-прежнему здесь, а мама стала ещё красивее прежнего и чуть-чуть по-другому пахнет. Ещё мне вдруг стало очень не хватать Берты. Конечно, мама, папа и Мигель самые родные, но физически почему-то не хватает её. Её тяжёлых морщинистых рук, её тепла, её шеи, в которую можно было уткнуться и спрятаться от всего на свете. Неужели мне придётся всю жизнь прятаться среди моих картин? Берта — моя няня, и она одинокая, совсем как я.

…Берта часто повторяет мне, что её глаза устроены так, чтобы видеть меня всегда. Даже через стену, даже, если мы с мамой и папой куда-то уезжаем.

— Тогда почему я тебя не вижу? — спрашиваю я. — Разве мои глаза устроены иначе? Тебя не было целую неделю или даже больше, и я соскучилась.

— Ничего не поделаешь, Анни, мне пришлось полежать в больнице, со старыми людьми такое бывает. Но всё это время я за тобой наблюдала и думала о тебе. А насчёт глаз не волнуйся, ты тоже научишься видеть через стены и даже дальше, когда немного подрастёшь. Тебе ведь только семь лет.
— Я и сейчас кое-что уже умею. Если бы ты мне сказала раньше, я бы могла просто нарисовать тебе здоровье, это же так легко. И не пришлось бы лежать в больнице.
— В следующий раз мы так и сделаем, обещаю. Ладно?

Однажды я её в самом деле нарисовала, и она вышла старым, засохшим деревом со множеством пожухлых веток. Но они продолжали тянуться к солнцу, несмотря ни на что. И плечи их были обожжены.

Берта всю жизнь кого-то нянчит, сначала моего дедушку, потом папу. И, сколько я себя помню, меня. Ещё она почему-то не любит маму, хотя никогда об этом не говорит. Но я всё равно знаю, потому что это очень похоже на то, как я рисую. Сделаешь лёгкий карандашный набросок и сразу видишь, как потом это будет на холсте. Как должно быть на холсте. Лицо тоже всего лишь набросок, настоящая картина внутри. Так же, как я вижу будущий холст, я вижу мысли. Вернее, не просто мысли, а откуда они берутся и почему они именно такие. Я не могу объяснить по-другому, но это бывает очень трудно и совсем от меня не зависит. С самого начала я пытаюсь к этому привыкнуть, и мама считает, что у меня обязательно получится, а иначе просто не может быть. Ещё про Берту. Она не любит не только маму. Она не любит никого, кроме моего прадедушки и меня. Его давно уже нет, а она продолжает любить его, как собака хозяина — один раз и навсегда. Она и была ему собакой — она сама мне так и сказала. И я поняла.

Однажды я попросила её рассказать с самого начала, как они встретились и всё-всё-всё. Это очень грустная история, даже страшная. Они познакомились давно, во время войны, почти в самом конце, в феврале месяце, в Берлине. Незадолго до этого у Берты погибла вся семья — бомба попала прямо в их дом. Ей было тогда семнадцать лет, и она выжила чудом, но идти было некуда, поэтому несколько дней она жила в метро, не выходя на улицу. Метро было тогда бомбоубежищем. Довольно долго она почти ничего не слышала, потому что получила контузию — что-то вроде удара воздухом по голове. Во время следующей бомбардировки туда же пришлось спуститься прадедушке, потому что он случайно оказался рядом. Он был в отпуске после ранения и ехал домой. Узнав, что у неё никого и ничего не осталось, он предложил ей пока пожить у них, но когда они добрались до его дома, оказалось, что и его тоже нет. Свою жену Урсулу — мою прабабушку — он так и не нашёл, но через два дня сумел разыскать в госпитале их сына, которому было всего два года. Так это началось, а больше Берта ничего не рассказала. Они остались втроём, и она любила его как могла — всю жизнь. Потом эта любовь перешла на меня, а больше она не любит никого. Мне кажется, она видит смысл жизни в том, чтобы меня охранять, но я так до сих пор и не поняла, сама эта жизнь, такая, какая есть, ей — за что? Даже когда я не здесь, а там, я всё равно не могу понять. И само это «там» — тоже. «Там» я просто становлюсь и Бертой и Мигелем, любым другим человеком и всеми людьми вместе, но вопрос всё равно остаётся — за что? Это больно, но почему меня туда так тянет? Мои глаза научились видеть сквозь стены и так далеко, что рассказать об этом невозможно — Берта оказалась права. Всё что остаётся — говорить с ней снова и снова. Когда уже нет сил молчать.

— Берта, расскажи мне сказку.
— Какую сказку ты хочешь, менделе?

Как странно она меня зовёт. Такое смешное имя, и вовсе не немецкое, хотя похоже.
— Я хочу про тебя.
— Про меня только очень грустные сказки.
— Ну и пусть. Зато мне будет о чём вспоминать.
— Когда?
— Когда-нибудь потом. Когда не будет ни тебя, ни меня.
— Ты говоришь о смерти? Тебе ещё рано об этом думать, и после неё нет памяти, потому что нет ничего.
— Память есть всегда. Это может быть сон или страх, или беспричинные слёзы. У меня этого столько, что даже слишком.
— Тогда зачем тебе мои сказки?
— В них есть то, что называется любовью. Я мало что про неё знаю, а про такую, как твоя, почти совсем ничего. Она особенная, я хочу про неё.
— Ничего особенного в ней нет, менделе. Как раз наоборот, у каждого она одинаковая и всегда одна и та же — единственная.
— Как же я её узнаю?
— Я могу сказать, как её узнала я. Но поможет ли это тебе?
— Всё равно. Говори.
— Оказалось очень просто: исчезли все вопросы, их не осталось. Я поняла, что надо идти за ним и не оглядываться. Куда угодно.
— Как собака?

Будни

Случилось то, чего я ожидал и ради чего всё затевалось: после выставки о Нюте стали говорить и стали писать. В этом не было ничего удивительного, случайных людей там побывало немного. Но ещё раньше появились те, кто захотел её картины купить. Как только Нюта об этом узнала, в её

глазах поселился ужас. Этери поняла это сразу, да и как было не понять. Очевидно, сама мысль о том, что можно хотеть всем этим обладать, что этим вообще можно обладать, была для Нюты столь чудовищна, что она заболела. Она почти ничего не ела и совсем перестала говорить—даже с Этери. Лишь всё время рисовала и тут же всё рвала свои рисунки прежде, чем кто-то мог их увидеть. Однажды я попытался сложить обрывки, я хотел понять, услышать то, что она не могла сказать словами. На самом деле хотел ей помочь. То, что я увидел…

Больше я не делал этого никогда.

Сначала мы надеялись, что скоро всё изменится и к Нюте вернётся её обычное состояние. Мы—потому что я стал бывать у них довольно часто, но гораздо реже, чем хотел бы. И я даже не спрашивал себя, почему—ноги несли меня сами. Может быть, мне необходимо было услышать её голос, может быть, поймать на себе её взгляд, может быть, гораздо больше. Не знаю.

Но с Нютой всё оставалось по-прежнему, зато стали меняться те, кто её окружал. Алекс притихла и как-то потухла, а Этери словно заледенела и почти совсем перестала выходить из дома. Время в её глазах остановилось. Прежде мне казалось, что такое может случиться только от счастья.

Так продолжалось до тех пор, пока один из приглашённых психологов не посоветовал переменить обстановку, вернуться туда, где есть то, чего не хватает ей здесь и сейчас. Вернуться в зону наивысшего комфорта,—так он сказал. Туда, где она может снова почувствовать себя ребёнком.

Это в самом деле оказалось просто. Стоило Этери заговорить с Нютой о возвращении в Мексику, к отцу, хотя бы на время, та с радостью согласилась и заметно ожила.

Конечно же, я хотел, чтобы она выздоровела, и, как мог, гнал от себя мысли, что если она уедет, скорее всего, я её уже не увижу. Изменить я всё равно ничего не мог. Ощущение это преследовало меня, пока однажды она вдруг не подошла ко мне сама и не сказала:

—Ты хотел, чтобы я тебя нарисовала. Не передумал?

Нюта—дневник

Я понимаю, что произошло что-то, с чем надо научиться жить, но не знаю, как. Ещё один вопрос из тех, которые не исчезли. Вернее, появились новые, а спросить не у кого. Даже Берта молчит. Даже «там» я не могу найти ответ. Иногда я думаю, что его нет вообще, особенно, когда говорю с теми, кого вижу на моих рисунках. Но я всё равно стараюсь и не теряю надежду, потому что плохо маме и Алекс, а ещё Саше. Ближе, чем они, здесь, в Москве, у меня нет никого. Остальные далеко—и папа, и Мигель, и Берта, и даже моя любимая секвойя. С ними мне наверняка было бы легче. Я могла бы рассказать, что дело не только в выставке, в картинах и всех этих несчастливых людях. Они же не виноваты. Может быть, я бы справилась с этим быстрее, если бы не мама. Я ревную её, ревную впервые в жизни. Не потому, что она стала любить меня меньше, а потому, что она уже не моя. Почти не моя. Раньше нас всегда было трое: я, мама и папа, и мы принадлежали друг другу. Потом появился «этот человек» Глеб, и мама стала его. Но даже когда она перестала быть папиной, она оставалась моей. Так было до сих пор. Потом—однажды—мне приснился сон, что этот Глеб умер. Во сне я ужасно обрадовалась, но когда проснулась, то испугалась и своей радости, и даже себя. И сразу поняла, что мама уже не принадлежит мне, как раньше, а может, не принадлежит вообще. Было понятно, кому. Я вижу, как она меняется, делается непохожей сама на себя. Мне кажется, скоро она исчезнет совсем, и тогда не останется совсем никого, с кем я смогу говорить. Только дневник.

—Доченька, ну вот, я пришла. Ты ведь именно этого хочешь, правда? Поговорить обо мне,—мама садится рядом со мной на кровать, находит мою руку. В комнате почти темно, видна только её неясная тень.

—Хочу. Но получится не совсем о тебе.

—Почему?

—Я вижу тебя по-другому, не как раньше.

—Что же изменилось?

—Раньше ты была вокруг, везде, а сейчас… иногда тебя вообще нет. А когда есть, то не одна. Ты всё время не одна. С тех пор, как встретила его.

—Так и есть, я изменилась, я другая. Бывает, я сама себя не узнаю. Но ведь и ты меняешься. Ты взрослеешь, Нюта. Возможно, дело не только во мне, как по-твоему?

—Я не знаю. И что с этим делать—тоже.

—С этим ничего не надо делать. С этим ничего нельзя сделать, кроме одного.

—Жить? Наверное. Но я не могу понять, как. Вопросы не исчезают. Появляются всё новые, а ответов нет.

—Ну вот, а я собиралась задать тебе ещё один. Хотя, конечно, странно задавать его тебе, но мы никогда не говорили об этом раньше. Мне кажется, он может помочь нам обеим. Можно?

Я киваю едва заметно, но она видит.

—Что такое, по-твоему, бог? Как ты его чувствуешь? Может быть, даже видишь? Я спрашиваю, потому что почти уверена,—ты можешь ответить.

—Я вижу…

…Вот я вижу папу. Он где-то там, внизу, и улыбается мне, и машет. На самом деле я смотрю

на него не сверху, а сразу отовсюду, ведь я — везде. Я улыбаюсь ему тоже, хотя не понимаю, почему он кажется мне таким маленьким, он же так близко, что я могу до него дотронуться. Вот мама обнимает какого-то человека. Мне видна лишь его спина и широкие плечи, и то, что он держит её, как ребёнка, словно баюкает. Ещё я вижу Сашу. Он смотрит на маму как завороженный, наклоняется, обнимает её колени. Мне вдруг остро хочется — чтобы мои, хочется почувствовать его руки. Хорошо, что вокруг темно, потому что я краснею, мне жарко, мне тревожно. А ещё я вижу…

— Не знаю. Мама, у меня не хватает слов. Они не хотят про это.

Её лицо оказывается рядом на подушке. Её дыхание мне в висок.
— Ну, хорошо, не волнуйся. Тогда буду говорить я. У нас с тобой было разное детство, доченька. Я росла в другое время, меня окружал другой мир и другие люди. Сходство лишь в одном — в любви. Меня, как и тебя, любили — мама, друзья, твой папа. Мне казалось, что я знаю о ней всё. Сколько себя помню, я чувствовала себя сильной, красивой, желанной, и это придавало мне силы, даже когда их не оставалось. Я стала богом сама для себя, и мне было незачем думать о нём. Потом родилась ты… — мама умолкает, подносит мою руку к лицу, прижимается щекой.
— Потом родилась ты, и я узнала другую любовь и другой смысл всего на свете — жить для тебя. Это было необычно, иногда страшно и всегда прекрасно. Казалось, я стала сильнее в тысячу раз. Пока не появился Глеб, и случилось непоправимое: я перестала быть сильной. Это не значит, что я стала слабой, но… Видишь, мне тоже не хватает слов. Ну, вот, например. Представь, что всю жизнь живёшь в пещере, там тепло, надёжно, всегда горит огонь, а снаружи — воет ветер, ливень, хищные звери. А потом ты вдруг, нет, не выходишь наружу, а просто очутилась там, сама не понимаешь, как. И оказывается, что бояться некого и нечего, кроме… Кроме самой себя. Да и то поздно, потому что всё уже произошло.
— Что произошло? Я не понимаю, мама.
— Произошла я. Я — настоящая, такая, какой родилась. Оказывается, я просто об этом не знала, не догадывалась даже, понимаешь?
— Но ведь ты говоришь о боге. Причём здесь он?
— Единственный путь к нему, — обрести себя, из половины превратиться в целое. Со мной это произошло, когда я встретила Глеба.
— А как же папа и я?
— Для нас с тобой ничего не изменилось, просто мы обе выросли, стали другими. А папа… Доченька, папа и так всё понимает. Он знает, что меня прежней, меня — его, уже нет. Конечно, можно сопротивляться, притворяться перед собой и другими, и ты даже не заметишь, как превратишься из половины в четверть, чтобы постепенно исчезнуть совсем. Остаётся положиться на бога. Когда он внутри, это просто. А теперь спи, детка. Я уверена, что ты меня поймёшь. А если не поймёшь, — я по голосу слышу, как она улыбается, — если не поймёшь, то нарисуешь.

За ней закрывается дверь, и остаются лишь мои глаза в оконном стекле. Я смотрю в них, в себя, потому что знаю — там Саша. Мне хочется так много ему сказать, прижаться, но невозможно собрать слова — они рассыпаются как горох. Последняя мысль перед пробуждением — словно порыв весеннего ветра — что бог где-то совсем рядом. Первая после — а было ли это на самом деле?

Когда от слов спасенья нет

За окном собиравшийся с самого утра и наконец пришедший вместе со мной дождь. Нюта глядела в окно и водила пальцем по стеклу.
— Привет. Ты тоже любишь смотреть на дождь?
— Конечно. Тоже?
— Ещё как. В детстве я, бывало, прилипал носом к оконному стеклу — не оторвёшь. А однажды почти весь день так и простоял на крыльце, пока не стемнело. Правда, под козырьком.
— А я каждому дождю даю имя. И раньше — дома — тоже. Только у нас они совсем другие.
— У нас? Ты всё ещё тоскуешь, скучаешь по дому?
— И да и нет. Мне трудно ответить. Здесь все другое, наверное, и я. Мама говорит, что я выросла. А ещё, — Нюта снова отворачивается к окну и тихо-тихо, как когда-то с Этери, почти шепчет, — случился ты.

…Тишина отступает. Я снова начинаю слышать дождь и без слов, как никогда раньше, Нюту — она смеётся. Моим губам солоно, но, может, мне это только показалось? Её лицо всё ещё в моих ладонях, и я тянусь к нему снова, просто чтобы проверить — ведь и от счастья слёзы бывают тоже.

Вечером того же дня позвонила Этери.
— Нюта остаётся. Я не просто понимаю, почему, — я знаю. Вот только радоваться этому или огорчаться? Прыгнуть самой проще, взлетишь или разобьёшься — тебе и платить. Но когда речь о ней, я… Я по-прежнему не уверена, готовы ли вы, Саша. Больше того — способны ли. Здесь нельзя ошибиться ни вам, ни мне, но больше всего — ей. Вы даже не представляете себе, какая у этого может быть цена, да и никто не представляет. Нюта несравнимо умнее и мудрее меня, хотя бы поэтому я не могу ничего изменить и ничему помешать, — она всё равно поступит по-своему. Но вы, вы уверены — не в том, нужна ли она вам, а в том, нужны ли вы ей? И потом, несмотря на всё,

что я только что сказала, она ведь ещё ребёнок… Не отвечайте мне, Саша, ответьте самому себе—я пойму.

Я и не ответил—ни ей, ни себе. Хотя себе, по крайней мере, пытался, но очень быстро понял, что смысла в этом нет никакого—Нюта оказалась не только умнее и мудрее, она оказалась и сильнее тоже—и меня, и Этери, и даже самой себя. Да и могло ли быть иначе?

В любом случае, едва начав говорить с ней, замолчать снова было невозможно—точка невозврата оказалась в самом начале пути, а может, её не было вообще. Я этого не знал, а Нюта об этом не задумывалась вовсе. Ну и что?

Нюта водит кистью по холсту, то скрываясь за ним совсем, то появляясь снова. Я сижу у самого окна, борясь с желанием подойти посмотреть и дотронуться до неё. Она молчит, лишь иногда бросает на меня взгляд, всматриваясь во что-то, видимое только ей, и улыбается своими фиолетовыми глазами. Я не выдерживаю.

— Что ты делаешь, когда слова рвутся наружу, а произнести их невозможно? И рядом никого, с кем бы ты могла…

— Я уже привыкла. Это называется: когда от слов спасенья нет.

— Вот-вот. И как же ты спасаешься?

— Иногда слова начинают говорить друг с другом, а я только слушаю, и бывает даже смешно, но и грустно тоже. А чаще всего я рисую, и рисунки говорят вместо меня.

— Они не говорят, они кричат. По крайней мере, те, которые я видел.

— Это выходит само собой. А самое трудное давать им названия. Картина или рисунок без названия, это как человек без имени.

— Но ведь так ты подсказываешь другим, что ты хотела сказать, говоришь им, куда думать. Может, правильнее дать им возможность понять самим? Во всяком случае, попытаться. Просто—безымянный холст, безымянный рисунок, и всё.

— Мне не приходило в голову. И про других тоже. Их у меня никогда не было, только мама, папа и Мигель. Иногда Берта. Потом появилась Алекс, теперь ты. Но вы все часть меня, то, что у меня внутри, какие же вы другие? Ведь я рисую и вас тоже.

— Ты хочешь сказать, что все твои работы, это ты изнутри?

— Конечно. Я рисую и пишу всё время одно и то же—себя.

— Но в одном мазке твоей кисти, в одной линии умещается целая жизнь. Словно тебе ведомо всё, что было, есть и будет. Ты не бог случайно, Нюта?

Она смотрит на меня, и в глазах её вдруг просыпается лукавство.

— А когда ты меня целуешь, ты думаешь так же?

— Когда я тебя целую… Когда я тебя целую, я сам себе не верю. Когда я от тебя отрываюсь, я не верю себе ещё больше. И не знаю, что с этим делать.

— Положись на бога, который внутри,—так говорит мама.

— Внутри у меня ты. В этом смысле я с ней абсолютно согласен. Другой бог мне не нужен.

— А он никого не спрашивает, нужен или нет. Он просто есть—и всё. Везде, даже в деревьях. И в тебе тоже.

Внезапно до меня доходит, что и глядя на меня, она ни на секунду не прекращает работу. Её рука, её кисть, живут словно сами по себе, словно принадлежат другой Нюте—Нюте всевидящей, Нюте неземной, может быть, даже небесной.

Нюта—дневник

Когда мне совсем плохо, я всегда вспоминаю Мигеля и его мальвы—их тяжёлые, душистые головы, в которых живёт шерстяной шмель. Мигель, это наш садовник, он почти такой же старый, как Берта, и у него внутри солнце. Когда-то он рассказал мне, что его предки—потомки вымершего племени майя, что таких, как он, осталось на земле совсем мало—единицы, и они узнают друг друга по кусочку солнца внутри. Я помню Мигеля столько же, сколько помню себя, а себя я помню давно, даже ещё до рождения. Я поняла это, когда спросила у мамы, где те красные цветы, которых раньше было так много. Порой мне казалось, что они и есть мой настоящий дом.

— Нюта, доченька, это были мальвы, они в самом деле росли вон там,—она показала на горку камней рядом с ручьём,—и их действительно было много. Я любила сидеть среди них и читать тебе вслух, но когда дедушка заболел, их красный цвет стал его раздражать и пришлось их вырубить. Даже Мигель тогда плакал. Удивительно, что ты их помнишь, ведь ты ещё не родилась, я была только на шестом месяце. Значит, ты видела и запомнила их ещё до своего рождения. Я читала, что такое в самом деле бывает, правда, очень редко. Наверное, у нас с тобой как раз такой случай.

Мигель работает с утра до вечера. Я вижу его то окапывающим деревья, то поливающим цветы в клумбе, то стригущим траву, которая растёт слишком быстро. Он никогда не отдыхает, но ровно в полдень садится на плоский белый камень у ограды и принимается за обед. Маленькой я любила подкараулить его в этот момент, и он каждый раз угощал меня чем-то удивительным, даже если это было обычное яблоко, или печенье, или горсть малины. У него это было почему-то гораздо вкуснее и необычнее, чем дома, а ещё мы разговаривали.

— Ты ешь, как птичка,—улыбается Мигель.—Точно как та, что вон там порхает с ветки на ветку. Видишь?

— Тогда, может, я и была раньше птицей?
— Нет,— качает он головой.— Ты была ангелом. Ты и сейчас ангел, только пока маленький.
— А ты?
— Со мной всё очень просто: я был деревом с крепким и толстым стволом и глубокими корнями.
— Значит, ты был секвойей. Я расскажу маме, вот она удивится.

Мы сидим, слушаем, как дышит сад, и молчим. Я люблю с ним молчать, наверное, поэтому мне так легко с ним говорить.
— Мигель, о чём ты думаешь?
— Ни о чём особенном. Просто вспоминаю, как мои ветви шевелил ветер, как на них садились птицы. Но это было слишком давно.
— А кем ты был ещё раньше, до того, как стал деревом?
— Просто человеком, человеком своего племени. Я ведь тебе рассказывал, помнишь?
— Конечно. О племени майя.
— Верно. Нас было много, мы многое умели и строили большие каменные города. Но однажды мы покинули их и ушли в джунгли, чтобы стать деревьями.
— Все-все?
— Да, всё племя. Мы бросили свои дома, дворы, домашнюю утварь. Бросили всё и ушли.
— Почему? Разве такое может быть, Мигель? Расскажи.
— Города убивали нас, делали ненасытными и даже жестокими. Когда мы это поняли, то ушли, чтобы не начать убивать друг друга. Спасти тот кусочек солнца, который был в каждом из нас.
— Когда-нибудь я вас всех обязательно нарисую— всё племя. Обещаю.
— Да. Всё так и будет.
— Откуда ты знаешь?
— Так говорит мой бог, а он никогда не ошибается.
— А бог— это что?
— Это начало всего, что ты видишь, всего, что вокруг. Без него ничего не было, нет и не будет. Он вечен и он во всём.
— Значит, и во мне тоже? Тогда я хочу с ним познакомиться.
— Ты с ним уже знакома, только сама об этом не догадываешься. Тебе надо немного подрасти.
— А как я узнаю, что уже подросла? Мне не хочется ждать слишком долго.
— Это случится, когда ты научишься чувствовать чужую боль, как свою. И тебе не придётся слишком долго ждать.
— А вот ещё… Если бог вечен и он в каждом из нас, почему люди умирают?
— Люди не умирают. С концом одной жизни наступает другая. Это как пересесть из старой лодки в новую, чтобы плыть дальше по реке времени.
— Куда плыть, Мигель? И зачем?
— За тем, что каждый из нас стремится найти. Своё отражение, свою тень, а на самом деле— себя. Ведь каждый человек лишь половина целого, половина того, чем может быть, вот он и ищет недостающую половину. Но одной жизни для этого бывает мало.
— А когда находит, то что?
— Это очень трудно объяснить. Представь, что ты дерево или цветок магнолии. И бог у тебя внутри начинает смеяться.
— Ты так понятно и просто всё объясняешь, а мне почему-то ужасно не хватает слов. Они такие непослушные.
— Зато ты рисуешь. Твои рисунки умеют говорить лучше всяких слов,— Мигель кряхтя поднимается с камня и гладит меня по голове.— Ну, беги домой, становится жарко. Солнце палит так, как все люди майя вместе. Пора приниматься за работу. Ещё очень много надо успеть.

Последняя запись в моём дневнике

Сегодня я открываю свой дневник в последний раз. Очень долго он был единственным, с кем я могла разговаривать обо всём на свете и просто— обо всём. Но ведь если что-то должно быть— оно наступает. Как сегодняшнее утро.

Я вошла и увидела бабушку и седого бородатого мужчину в чёрном костюме и белой рубашке. Они стояли, прижавшись друг к другу. Чуть в стороне стояла мама и кусала губы.
— Нюта,— сказала бабушка,— ты ведь знаешь, кто это? Ты ведь уже догадалась, правда?

Я хотела кивнуть, но слова вдруг послушались и вылетели из своих коробок, как птицы. Впервые в жизни.
— Да,— ответила я, глядя на него.— Поверь, и всё исполнится. Всё так и вышло.

И мама бросилась мне на шею.

…— Вам некого было называть папой и дедушкой, а у меня не было других детей и других внуков— это так. Это и должно было быть так.
— А бабушка?
— Она заплатила самую дорогую цену, потому что любила меня.
— А вы разве нет?
— И я. Но я раввин и мужчина, я видел дальше. Я знал.
— Тогда вы ещё не были раввином.
— Раввинами не становятся, раввинами рождаются. Наши имена записаны в Торе. Однажды я увидел там своё.
— Разве мало тех, кого зовут так же, как вас? Может быть…
— Наверное, много. Но кроме имени, я увидел ещё и даты. Это было моё имя, дитя, и ты— самое

лучшее доказательство,—он помолчал.—Я понимаю, почему ты говоришь мне «вы», но ты постарайся, ладно? А теперь, пойдём. Покажи мне её.

В центре гостиной, прислонённая к спинке кресла, стояла, глядя на нас, моя «Магнолия». Она улыбалась нам миллионами лиц своих лепестков, и в каждом светилась частица солнца, которая словно и не угасала никогда, как частица бога. Потому что разве можно погасить солнце?

Время то ли замерло, то ли его не стало вовсе, как не стало инквизиции и распятия Христа, Дрездена и Ковентри, Треблинки и Бабьего Яра, а об Освенциме никто даже не слыхал.

Рядом раздалось быстрое неразборчивое бормотание, в котором я не поняла ни слова—дедушка молился. Когда оно затихло, я спросила:

— Эта молитва—о чём она?

Вместо ответа я услышала:

— Скажи мне, как ты её назвала?

— «Магнолия».

— Я просил всевышнего, чтобы он дал твоей «Магнолии» место рядом со свитком Торы в том храме, который будет построен. И пусть каждый, кто придёт туда, увидит её. А ещё,—он неожиданно улыбнулся, и я почувствовала на затылке его ладонь,—ещё я молился за тебя, потому что всё только начинается.

Забвение

Поднявшись по узкой, крутой, с резными деревянными перилами лестнице, попадаешь в крохотную мансарду с большим круглым окном и улицей за ним. Узкая и белая, она тянется и тянется, подставляя себя солнцу, пока не вливается наконец в раскалённый город. Вся как на ладони, мы знаем друг друга в лицо.

Здесь Нюта пишет.

Семь лет. Всё, что произошло за это время с нами, ни представить, ни описать невозможно. Да и зачем? Я оберегаю её, а вместе с ней ту боль и тот свет, которые и есть мы. Мы все.

Порой мне кажется, что она старше всех нас, живущих, вместе взятых. Есть такое выражение в её глазах, когда она замирает на секунду, прежде чем коснуться кистью холста, или просто молчит.

Будто солнце зашло навсегда.

Она научилась говорить, но так и не научилась лгать.

И пусть её и её единственную выставку забыли почти сразу, а «Магнолия» так и продолжает висеть у нас на стене. Пусть старый храм будет окончательно забыт, а новый не построен никогда, но в самый последний, самый отчаянный миг всегда можно покинуть свой дом, уйти и стать деревом. Это не так трудно, поверьте.

Нюта любит повторять, что, встретив друг друга, мы с ней нашли бога, хотя и она и я знаем, что на самом деле бог—это лишь вечные поиски его. Во всём. Обретения, потери и вечная жажда.

Бог—это все мы, отчаявшиеся, голодные, неправедные, ищущие.

Ах, это крохотное солнце внутри, да есть ли оно вообще?

Она продолжает рисовать.

Я никогда не спрашиваю её, зачем, но вовсе не потому, что боюсь не услышать или не понять ответ. Временами мне даже кажется, что я его знаю, и тогда дико, до смерти хочется нарисовать её самому. Вместо этого я вжимаюсь лицом в её ладони и, хотя она молчит, слышу:

— Никогда не бойся того, что придёт. Ведь всё уже было, всё было…

…Нюта скоблит палитру, счищая засохшую краску. Полдень. Солнце палит, как будто все люди майя глядят на нас сверху. Вдруг её рука с мастихином замирает в воздухе.

— Почему-то вспомнила,—говорит она, уставившись в окно,—как однажды спросила у дедушки, что он почувствовал, увидев в Торе своё имя. Знаешь, что он ответил? «Я заплакал».

Она рисует.

Арсен Титов

Немного горький цвет

Из сборника «Маленькие повести о войне и мире»

1.

Налёт — это внезапное нападение на заранее выбранный и тщательно разведанный объект. Третье слово этой прописи: «внезапное» — абсолютно зависит от трёх предпоследних слов «выбранный и тщательно разведанный». Высокие кокарды эту зависимость в упор видеть не желали. Их свойство тупеть вместе с набираемой высотой подкреплялось словами нашего министра обороны о противнике как о мужиках в штанах с мотней у колен, что должно было обозначить, будто противник разбежится сразу же, лишь стоит кому-то из высоких кокард громко, прошу прощения, пустить в дело нижнее дыхание. Костя Кравец изобрёл формулу: «Начальство нижним дыханием громко даст вводную, остальные долго тужатся». Конечно, в моей передаче формула не прозвучала, потому что формула хороша простотой и доходчивостью. Если «Пифагоровы штаны на все стороны равны!» звучит, то лишь потому, что сказано просто и доходчиво. И Костя сказал просто. Он сказал: «Начальство громко пёрнет, остальным долго тужиться».

Шёл четвёртый год войны. Для меня — первый и даже первый месяц, но вообще шёл уже четвёртый год войны. К нам в Руху прилетел замначразведки армии, поставил задачу:

— Задача: срочно выложить макет Безгаранского и Хисаракского ущелий. Прилетит…! — и замнач назвал такую высокую кокарду, что нам пришлось тужиться уже только при её упоминании.

Кокарда прилетела, ткнула пальцем в середину макета:

— Вот тут базовые районы Ахмад-Шаха-Масуда! Взять самого или кого-то из приближённых!

Потом замнач сказал:

— Сначала сюда выбрасываем триста сорок пятый воздушно-десантный полк. Он там дня три-четыре поизображает армейскую операцию. Потом придут вертушки под видом что-нибудь у них забрать. С этими вертушками прибудете вы и скрытно высадитесь, ночью выйдете вот к этому кишлаку. По разведданным, там в это время будет сам Ахмад-Шах. Ваша задача — захватить его самого или на крайний случай кого-нибудь из ближнего окружения.

На второй день этой армейской операции полк был так зажат, что ему был приказ срочно эвакуироваться. Нас выбросили. Мы остались.

2.

Лето даже по здешним уральским меркам на редкость не удалось. Дождь полоскал землю от июня и до сентября ровно день в день. С первым днём осени лето опомнилось, взялось за своё — да так взялось, что даже ночью стало душно и стало невозможно уснуть. Стало немного грустно — каждый день и с самого утра. Когда хлестало каждый день, никакой грусти не было. Сначала было раздражение, а потом пришло удивление — надо же, как, оказывается, бывает! А теперь, лишь стало возможным выходить из дома без плащ-палатки, к хорошему настроению прибилась какая-то грусть, будто с дождём всё главное в жизни прошло.

Начальник строевой части Настя получила старшего лейтенанта. Мой тёзка комбриг Володя собрал нас в отдельной комнате — столовой, прозванной греческим залом, обмыть новую звёздочку. Известно, мероприятие без замполита — банальная пьянка, а пьянка с замполитом — высокое идейное мероприятие. И я, замкомбриг по воспитательной работе, то есть, по-старому, замполит, подняв рюмку, сказал на ходу придуманную сентенцию о взаимосвязи расстояния и дружбы.

— Есть расстояние, и есть дружба! — сказал я. — Если первое подлинно, то второе не дружба. Если подлинно второе, то первое не расстояние. Потому — за подлинность второго, при котором не подлинно первое!

Вот как сказал я.

— Ну куда мы без замполита! — сказал комбриг Володя.

— Кому с бабами везёт, прошу прощения, Настя, а нам — с замполитом! — сказал замповэдэпэ, то есть заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке, Костя Рогов.

— За третью звёздочку, что ли? — будто ничего не понял зампотыл Валя Молчанов.

— Но так можно сказать и про любовь! — сказала Настя.

— На то и замполит! — сказал комбриг Володя.

— А никуда и без замПОТЫЛА!— сказал Валя Молчанов и полез за второй бутылкой.
— Замполит важнее!— сказал Костя Рогов.
— А второй после замполита— замПОТЫЛ!— сказал Валя Молчанов.
— Тогда третий— начальник строевой части!— сказала Настя.
— А четвёртый— слесарь-сантехник Петрович!— сказал Костя Рогов.

И так досчитались, что так вышло, что комбриг Володя оказывался ниже и ненужнее всех в бригаде.
— Нет, не всех!— сказал он.— Ниже меня начальник штаба. Он самый вредный и самый ненужный человек!

Начальник штаба Вася Барибан был в отпуске. Шутить по его поводу было можно.
— Куда уж вреднее. Он сейчас в третий раз на дню свежий борщ ест. А мы тут ворованную у срочного состава прошлогоднюю кочерыжку на всех делим!— сказал я.
— И этого бы не было, если бы я завстоловой Михаловну раком не поставил!— сказал Валя Молчанов.
— Товарищи офицеры! При даме!— сказал комбриг Володя.
— А это нас так замполит воспитывает!— сказал Валя Молчанов и вытянулся перед Настей:— Товарищ старший лейтенант, прошу извинить за отношение к вам, не предусмотренное уставом!
— Это за какое же?— спросил Костя Рогов.
— Неужели?— наигранно и с намёком спросил комбриг Володя и столь же наигранно посмотрел на меня:— А что на это скажет воспитательная работа?
— Он же сказал про расстояние. А замПОТЫЛ и начстройчасть расстояние преодолели, как и положено всё преодолевать хорошему служащему нашего ведомства!— сказал Костя Рогов.
— Да ну вас!— рассердилась Настя.

Вся бригада знала, что Настя была влюблена в меня. Я знал, что бригада знала, но до прошлого восьмого марта не знал, действительно ли Настя была в меня влюблена. За месяц до того мы с ней были вызваны в штаб округа. Бензина в бригаде не было даже для хлебовозки. Мы поехали рейсовым автобусом и все два с лишним часа дороги промолчали. А на восьмое марта Настя вдруг прочитала стихи— если я правильно запомнил, в них была вот такая строчка: «Век бы ехать так. И молчать».

Я вспомнил наш автобус и всё понял. А про Васю Барибана мы шутили по поводу и без повода, потому что Вася Барибан отличался особенностью требовать от жены три раза в день свежий борщ. Мы щёлкали клювами, ходили из отдела в отдел в надежде разжиться корочкой к кипяточку, а Вася в это время обжигался свежим густым борщом и потом на вопрос, как же жена успевает этот борщ три раза на дню готовить, отвечал, что жениться надо было не по любви, а на хохлушке.

3.

В Безгаране мы остались одни, и нас обложили на высоте четыре сто двенадцать. Хотя, нет, обложили нас там не сразу. Полк ушёл, а мы потихоньку вошли в пустой кишлак. Ущелье из него просматривалось не очень. Командир роты Юра Катаев мне поставил задачу влезть на высотку над кишлаком, ни во что не ввязываться и только наблюдать за ущельем. Мы поднялись— а нас сразу стали утюжить из дэшэка, крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва-Шпагина. Юра мне дал команду вниз. А это, простите, под пулемётом прогулочка ещё та. И только мы вывернулись, спустились к кишлаку без потерь, как нас стали доставать снайперы. Оставаться в кишлаке не было смысла. Задача сорвалась. Мы запросили Руху. Нам разрешили кишлак оставить, но задачу продолжать. Мы обложились дымами и пошли, совершенно неожиданно догнав уходящий полк.
— А что сразу с нами не пошли?— спросил командир полка.
— Оставались по задаче,— сказал Юра.
— Да какая же задача! Это же Ахмад-Шах! Вы ещё макет строгали, а он уже знал, когда и где вы будете!— сказал командир полка.
— Вы нашумели, а нам досталось!— сказал Юра.
— Ну пойдём вместе!— сказал командир полка.
— Нам задачу не отменили!— сказал Юра.

Мы тихомолком от полка отстали и пошли на эту высоту четыре сто двенадцать.
— Вы где, мотопехота?— забеспокоился и стал нас искать командир полка.
— Да ушли мы от вас!— сказал Юра.
— Как? Когда? Почему мы не видели?— удивился командир полка.
— Как же не видели? Мы с вами поговорили и ушли,— сказал Юра.
— Да брешешь, капитан! Я же вас в поле зрения всё время держал!— не поверил командир полка, а потом поощрительно сматерился:— Ну мотопехота! Ну ухари! Ну удачи вам!

К пяти утра мы влезли на вершину. Рассвело, и нам всё стало видно— и кишлачную зону, и погрузку полка десантуры на вертушки, и, кажется, даже Пакистан с Китаем стало видно. Кишлачная зона раскинулась прямо под нами, но далеко внизу. День мы наблюдали за ней, а вечером решили спуститься к ближайшему кишлаку. Но ведь был в ущелье и ходил-гремел полк, изображая армейскую операцию. И Ахмад-Шах был не голова, а целый их курултай, или как у них съезд Советов называется. Был Ахмад-Шах целая джирга. Он же сразу просёк— если войск нагнали, пошумели и пошли смываться, то под шумок обязательно кого-то, типа нашего брата, оставили. А раз

так — незачем за войсками гоняться, надо этих братков искать. Юра ещё на задаче сказал, что у нас ничего не выйдет при такой, как теперь молодёжь выражается, постанове. Так и вышло. Нас снова нащупали, и при стычке у Олега Кильчевского во второй группе двоих ранило. Мы стали его прикрывать. Он стал уходить к месту, где бы раненых забрала вертушка. Чтобы сбить духов с толку, Юра сказал ему уходить не сразу вниз, а сперва на хребет, а потом уж вниз. Это было правильно. Духи не пропетрили. Олег оторвался. Но задачу мы опять не выполнили. И кто же таких, как мы, чмырей любит, если система «Я начальник — ты дурак!» или формула Кости Кравеца про начальническое очищение желудочно-кишечного тракта посредством нижнего дыхания работает не хуже перпетуум-мобиле. Тот же замначразведки с напутствиями на благословенном командирском матерном отправил нас в Хисаракское ущелье. Вот тогда мы вышли на высоту четыре сто двенадцать.

И там нас обложили. Ведь шёл четвёртый год войны. По меркам Великой Отечественной, это был бы уже канун сорок пятого года, когда воевать научились даже высокие кокарды. Тут же не срабатывала даже аксиома, что армия всегда готовится к прошлой войне, то есть планирует будущие военные действия по прошлому опыту. Наши кокарды, выходило, ни к чему не готовились. Военная доктрина про штаны с мотней на коленях завязала им этой самой мотней глаза.

А нет, я опять забежал вперёд. Мы опять напоролись. Мы открыли огонь первыми, положили девять духов и взяли одного в охапку. Тут нам повезло. Тут просто выпал нам пёр! Мы схапали натовского инструктора, который сразу просёк, к кому попал, и сказал, что он близкий человек Ахмад-Шаха. Мы сразу доложили на базу. Нам приказали ждать вертушку за этим подручным, а потом уходить — задачу мы выполнили. Вертушка с подручным ушла уже под огнём, а нас, как цуциков, загнали на высоту четыре сто двенадцать.

4.

Дверь, конечно, открыла жена. Я сразу всё понял. Она по моим глазам поняла, что я понял. Она меня поцеловала, как это мы делали, несмотря на некоторость последнего времени, и подала телеграмму. Я ждал этого с весны. И сегодня на дню не раз вспоминал, что надо просто зайти к комбригу Володе и сказать: «Володя, только три дня!» Но бумаг, прости меня, Господи, неверующего, бумаг на меня сыпалось из округа, из разведупра, из генерального штаба, из военной прокуратуры, от Кости Рогова, временно замещающего Васю Барибана, от самого комбрига Володи, от матерей наших солдатиков, от материнских комитетов, от городского комитета по делам молодёжи, от чёрта, от его помощника по сковороде, от дьявола и его заместителя по заключению договоров на покупку душ — одним словом, за деревьями я не видел леса, за бумагами не видел не только личный состав, который был обязан воспитывать, а и не видел белого света вместе с женой, детьми, друзьями, не видел и себе говорил, вот-де это закончу, это разгребу, туда бумаги составлю, сюда отправлю, этих встречу, тех провожу, этому дам задание, а тому — накачку, здесь доклад прочитаю, там выступлю, сюда заметку напишу, положенные нормативы отпрыгаю, отбегаю, отстреляю, отмашу и тогда скажу комбригу Володе: «Я прошу только три дня!». Я так собирался сделать и сказать, но я знал, что никто меня не отпустит. Бригада пришла на новое место осенью прошлого года. До нас здесь стоял батальон строителей. И он нам оставил то, что в его представлении нам позарез было нужно для психологического привыкания к боевым действиям в населённом пункте. Я прибыл с последним эшелоном в январе. И то я увидел картину, заставившую меня вспомнить раздолбанные нашей артиллерией и авиацией афганские кишлаки. А уж что увидели приехавшие первыми, я спрашивать не решился. И весь год мы строились и благоустраивались своими силами, переделывали даже то, что нам делала строительная бригада квартирно-эксплуатационной части. Говорили, что сам командующий округом генерал Греков Юрий Павлович, войдя в казарму после её ремонта, провалился сквозь пол едва не по самые, ну, в общем, сел на пятую точку — так ремонтировала кэч. Моей, так сказать, зоной ответственности, кроме всей наглядности в виде Аллеи славы, ремонта помещения библиотеки и всего прочего, что связано с воспитанием личного состава, была асфальтированная дорожка от капепе до крыльца штаба, которую я был обязан сделать к приезду новой комиссии, но пока не сделал, отдав асфальт и щебёнку на плац около казарм. Эта дорожка теперь висела на мне вроде удавочной верёвочки.

И я сел на банкетку в прихожей, а жена прижала мою голову к себе.

— Володечка! — сказала она.

— Аи, боло мовида, — сказал я сам себе. Ещё год назад бригада стояла в райском местечке среди зелёных грузинских гор. Я туда попал по замене из Афгана в восемьдесят шестом и пробыл там до самого выхода, то есть шесть лет, и, естественно, научился чуть-чуть балакать по-тамошнему. — Вот и пришёл конец! — сказал я.

— Я тебе сразу же позвонила, но мне на коммутаторе сказали, что у тебя занято. Я решила не звонить и тебя не тревожить, — сказала жена.

Я покивал, то есть подёргал прижатой головой. Она поняла, будто я молча плачу.

— Володечка! Ну хочешь, я тебе сегодня отдамся! — сказала она.

— Это само собой, — сказал я.

Я не был в этом отношении гигантом. И на эти темы, подобно Вовке Патрикееву, я вообще говорить не любил. Подленький был Вовка. В Афгане он подставил меня дважды. В девяносто первом, когда Грузия объявила суверенитет и стала формировать свои вооружённые силы, он ушёл туда и приезжал к капепе бригады на иномарке, шурша долларами. В прошлом году я с ним столкнулся в Екатеринбурге на улице. Он был полковником эмчеес.

— Вон видишь бээмвэ отъезжает?— без всякого здоровканья показал он.— Председатель районного суда. Я её только что вот в этой гостинице трахал. И вообще, подполковник, я трахаю всё, что шевелится. А давай дёрнем по сто пятьдесят коньяку. Взбодриться надо. У меня теперь этих бл…, этих сучек столько, что если их прижать ягодица к ягодице и выстроить в шеренгу, то можно опоясать земной шар в полтора раза. Пойдём дёрнем. Я плачу!— снова предложил он.

— Я на твои не пью, Вова!— сказал я.

— Ну-ну! Всё ещё в честь офицера армейского спецназа играете! А я вот через два года выйду на пенсию, и будет она у меня такая, какую вы не получите всей вашей бригадой! И я напишу книгу про Афган, про нашу доблестную так называемую интернациональную помощь и про наш доблестный спецназ! Я напишу так, что вы там будете чмырями. И мне поверят!— хмыкнул он.

Я сплюнул и ушёл.

Так вот, ни в этом отношении, ни в каком другом гигантом я не был. Но жена меня всегда влекла к себе. Она влекла меня даже после этой некоторости. Говорят, если жена изменит, то этим только привяжет мужа к себе. Все сцены выяснений, ревности, возможного мордобоя и временного ухода в этом случае мужа в казарму, к другу, к маме, на вокзал и даже на войну только упрочат его чувство. Моя жена нашла себе другого на курорте. Она решила, что это и есть её судьба, и она захотела разделить детей и упороть к нему. А тот, к кому она захотела упороть, как не трудно догадаться, на подобный налёт не рассчитывал. Он, как мы в Безгаране, в прицел не попал, то есть он с мушки быстро соскочил. Налёт-то ведь надо готовить тщательно. Она вернулась. Я её принял только с тем, что не смог оставить детей при живой матери без матери. Мы жили в разных комнатах. Меня до трясучки тянуло. Но я представлял, как она была под ним. Так и жили. Никто в бригаде об этом не знал. Только ребята сначала стали недоумевать, почему я вдруг на все мероприятия стал появляться один.

— Что такое, Володя? Ты что свою красавицу стал прятать?— стали спрашивать они.

Я ничего не отвечал. Они отстали, прикинув, что у меня завязался роман с Настей.

А тут жена сказала, и я невольно ответил, что это само собой, хотя никакого само собой не могло быть. Из-под кого-то да с намерением делить детей она мне была не нужна.

Умер Юра. После Афгана он ушёл на замену в Пятнадцатую Чирчикскую бригаду, но мы с ним связь не потеряли и, более того, даже три раза вместе провели отпуск. Он заболел год назад, ушёл со службы, уехал на родину жены в Курган.

5.

Билет мне достался на двадцать часов местного — и то комбриг Володя напряг Костю Кравеца, вхожего к самому зампотылу округа. А тот напряг начальника железной дороги или ещё кого-то. День я провёл в бригаде, потом заскочил домой переодеться в гражданское и рейсовым автобусом отбыл на екатеринбургский вокзал. Родина пассионарила. Президент, он же по совместительству царь Борис, на грудках схватился с председателем президиума Верховного Совета, а по совместительству паханом Хасбулатычем. Никто не работал. Кто мог, воровал. Кто мог, гадил. Кто мог, вооружался. Нас, армию, просто сдавали оптом и в розницу. Наступила, по Марксу, эпоха первоначального накопления капитала. Далее, по Марксу же, следовало ожидать концентрации капитала, то есть награбленного у народа богатства, на одном полюсе, в руках кучки олигархов, и обнищание масс, которым станет нечего терять, кроме своих цепей,— на другом. С утра до ночи, торча в бригаде, так сказать, за зелёным забором с красной звездой на воротах, я не видел лица этой новой родины. А теперь, на вокзале, увидел. Обложено было это лицо огромными пропиленовыми баулами с барахлом. Оно кричало, визжало, материлось и толкалось, по поводу и без повода бешенело взглядом и скалилось клыками. Прыщами к нему лепились плотные кучки со жгуче-чёрными волосами и узкими сосредоточенными глазами, так сказать, гости из-за Амура, и пронзительно по-галочьи галдели над своим барахлом представители отколовшихся в самостоятельную государственность так называемых братских народов, ещё два года назад составляющих с нами единую общность — советский народ.

К своему месту я пробился по этим головам и баулам, вымостившим вагонный коридор. Все купе были напрочь забиты. В моём сидели четыре человека в железнодорожной форме. Купе мне показалось несказанно просторным.

— Нам сказали занять это купе!— извинились они.

— И слава Богу! Вы видели, что — в соседних!— сказал я.

— И здесь так же было!— сказали они.

— Вот я и говорю «Слава Богу!»— сказал я.

А потом это же сказал пробившийся в купе милицейский майор.

Железнодорожники стали говорить о своём. Милицейский майор некоторое время молчал,

потом, вероятно, уловив во мне что-то характерно не гражданское, спросил, не военнослужащий ли я, и, будто возобновив прерванный разговор, сказал:
— Я только что вёл дело. За это на меня завели дело. Я сам из Кургана. Меня специально пригласили — теперь так практикуется постоянно. Дело было по мошенничеству на очень крупном здешнем предприятии. Оно сейчас практически в руках одного очень крупного мошенника, кстати, депутата городского Совета. Так вот, это предприятие было продано специально созданному для такой махинации обществу с ограниченной ответственностью, которое денег не заплатило, а тут же объявило себя банкротом и продало предприятие этому мошеннику с мандатом депутата. Городская прокуратура и все прочие развели руками, мол, ничего не попишешь — рынок и реформы. Одним словом, кто-то довёл до Москвы. Меня назначили расследовать. Да, а этот наш депутат скупил на ваучеры уже порядка двухсот пятидесяти предприятий по всей области. Ваучеры, само собой, скупал у населения за копейки. Кстати, вы куда вложили, если не секрет?
— Пришла какая-то тётя вечером, сказала, что представляет «Газпром». Жена ей всё сдала! — сказал я.
— Документ-то хоть какой-нибудь получила? — спросил майор.
— Получила, — хмыкнул я.
— Правильно хмыкаете. Возможно, как раз и на ваши ваучеры этот новый Рокфеллер область скупил! — сказал милицейский майор. — Предприятия скупил, оборотные средства сразу изъял, а их выставил на банкротство, благо, что только что вышел закон об этом банкротстве. Вот смотрите, свеженький пример. Был оборонный завод, выпускал детали для ракетных комплексов. Горбач подписал с Америкой соглашение об ограничении наступательных вооружений. Что там Америка при этом сделала — чёрт с ней. Горбач же, естественно, государственный заказ свернул, то есть кинул оборонку. Завод разработал программу товаров народного потребления, стал производить магнитофоны, бытовую технику с электроникой. А тут враз демократия и свобода, тут враз рынок — и завод за те же ваучеры скупил кто? Его скупил наш избранник народа, хотя не важно, что скупил он. Мог его скупить собственный директор. Завод скупили, средства его вывели, уникальное оборудование продали по цене металлолома, а несколько тысяч работяг и высококвалифицированных специалистов, как говорится, выбросили на улицу. И никому нет до этого дела. Как же — рынок и реформы! Так вот, по тому крупному предприятию и депутату я возбудил уголовное дело. И тут же — хоп, в прокуратуру поступило на меня заявление какой-то гражданки Шурыгиной по пунктам состава преступления, короче о взятке. Районный прокурор моментально возбудил на меня уголовное дело. Ни проверки, ни телефонного звонка. Сразу — уголовка. Еду вот домой, может, хоть с семьёй попрощаться. Разваливают всю систему правоохранительных органов. Гонят из неё всех, кто хоть что-то из себя представляет. Гонят самых-самых профессионалов.

Я слушал его в пол-уха, стараясь думать о Юре. А от рассказа майора в память лезли наши последние два года в райском уголке и наш уход оттуда. Я с усилием гнал их, старался вспомнить нашу службу с Юрой, старался найти в себе боль. О скорой его смерти ещё весной сообщила его жена. Получалось, я смирился с ней, приготовился её встретить. Ещё могло быть и так, что я к смерти привык в Афгане или просто оказывался чёрствым человеком. Хотя, скажем, по жене боль притупилась, но не проходила. И попытки сейчас думать о Юре, попытки заставить в себе найти боль от его смерти приблизили воспоминания об отношениях с женой. Она вдруг стала какими-то намёками говорить о каком-то возможном конце наших отношений. Родина бурлила. Нас метали по всему Закавказью. Ни о какой боевой подготовке, как было прежде, не было и речи. Я был начштаба третьего отряда. Одна моя рота была в городке Казахи, одна была на складах в соседнем Азербайджане, одна охраняла инженерный и вертолётный полки в Цхинвали. Кстати, тогда у Сани Михайлова в Цхинвали бандиты убили жену и маленькую дочь. Я сразу же отозвал его к себе — иначе бы он натворил там дел. Мы практически оказывались вне закона. Мы охраняли жителей и военное имущество. А наши семьи никто не охранял. В городке оставалась рота связи и остаток одной из рот. В нарушение Устава посты пришлось увеличивать. Заступать в караул, опять же, в нарушение Устава пришлось каждые сутки. И я с комроты связи проверяли посты через каждый час. Дома практически я перестал бывать. Сынишка в школу перестал ходить ещё весной восемьдесят девятого. После событий в Тбилиси девятого апреля почти вся Грузия на нас ощерилась, хотя мы никакого отношения к этим событиям не имели. У комбрига и моего друга Миши Масалкина был день рождения. Только-то мы с ним подняли рюмки, как раздался телефонный звонок. И Миша мне сказал: «Пока не успел на грудь принять, давай с оперативной группой вперёд!» — это было к вечеру десятого. Мы сорвались. Через час за нами прибыла бригада. И мы занимались охраной. Часть охраняла комсостав округа, штаб округа, семьи. Часть патрулировала по городу, стояла на наиболее важных направлениях и перекрёстках. Через несколько дней бригаду вывели к месту постоянной дислокации. А комиссия — нечего и говорить, какая комиссия — объявила, что в событиях участвовала наша бригада. Нас сроду

и задачам-то таким не учили—разгонять народ. Наше дело—тыл противника. И в этом отношении, я прямо скажу, мы в Афгане занимались в основном не своим делом. А в Тбилиси мы занимались тем, о чём я уже сказал. Но свалили на нас. И учительница в классе у сына сказала: «Его отец в Тбилиси убивал наших детей!»—учительница, которая до того в нашем сыне души не чаяла. Сына мы отправили к родителям жены. А она с дочкой осталась. И вот стала говорить о каком-то конце наших отношений, о каких-то цикличностях в семейной жизни, мол, через определённое время в ней начинают возникать трения, отчуждённость, сомнения в чувствах и всё такое прочее. Может быть, так оно и бывает. Во всяком случае, у нас случилось так. Она стала раздражительной, крикливой и слезливой, стала говорить, что я её не люблю. Ну до этого ли мне было. И однажды вдруг она выкрикнула: «Володечка! Я бы не знаю, что сделала, чтобы тебе хоть чуточку стало легче. Я сама себе не рада. Ну за что мне это! Ведь я люблю тебя!»—я понял так, что она страдает от всех этих событий. Я успел только её расцеловать, как забрякал телефон с капепе—угроза нападения, и я опять ушёл на несколько суток. И только здесь, уже по месту новой дислокации, когда я прибыл с последним эшелоном в январе прошлого года, я обнаружил, что жена давно, ещё до событий, на курорте спуталась с мужчиной.

Вот об этих воспоминаниях боль была. А боли о Юре не было. И на сотую попытку найти в себе боль о Юре, что-то мне сказало, что он для меня не умер, он остался для меня жив. Я с облегчением согласился.

В Курган приехали заполночь. Железнодорожники пошли в двери с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Милицейский майор сел в служебную машину. Я до утра остался на вокзале. Мне стал вспоминаться Юра. Он мне стал вспоминаться в Афгане, в моей первой боевой операции, или, как было принято говорить, на моих первых боевых.

Был Юра по внешности и по характеру каким-то округлым. Он был невысок, нос картошкой, ранняя лысина, белая кожа, широкие ладони и толстоватые, но чуткие пальцы с крепкими широкими ногтями. Он более походил на интеллигента в хорошем понимании этого слова. Говорил он немного, как бы даже не умел говорить. Однако он всегда говорил толково. Команды, вопреки положению о том, что командира в строю отличает громкий командный голос, он отдавал негромко. Я полагаю, многим солдатикам его команды дублировали их соседи. Непременный по всякому поводу и без повода разнос от высоких кокард он принимал молча, спокойно, а порой даже как-то коротко, будто прочищая нос и будто хмыкая, сопел. Он говорил, что это у него появилось после контузии. Но какая же высокая кокарда примет это во внимание. Наоборот, это придавало высоким кокардам небывалое вдохновение.

Вообще, отвлекаясь от Юры, стоит подивиться, откуда у высоких кокард берётся столько желания, столько энергии, столько вдохновения или, как кто-то сказал, столько свободного времени кричать, кричать и кричать. Любой чирей с тощей задницы если вдруг получал задачу проверить такого же чирья только с другой тощей задницы, в единый миг становился высокой кокардой и тут же начинал кричать. Есть старый армейский анекдот про подобных проверяющих. Приехал в часть такой. Само собой, что всё обругал, на всех накричал—деревья в лесу вокруг части росли не по линейке, трава на газонах была не покрашена, казармы и контрольно-пропускной пункт не был выстроен в виде рыцарских замков, техника была без розовых ободочков по контуру, вода в умывальниках была мокрая, сухпаёк у начрода был сухой и так далее—одним словом, оценка «два» и служебное несоответствие. Командир части кинулся к начпродус задачей: «А накрыть у речки поляну, сварганить шашлык-машлык и водочку-молодочку! Речку кипятильником нагреть до соответствующей температуры! Авось пронесёт!»—Наелся проверяющий, напился, телеса в речке помочил, лёг на травку, зажмурился от удовольствия: «Ох, хорошо быть проверяющим, век бы в проверяющих ходил!»—лежит, мечтает и не заметил, что, простите, из казённых сатиновых трусов все его приспособления наружу вывалились. Откуда ни возьмись, подбежала какая-то собачка и ну язычком эти приспособления нализывать. «Командир!—замурлыкал проверяющий.—Командир! Ну это лишнее, командир!»—Вообще, никто не сосчитал, сколько часов в сутки кричит каждая высокая кокарда. Я как-то сказал об этом Косте Кравецу. А он мне выдал: «Офицер Красной армии на различные построения и связанные с ними громкие команды тратит в год столько времени, сколько его отводится на лекционный и семинарский курс в университете!»—и Косте можно было поверить. Да что там—поверить, когда общеизвестно, что знаменитый мусульманский батальон, тот самый, который брал дворец Амина, собранный с бору по сосенке, но полностью освобождённый от нарядов, караулов, посторонних работ и прочей шагистики, прошёл годовую программу подготовки за полтора месяца! А Игоря Стодеревского и двести гавриков из бригады перед самым Афганом летом семьдесят девятого вместо этой подготовки бросили на строительство военного городка! Вопрос: где же интересно были строительные части, что за объекты чрезвычайной важности они возводили, если перед самой войной боевую часть сняли с боевой подготовки? А сокращение перед самым Афганом до минимума штата бригад спецназа?

А сокращение до бригады и того самого триста сорок пятого полка, с которым мы стыковались в Безгаране, сто пятой воздушно-десантной дивизии, обученной воевать в условиях, абсолютно схожих с афганскими? Вот так было. И потом, как сказал Юра, «этот маразматический бред старцев» эти старцы из министерства обороны и правительства объявили необходимой оперативной маскировкой перед вводом войск в Афганистан.

Юра был начитан, любил английский юмор, но сам что-либо говорить с юмором не умел. И совсем он не умел ругаться. Вместо этого он только хмыкал и говорил: «Ну, ёлки!»

С этим хмыком и этими ёлками подошёл он ко мне там, на высоте четыре сто двенадцать, и сказал, что—всё, что надо прорываться. Я уже говорил, когда мы отправили натовского инструктора, нам было приказано выходить на север, в соседние ущелья, где тоже шла армейская операция. А всё своё мы схоронили внизу. Мы ведь предполагали, что уйдём только на одну ночь. А вышло—четыре ночи. Днём—пекло, ночью—колотун насквозь. И есть нечего. И нет воды. Представить себе невозможно, как же худо сидеть без воды! Я вот сейчас вернул бы всю цивилизацию в век этак восемнадцатый—только чтобы не гадили и не травили воду! Я согласен жрать пареную репу, жить при лучине, ходить в лаптях, терпеть боль от ран без всякого промедола и прочей анестезии, шлёпать пешком тысячи километров—но только чтобы была чистая вода! Её мы пытались собирать по науке при помощи так называемого перегонного устройства, то есть, по сути, полиэтиленовой плёнки, кусок которой додумались взять с собой, и котелка. Наука гласит, что при этих двух компонентах и трёх камнях можно за сутки из воздуха получить литр воды. Более того, наука гласит, что перегонное устройство может стать и источником пищи, так как, цитирую по памяти, вода будет привлекать змей и мелких животных, которые заползут в полиэтилен, а вылезти оттуда не смогут. Но ни воды, ни змей, ни мелких животных нам достать не удалось. Как-то не в ладах мы оказались с наукой. А по той же науке, необратимые процессы в организме наступают при потере воды в нём, превышающей десятую долю массы тела. Мы, наверно, потеряли вообще всю воду. И пить хотелось до потери всякой совести, всякого понятия о чём-либо, до убийства того, у кого вдруг оказалась бы во фляжке, в ладошке или за щекой хоть капля воды. По ночам мы лизали камни. Их холод давал какую-то иллюзию. А так слюна превращалась в клейкие комки, не отрывалась от языка и не шла в горло. Один за другим солдатики стали вырубаться. Мы, офицерики, на это не имели права. Мы обязаны были охранять солдатиков, потому что солдатик был таковым, в отличие от нас, не по собственной воле, то есть жизнь его была дороже нашей. Мы втроём, я, Юра и Олег Кильчевский, ходили от одного солдатика к другому и тормошили их. Ниже нас метрах в двадцати со всех сторон лежали духи, и нам доносилось их дыхание.

Не лучше солдатиков, я тоже на миг вырубился. Я обошёл в свой черёд всех и присел на секунду, сказав себе, что только на секунду, тут же прибавив, ну-де на несколько секунд, а конкретно на двенадцать секунд. Я сказал, вот-де глаза закрою, сосчитаю до двенадцати и опять встану. Я присел—и меня за плечо тронул Юра.

— Володя, посмотри вон туда!—прошептал он и повёл меня мимо пулемётного гнезда в сторону небольшой скальной террасы на уровне духов. Мы пошли, останавливаясь на каждом шаге и слушая чужое дыхание.—Слышишь?—шёпотом спрашивал Юра. Я отвечал, что слышу.—А сейчас?—спросил он наконец почти у самой террасы.

— Не слышу,—сказал я.

— Они не перекрыли эту террасу! Надо попробовать по ней уйти!—прошептал Юра.

— А если это ловушка?—спросил я.

— Но ещё день мы не продержимся! Давай пойдём!—сказал Юра.

Мы снялись и пошли. Я пошёл замыкающим. И вскоре я стал слышать за спиной чужое дыхание. Я понял, что духи нам очистили выход только потому, что поняли—мы будем держаться до последнего и мы их положим столько, что Ахмад-Шаху станет впору просто пойти и сдаться. Они шли метрах в ста после меня. И я слышал их тяжёлое и сдерживаемое дыхание, не перекрываемое даже шумом движения. Может, мне их дыхание казалось. Вполне может быть. Но я его слышал и думал, что они нас выдавливали, потому что они тоже любили жить. Я именно так думал. Я думал—они любили жить. Видимо, без воды мозги мои скукожились и их хватило, чтобы только стянуться вокруг мозжечка. Идти я мог, а соображать нет.

6.

Дверь открыла жена Юры.

— Володечка!—припала она ко мне.

— Где он?—спросил я.

— Юра?—спросила она.—Юру вчера схоронили!—и, отвернувшись в темноту комнат, крикнула:—Володя Ломаков приехал! Слышите? Вставайте! Друг Юры приехал!

— А как же телеграмма?—спросил я.

— Да извини. Мы просто закрутились. Я попросила племянника, а он вспомнил чуть ли не вчера!—сказала она и снова крикнула в комнаты:—Ну вставайте! Друг Юры приехал!

Первой вышла молодая женщина, показавшаяся мне знакомой или, по крайней мере, похожей на кого-то из тех, кого можно было увидеть на экране.

— Вот, Володя, друг Юры. Вместе в Афгане воевали! А это наша невестка Данута. Имя литовское, а сама она русская. Юра тебе писал! — представила нас друг другу жена Юры.

Данута протянула мне руку.

— Да, Юрий Сергеевич много о вас рассказывал! — сказала она.

— Но как же так быстро похоронили? — спросил я.

— Ну, похоронили, Володя. Мы не надеялись, что ты приедешь. Да не расстраивайся. Сейчас позавтракаем и поедем к нему на могилу! — сказала жена Юры.

— Вы пьёте кофе или чай? — спросила Данута.

— Водку! — неожиданно резко сказал я.

— Прямо сейчас? — спросила Данута.

— Да, налей ему, выпьет с дороги! — сказала жена Юры и опять припала ко мне. — Володечка! Ты бы видел, как он умирал! — и спохватилась: — Нет. Что я говорю! Хорошо, что ты не видел! Он даже закричал, чтобы мы его задушили, такие начались боли. Последние полгода мы с Данкой вообще света белого не видели. Бедный мой Юрочка! — и она заплакала, но заплакала как-то коротко и не жалостно, так же, как мы в своё время коротко и не жалостно смотрели на убитых.

— Данка, ты налила Володе водки? — тут же спросила она и сама пошла на кухню.

Я остался среди прихожей. Во мне встопорщилось что-то вроде неприязни — неизвестно только к кому.

Комбриг Володя вчера утром посмотрел на меня вкось.

— Сам же знаешь, что не могу тебя отпустить! — сказал он.

— Почему? — спросил я.

— Потому, подполковник! — разозлился он.

— Умер мой друг. Мы вместе прошли Панджшер! Дай мне три дня! — сказал я.

— А завтра-послезавтра приедут из округа. Да если сам командующий Греков Юрий Павлович приедет? И что ты им покажешь? Колышки вбитые, как у кого-то там написано, покажешь? — побагровел комбриг Володя.

— У городничего в «Ревизоре!» — сказал я.

— Что у городничего? — спросил комбриг Володя.

— Вбитые колышки! — сказал я.

— Интеллектуал! Посмотрю, как тебе эти колышки в одно место Греков втыкать будет! — рявкнул комбриг Володя.

— Тебе кто давал право орать? — побагровел, но тихо сказал я.

— Да ты что, Володя! Ну ты сам посуди! — осёкся комбриг.

— Я вам не Володя, а заместитель командира отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба подполковник Ломаков! И я рапортом прошу дать мне три дня увольнения на похороны боевого товарища и командира! И зачитайте мой рапорт в качестве патриотического воспитания перед личным составом бригады, товарищ полковник! — почти ослеп я от прихлынувшей к лицу крови.

И вот эта утихшая злобень сейчас вспыхнула какой-то неприязнью без адреса и пароля.

— Он где похоронен? — спросил я.

Жена Юры что-то ответила.

— Он где похоронен, на каком кладбище, как туда проехать? — снова громко спросил я.

— Не волнуйтесь. Нам всем плохо. Все вместе поедем после завтрака! — сказала Данута и пошла в комнату. — Вставай, — услышал я оттуда. — Друг Юрия Сергеевича приехал, а мы его держим в прихожей!

— Проведи его в запасник, покажи мои работы! — было ей ответом, но через минуту, застёгивая джинсы, вышел сын Юры, поздоровался за руку и прошёл на кухню. — Мать, дай выпить! — сказал он.

— Вон, с Володей, другом отца, выпейте. Зови его сюда! — сказала жена Юры и сама позвала: — Володя, иди на кухню, я вам с Алёшкой приготовила!

Я проглотил злобень. Потом мы с сыном Юры проглотили по рюмке. Он сказал, что у него сегодня самолёт в Питер, а оттуда куда-то в Германию на пленэр, и снова ушёл в комнату.

— Художник. Творческая личность! — с любовью сказала жена Юры.

Мне подумалось — ничего не напоминало о смерти Юры, и я промолчал, а потом подумал, что никто ещё не может поверить в случившееся. В кухню вошли молодые мужчина и женщина, оба статные и красивые. Жена Юры сказала, что это её племянник с женой.

— Вот он, обормот, и послал телеграмму невовремя! — сказала она.

Племянник промолчал, а я сказал, что всякое бывает.

Завтракали в большой комнате за большим столом молча и в напряжении. Я чувствовал, что почему-то это напряжение вносил я. Мне снова захотелось уйти, одному съездить к Юре на могилу, а потом рвануть домой. Я снова спросил, где он похоронен. Жена Юры снова сказала, что поедем все вместе, что надо подождать родителей Дануты.

— А вы знаете, Володя! — вдруг воскликнул сын Юры. — А Данутка вообще-то должна была стать женой вот его, — показал он на своего двоюродного брата. — У них был роман. А досталась она мне!

— Перестань! — сказала жена Юры.

— А разве не так? — спросил сын Юры.

— Не так! — резко встала из-за стола Данута.

— Ну-ну! — ухмыльнулся сын Юры.

— Перестаньте! — снова сказала жена Юры.

— Да пусть, — сказал племянник.

— Ну ладно. Мне пора. Сейчас такси приедет! — сказал сын Юры.

— Может, всё-таки съездишь к отцу на могилу с нами. Билет можно переделать на завтра!—сказала жена Юры.
— Что это даст? Вернусь и съезжу!—сказал сын Юры.

Такси подкатило минут через пятнадцать. Сын Юры сказал всем «Чао!». Данута и жена Юры пошли его проводить.
— Мелет что ни попадя!—сказал племянник.
— Ещё чаю?—впервые подала голос жена племянника.

Через несколько минут вернулись жена Юры и Данута.
— Отправили. Художник. Творческая личность. Мы уж не обращаем внимания!—сказала жена Юры.

Позвонили родители Дануты, сказали, что смогут приехать только на обед.
— Вот так, Юрочка! Все заняты! Только твой друг и приехал!—сказала жена Юры.

7.

На кладбище поехали на «Волге» племянника—он за рулём, я около, женщины втроём на заднем сиденье.
— Что с армией-то творится?—спросил племянник.

Я вспомнил, как он выдержал слова сына Юры, и мне показалось бестактным промолчать, хотя молчать я считал для себя делом обычным.
— Что делается…—начал отвечать я, но жена Юры меня перебила.
— Что делается!—сказала она.—Нас с Юрочкой из этого Чирчика узбеки только так выбросили. Хорошо, сын в это время здесь, в России, учился! Во время учёбы и женился на Данутке! А до того вот этот обормот, Серёжа,—она легонько тряхнула племянника за плечи,—ухаживал за ней!

Мне очень захотелось взглянуть в зеркало заднего вида на Дануту. Я с усилием остановил себя.
— Данута тоже художник?—непосредственно к ней не обращаясь, спросил я.
— Нет. Я не поступила в Свердловске в художественное училище!—сказала Данута.

Мне опять показалось, будто мы были знакомы. Я опять удержался, чтобы не взглянуть в зеркало.
— Не поступила и пошла учиться в медицинское училище и теперь, дурочка, работает медсестрой в роддоме!—сказала жена Юры.

Я понял—она забыла начало разговора, и сказал:
— Да что с армией делается. Вопрос простой, а любой ответ будет неправильный!

Я так сказал, вспомнив байку про некогда служившего в штабе округа генерала Харазию, абхаза по национальности и кавалериста. Однажды он, будучи ещё начальником штаба полка, застал солдатика, стоявшего на посту у знамени части с папиросой во рту.
— Ты что куришь?—взорвался будущий генерал.
— Сигареты «Прима», товарищ майор!—от страха быстро нашёлся с ответом солдатик.
— Ответ правильный! Вопрос неправильный!—мудро подвёл черту под боестолкновением будущий генерал.
— Вот так, спросить можно, а ответить так, чтобы правильно, нет!—сказал я.

А то что творилось с армией, можно было сказать всего парой слов—издеваются и уничтожают. Нас погнали отовсюду в Россию. Мы всех могли бы образумить. Но нам дали команду молча терпеть все издевательства, потому что президент сказал всем хватать столько свободы, сколько влезет—всем, кроме нас. Вместе со свободой хватали и оружие, большей частью не умея с ним обращаться, как, например, случилось в Абхазии. С послевоенного времени мы стали готовиться к войне с НАТО, и Закавказье было просто начинено оружием. Могу сказать, что только в Грузии было более девятисот единиц тяжёлого вооружения. Ещё больше его было в Армении и Азербайджане. А всего Закавказье захватило у нас три с половиной тысячи единиц тяжёлой боевой техники и семнадцать тысяч вагонов боеприпасов. Думаю, теперь эти цифры уже не секрет. Кстати, при этом мы, наше ведомство, не отдали ни одного автомата, ни одного патрона. И можно было спросить, почему мы не отдали, а другие отдали. Кто бы только взялся на такой вопрос ответить. Можно было спросить, за что этим вооружением за четыре года были убиты сто тысяч человек. И опять—кто ответил бы на этот вопрос! И ещё—они захватывали. Но кто-то же из нас этому не сопротивлялся, кто-то потворствовал, а кто-то просто воровал.

Говорить обо всём этом, о случаях где-то там, где я не был свидетелем, было стыдно. Мы не воровали. Мы не отдали ни одного патрона. Мы не изменили присяге. Но нам было стыдно. Говорить об этом я не стал, а привёл пример из нашей жизни всего лишь менее года назад.

Мы уходили из райского уголка Грузии. Технику мы отправляли железной дорогой, а семьи—бортами, то есть самолётами военно-транспортной авиации. Я отправлял последнюю партию. Это было в конце октября. Приехали мы в Тбилисский аэропорт, выгрузились прямо на лётном поле под открытое небо, так как, по нашим данным, мы тотчас же должны были отправиться. Но прошёл день, прошла ночь, прошёл ещё день. На мои запросы, где эта долбаная военно-транспортная авиация, отвечали ждать, борт задерживается с вылетом из одного из прибалтийских аэродромов. И сидели мы так под лазурным, как поётся в песне, небосводом восемь суток—ни умыться, ни сходить в туалет, ни согреть чего-то горячего хотя бы для

детей. Да где—горячего! Сухпаёк был выдан, как мы считали, с большим запасом, на трое суток. Его растянули на неделю. И всё. Дальше—голод. Голод, холод, грязь. Появились жуткие по величине и прожорливости вши. А мимо туда-сюда, туда-сюда сновали самолёты гражданской авиации. Мне же был только один ответ—мы суверенное государство, мы вас сюда не звали, ждите свою авиацию или идите пешком. И много в армии выше начальства не напрыгаешь. Одним словом, когда наконец свалился с лазурного неба благословенной Грузии борт майора Коваленко, мы уже превращались в обезьян, и на нас мог бы зарабатывать Тбилисский аэропорт, благо что в Абхазии во всю уже шла война и, говорили, что сухумский обезьяний питомник был разгромлен. Борт свалился, из него брюхом вперёд, как изображали на карикатурах кровопийц-эксплуататоров, вышел командир майор Коваленко и объявил: «На борту тридцать тонн прибалтийского сливочного масла, и пока я его не продам, мы не полетим!». Орда—в вой. Я—в мат. Ах, суверенное государство, думаю, ах выше начальства в армии не прыгнешь! А вот вам то самое, куда обычно в нужных случаях посылают! Двум своим шофёрам я приказал машины поставить поперёк взлётной полосы и никого не подпускать, как в карауле, в случае чего, открывать огонь, и объявил это по аэропорту. Только так и заставил подлеца майора взлететь и по спецсвязи связался с дежурным министерства обороны. Связался и всё ему доложил. «Хорошо, подполковник. Примем меры!»—сказал дежурный. Слава Богу, дежурный оказался человеком. А тот подлец-майор взлетел и в салон отопление не стал включать. Высота—десять тысяч. За бортом, как водится, минус сорок. Женщины—к нему: «Дети же в салоне, все в лёгонькой одежонке! Ты же, майор, тоже из своей Прибалтики будешь уходить, и твоя семья вот так же будет мучаться!»—Он в ответ им: «А я буду уходить на своём борту! И туда погружу свою прибалтийскую мебель. Сяду я в кресло и буду чёрное кохве пить! А если вы не захотели на тёплом солнышке ждать, пока я масло продам, так будет вам теперь солнышко холодное, потому что в Таганроге сядем на заправку. И я там стоять буду до утра!»

Но только он сел в Таганроге, только собрался всех с борта гнать—ему: «Куда, мать твою, майор! Полчаса на заправку—и вперёд, чтобы мы тебя не видели!» Это дежурный по министерству обороны человеком оказался, связался с Таганрогом.

Майор струсил, взлетел, отопление включил и—к женщинам: «Да что же вы, дорогие мои! Что же вы так-то! И если у вас такие связи, милые мои, посодействуйте в Кольцово, чтобы меня сразу домой отправили!»—почуял, подлец, что в Кольцово ему худо придётся.

Они посодействовали—позвонили в особый отдел. Приехали чекисты с маленьким вопросиком, откуда столько маслица. Вот, думаю, тут ответ оказался правильным.

—И у нас было не лучше, когда мы из этой дыры Чирчика выбирались!—сказала жена Юры.

А я отважился найти в зеркале глаза Дануты.

8.

Наверно, она что-то нашла в моём взгляде. После кладбища стали готовить обед и понадобилось кое-чего купить. Жена Юры погнала в магазин Дануту и попросила меня помочь ей нести пакеты. По дороге Данута вернулась к разговору в машине.

—И всё-таки, что делается с армией?—спросила она.

Я подумал, зачем это ей. Но уже то, что спросила, было приятным.

—Не знаю,—сказал я.—Наверно, то же, что и со страной!—а потом сказал, что, собственно, вывел для себя, испытывая на своей шкуре всё творящееся, вернее, творимое со страной.—Ушла старая совесть. На её месте родилась другая совесть, не знаю, какая—горбачёвская, ельцинская, чубайсовская, в общем, их совесть. Разве они себя считают бессовестными? Нет, они себя не считают бессовестными, как бессовестным себя не считает никто из нас. Только, выходит, у каждого своя совесть. Вот и эти свято поверили, что всё делают для страны. Ещё, небось, думают, что мы, тупорылые, этого понять не можем, оттого у них всё получается наперекосяк!

—Но они так не считают!—поправила Данута.

—Ну да,—согласился я.

—Про новую совесть я ещё не слышала. Вы, наверно, об этом много думали!—сказала Данута.

—Станешь думать!—усмехнулся я.

—А разве в армии принято или разрешено думать?—спросила она и поспешила исправиться:—Не обижайтесь! Я глупо шучу! Юрий Сергеевич был настоящим человеком. Он хоть и был очень молчаливым, но с ним можно было молчать, и от этого молчания, ну, не знаю, как сказать, от его молчания вдруг начинаешь думать, что ли. Иногда мы с ним обо всём говорили. И он говорил почти так же, как вы. Я, как вас увидела, так сразу поняла, что Юрий Сергеевич, говоря о вас, был во всём прав!

—Ну, прямо во всём прав?—попытался я пошутить.

—Прямо во всём,—с едва уловимой горчинкой сказала она.

Я понял, что горечь относится к смерти Юры.

—Во всём! И я без него в этой семье не останусь!—сказала она.

Она так сказала и в испуге остановилась.

—Вот это заявление!—тоже остановился я.

—Простите, вырвалось!—сказала она.

Я взял её за руку. Она сжала мою ладонь. Почему я так обнаглел, то есть взял её за руку, я скажу

позже. А сейчас я взял её за руку, она сжала мою ладонь и сказала:
— А считайте, как хотите!
— Хорошо. Я буду считать, как хочу! — улыбнулся я.
Она на улыбку не ответила.
— Если бы про самолёт и майора рассказывал кто-то другой, я бы не поверила, посчитала бы за клевету. А вы так похожи с Юрием Сергеевичем — и вам я поверила. Вы рассказывали, а я думала, кроме того, какой подлец этот майор, и кроме того, что, может быть, он выполнял приказ, ещё и то, какие же всё-таки ваши офицерские жёны, сколько им достаётся и как они всё переносят! Я про них думала и думала про Екатерину Михайловну, про свекровь. Юрий Сергеевич заболел. Она поняла, что он умрёт, и мне как-то сказала: «Я не могу жить одна. Мне обязательно нужен мужчина!» — И тут же она нашла себе. Знаете, я думаю, что Юрий Сергеевич догадался. Но как он это перенёс, вы бы знали! Я поняла, что он ей даже намёком это не показал! — сказала она.

Не знаю, почему, но и я, только вошёл сегодня, только жена Юры всплакнула у меня на плече, вдруг понял, что она уже не одна. Вот убейте, но я так подумал. Вернее, так по мне пронеслось и тут же заслонилось каким-то другим чувством, чувством стыда, что ли, чувством осуждения себя. Нет, мне сейчас этого не передать. Слишком всё было быстро, гораздо быстрее, чем можно определить словом «молниеносно» или каким-то другим словом из этого же ряда.
— Данута, а мы не могли где-то раньше встретиться? Во всяком случае, вы мне кого-то напоминаете! — сказал я.
Кажется, впервые она улыбнулась.
— Вы когда-нибудь видели фотографию Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой? — спросила она.
— Да, у нас есть книга её воспоминаний, Ира недавно купила! — обрадовался я.
— Ну вот! — сказала она.
— Чёрт! Как же я сразу не мог соотнести! — начал я себя корить в том плане, что мне по профессии было положено, так сказать, сразу же соотнести одно с другим. Чтобы замять свою промашку, я спросил: — Данута, простите, а почему имя у вас литовское?
— Папа там служил. Наверно, влюбился в какую-нибудь литовочку с этим именем! — сказала она и тоже, что-то в себе скрывая, спросила: — А Ира — это кто?
— Ира — это жена! — сказал я.
Разговор больше не получился.

Я стал думать, вот и жёнами мы с Юрой похожи, только моя, наверно, посовестливей, что ли, хотя если уж есть две совести, то, наверно, есть и третья — совесть влюбившегося человека.
— Как всё сложно, — сказал я.

Данута промолчала. И ничего мне не сказала её ладонь. Была она широковатой, тёплой и чуткой. И эта ладонь промолчала.

9.

А теперь немного о том, почему я так обнаглел, то есть взял Дануту за руку. Я сделал это в порыве. Ну а порыв — это следствие чувства. И я, как бы это сказать потоньше, в графе о семейном положении я вполне мог написать: разведён, то есть я был свободен. И самое главное, я был уверен — если она свою руку отведёт, то сделает это очень деликатно. Но более я был уверен — она руку не отведёт. И ещё более я был уверен — она руку не отведёт не из той же деликатности, с которой бы отвела, если бы отвела. А она руку не отведёт оттого, что… Вот тут не хватает у меня слов передать ту тонкую, простите за новую наглость, любовную ниточку, которая стала нас связывать с минуты, когда я увидел в зеркало её глаза. Дело было не в моей мужской опытности. Женщин до жены у меня было две. А после жены, ну то есть после того, как мы стали жить с женой в разных комнатах, у меня не было ни одной женщины. Так что мужской опыт мой был ровно по той армейской прибаутке, когда собирались на стрельбы, но не поехали — оценка «удовлетворительно», собирались на стрельбы, поехали, но не доехали — оценка «хорошо», собирались на стрельбы, поехали, стреляли, но не попали — оценка «отлично». Вот такой был мой мужской опыт. А чувствовать людей меня научила служба.

Есть масса людей, наделённых таким чувством от природы. Есть масса людей, которые таким чувством не наделены, но уверены, что наделены. И есть люди, научившиеся этому в ходе опыта. Я себя отношу к последним. Я научился чувствовать людей на службе. Если даже это не так, если я, например, наделён был этим чувством с рождения, тогда пусть мои слова будут знаком благодарности службе и тем людям на службе, которые меня, сами того не чувствуя, этому научили.

Наше ведомство, как мы иногда себя называем, есть части и соединения специальной военной разведки, отличающейся от других видов разведки тем, что нам, кроме обнаружения противника, ставится задача ещё и нанесения ему поражения. И вот, цитирую один из документов: «Выполнение боевых задач осуществляется специально обученным и подготовленным личным составом…» — я здесь выделяю слова «специально обученным и подготовленным». То есть я был обучен на службе и этому — чувствовать людей. Хотя, повторяю, я взял Дануту за руку в порыве или, по-нашему, осуществляя налёт. И если это был налёт, то он был подготовленный. Вообще я трус. Причиной моей трусости является стыд. Нас служба учила убивать. И наша профессия — убивать. Но нас

служба учила убивать не ради собственного удовлетворения, не ради мести за погибшего друга или мести за поруганное священное Отечество. Она нас учила убивать, подчиняясь требованиям воинского долга во имя священного Отечества, в полном безразличии к врагу и к себе. Только такое безразличие даёт возможность не сдвинуться по фазе, не поехать крышей и как там ещё говорят про сумасшествие. Жалость к врагу и жалость к себе одинаково сковывают. Безразличию вроде бы я обучился, но только не по отношению к женщине. Их у меня, возможно, было бы больше чем две, не считая жены. В том же Афгане были возможности заиметь, как говорили в войну, пепеже, попутно-полевую жену. Но меня сковывал стыд, и я трусил, я панически боялся того, что я проявлю чувство, а на него мне будет ответом этакое «Фи!», которого я не перенесу. А в случае с Данутой я почувствовал — этого «фи» не будет.

Нас учили убивать. Но ещё нас учили всю жизнь учиться. Но парадоксально — именно на службе учиться было невозможно. Как вон Серёга Аксаков поступал в академию! На иностранном языке московские дамочки его спрашивают: «Ви хайзен зи?» — означающее: «Как Вас зовут?» А какое майору Серёге, боевому офицеру, комбату, «ви хайзен зи». Сидит майор Серёга, только что державший в руках всю провинцию Айбак, перед московскими дамочками и непривычно потеет, лицом же, чистым светлым русским лицом, мыслительный процесс изображает. «Ну что, товарищ майор? В чём проблемы? Почему не отвечаете?» — спрашивают московские дамочки. «Я думаю!» — отвечает комбат майор Серёга. Где же и когда же ему выучить это «ви хайзен зи», если он и дома-то раз в неделю после дождичка в четверг бывает.

Снова правильный вопрос: почему у царского офицера было время на самообразование? — ответ на этот вопрос впервые будет правильный. Потому у него было время на самообразование, что под рукой всегда был унтер-офицер, то есть, по-нашему, сержант, служащий сверх срока. Отец он там родной был, не отец — это другой разговор. Но унтер-офицер отвечал перед командиром за всё. И в Красной армии долгое время было так же. А вот когда ради экономии решено было заместителем командира взвода назначать сержанта срочной службы, то есть сверстника всем остальным, да когда в армию стали подбирать всех увечных и калечных, всех скорбных духом, то есть психически больных, и уголовных, тогда-то и получили мы не армию, а подобие колонии. Тут уж офицеру стало не до собственной учёбы, не до повышения своего образовательного уровня. Тут у офицера появилась вилка: или закрыть на всё глаза и пустить на самотёк, хрен-де с ней, с дедовщиной, я не вижу и ладно! или же, чтобы в подразделении был порядок, в подразделении дневать и ночевать. И это при том, что при объявлении повышенной боевой готовности или во время учений, различных министерских проверок офицер и без того находится на казарменном положении. Он детей с женой, бывает, месяцами не видит. Какая же ему учёба, какой культурный уровень! Да ещё жуткий крик высоких кокард и плацевые построения стали занимать всё служебное время, потому что по ним стали оценивать служебное соответствие командиров! Так и стали расти кокарды за счёт жуткого крика, потому что ни за какой другой счёт расти не стало возможности.

Одним словом, я совершил налёт, но налёт заранее подготовленный как в отношении моей хоть какой-то, но обученности чувствовать людей, так и в отношении того, что в графе о семейном положении я смело мог писать слово «разведенец».

Шутка, конечно, это, и притом казарменная.

И что здесь стоит заметить! Я получил только один день свободы от службы — и уже сумел столько наболтать. А если бы нашему брату дать по свободному дню на каждой неделе… Ах, правы высокие кокарды — нельзя нам давать ни минуты.

10.

Первыми к обеду приехали сестра жены Юры с мужем. Жена Юры услышала под окном стук захлопывающейся дверцы автомобиля, выглянула и побежала встречать.

— Володечка! Сестра приехала, пойдём встречать! — позвала она.

Вместо этого я пошёл на кухню, где была Данута. Она, видно, как подошла к раковине с противнем из-под пирога, так и остановилась. Я тоже остановился.

— Кто-то приехал? — как бы спохватившись, спросила она.

— Кажется, да, — сказал я.

Мы оба смолкли. Она, не оставляя противня, полуобернулась на меня. В глазах было что-то сильное, будто ищущее ответа на какой-то вопрос. Я вспомнил её перемену, когда сказал, что Ира — моя жена, и подумал: «Вот это! — и подумал: — А почему? — и сказал: — Пустое!» Я выдержал её взгляд. Она улыбнулась одними губами, вежливо и быстро. Мы остались стоять соляными столбами, пока не открылась входная дверь.

— Вот, друг Юрочки приехал! — сказала жена Юры.

— Слышали, слышали о вас! — сказал муж сестры при пожатии руки.

— Идите к столу, садитесь, знакомьтесь! — затолкала нас в комнату с накрытым столом жена Юры и позвала: — Данутка! Ты где? Ты чего не встречаешь гостей?

Я услышал, как Данута сказала «здравствуйте» и прошла в комнату, считавшуюся мастерской.

— Ничего, не обращай внимания. Привыкнет! — сказала жена Юры.

— Как наша армия себя чувствует? — для завязки разговора спросил муж сестры.
— Да вот так, ловим свой член в штанах, как мышь в подполе! — вырвалось у меня.
— Да, — понимающе кивнул муж сестры. — Слышали, что в Чечено-Ингушетии творится. Вообще, чёрт те знает что в стране творится. По-моему, наш президент и гарант демократии просто от пьянства уже невменяемый стал. А вообще легче стало работать. Я заместитель начальника строительного управления по снабжению. Сейчас мы выводим часть управления в самостоятельное подразделение, делаем общество с ограниченной ответственностью. Жизнь заставляет. Я сына туда направил. Проблем невпроворот. Но вообще легче стало работать. Раньше было — надо тебе, например, оконные блоки. А лимита у тебя на них нет. И начинается. Ты звонишь на завод строительных деталей: Иосиф Павлович, выручай, дорогой, в долгу не останусь, может, что для дачи надо привезти, щебёнки там или песку. Он в ответ — а курятинки у тебя нет, этак с полтонны? Ты — на птицефабрику: Марья Ивановна, выручай, надо полтонны! — Она: Где же я тебе возьму, когда всё по фондам расходится, ну, разве что ты нам крышу сделаешь, крыша потекла! — Ты: Сделаю, Марья Ивановна, сегодня же пошлю рабочих с техникой и материалами! — потом ты забираешь полтонны куриного мяса, везёшь Иосифу Павловичу, у него забираешь оконные блоки, брак там не брак учтёнка не учтенка, забираешь и обеспечиваешь фронт работ! Это я ещё короткую цепочку нарисовал. А бывали цепочки в пять и шесть колен. А теперь намного легче стало. Теперь деньги есть — нет проблем. Теперь напрямую: деньги — товар, как у Маркса! Нет, теперь можно работать. И знаете, мышление другим становится.

Я слушал, даже делал заинтересованное лицо, вспоминал тут же рассказ милицейского майора и думал — что же с нами делается, что делается с той же упомянутой Чечено-Ингушетией. Сколько можно судить, республика всеми силами рвалась из состава России, и этому способствовал глава верховной власти в России товарищ Руслан Имранович. Хасбулатов и, странным образом, даже сам президент. Я не видел того документа, но друг мой и бывший комбриг Миша Масалкин ещё в прошлом году перед уходом из райского местечка мне как-то сказал: «Наш президент, ставший по совместительству министром обороны, со своим замом Пашей Грачёвым передали этому бандюгану, — он имел в виду главу Чечено-Ингушетии Дудаева, — половину всего оружия, находящегося там. Шапошников, то есть командующий Вооружёнными силами СНГ, издал распоряжение, а эти подмахнули! Жди, Володя, Дудьего дня! Сдаётся, не миновать нам с тобой Кавказской войны!» — а потом вышло, как оно и должно было выйти, Дудаев бумажку с распоряжением получил и хапнул вообще всё, что смог хапнуть, и никого не спросил. И вот вопрос: для чего Дудаеву было нужно оружие и по какому такому высокому помыслу ему его дали? Ни главе Осетии, ни главе Дагестана, ни главе Кабарды его не дали, а Дудаеву дали. Дали, хотя уже в девяносто первом он отозвал из рядов Красной армии, то есть из рядов Вооружённых сил СССР, всех военнослужащих чеченской национальности и запретил туда призыв вообще.

Вопрос есть. А ответ?

Я это думал, слушал своего собеседника, вспоминал рассказ милицейского майора и вслушивался в тишину соседней комнаты. Я запоздало жалел, что на кухне не подошёл к Данута. Трус я был ещё тот.

Потом приехали её родители, отец, авиатехник аэропорта, и мать, бухгалтер.
— Да, покойный Юрий Сергеевич много о вас говорил! — тоже сказал отец Дануты.
— Да что много-то! — едва не весело возразила жена Юры. — Разве Юрочка мог много говорить! — и повернулась ко мне. — Соберёмся вот так на праздник вчетвером. Мы со сватьей уйдём на кухню. А они с Юрочкой сидят за столом и молчат. Мы со сватьей выглянем из кухни — они сидят молчат.
— Ну, молчанье молчанью рознь! — как бы извиняясь, а на самом деле скрывая неловкость от весёлости жены Юры, сказал отец Дануты.

В прихожую вышел и муж сестры.
— Здорово, родственник! — сказал он.
— Здравствуйте, — ответил отец Дануты.
— Ну вот. Серёга с женой просили не ждать. Они приедут к вечеру. Так что будем начинать? — сказала жена Юры.
— Что их, молодёжь, ждать! — вроде бы с пренебрежением, но с явной гордостью за сына сказал муж сестры.
— Ну, тогда так! — стала командовать жена Юры. — Тогда вы, сваты, садитесь сюда! Вы, дорогая сестрица, напротив. Ты, Володечка, вот сюда, рядом со мной. А вот тут, рядом с тобой, сядет Данка. Я настоящая вдова. А она нынче соломенная вдовушка. Так что поутешаешь нас, вдов!
— Сплюньте, сватья! — сказала мать Дануты.

Жена Юры отмахнулась. А Данута вышла к столу с улыбкой. Все при этом как-то напряглись — все, исключая, конечно, жену Юры.
— Ну, Данута, как ты похорошела, прямо расцвела. Я ещё в прихожей заметила. Да ты быстро ушла! — сказала сестра жены Юры.
— Спасибо! — сказала Данута, расцеловалась с родителями и подошла ко мне. — Ну вот, товарищ подполковник! Сержант медицинской службы Катаева прибыла к месту назначения! Разрешите занять отведённое для дальнейшего прохождения службы место? — сказала она.

— По тому, как она ухаживала за Юрочкой, ей надо офицерское звание давать! — сказала жена Юры.

Её сестра поджала губы, а её муж на миг несколько потупился.

— Не в художественное стремилась бы, а сразу в медицинский пошла — так была бы уже офицером! — вроде бы с осуждением, а на самом деле с плохо скрываемой любовью сказал отец Дануты.

— Да её все хвалят, нашу умницу и красавицу! — сказала жена Юры.

Мать Дануты вспыхнула и опустила голову.

— Ну, товарищи, я — на правах старшего! — поднялся с рюмкой муж сестры.

Мы уходили от духов до рассвета. Рассвело — и стало видно, что мы практически идём по гребню. Справа и слева от нас было по ущелью. Мы огляделись и, сколько ещё было у нас сил на что-либо реагировать, ахнули. В одном ущелье наша десантура ползла вверх, а в другом ущелье духи катились вниз. И не трудно было сосчитать время, когда духи запечатают наших, будто бутыль пробкой. Кстати, запечатают вместе с нами. Юра вышел на волну начразведки. А оттуда: «Это не ваше дело, вам приказ выйти к полку зелёных!» — так мы называли местную милицию царандой. Юра не выдержал: «Разрешите нам выйти к базе, на Руху!» — до неё было рукой подать, а к зелёным — это значило в бутыль. «Чёрт с вами, мать, мать, мать!» — разрешил начразведки. «Бегом, пока не закрыли!» — скомандовал Юра. А ведь на нас было боезапаса и всего прочего по тридцать кило. Но ничего, пустились бегом — жить ведь очень хорошо. Жить все любят. И если бы не бегом — не вышли бы. Только мы выкатились, упали передохнуть, воздуху похватать, шары в глазницы вправить — там, за спиной, началось. И тяжёлые орудия, и миномёты, и гранатомёты, и дэшэка — да всё враз. Юра подключился к частоте десантуры, потом снял наушники: «Понесут обратно двухсотых! — и характерно, после контузии, хмыкнул: — Если ещё сами выйдут, ёлки!»

Притащились мы в Руху, в часть. Задачу хоть на один процент, а выполнили. Всё-таки натовского инструктора мы прихватили. А вообще, отвлекаясь от этого нашего налёта, — может, я много стал умничать, но всё же скажу: мы в Афгане задач, которые должен был решать армейский спецназ, практически не решали. Мы были не спецназом, а хорошо обученной пехотой. Ну, так вот. Инструктора мы прихватили. Его сразу отправили в Москву. Нас в награду обложили благодушным матом и даже дали время оклематься. А как оклематься? Мы столько времени ничего не ели, что пищеводы у нас ссохлись. Ничего в нас не полезло. Мы уж пытались пальцами проталкивать в горло — а оно всё обратно. Даже вода — обратно. Через день прикатила из Кабула какая-то московская исследовательская группа исследовать нас на предмет реакции нашего организма после нахождения в экстремальных условиях. И пошло-поехало: тут метод, там обмер, тут взвешивание, там тест, всякие там «а» подчёркивай, «б» зачёркивай, числовые ряды и прочее. И всё для того, чтобы проверить, не лишились ли мы умственных способностей. Я в эти ряды смотрю, всякие «а» по задаче не подчёркиваю, а, наоборот, зачёркиваю, иначе у меня концы с концами не сходятся, числовые ряды расставляю по-своему да ещё поматериваюсь, что они составлены с ошибками. Мне говорят, нет не так! Я говорю, а по-вашему не выходит! Они говорят, думать надо! Я говорю, а нечего думать, и без того видно! Они злятся. Я тоже. Я Юре говорю, а пошли их в баню, что они к нам пристали, исследователи херовы! — А потом они выдают результат командованию. Я, оказывается, некая творческая личность с характером, имеющим склонность брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. А чего тогда на меня злились? И мне засветило повышение по должности с характеристикой этой самой личности и припиской «Обратить внимание». Обратил внимание Вовка Патрикеев. Ладно — если бы я ему дорогу перебегал. Ничуть не было. Он пристроился при замначразведки, и до него мне было далеко. Но из любви к искусству он шепнул где следует: «А у Лома-то, то есть у лейтенанта Ломакова, вот здесь в графе, вот посмотрите, „беспартийный" написано!» — И без него все видели, что там написано. И многим, кажется, вплоть до замполита отряда до этого было как звезде до дверцы. Но Вовка шепнул — и всем стало до этой графы дело. Потому что свои кальсоны ближе к заднице и меньше пахнут. Так и светило мне то самое повышение в должности весь Афган дальним светом. Даже командиром роты не утверждали — и я и командовал ротой без утверждения. Приходили по замене молодые и необстрелянные. Они сразу получали роту. А я, год провоевавший да с характеристикой «Обратить внимание», оставался неутверждённым.

Вот такая же исследовательская и с «обращением внимания» ситуация сложилась за столом. Прошу прощения за слог, но как творческая личность себе позволю, витала за столом непреходящая настороженность. Все ловили в словах другого — вернее, не так, вернее, родители Дануты ловили в словах несостоявшихся своих сватов, сестры жены Юры и её мужа, подвох и всё такое, а те, в свою очередь, искали в их словах язву и всё такое. Жена Юры то ли по глупости, то ли по бесшабашности характера умудрялась в эту настороженность прибавить свою долю. Данута упорно молчала. Я не лез к ней с приличествующим за столом ухаживанием: вам салатику? вам рыбки? а у вас рюмочка пустая! — Я молча брал, что мне вздумается да подкладывал ей в тарелку.

Она терпела. И в разговоре я особо не участвовал. Букой не сидел. Но и воспитанного гостя, умеющего поддержать любой разговор, не показывал. Всё-таки брало меня потихоньку, что Юры нет.

Через час первой засобиралась мать Дануты, сказав, что ей пора на работу. Конечно, за ней встал отец Дануты.

— Вы к нам на сколько?—спросил он меня и предложил:—Что вам поездом! Давайте, завтра я вас бортом отправлю!—и Данутe:—Сможешь завтра проводить? Борт в одиннадцать Москвы!

Данута кивнула, а после родителей сразу пошла в мастерскую.

— Отдохну, голова разболелась!—сказала она.

Через несколько минут ушли и сестра жены Юры с мужем. Следом стала собираться и сама жена Юры.

— Я по делам и надолго. Ты ложись вот здесь на диване, отдохни. Скоро приедет племянник со своей кралей. Они всё со стола уберут и будут ужин готовить. Ты их не стесняйся. Будь как дома—сказала она.

— Оставляешь наедине с красивой женщиной!—глупо сказал я.

— Данутка не такая. Да и ты своей Ирочке не изменишь!—сказала она.

11.

Ни на какой диван, конечно, я не лёг, а пошёл болтаться по городу. Заслышав меня, в прихожую вышла Данута, спросила, куда я. Возможно, так выразительно на её лицо упал свет, но мне показалось, вышла она в тревоге.

— Вы не уезжаете?—спросила она.

— Нет!—вдруг дрогнул я голосом.

Она посмотрела на меня. И я опять отметил, то есть не опять отметил, а я снова удивился её сходству с дочерью Марины Цветаевой, по крайней мере, с её фотографией.

— Хорошо. Дверь захлопывается сама!—сказала Данута и ушла в мастерскую.

«И всё?—молча спросил я, кажется, даже с обидой. И я же ответил:—А ты чего хотел?—и с ещё большей обидой, прямо ремнём схватившей грудь, сказал:—Лучше бы не выходила!—и кто-то во мне резонно сказал:—Она же чужая!—имелось в виду, чужая жена. И на это я огрызнулся:—Тебе-то какое дело!» Меня потянуло к двери мастерской. Меня потянуло постучать и просто ещё раз увидеть Дануту—просто увидеть. Но я повернулся к входной двери, стал шарить ручку.

— Вы ещё не ушли?—вдруг спросила Данута через дверь мастерской.

— Нет!—сухим горлом сказал я.

— А хотите работы Алексея посмотреть?—спросила она.

Я остановился. Сердце заметалось, и я не смог ни шевельнуться, ни ответить.

— Вы не ушли?—снова спросила она, пождав.

Я ничего не мог сказать. Я как-то напыжился, надулся, вроде петуха перед кукареканьем. Горло у меня совсем перехватило. Вышло—то, что петуху хорошо, мне смерть. Данута в порыве распахнула дверь мастерской.

— Вы не ушли?—выдохнула она.

Я из стороны в сторону подрожал головой—называется, изобразил отрицательный ответ.

— Уходите же!—снова выдохнула она.

— Куда?—спросил я.

Она ударила меня взглядом и вдруг прямо в дверях мастерской присела спиной к косяку и обвила руками колени.

— Господи!—заплакала она.

Я остался стоять. Я при этом, как говорили мои детки про спущенный воздушный шарик, сдулся. Со стороны, наверно, я смотрелся дурак дураком. Да оно так и было. Я стоял, совершенно сдутый внутри, совершенно пустой. Я стоял и смотрел, как, обвив колени, плакала Данута. Я знал только одно—всё-таки обученный же чувствовать!—я знал, что она плачет из-за меня. Но я не знал, что мне делать. Она была чужой женой.

— Добились?—вдруг перестала она плакать.

— А?—спросил я. А как бы я ещё мог спросить, будучи дурак дураком.

— Хорошо. Идите!—сказала она.

— Куда?—опять спросил я.

— Вы же куда-то пошли!—сказала она.

— Я? Пошёл?—удивился я.

— Владимир Алексеевич! Как же вы, такой тугодум, дослужились до подполковника каких-то своих сверхъестественных войск!—сказала она.

— Ещё не такие дослуживаются!—буркнул я.

— Ну да. Теперь я понимаю, почему такое творится с армией!—сказала она.

Мне за армию стало обидно.

— Много вы знаете, что с ней творится!—сказал я.

Она обиду почувствовала, посмотрела на меня. Свет опять упал на неё как-то так, что я увидел в её глазах тревогу. Мне стало стыдно. Рассказывают, будто в своё время командир девятой курсантской рязанского училища роты легендарный Фомич любил приговаривать: «Если в колхозном саду яблоки воровал и не попался—будешь спецназовцем!» Я же каждые каникулы работал в совхозном саду и однажды, ещё в свои тринадцать лет, гнал из сада более десятка, так сказать, будущих спецназовцев, моих сверстников, гнал по полю километра два, пока не нагнал. Что бы, интересно, сказал об этом Фомич. Так что лазать по чужим садам—это не доблесть. Доблесть в том, чтобы устоять, не впасть в придурочное и коматозное состояние перед женщиной, которая… которая, как бы это сказать, ну, одним словом, вам далеко не безразлична. Хорошо прочитала начальник строевой части Настя: «Как же просто всё—до

предела. Век бы ехать так и молчать». У женщин, выходит, в этом отношении всё проще. Они-то, выходит, и есть настоящие спецназовцы. А мы—так, мы—чмо, части материального обеспечения.

Данута, не вставая, снова посмотрела на меня. Тени делали её глаза большими и тревожными.
— А вы свою жену очень любите?—спросила она.
— Какую жену?—сразу не понял я вопроса.
— Свою,—сказала она.

Я шагнул к ней и присел рядом, спиной к косяку, но от неё отвернувшись.
— У меня нет жены. Дети есть. А жены нет!—сказал я и понял, что ничего не сказал.—Я не живу с ней!—прибавил я и снова понял, что опять ничего не сказал.

Я смолк. Плечом я касался её плеча. Её плечо подрагивало. Я не отстранялся. Мы помолчали.
— Почему?—спросила она.
— Я ушёл от неё,—сказал я.
— Почему?—спросила она.
— После тбилисских событий мне пришлось её с детьми отправить к её родителям. А они ей достали путёвку на курорт, сказали, что после всего ей надо отдохнуть. Там она…—я не успел досказать.
— Я поняла,—перебила Данута.—Я поняла. Но это… это ничего не значит. Вы мужчина и, надеюсь, сильный мужчина. Вы должны простить её!

Я посмотрел в потолок. Так же говорила жена. Она говорила: «Ты мужчина. Ты сильный мужчина. А я женщина. Я слабая женщина. Я ничего с собой не могу поделать. А ты можешь. Ты можешь меня простить!»—и это она говорила после того, как хотела разделить детей. Я же думал только одно—почему мужчина должен прощать, почему сильный должен прощать слабого, почему слабый может себе позволить поступать подло, а сильный должен его прощать? Кто простит сильного?—так я стал думать.
— Данута, я прошу тебя,—некоторое время я не смог подыскать нужного слова, она ждала.—Данута,—наконец нашёл я, как сказать.—Я прошу тебя, не касайся всего этого. Это дело только наше с ней, моё и её!
— Но я люблю вас!—вскричала она, повернулась ко мне и сильно взяла за руку.—Я вас полюбила ещё со слов Юрия Сергеевича! А сегодня увидела… Я поняла, что всё правда, я люблю вас!
— Данута!—смог сказать я.

12.

Наверно, странно, но мы не стали целоваться. Мы сколько-то, не сказать точно, сколько, посидели возле косяка, отвернувшись друг от друга и разговаривая только сжатыми воедино ладонями. «Как же ты теперь будешь с женой?»—спрашивала Данута. Это же, как она теперь будет с мужем, спрашивал я. И вместе мы друг друга спрашивали, как мы теперь будем вместе. Ещё я думал, что никакой я не обученный, что никакой это не налёт. Она любила меня, и сила её чувства всё сделала сама. Не почувствовать это надо было ещё суметь! Я думал, что же именно мог сказать обо мне Юра, если только с его слов оказалось возможным родиться чувству.
— Зачем же ты пошла замуж?—с горечью спросил я.
— Но тогда бы мы не встретились,—помолчав, сказала она.
— А когда была у вас свадьба?—помолчав, спросил я.
— В этот Новый год,—снова помолчав, сказала она и, будто оправдываясь, сказала о муже:—Он очень талантливый.
— В Новый год!—фыркнул я и вспомнил свой нынешний Новый год.
— В Новый год. И если бы мы этого не сделали, мы с вами сейчас бы не встретились!—повторила она.—И ещё,—сказала она.—И ещё. Знаете, была раньше такая теория, что цвет можно выразить музыкой или, наоборот, музыку—цветом.
— Знаю, Скрябин, Чюрлёнис…—сказал я.
— Да,—сказала она.—Да, они. И я ещё в юности, ещё в художественной школе, об этом узнала и очень увлеклась. Я всё забросила. Увлеклась только этим. Меня кое-как из школы с тройками выпихнули. Я увлеклась этим и даже стала думать, как цветом выразить буквы—не звучание их, а именно сами буквы, написанные и без чтения немые. Тогда ещё у нас не была издана книга Кандинского «О духовном в искусстве». Она появилась у нас только в прошлом году. И я думала, что я первооткрыватель. Знаете, как у Делакруа: «Природа является для художника лишь словарём». Это меня натолкнуло. Я стала искать соответствие цвета букве. У меня, конечно, ничего не получилось. На это жизнь надо положить. А я—так, пока в школе училась и пока была свободная от всех других забот. Теперь-то я знаю, это определённый «изм», тупик. «Художник своим свободным духом стоит выше природы и может трактовать её в соответствии со своими высшими целями». Это Гёте сказал. Не думайте, что я такая умная и начитанная. Это всё обрывки. Это многих сводит с ума. У многих от этого крыша едет. Вот и впадают в «изм», думая, что они вправе и в силе стоять выше природы. А сами обыкновенное ничто. Ведь всё это очень субъективно. А тогда я была очень увлечена. Может быть, оттого и в художественное училище не поступила, что всё пыталась найти соответствие цвета букве. А Алексей, знаете, без всяких «измов»—я ему рассказала, и он без всяких «измов» смог цветом, гаммой цветов, колоритом картины передать почти осязаемое, например, чувство боли, чувство тревоги или чувство умиротворения и так далее. Какой-то магнетизм есть в его работах, в обыкновенных, казалось бы, этюдах, портретах,

жанровых композициях… Но я боюсь, что он тоже стал думать о себе, будто он может быть выше природы. Вам это интересно?

Потому что это было связано с её мужем, мне не было интересно. Я чувствовал, что ей это тоже не было интересно — говорить о муже. Но её вопрос, как я теперь буду с женой, и мой вопрос, как она теперь будет с мужем, и наш общий вопрос, как нам теперь быть вместе, — не получали ответа. От её слов на меня нашла ревность. «Я опоздал всего на девять месяцев! Они поженились всего девять месяцев назад. Мне надо было успеть. Мне надо было приехать на Новый год к Юре!» — стал думать я и не отражал, что мы бы не встретились, если бы она не вышла замуж, не стала жить в квартире Юры и Юра бы ей ничего не говорил обо мне. Я не отражал, что её муж — это сын Юры, до сегодняшнего дня мне симпатичный человек, успехам которого, когда мне о них писал или говорил в телефон Юра, я искренне радовался.

— Ну вот, например, как я определяла цвет каждой букве, — не получив от меня ответа, продолжила Данута.

Она говорила, что как-то там этак определяла цвет буквам и эти буквы составляли страшно цветные слова, иногда очень интересные по колориту, но совершенно непригодные для обратного воспроизведения, то есть по самой картинке нельзя было догадаться об её названии. Ещё она говорила, что у мужа всё выходило иначе. У мужа работы почти осязаемо передавали и боль, и горечь, и тревогу. Она это говорила. А ладонь её в тревоге спрашивала: «Как мы теперь будем?» — «Данута! Данута!» — только и отвечала моя ладонь.

13.

Когда семьи были отправлены, из оставшихся в бригаде офицеров мы сформировали две группы, как некогда формировались офицерские роты с офицерами в рядовых. Каждый получил новую должность. Кто-то стал пулемётчиком, кто-то разведчиком, кто-то снайпером или водителем бэтээра и так далее в соответствии со штатной структурой группы специального назначения. Одна группа ходила в караул, другая занималась отправкой вооружения и материальной части на железнодорожную станцию. Потом менялись. Ни столовая, ни баня, ни котельная уже не работали. Готовили мы на буржуйке, которая отапливала караульное помещение. Так дожили до первого снега, выпавшего в декабре. Отправили первый эшелон, стали готовить второй, с которым, в последний раз взглянув на райский уголок, отправились сами. Под людей вагоны были поданы такие, что сразу стало понятно — их искали по всей Закавказской железной дороге, не нашли и стащили с Арарата Ноев ковчег. Двери вагонов были сорваны, а которые не сорваны, так держались на одном шурупе, полки — так же, окна частью разбиты вообще, частью закрыты фанерой или осколками стекла. Туалеты никакому ремонту не подлежали, как и печка с титаном для кипятка. Пока шли до Баку, ещё терпели, всё-таки с погодой было помягче. А когда, так сказать, вышли на оперативный простор, на российскую равнину, Родина в очередной раз испытала спецназ на прочность. За окном минус пятнадцать. И у нас минус пятнадцать. За окном снег метёт. И у нас метёт. За окном реки льдом покрыты. И у нас пол в вагоне льдом покрыт. За окном ветер свищет. И у нас в вагоне свищет. И военный эшелон идёт как! Это там когда-то, говорят, при Сталине, они шли литерными, то есть безостановочно. А при нынешних правителях и министрах мы полчаса двигались, а потом полсуток стояли. Загоняли нас в какой-нибудь тупик, и мы стояли, стояли, стояли, и никто не знал, когда тронемся дальше. В Баку мы простояли неделю. Тут просто-напросто жаждали нас завернуть к себе. Вопрос, как можно было догадаться из всяких намёков со стороны местных властей, решался на государственном уровне. А с кем его было решать. У нас хоть какая-то, но власть была. А у них было возвращение к ханскому правлению. Раньше же не было такого государства Азербайджан. Раньше были отдельные ханства Бакинское, Кубинское, Гянджинское, Шемахинское и так далее. К ним и вернулись. И каждый новоявленный хан себе армию набирал. Каждый в верховную власть рвался. И с кем конкретно было нашему правителю разговаривать? Неделю искали такого. Нашли не нашли, но кто-то, слава Богу, дал отмашку. Покатили мы дальше. Стали нас блокировать в Гудермесе. Я уже говорил, товарищ Шапошников дал распоряжение об оставлении в Чечено-Ингушетии половины находящегося там вооружения. Но Чечня прихватила всё, что там было. И нас решила прихватить. Первый эшелон прорвался с боем. Всё-таки мы обучены бить сразу. К нам уже подкатили сторожко, но заблокировали пути. Пришлось предупредить о небольшой зачисточке города из миномётов и орудий. Наглость была с нашей стороны. Какие у спецназа орудия. Автоматические да ручные гранатомёты — самое большее по мощности, чем мы располагали. Но, видимо, не были готовы воевать джигиты. Через двадцать минут гостеприимный Гудермес был позади.

Новый нынешний год мы встречали в приволжской степи. Половина личного состава уже лежала в лёжку. Мы полвагона отделили одеялами, как могли утеплили. Да только что утеплять, если лёд на полу достигал сидений. Медикаменты кончились. Лечили чачей. Её, будто предвидя, набрали с запасом. Утром проснёшься, снег с себя стряхнёшь, полкружки примешь, разомнёшься — и в службу. Больным — то же самое, полкружки в качестве лекарства. Ни одна станция ничего не давала. Ни у

кого ничего якобы не было. Все нас гнали как прокажённых. И Новый год мы встретили на каком-то полустанке в Приволжской степи. Это был мой второй Новый год в полевых условиях. Первый такой Новый год я встречал в Афгане. Было это по высокой заботе о нас высокой кокарды. По её мнению, мы должны были в Новый год впасть в безудержное пьянство и подставиться духам. Чтобы этого не допустить, кокарда приказала всех нас выбросить в горы на засады. А и гордому ослу было понятно, отчего он стоял в стойле, а не семенил куда-то под тяжестью какой-нибудь миномётной станины. Всё вокруг напрочь завалило снегом. Ночью минус двадцать, днём ноль, а то и плюс. Снег слежался слоями в наст. Ходить по этим слоям просто не было никакой возможности. Вот так мы в снегах Гиндукуша в окрестностях сказочного города Газни клацали зубами всю новогоднюю на тысяча девятьсот восемьдесят пятый год ночь. Разумеется, кокарда нас поздравила и пожелала успехов в боевой и политической подготовке. Мы достойно ответили, сказав, что лучше бы такого праздника в календаре не было вообще. В ответ на наш ответ нас наградили сочным здоровым и вполне уместным к праздничному поздравлению посланием из конструкций особого лексикона русского языка, то есть матом.

И, говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. У нас восемьдесят пятый в этом отношении оказался точно по примете. Начинались самые активные бои. В марте тяжело ранило Олега Кильчевского. Юру взяли в сформированный Шахджойский отряд. Мой взводный Серёга Грибов заменился. Остальные тоже—кто куда. Я в своей роте остался практически единственным из стариков. Потом пришли из Союза Миша Алексеев, Володя Максимов, Валера Капустин. Вторая же рота до августа вообще была без командиров. В ней остался только один Костя Рубан. Потом пришли Карен Таривердиев, сын композитора, Паша Бекоев. Он пришёл на мою третью роту. А я пошёл на повышение. Я пошёл на оперативного дежурного. Но молодых же одних на боевые не отправишь. И нам, оставшимся старикам, приходилось—через день на ремень. Отдежурил оперативным, пошёл с группой, вернулся, заступил на дежурство, отдежурил, пошёл с группой. Бывало—утром вернулся, вечером опять ушёл да куда-нибудь в другой район, который рассмотреть толком не успел, не только изучить. Какая тут результативность. Да ещё совсем другая беда. У нас была своя специфика работы. Мы стояли в Газни. А вокруг него была на шестьдесят километров сплошная кишлачная зона. Такое было в Афгане редкость. И в кишлачной зоне какая засада, какой налёт. Там ты только ещё пукнуть собрался, а уже все в кишлаках об этом знали. Серёга Аксаков, он командовал мотострелковым батальоном в Айбаке. У него тоже под задницей была такая зона. Меньше нашей гораздо, но тоже кишлачная. Он соорудил водонапорный бак и поставил на него пулемёт. Как только кто-нибудь в его сторону стрелял, он тут же, как из брандспойта, поливал кишлак. Говорит, было эффективно. Но у нас шестьдесят километров не прострелишь. И приходили к нам ребята из других отрядов. Опыта работать в такой обстановке у них не было. Но ребята этого не учитывали. Отсюда были неоправданные потери. В марте восемьдесят шестого погиб Паша Бекоев. Его посмертно представили к Герою. На мою третью роту пришёл Егор Муковоз. Он попал в засаду. Из сорока человек роты у него половина оказалась ранеными. Сам он получил ранение в живот и бедро. Мы вывозили их очень тяжело. Борты не успели по духам поработать. Да ведь для этого нужен был опытный авианаводчик. А это в Афгане было проблемой из проблем. Если бы меня спросили, кого надо готовить для современной войны, я бы ответил: прежде всего авианаводчиков. Борты не успели поработать. И нашу броню духи встречали уже на подходе. А это же мои люди, моя третья рота. Я со своего оперативного дежурства—туда на помощь. Потом в медсанчасти нашёл Егора. У него большая потеря крови. И лежал он в коридоре. Я—к хирургу: «Игорь! Муковоз умирает!»—Тот его на стол. Оказалась, ему нужна кровь третьей группы, прямое переливание. У меня как раз была третья. То есть не была, а у меня третья группа крови. Меня с Егором—рядом на стол. А какая там кровь. Каждый день на ремень ходили. Я до того наболтался, что весил всего пятьдесят килограммов. Кое-как надоили с меня двести граммов. Потом дал замполит отряда. У него тоже оказалась третья группа. Потом нашёлся рядовой солдатик. Беда ещё заключалась в том, чтобы не болел раньше гепатитом и прочим там подобным. А где же таких взять. Санчасть была в полку. Отряд—это батальон. Наш отряд имел номер сто семьдесят семь, а батальон имел второй номер—Второй отдельный Газнийский мотострелковый батальон. Из моей потом родной Двенадцатой бригады отряд стоял в Кандагаре и имел номер сто семьдесят три или одновременно назывался Третьим Кандагарским батальоном. Про него ходила легенда, что там ребята захватили караван с пятьюдесятью шестью тысячами банок пива! Потом Кандагарский батальон перевели в состав Двадцать второй бригады, спросить об этом, правда ли, пока не удалось. Санчасть была в полку. Мне было идти до отрядного городка километра полтора. И без этих двухсот граммов крови я по дороге потерял сознание и бухнулся в овраг. Оклемался только утром—ребята подобрали и принесли.

Вот такая у нас была работа. И вот так мы ехали и встречали нынешний девяносто третий Новый

год. Третьего января в четыре ночи мы притащились в Саратов. Коменданта нет. Начальству станции мы не нужны. Руководству города—тем более. Будто мы—не Красная армия, а цыганский табор. Кто ответил на телефонный звонок, так это ноль три, скорая помощь. Приехала к нам машина. Вышли из неё старушка времён Великой Отечественной—именно тех времен, она в войну работала в санитарном поезде,—и девчушка.

—Сыночки!—схватилась за сердце старушка.—Что же с вами делают! Ведь даже в войну такого не было! В войну за такое отношение бы—под трибунал!—вытряхнула нам тут же всю свою сумку, погнала девчушку в машину оттуда принести всё, что было. Давай они нашим болезным уколы ставить.

Это было первое и единственное участие в нашем положении. Мы как-то даже забыли за нашу дорогу, что к нам можно было относиться по-доброму.

—Да растакая-прерастакая мать!—заорал я после отъезда скорой помощи и поставил караул с двумя пулемётами на входную стрелку и караул с двумя пулемётами на выходную со всеми положенными Уставом караульной службы действиями, то есть первый выстрел предупредительный, второй на поражение. Ответственность, конечно, взял на себя. И сам к дежурному по станции:—А ну тащи сюда начальника станции! И чтобы нормальные вагоны были через два часа!

Нашли вагоны. Не сто же штук нам было надо. Но на всём пути всем ответственным за это мордам лень было шевельнуться. Такая пошла власть. Так мы въехали в новую Россию. Из всей этой новой России мы оказались нужны только саратовской бригаде скорой помощи да потом руководству того городка, где бригада расположилась. Я думаю, мать родную или долгожданных друзей так не встречают, как нас встретили в этом городке. Всем сразу—благоустроенное жильё, пусть всего лишь по комнате на семью. Детей сразу—в школы и садики. Детей сразу—на обследование, сразу их лечить, так как четыре последние года они поликлиники вообще не видели. Ещё там, в райском уголке, узнав, куда нам следует передислоцироваться, молодёжь, кроме училищной казармы и этого райского уголка, ничего не видевшая, но уже в соответствии с духом времени научившаяся разевать клюв, завопила, будто что-то от них, дураков, могло зависеть. Я им говорил. Миша Масалкин, комбриг, им говорил. Кто там ещё им говорил. На что уж кавказский человек осетин Серёга Санакоев, но и он им говорил. Нет, завопили: «Мы не поедем в эту дыру!»—А куда они делись бы, как скажет Костя Кравец, с подводной лодки на глубине триста метров. Поехали как миленькие. И теперь готовы вопить, что отсюда никуда не поедут. Старый мудрый пень подполковник Деев переводился в нашу бригаду из Армении. Так тот, только успели свернуть с Сибирского тракта в сторону нашего городка, только проехали мост над рекой Пышмой и въехали в мощный сосновый бор, предвестие тайги до самого Карского моря, вылез из машины, сел на пригорок и прослезился: «Господи! Неужели русский лес довелось увидеть!»

Потянула нас матерь-мачеха Россия из всех братских объятий.

А в новогоднюю ночь в приволжской степи я должен был что-то сказать ребятам, поблагодарить за службу. Поглядел я на них, рваных, драных, больных и вшивых, и вспомнил ещё в школе вычитанную у кого-то фразу.

—Ребята!—сказал я.—Офицеры и бойцы русской армии! Великое преимущество аристократического воспитания заключается в том, что оно даёт силы с достоинством переносить нужду! Вы русские воины! Большей степени аристократа на Земле нет! Ура, ребята!

И в ответ они в небо пальнули из всех стволов, из всего, что у нас было. Отвели душу мои аристократы.

Мы так сидели около косяка, взявшись за руки, и досидели до приезда племянника с женой. Зазвякал ключ в замке—и мы вскочили. Данута затолкала меня в мастерскую, сама же осталась в прихожей.

—Ты одна?—услышал я племянника.

—С Владимиром Алексеевичем!—сказала Данута.

—А-а,—сказал племянник.

Я вышел из мастерской.

—И вы здесь!—картинно обрадовался мне племянник.

—Да,—сказал я.

—А мы приехали ужин готовить!—сказал племянник, а жена его тотчас прошла на кухню.

—Давайте вместе!—сказал я.

—Нет, что вы! Вы отдыхайте!—сказал племянник и вскользь и как-то недобро, а может быть, с ревностью посмотрел на Дануту, потом снова вернулся взглядом ко мне.—А то, может быть, вы выпить хотите? Я прихватил хороший коньяк. Сейчас в магазинах ничего купить нельзя, сплошь подделки, или, как говорят, самопалы. А отец по старым связям достаёт хорошее. Хотите? Выпьем!—он полез в сумку.

—Давайте вечером!—сказал я.

—Да мы собрались прогуляться!—сказала Данута.

Племянник снова взглянул на неё как-то особенно—то ли недобро, то ли с ревностью. Когда мы с Данутой вышли, я не удержался спросить, видела ли Данута, как он на неё смотрел.

—Он променял меня на благополучие. Отец ему велел жениться на этой, на дочери его друга, подарил «Волгу». А её отец подарил им квартиру!—сказала Данута.

—И он согласился?—глупо спросил я.

— Он догадывается, что я не люблю Алёшу, и приписывает это себе, будто я всё ещё его люблю,—сказала Данута.
— А это не так?—спросил я.
— А почему вы никогда не измените своей Ирочке?—спросила она.

Глаза её плутовски замерцали. В том, что я не изменял жене, я вдруг почувствовал какую-то мужскую ущербность.
— Почему вы так решили?—с обидой спросил я.
— Свекровь сказала. А она в таких делах не ошибается. Я это уже оценила!—сказала Данута.

Я фыркнул и едва не сказал слово «Ёлки!».

К Юре в дом мы не вернулись. Ночь была превосходной. Всю её мы прогуляли по городу.

14.

За осень у нас получилось дважды встретиться в Екатеринбурге. Один раз в гостинице наткнулись на Вовку Патрикеева. Он был с солидной дамой, возможно, уже председателем городского суда.
— Молодец!—сказал Вовка.

Чтобы не поняла Данута, я послал его грузинским матом. Он заржал.
— Кто это?—спросила Данута.
— Одно дерьмо,—сказал я.
— Он же полковник!—удивилась Данута.
— И афганец. И надо было его подстрелить ещё там,—сказал я.

На Новый год я взял дежурство. Данута приехала в бригаду. У нас должна была быть целая ночь. Но через час после президентского поздравления припороли и комбриг Володя, и зампотыл Валя Молчанов. А потом приехала абсолютно счастливая Настя с новой своей подружкой, сержантом Настей, пришедшей служить в строевую часть этой осенью и названной Настей малой. Они приехали с букетом пахучей пихты, которая вокруг городка и вокруг Екатеринбурга не растёт, и за ней надо было ехать, по крайней мере, до озера Таватуй. Ну может, поближе.

Увидев Дануту, все, конечно, всё поняли. Настя некоторое время крепилась, но потом ушла плакать. Я пошёл её как-то успокоить. Она расплакалась ещё больше и попросила, чтобы я отвёз её домой.
— Ну что же вы, Настя!—пытался я её удержать.
— Меньше надо кобелевать, товарищ подполковник!—сказала мне Настя малая.
— Вот ёлки!—сказал я.

А на капепе мы столкнулись нос к носу с Васей Барибаном.
— С Новым годом, замполит! С Новым годом, девчата!—закричал Вася Барибан.
— С новым борщом!—сказал я.
— Идея! Можно поехать ко мне!—закричал Вася Барибан.

Но никто никуда, кроме Насти и Насти, малой не уехали.

В новом девяносто четвёртом году Данута развелась с сыном Юры. Жена Юры в телефон сказала о ней много нехорошего. Я не смог её остановить. И я не смог уйти от детей. Я не смог поставить себя выше природы. С Данутой мы больше не виделись.

А на следующий Новый год уже была война.

Елена Тимченко

Аня идёт в театр

Красноярск: «Поликор», 2018

27 сентября в Литературном музее прошла презентация новой детской книги, которая вышла при поддержке государственной программы «Книжное Красноярье» к 80-летию театра кукол. Скоро она появится в библиотеках края.

Аня и Тимофей—брат и сестра, завсегдатаи кукольных представлений. Вместе с ними читатели побывают не только на спектаклях, но и в разных уголках театра на экскурсиях и мастер-классах, узнают, кто работает в театре.

Авторы старались, не перегружая детей, дать им основы понимания театрального искусства на примере Красноярского театра кукол. Зачем необходимо ходить в театр? Кто такой режиссёр? Какие бывают куклы?

Книга предназначена для детей от 5 лет, в основном—для детей школьного возраста.

Книга может быть полезна родителям, сориентирует их в пространстве развивающих занятий, убедит в необходимости как можно раньше начать приводить ребёнка в театр, чтобы «включить» его творческие способности.

Наталья Ахпашева

Мнемоника

* * *

Я ничего для тебя не могу—
лишь улыбаться, когда
сжав невесомую рученьку, лгу,
что не умрём никогда,
что—вот увидишь!—грядущей весной
будем вдвоём у окна
радоваться, что листвой молодой
вновь зеленеет страна,
ливни омоют небесную синь,
станет свободней дышать;
ныне же надо исполниться сил—
перетерпеть, переждать…
Ты промолчишь, улыбаясь в ответ,
будто поверила мне.
От неизбежности будущих бед
горбится тень на стене.
Строгое время страдание длит
и отмеряет: тик-так…
И в мониторе мерцает-бежит
кардиограммы зигзаг.
Ночь пережита—развеялся страх,
мягче сияние глаз…
Добрые ангелы в горних краях
плачут, любуясь на нас.

* * *

Надежда злая, как стилет,
вдруг в сердце угодит, не целясь…
Но не обманывайся, нет,
на счастье честное надеясь.
Навстречу взгляду взгляд скользнул—
опасен и молниеносен,
и твой скучающий июль
смутил случайно чью-то осень.
Но чем позднее, тем верней
сгущается предчувствий замять,
что в каждой радости твоей
чужая воскресает память.
Там, в этой памяти чужой
не потускнеет, не убудет—
весёлый, сильный, молодой,
каким с тобой уже не будет.

Вольное подражание

В. Б.

В сени кипарисов на заре,
битвами дневными утомлённый,
отдыхает грозный хан Гирей,
устремляя в море взгляд зелёный.
Ни в каких глубинах голубых,
зарослях коралловых лиловых
никогда не видела таких
стариков—красивых и суровых.
Всхлипывает глиняный кальян,
ароматы стелются волною,
и седобородый пехлеван
чуть качает бритой головою.
Чайки вторят горестной зурне.
Пена моет мраморную плитку.
Отчего так любопытно мне
подстеречь внезапную улыбку?
Жизнь была привольная моя
предопределённой изначально.
В зареве заката чешуя
отливает золотом. Прощально
плавники плеснут—не обессудь.
Будут сердце холода лелеять.
Иншаллах, вернусь когда-нибудь
грусть-печаль-тоску твою развеять.

* * *

Что ни сбудется—всё к лучшему.
Пруд в пустынный берег плещется.
Не даётся в сети никому
золотая рыба месяца.
На качелях ночь качается—
на цепях под старой ивою.
Временами вспоминается,
как умела быть счастливою.
Ни рыбачка, ни работница—
в кружевных оборках платьица.
Кто посмотрит—не насмотрится.
Кто полюбит—не наплачется.

• • •

А. А.

Сожаленьем взгляд сверкнул по краю.
Выдохнув негромкое прости,
таю, исчезаю, уезжаю,
отправляюсь с первого пути.

Набирая скорость, дрогнул скорый.
Позади замолк вокзальный гам.
Покидаю сторону, в которой
пьют до дна и любят без ума.

Даль степная, глубина морская,
синий огнедышащий зенит,
дурь хмельная, воля отпускная
весело на стыках дребезжит.

У окошка в тамбуре прогретом
озадаченно печалюсь я—
как они теперь на свете этом
будут петь и плакать без меня?

Слева ноет-нарывает, будто
ледяное тает остриё…
Береги, душа моя Анюта,
счастье непутёвое своё!

Мнемоника

Как всё вокруг до слёз и наизусть!
Вглядишься—и у сердца вдруг кольнёт,
что сепией отсвечивает грусть
и, открываясь, дребезжит комод.

Хранятся в нижнем ящике на дне,
по сути, пустяки такие и
в случайном беспорядке давних дней
любимые сокровища мои.

Так странно и бессмысленно теперь,
неволей обращая время вспять,
свой перечень ошибок и потерь,
как чётки, бережно перебирать.

Сквозняк играет створками окна,
а за окном ни проблеска, ни зги.
Припомнишь дорогие имена,
услышав отдалённые шаги.

Скрипят дверьми, крадутся по коврам,
взбегают вверх… И некому пенять,
что призраки приходят по ночам,
упрёками преследуя меня.

• • •

Исступлённо хлещет ливень за окном.
Тонет в тучах утлой лодочкой луна.
Есть отрада в одиночестве таком—
грезить у незатворённого окна.
Ночь—серебряными брызгами в лицо.
Замирает сердце плыть, качаясь над
типовой высоткой, транспортным кольцом,
монументом в парке, пиками оград,
объездной дорогой, проходным двором,
пустырём, погостом, берегом речным,
железнодорожным арочным мостом
и у горизонта сполохом косым.
Там, внизу, грохочет, плещется, искрит.
И тебе неймётся—не отводишь глаз.
Злое ретивое так и бередит
лётной непогоды мреющий соблазн.

Рукава бы не вспорхнули невзначай!
Белая ночнушка, в рюшечках подол…
Сводчатой мансарды ирреален рай.
Каплет с подоконника на стол, на пол.
Подле зеркала—косметики парад.
В зазеркалье—неожиданно суров
из-под русой чёлки близорукий взгляд
в стрекозинном обрамлении очков.
Будто неродное, в рамке золотой
до нутра продрогло фото в стиле ню…
Чудо—если сгинет вдруг сама собой
стопка корректуры к завтрашнему дню!
Обнажая пасти розовое дно,
на подушке-думке разгевался кот:
—Ты прикрыла бы, хозяюшка, окно—
ненароком чёрт-те кто к нам завернёт…

Виталий Молчанов

Гофманиада

Циннобер

— Папочка, папа, кто знал, что такое случится,
«Он самый лучший!» — с толку сбивала молва…
Девушка плачет, отводят прохожие лица,
Старый профессор не может найти слова.

Помнишь, на ордене тигра зелёно-пятнистом —
Когти кривые, ножи беспощадных клыков.
Слопав Циннобера, рты промокали батистом:
«Муха всегда виновата среди пауков».

Как я его любила, как я его жалела,
Сам поднимался — юн, образован и крут.
Каждый вельможа тащит мелочь поближе к телу,
Умных они не любят, самых отважных бьют.

Взяли ферзя на вилку — пешке пробиться легче.
«Он плагиатор!» — с толку сбивает молва.
«Доченька, хватит плакать, милая, время лечит», —
Старый профессор льёт на брусчатку слова.

Зависть и ревность в обнимку кочуют по сказкам,
В цахесы превращают, враками застят свет.
Девушка с новым другом пылким предастся ласкам,
Фея помочь не в силах, фей в Кёнигсберге нет.

Щелкунчик

Сказки сюжет оживает под скрипки в сочельник:
Мчатся снежинки, как рой потревоженных пчёл,
Кружатся в танце и, звёздами рухнув на ельник,
Старый башмак пробуждают — летающий чёлн.

Двое, обнявшись, парят над готическим храмом,
Мимо домов в снежных шапках и длинных плащах —
Чуду навстречу, где сладости детям задаром,
Феи вальсируют, крыльев слюдой трепеща.

Льётся река лимонадная чинно в бокалы,
Город конфет принимает желанных гостей
Так по-немецки… Да разве когда-то бывало,
Чтоб на Руси обходились без бури страстей?..

…Ноты-цветы разрывают листы партитуры
В пляске мелодий бессмертных Петра Ильича.
Выжил Мышиный король — свойство русской натуры
Недругов лютых прощать, рубанув сгоряча.

Вместо Мари поцелует Щелкунчика Маша,
Встав на пуанты, как фея стройна и легка.
Гофмана сказка, отныне ты близкая, наша…
Старый башмак пробивает носком облака.

Гофман

Фалды — до пола, с кукиш — рукава.
Сюртук растёт — вцепилась мурава
В сукно из Граца миллионом пальцев
И вытянула сзади в длинный шлейф.
Мой Фабиан, беги же прочь, не дрейфь,
Ряды пополни нищих и скитальцев.

Поможет табакерка — нужный дар.
С Кандидой повенчался Бальтазар,
Сгорело вместе с прядкой наважденье,
Вернув талантам славу и почёт.
«Лишь Кракатук», — поведал Звездочёт, —
«Принцессе Пирлипат сулит спасенье».

В холодном ветре царствует недуг.
Над микроскопом чахнет Левенгук,
В открытый зрак готовы прыгнуть блохи…
…Эрнст Гофман покидает погребок,
В портфеле груз вином залитых строк
О пасторальной княжеской эпохе.

Как саваном, накрыла город ночь.
Песочный человек, тебе ль невмочь,
Швырнуть остатки сна в глаза мазилы?
Пачкун, маляр, изгваздавший костёл…
Король мышиный близко — клык остёр
И колдовством утроенные силы.

На службу рано, но горит перо,
Ломая будни, жизнь ведя к зеро,
Взрывает мозг фантазией абсурда.
Эрнст Гофман, Теодор и Амадей,
Изящным слогом усладит людей.
И саламандр, в каминах скрытых мудро.

Молочных капель проливая бель,
Рассвет подскажет: «Вот Натаниэль —
Безумием охваченный детина.
Ты помнишь, Цахес, как решила мать
Тебя на воспитание отдать
И навсегда избавиться от сына?»

Волшебный Гофман — немец во плоти,
Не сможет в душу русскую войти,
Лишь позабавит разум кунштюками.
Где жалость наша — там глумливый смех,
И мудрецом предстанет пустобрех,
И палочки волшебные — клюками.

А где любовь — присутствует расчёт.
Пусть женихи всегда наперечёт,
Но как же грубо мерить на цехины?
Был Кёнигсберг — теперь Калининград,
Чудесных сказок сладкий виноград
Не оплетёт забытые руины…

Евгений Минин

Печально, что пародисты есть…

Спрямлённая прямота

Свет в окне вагонном — но Бога нет,
сон на верхней полке — но рядом звон:
чья-то речь — осколок, фейсбук, буфет,
прямота, которой лежишь, спрямлён;
Борис Кутенков

В строчке всё на месте — а смысла нет,
сочинял всю ночь — только звон в ушах,
а потом твердят, мол — фуфло, поэт,
но не буду плохо об алкашах.
Прямота дала в вечность мне билет,
критикую всех — не присуща лесть.
Да не так и жаль то, что Бога нет,
а печально, что пародисты есть.

Упадежное

Поговори со мной стоящий за спиною,
не поминая зла, утешь меня, утешь
на этом языке, где самое родное —
страдательный залог, винительный падеж.
Елена Лапшина

Поговори со мной невидимая муза,
что пишется теперь — самой себе укор.
Страдательный залог — не знала хуже груза,
винительный падеж — мой вечный прокурор.
И лишь один падеж надежда и опора,
его всегда зову — ну где же ты, ну где ж.
И лучше всех стихи писать начну я скоро,
лишь только отыщу творительный падеж.

Александр Орлов

Дух Смоленщины пасхален

Трапеза

Как сегодня все молча, неспешно и робко
Без молитвы семейной, не морщась, едят.
И какая же страшная эта похлёбка!
И в окно улетает мой горестный взгляд.

И смотрю я на мать, на отца и на брата,
И ловлю несмышлёные взгляды сестёр,
И похлёбка моя солона, мутновата,
И в ней плавают смерть, пустота и позор.

Мы едим, и едим, и не просим добавки,
И грызёт моё сердце уродливый жор.
И вдали за рекой золочёные главки
Покрывает на годы кровавый костёр.

Не забыть никогда под лампадой обеда,
И до смертного дня уж не буду я сыт.
Богородица Дева, меня, людоеда,
Знаю я, Господь Бог уже вряд ли простит.

● ● ●

Фёдору Николаевичу Глинке

Мощны, дремучи, непрерывны
Господствуют вокруг леса.
Ветра им складывают гимны,
В них слёзы прячут небеса.

Луна и солнце в карауле
При столкновении эпох
Туманы сонные раздули,
Храня всё то, что создал Бог.

И мрак просторами низвергнут,
И над неравенством чащоб
Кружит апостол воли—беркут,
Знаток славянских древних троп.

И дух Смоленщины пасхален,
И время в просеки вросло,
И в просвещённости прогалин
Взмолился холод на тепло.

● ● ●

Махнул, не глядя, дед часы «Буре»
На «Ланг унд Зёне» с римским циферблатом,
И было это в знойном сорок пятом
Под Ельней на просёлочном дворе.

Держал он путь в смоленское село,
И подгоняли в дом родной минуты,
И механизм, сработанный в Гласхютте,
Переменил июльское число.

Калило всё вокруг рябое солнце,
Секунды счастья считывал трофей,
Добытый у эссесовца саксонца
В боях под Прагой в огневице дней.

И всю дорогу он мечтал, что снова
Увидит сквозь туман берег Десны,
И дом, и сад, где он оставил сны.
Но дед не знал, что выжжено Дуброво.

● ● ●

Сам себе приказал: зубы стисни,
Пусть весь мир на мгновенья замрёт,
Вздрогнет смерть от сияющей жизни,
Что о всех знает всё наперёд.

Я её расспрошу всё о прошлом,
О непреданных гласу грехах.
Пусть к моим прилипает подошвам
Всех казнённых замоленный страх.

И пойду я в дождливых наветах
К пепелищам поруганных сёл,
Где творили в кровавых комбедах
Над крестьянской землёй произвол.

Будет воздух в дороге псалтырен.
Будет ветер шептать, словно чтец,
Будет петь поминальную сирин,
Вознося горечь русских сердец.

Как от ветки еловой царапина
Среди брошенных временем сёл—
Так задело с названием Лапино,
Что в него без оглядки зашёл.

Здесь прабабушку сватал мой прадед,
Мчалась звонкая тройка гнедых,
А теперь запах плесени садит
Из пустот, навсегда неживых.

Повстречался мне бедственный тополь,
Он, как зек, суховат и матёр,
Его ствол—позабытый некрополь
С именами Орловских сестёр.

Что ты жалостно смотришь, халуга?
Я к тебе волей прадеда зван.
Так давай же обнимем друг друга
Под вселенские взгляды сельчан.

Мне хлестали дожди правду жизни не раз
Сквозь туманы, чей запах был горек,
Но не верил я в неба унылый показ,
Шёл на свет, как за правдой историк.

И слезливые тайны некошеных трав,
Что изрезаны вдоль редколесьем,
Мне шептали о том, что искатель был прав
И что все мы с рождения грезим.

И я шёл напролом по неровностям луж,
Не терпел сам к себе оговорок,
И меня осуждала пытливая глушь
Под присмотром волков и тетёрок.

И когда в захолустье я сделал привал,
Мне открылись холодные звёзды.
И одну я всю ночь напролёт согревал,
И воспели любовь алконосты.

Евгений Минин

В чём суть?

Непонятное

Боже мой, какое горе!
От него ушла жена.
Правда, он женился вскоре,
Так что горю грош цена.
Анатолий Третьяков

Невидаль—уходят жёны.
Друга бросила жена!
Стал гадать я напряжённо—
Отчего ж ушла она?
Был он пьяницей отпетым,
И налево мог гульнуть,
Но ведь не был он поэтом,
Не понять мне, в чём там суть…

О позе

То женщина рядом со мною,
лежащая в позе бревна.
Геннадий Русаков

Не буду об этом подробно,
о теме, для многих больной,
что женщины тихо, как брёвна
всё время лежали со мной.
Но высказалась откровенно
в постели мне дама одна,
когда ты лежишь как полено,
то женщина—в позе бревна.

Сергей Брель

Чайная ода

* * *

И сирени, и клён, и сосна у кладбищ
разговаривают, едва
удалится прохожий, остаться рад бы,
но притягивает Москва.

Обмелела река, но родник мерцает
под ракитою, как маяк,
одиноким сердцам,—это с мертвецами
не расстанется свет никак.

Это призраки видят свои творенья,
растворённые в дрёме крон,
и согбенный, всё ищет старик Каренин
ту тропинку и тот перрон.

Граф выходит на станции без названья,
и проспал Петушки алкаш.
Кто ответит—доедет ли до Казани
бричка та? Лето входит в раж,

тополя зацветают, и смотрит дятел
с осторожностью свысока
на природу, лишённую благодати
и воспетую на века,

на записки охотника из подполья,
тихий Дон не заживших ран…
Эту рощу мы все проходили в школе,
но остался лишь общий план;

только рядом все те, чей смущённый разум
просвещенья то враг, то друг,—
вот и кажется роща изящной фразой
и внезапной догадкой—луг.

Наломал же ты дров, литератор-грешник,
вечный путаник и аскет,—
всяк, входящий в искусство, оставь надежду—
здесь проверенной правды нет!

Горький опыт твоих путешествий станет
основаньем иных миров,
бесполезным и горьким письмом к Татьяне,
первой вьюгою на Покров.

Победа

Как говорить о Победе
средь беснованья и блуда,
тем, кто обманут и беден,
больше свободен не будет?

Как говорить о героях
тем, кто врагами считает
вставших когда-то горою
против языческой стаи?

Как о Победе—без гимнов
с грозными, злыми—словами,
с новеньким плохеньким нимбом
над негероев главами?

Как под портретом Иуды
или на площади Брута
праздновать нашу Победу,
пить вместо мёда—цикуту?

Как же нас так победили
без перестрелок и штурма?—
в царствии полного штиля
тщетно стоять на котурнах.

Или вот так собираясь
вместе по памяти старой,
нашу Победу, как рану,
разбередили не даром,

И то, что дети раздали,
внуки едва различают,
правнук из камня и стали
тихо выводит ночами,
не открывая секрета,
всё понимая. До срока

шепчет он: «Око за око,
будет и наша Победа!»

Чужим

Мы дети мечты советской,
вы — спиртом пропахшей кухни.
Мы жили огнём и светом,
вам нравился вкус разрухи.

Мы фабрики помним, школы,
вы — тление самиздата.
Вам жоп не хватало голых
и очень хотелось в «НАТО».

У нас крепостные предки,
у вас — столбовые баре;
вы рай называли клеткой
под треньканье на гитаре;

вам нравился вкус свободы:
джинса, кока-кола, Camel,
и вы сочиняли оды
возлюбленной капсистеме.

Мы в очередях стояли
и ездили по путёвке,
бывало, что даже в Ялту
(народ забубённый, тёмный);

бывало — врачи хамили,
завскладом казался принцем,
и личным автомобилем
не всякий мог похвалиться…

А вы иногда и в Каннах
замечены были прессой,
московские рестораны
за занавесом железным,

писательских дач неброский
уют — помогал отвлечься,
и вы обличали розги,
шептали: «Ещё не вечер!»

И вы оказались правы,
а мы в дураках остались:
и скрючилась та держава
бомжихою на вокзале.

Но мы и теперь на службу
идём по привычке гордо,
смеёмся, грустим и дружим.
У вас — те же три аккорда:

и Родина — вечной тёщей,
и всё пармезана мало,
и вы — как живые мощи,
хоть, в сущности, — у штурвала!

А мы в эту землю ляжем
недобрую и сырую,
поди, не достойны пляжа
заморского.
Аллилуйя.

Чайная ода

Когда-то пили квас и брагу
мы при тишайшем из царей,
но чай, вселяющий отвагу,
нам привезли из-за морей.

С тех пор купец с аристократом
и даже будущий бомбист
в чужом краю, в родных пенатах
благословляли чайный лист.

Нам дела нету до Цейлона,
Китай по-прежнему далёк,
но в самоваре раскалённом
мерцает бойкий уголёк,

стакан садится в подстаканник,
а там — купе или плацкарт,
а там — министр или охранник,
Москва, Анапа, Салехард.

И диссидентские беседы,
и комсомольской стройки пыл
один чаёк под сигареты
навеки воссоединил;

пускай порой пакетик «Липтон»
(наследие годов лихих)
священнодейство сделал липой,
мы сложим новые стихи

и снова кубик со слонёнком
из бакалеи принесём;
петровских, брежневских потомков
надёжно разгоняет сон —

янтарный, ярый и неспешный, —
а то на блюдце! — где печаль, —
глоток-другой, глядишь, утешат.
Конечно, боги любят чай!

И даже если поженили
(причиной — спешка или лень),
минуту обратит в идиллию,
а иногда и целый день.

Способен всё вернуть на место
и прояснить любой роман,
и с ним — очаг, начало, детство
метафорой небесных манн;

с ним — разговоры, а не спичи, —
пусть англичанин — наш собрат
в пристрастье к высочайшей пище.
Чай будет — всё пойдёт на лад.

Борис Бергин

Время моё застыло там, где война

Пустота

Пусто так… на земле так пусто,
Это ноябрь идёт прокрустом,
Всё, что за рамки—ровняет, кромсает,
И остаётся земля пустая.
Голые ветки, и голое небо,
Станешь как все и повесят лейбл,
Станешь как все, так, должно быть, легче,
От пустоты укрыться нечем.
Фиговый лист прикрывает фигово,
От пустоты не спасает слово.
Будешь как все—вычислен, измерен,
Выть в пустоту одиноким зверем.
Копят на небе тонны крупной соли,
Хмурый ноябрь пустотою болен,
Круто посолит земли горбушку,
А ты присядь, пустоту послушай.
И загудит в ней органом ветер,
А пустота мир в ладонях вертит.
И у неё нет конца-начала,
Сделаешь шаг—на пути встречает.
Переживи эти дни пустые,
Верою в то, что не всё остынет.
Яблоки все и шары золотые…
Всё пережив, это будешь ты ли?

Лист

и я планирую как лист
меж небом и землёй,
осенний воздух густ и мглист,
и пахнет день золой

костров, в которых листья жгут,
а завтра будет дождь,
и я шепчу—ты тоже, брут?—
ну правильно, ну что ж.

ведь нужно зиму пережить
умевшему предать,
я опускаюсь на ножи
без всякого вреда.

тебе же помнить как в крови
окрасилась листва,
и я шепчу ещё—живи,
свой каждый день за два.

Жара

Июль выжигает калёным железом боль,
Жара милосердна—другого уже не чувствуешь.
Аральского моря сухая, горячая соль
Во мне, там где волны больше не борются с пустошью.

Такая жара—виноград превратился в изюм,
Дозреть не успев на лозах поникших, высохших,
И если ты пешка, не станешь под стать ферзю,
И никуда из себя никогда не выбежать.

Напрасно пытаться себя по буквам собрать,
Во всех именах, как правило, что-то не сходится.
Я б это не выдержал, если бы не жара,
Белёсое небо, сухая трава, безводица.

Дно

ну как же пусто в этом сентябре,
как будто крошки со стола смахнули,
и день плывёт какой-то рыбой снулой,
от ноты «до» томительно до «ре».

и сетью повисает тишина,
в воде стоячей не поймать ни звука
и остаётся только эта мука—
потеря слуха и потеря дна.

и тонешь в этой медленной воде,
и нету дна, чтоб оттолкнуться, выплыть,
не позовёшь на помощь—голос сиплый,
и даже берег непонятно где.

и непонятно что и почему,
сентябрьское солнце слабо греет,
и толщей водяною свет рассеян,
но горе раздавалось по уму.

поэтому ещё надежда есть
на радость в колпаке шута дурацком—
дойти до дна и после вверх подняться,
и воздуха глотнуть густую смесь

из трав осенних и последних роз,
из аромата яблок поздних, терпких,
пока ещё тебя на небе терпят,
то значит ты до смерти не дорос.

Молочное

Ты говоришь: «Дышите»,—и я дышу.
А за окном молочный туман и жуть.
На расстоянии вытянутой руки
На город движутся вражеские полки.

Ты говоришь и уходишь в столичный гул,
Знаешь, что никуда я не убегу.
Белым мерцает напротив квадрат окна,
Время моё застыло там, где война.

Небо грудным стекает молоком
На крыши серые, в каждый сырой окоп…
А по писанию, помнится, было «брат»—
В город нацелили жерла своих гармат.

И по развалинам выстрелы в молоко,
Призраки зданий возносятся вверх легко.
Город расстрелянный, город степной мираж,
За память млечную призванный умирать.

Все мы трёхсотые, дышащие пока.
Я как единственный выживший из полка.
Души погибших шепчут мне: «Не забудь»,—
Звёздами светлыми примет их млечный путь.

Время измерено треском сухим АК
Мне остаётся белый квадрат окна.
Реки молочные с детства впадают в Дон,
Сердце моё бьётся в твою ладонь.

Просто свет

Что мне сказать тебе, если ты просто свет.
Смотришь—темно, а вон там огонёк горит,
Это такая работа у Маргарит—
Быть просто светом, когда в мире света нет.

Что мне сказать тебе—осень не приговор,
Даже, когда облетает последний лист,
Станет просторней—увидишь ясней Фавор,
И как особенно стал каждый день лучист.

Что мне сказать тебе: воздухом между строк,
Графикой веток, каплями на стекле…
Тот, кто нас выдумал, с нами не очень строг,
Знаешь, бывает жизнь в сотни раз тусклей.

Что мне сказать, в этом мире без Маргарит
Нет ни романов, ни писем, ни мастеров,
Звёздное небо, что есть у меня внутри—
То отражение жарких твоих костров.

Что мне сказать, если слов-то таких и нет,
Только когда уже нету ни слов, ни сил
Нужно, чтоб в мороке, мраке, беде, войне,
Твой огонёк для тебя через ночь светил.

Московское

*«У кого под перчаткой не хватит тепла,
чтоб объехать всю курву-Москву»*

«На Красной площади всего круглей земля».
О. Э. Мандельштам

Трамвайной вишенкой и костью в колесе,
Ты приобщаешься, и ты живёшь как все,
И на крови твоей всемирная история.

Пальмиры арка на учебнике твоём,
Снаряд тяжёлый, разрушающий твой дом.
И как мы жили до войны, о чём мы спорили?

И в этом городе, неверящем слезам,
Чьё время кончилось, кому сказать «слезай»?
И будет очень тяжкой поступь командорова…

Как много в звуке… но надежды больше нет,
Её снарядом разорвало на войне,
А так, конечно, начиналось даже здорово.

На красной площади круглей всё и круглей,
Руин всё больше в остывающей золе,
И центр мира где-то к Горловке смещается.

Смерть на миру, онлайн, краснеет монитор,
Уже шагнул (зачем позвали?) командор…
Давай на выход соберись уже с вещами сам.

Объедешь курву? Если есть ещё тепло.
Пока ты дышишь, значит снова повезло.
Бывало тоже страшно, но подлей бывало ли?

Уж полночь близится… и донна Анна ждёт,
Пусть только это ожидание спасёт,
Ещё спасёт, пока возможно, хоть бы малое.

Да что ж такое, слышишь, страшная пора
Никак отсюда не уходит со двора,
И каждому свой век, свой волкодав, достанется.

Кому кровавый, ну а прочим—покемон,
И можно долго ждать, что всё пройдёт само,
Но этот век (кому какой) ещё до ста нести…

Тебя опять спасёт неспящий у окна,
Степь, от воронок круглых, сверху как луна,
А если ближе, то вся чёрная от копоти.

Москва, Москва, несчастный воробей,
Она не верит, ну а ты её жалей…
И сходит небо, постигаемое опытом.

Вячеслав Миронов

Королевские шахматы

Толкнул деревянную тяжёлую дверь, стекло только от середины вверх. Висит табличка «Закрыто». На стекле надпись «Bière Bruxelles mastodonte». Но разве меня может интересовать какая-то табличка на двери моего кафе? Посетители называют просто «Бегемот».

Растягиваю рот в улыбке. Она должна быть искренняя. Хотя так хочется послать всё к чёрту и завалиться спать. Только в восемь утра я приехал из Франции со встречи. Потом думал, шифровал информацию, перегонял в Центр. Ждал подтверждения получения.

За барной стойкой Эллис.

— Добрый день, мсье Артур! — приветствует она меня.

— Добрый день, мадам Эллис! — радостно отвечаю ей.

Иду в свой кабинет. Звучит, конечно, громко, небольшая каморка за спиной бармена, зеркальная стена — стекло с односторонней проводимостью. Мне видно, меня нет.

— Вам, как всегда? Кофе? — интересуется она.

— Да. Как всегда, самый крепкий, — киваю я. — Отчёт когда будет готов за вчерашний день?

— Думаю, через полчаса, и заявка на поставку, что нужно.

— Понял, спасибо. Жду.

Обычный день в Брюсселе. Всё размеренно у местных жителей. И у меня должно тоже так выглядеть со стороны. Всё размеренно. Чинно-благородно. Откинулся в кресле, растёр лицо. Как же хочется спать! Чёрт побери! Как же достал этот бар! Раньше у меня было прикрытие, связанное с разъездами, оно было проще. И наружное наблюдение выявлять тоже сподручнее. А тут — обкладывай стационарными постами, передавай по цепочке, для контроля можешь запустить пару филёров, сиди, фиксируй все мои контакты.

Последние пять лет я был в «заморозке». Минимум активности. Отдельные поручения в Европе.

У меня на связи было два завербованных агента — «Мишель» и «Грегуар». В результате долгой работы они занимали высокие посты в правительствах некоторых европейских стран. Поставляемая ими информация была настолько ценна, что Центр принял решение заморозить мою активность. Ни в коем случае не попадать в поле зрения органов контрразведки.

Время шло. Политическая ситуация менялась, и мои визави были отправлены в отставку новыми правительствами и парламентами.

Когда работаешь с агентами, нужно, чтобы у вас сложились дружеские, приятельские отношения. Ни в коем случае источник не должен думать, что ты относишься к нему потребительски. Только как товарищу, другу, соратнику.

В некоторых книгах, кино показывают, что разведчик получил компрометирующие материалы в отношении кандидата на вербовку, пришёл, вывалил ему на стол фото, где он с любовницей, и он тут же начинает работать на российскую разведку. Приносит тебе сейф с совершенно секретными документами, где расписаны планы ядерного нападения на Россию. Но это в дешёвых книгах и кино.

Сейчас, когда в моде или, как говорят, «в тренде», бездетные или разведённые европейские президенты, трудно кого-то удивить порнографическими снимками. Как и сексуальной связью с лицом одного с фигурантом пола. Да и не будет завербованный агент на компрометирующей основе работать долго. Ему проще пойти на сотрудничество с контрразведкой. И вот здесь имеется масса вариантов. Либо тебя сразу примут, либо через тебя будут в Москву продвигать «дезу» в красивой, правдивой обёртке. И будут тебя «пасти» днём и ночью, выявляя все твои связи, каналы передачи информации, создавая условия мнимого благоприятствования.

За что человек готов умереть? Сам. За убеждения. То есть за религиозные символы, за Родину, за образ жизни, за всеобщую справедливость, за деньги. За тот иллюзорный мир, который сформировался у него под воздействием социальной среды, опыта, образования, социальных связей — как вертикальных, так и горизонтальных. Это и есть убеждения. Пойми его, дай понять, что искренне разделяешь его воззрения, и он тебе доверится. И будет совместно с тобой добывать «руду» — информацию.

От хронического недосыпа всякое в голову лезет. Азы вербовочной работы всплывают сами собой в голове. Снова растёр лицо руками, уши

посильнее. Легче. Аккуратно извлёк из стола початую пачку сигарет. Обычная пачка «Marlboro». С виду обычная. Даже можно вытащить сигарету и выкурить из первого ряда. Второй ряд трогать не стоит. Пачка тут же нагреется и начинка выгорит.

Счётчик посещений кабинета в моё отсутствие. Каждый раз, выходя из кабинета, я обнуляю счётчик. И каждый раз проверяю.

Если дома использую старый, как мир разведки, способ — шарики пыли и крошки, нитки, волосинки, ворсинки, то здесь приходит уборщица и наводит порядок. Всегда наблюдаю за её работой, прикрываясь срочными делами.

Как занести в охраняемое помещение записывающую аппаратуру, хоть видео, хоть аудио, взрывное устройство, насыпать медленный яд в бутылку с водой или алкоголем, засунуть в кресло радиоактивный элемент или обмазать солями тяжёлых металлов телефонную трубку? Уборщица! Просто, элегантно и незаметно. И эффективно. Мне ли не знать.

Точно так же проводится тайный осмотр помещения. Сегодня осматриваешь один угол, завтра — другой. Изучаешь систему замков, сигнализации, осматриваешь быстро, незаметно стены, пол, потолок, мебель на предмет поиска скрытых тайников. Сейчас на любой карте памяти можно спрятать целую библиотеку провинциального городка. И размером она не больше ногтя. Засунь под плинтус или дверную обналичку. Вроде и на виду, а спрятана. Но так поступают только неразумные граждане, начитавшиеся детективов. Не будет разведчик при себе хранить добытую информацию. На ней можно сгореть в два счёта. Прихватило сердце, отвезли по скорой помощи, раздели, нашли, передали в полицию, вот тебе и неразрешимая проблема.

Конан Дойл рассказал, как быстро найти спрятанное. Инсценируй пожар, будут спасать самое ценное. И если будешь хранить на рабочем месте добытые кровью и потом сведения, то дымовая шашка может заставить выдать себя и принести искомое контрразведке страны пребывания на блюдечке с голубой каёмочкой.

В косяк проёма постучали, и тут же открылась дверь. Эллис принесла чашечку кофе, рядом лежал кусочек горького бельгийского шоколада фирмы «Neuhaus», и отдельно — бокал с коньяком. Перехватив мой взгляд, она пояснила:

— Умсье была трудная ночь, чтобы привести себя в чувство — это лучшее средство, — максимально деликатно сказала она, не глядя в глаза.

— Спасибо.

Она пошла к выходу. Я остановил её:

— Скажите, Эллис, как вы определили, что я плохо спал?

— Умсье мешки под глазами.

— Они у меня всегда. Не молод уже. Увы.

— Цвет и размер отличается, — кротко ответила.

— Спасибо, — я рассмеялся. — От вас ничего не скроешь.

Откинулся в кресле, взял коньяк, покрутил жидкость в бокале:

— А вот за это — особое «спасибо»!

Поднял, понюхал. Мой любимый. Дорогой. Посетители его редко заказывают.

Девушка вышла. Понюхал ещё раз, залпом выпил. Откусил кусочек шоколада, сделал глоток кофе. Уф-ф-ф! Хорошо! Кровь побежала по жилам, мозг начал работать, в глазах стали гаснуть красные круги усталости. Можно и поработать на благо своего предприятия!

У бельгийцев вообще не принято обсуждать личную жизнь. Только между близкими родственниками. Насчёт того, что здесь есть у кого-то близкие друзья, я затрудняюсь сказать. Можно обсуждать многое: политику, погоду, чемпионат Бельгии по футболу, но личная жизнь — табу. Национальная черта — сдержанность. Улыбка — маска.

Поэтому и Эллис так тактично поступила. Допил кофе. Но надо поработать над собой. Если уж гражданская заметила мой утомлённый вид, может и кто-то другой.

Открыл компьютер. Смотрю почту, параллельно запустил программу контроля видеокамер в баре. За ночь компьютер проанализировал всех посетителей. Отдельно программа выделила вещи, надолго оставленные без присмотра. Это на тот случай, что могут быть кражи или признаки террористического акта.

Сканировала новые лица и свела их в отдельный блок. Запустилась программа в режиме слайд-шоу. Вид сверху, анфас, профиль. Несколько офицеров в форме. Один из Эстонии, два немца.

Брюссель — вторая столица в мире по концентрации разведчиков на квадратный километр. Первая — Нью-Йорк. Там — ООН, различные фонды при ООН, рядом с ООН.

Мировая биржа на Уолл-Стрит. А при ней много агентств, сообществ, обществ, клубов, опять же фондов, консультативных центров. И все они нашпигованы разведчиками всех стран. Узнать информацию с биржи — дать возможность опередить твоей стране остальной мир или не провалиться в финансовую дыру.

Из ООН тоже много интересной информации можно получить, и не только. Можно повлиять на процесс. Или попытаться повлиять.

Здесь, в Брюсселе, не так масштабно, как в Нью-Йорке, но органы управления ЕС, НАТО. И город поменьше, всё компактнее, уютнее. На улице можно встретить того, с кем сталкивался в коридорах Центра. Места мало всем добытчикам информации.

Поэтому разведчики роем носятся по городу. Идёт жесточайшая война за источники информации. Некоторые агенты работают на несколько

разведок, враждующих между собой стран. Идёт невидимая война. По добыче информации, дезинформации друг друга, дезориентации, отвлечения сил и средств противника на негодный объект.

Когда открывал, по заданию Центра, это кафе, предлагал, что можно использовать вай-фай в наших интересах. При получении доступа в интернет, необходимо авторизироваться. Небольшая доработка, и можно спокойно скачать, втайне от владельца, все его контакты телефона. Но Москва запретила.

Вся Западная Европа находится под контролем американской системы «Эшелон». Звонки, электронные письма, сообщения, всё, абсолютно всё, находится под тотальным контролем этой системы. И подозрительная активность в кафе неподалёку от штаб-квартиры НАТО, может вызвать интерес.

Немцы, французы, контрразведка НАТО проверяет любопытных и подозрительных. А после террористических актов исламистов, все стали маниакально подозрительными, осложнили работу честным разведчикам.

Зато все новые лица, которые заходят ко мне на кружку пива или кофе, я отправляю в Москву. Те опознают и сообщают, кто из них представляет оперативный интерес.

Также неоднократно предлагал установить на барной стойке или в каждом столике аппаратуру по считыванию информацию с телефона. Нередко люди выкладывают свои смартфоны на стол. Вот и скачивай всё, что там есть. Тихо, незаметно, эффективно. Запретили. А ты крутись, как хочешь, чтобы выполнить задание, а они по рукам бьют.

В 2010 году в США сбежал полковник Потеев, служил в СВР, возглавлял отдел нелегальной разведки в США и на всём американском континенте. Официально было заявлено, что он выдал 80 нелегалов. Но это верхушка айсберга. На самом деле их было гораздо больше.

СВР пришлось проводить перестановку разведчиков. Перекидывать из одной страны в другую. Менять документы. Многие были вынуждены прервать работу и вернуться в Россию. Большинство операций было свёрнуто.

Официально за кордоном работают только СВР и ГРУ. ФСБ лишь обеспечивает контрразведывательное прикрытие на территории дипломатических представительств. Но это официально. А неофициально… «Разрешается проводить разведывательные операции в интересах контрразведки». Фраза из закона мутная, расплывчатая, непонятная. Как туман утром над заливным лугом. И чего там в этом тумане видно? Только какие-то непонятные тени.

Вот и я работал нелегалом во Франции, когда случилось предательство Потеева. И точный ущерб был неизвестен. СВР, часть разведчиков ГРУ, были вынуждены спешно покинуть славную страну Бельгию. Тем самым оставили без прикрытия головной офис НАТО в Брюсселе.

Также было неизвестно, засвечена агентура или нет. Её перевели в категорию «консервов» на неопределённый срок.

Агентура — самое ценное, что есть у любой спецслужбы в мире. Она и есть основной поставщик информации. Казалось бы, в эпоху всеобщей открытости средства массовой информации, интернет располагают всеми тайнами. Только вот они преподносят уже устаревшие сведения. И не эксклюзивные. А здесь нужна информация свежая, раскрывающая планы противника на будущее.

Есть хрестоматийный пример, когда нашему разведчику, под дипломатическим прикрытием, удалось завербовать охранника, который сопровождал вывоз бумажного мусора из здания НАТО по адресу Бульвар Леопольда III 1110 Брюссель.

Как положено по инструкции, все документы, черновики пропускали через уничтожитель бумаг — шредер, который добросовестно распускал их в лапшу. Тонкие бумажные полоски. Кому нужны такие документы? Только для набивки сувениров.

Но специалисты в Москве восстанавливали документы целиком. Просто, элегантно, красиво. Потом случился провал… И в НАТО стали уже не просто распускать документы на лоскуты, а измельчать в мельчайшую пыль, муку. Вот теперь уже точно никто и ничего не прочитает. Но я отвлёкся.

Во Франции моя работа для прикрытия носила разъездной характер. После получения нового задания, я осел на одном месте. Но никому в голову не пришло, что я должен свернуть, передать кому-то на связь имеющуюся агентуру во Франции. Говорят, что лётчик на двух самолётах сразу не летает. Так то лётчики, а разведчик-нелегал летает. И ещё как летает! С фигурами высшего пилотажа!

Открыть кафе? Проще простого. Берёшь чемодан денег, приезжаешь в другую страну, арендуешь помещение, покупаешь оборудование, делаешь ремонт, нанимаешь персонал, завозишь товар и торгуешь. Сам стоишь за барной стойкой, периодически пропускаешь по паре стопочек или кружек пива. Это в кино.

Откуда у француза деньги на открытие кафе в центральной части столицы соседней страны? Честно признаться, что привёз связной из Москвы? Так не пойдёт. В банк за кредитом. Самому делать ремонт нельзя! Нанимай работников с лицензией!

Надо сказать, что в Бельгии все специалисты очень узкого профиля. Например, когда заказал подключение к интернету, то через неделю пришёл специалист, который проложил кабель. Через две недели меня подключили к интернету, а позже пришёл другой сотрудник, который настроил оборудование в кафе. Подключение у меня заняло почти полтора месяца.

В Бельгии очень высокие зарплаты и не менее высокие налоги. Многие восхищаются, что в кафе семейные традиции. Подростки носятся по залу, убирают посуду, протирают столы, пыль на столах. Так дешевле, чем нанимать персонал. Большие социальные гарантии у населения в Бельгии. Особенно замечательная здесь медицинская помощь. Платишь страховку. После каждого посещения врача сдаёшь оплаченные счета, и тебе все деньги возвращаются. То же самое и с лекарствами. Полное возмещение.

Хорошо с точки зрения работника. А вот с точки зрения работодателя — не очень.

Вот и открыл кафе неподалёку от штаб-квартиры НАТО. Теперь встал вопрос, как привлечь посетителей к себе в кафе? Именно офицеров из штаб-квартиры. Стоять на входе и раздавать листовки? Конечно, можно, но заинтересуешь полицию и контрразведку. Простые туристы мне не нужны.

Предложил своему начальнику вариант с плакатами, фотографиями. Каждые две недели экспонировать на стенах кафе тематические плакаты и фотографии.

Все они брались напрокат в исторических обществах, у частных коллекционеров, потомков движения Сопротивления. Бельгия сопротивлялась гитлеровскому вторжению девятнадцать дней. Потом появилось множество групп, групочек сопротивления. Я сделал упор на «Белую бригаду» — сторонников короля Леопольда III. Того самого, на бульваре чьего имени была дислоцирована штаб-квартира НАТО.

Особо примечательным она не прославилась, в отличие от бригад коммунистов, партизанских отрядов из бежавших из концлагерей советских военнопленных или партизан, которых поддерживали Англия и США, но сам факт патриотизма в кафе нужно было подчеркнуть. А также отметить вклад союзников в освобождение Бельгии.

Но поначалу я добился иного эффекта. Честно, даже не ожидал, что получится.

Кто-то из посетителей рассказал дома, в школе. И стали учителя истории водить в кафе на экскурсию детишек разновозрастных. И прямо между столиков с посетителями проводили уроки. Я боялся, что немногочисленные завсегдатаи исчезнут, и я останусь вообще без выручки.

Но они сами внимательно слушали. Вставали из-за столов, чтобы ребятишки поближе подошли и рассмотрели плакаты и фотографии. Впоследствии оказалось, что там были и дети сотрудников Североатлантического альянса. Они рассказали дома, родители заскочили на бизнес-ланч, кто-то забрёл вечером на кружку пива. Сами, будучи военными, с удовольствием рассматривали экспозицию, общались между собой, с персоналом.

И я начал поставлять в Центр фото посетителей, с целью из идентификации. Сам тоже начал завязывать знакомство.

Следующей выставкой были карикатуры США, Великобритании, Франции на фашистскую Германию. Детей уже не приводили, но понравилось военным из штаб-квартиры с Бульвара Леопольда III.

В это же время пришло указание сблизиться с подполковником из Эстонии, входил в представительство НАТО.

Роберт Артурович Тамм из семьи кадрового офицера. Поступил в N-ское военное училище перед самым развалом Советского Союза, окончил его, успел повоевать в Чечне. Зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Был женат на русской, совместный сын. В 1997 году выехал на постоянное местожительство в Эстонию, поступил на службу в Армию обороны Эстонии. Жена не сумела адаптироваться, развелась, с сыном вернулась в Россию.

Тамм принимал участие в боевых действиях в составе НАТО в Афганистане и Ираке. Отмечен боевыми наградами. Тогда и приглянулся объединённому командованию. С 2010 года входит в представительство НАТО от Эстонии. Неоднократно привлекался к планированию операции сил альянса в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Неоднократно выступал наблюдателем на учениях в России.

Сын окончил то же училище, что и его отец и два деда. Проходит службу в дивизии ВДВ, дислоцированной в Пскове. Во время поездки сына (Тамм Евгений Робертович) к деду — отцу матери в Минск, была организована встреча с отцом.

Провести встречу с использованием средств объективной фиксации не удалось.

Впоследствии источник, внедрённый в ближайшее окружение Тамма-младшего, сообщил, что во время встречи отец был подавлен, когда узнал, что сын проходит службу в Псковской дивизии. Настоятельно рекомендовал ему перевестись на Дальний Восток для дальнейшего прохождения службы. Вплоть до увольнения. Но лишь бы сын покинул территорию Псковской области. Сын ответил категоричным отказом.

Ранее были осуществлены вербовочные подходы к обоим Таммам. В разное время, разными сотрудниками военной контрразведки. Все попытки не увенчались успехом.

Анализ сведений, поступавших в Центр, свидетельствовал, о том, что на территории Эстонии готовится нечто, что может угрожать безопасности России.

Вот так и стал бывший товарищ Тамм моим заданием.

Были опрошены втёмную все бывшие сослуживцы Тамма. Все, начиная с курсантских времён. Мы все родом из детства и всегда делаем какие-то ошибки. Должны же были быть какие-то «скелеты

в шкафу». Вплоть до незаконнорождённых детей. У курсантов и молодых офицеров такое случается, порой они и сами не подозревают об этом.

Зачастую теряют секретные документы, случайно уничтожают их. Теряют оружие. Занимаются рукоприкладством в отношении разгильдяев. Ничего не было. Даже в Чечне взвод под командованием лейтенанта Тамма не понёс ни одной потери. Он был фанатом службы. Но часто проявлял инициативу, которая неизменно приводила к победе, хоть и была за рамками инструкций и приказов.

С первого взгляда производил впечатление несколько медлительного. Как рассказывали, на первых курсах военного училища, немного тянул слова, говорил нараспев, но к третьему курсу избавился от этого недостатка, только фамилия выдавала в нём эстонца. Всё остальное — чисто русский. Владел эстонским, русским, финским, английским, бегло разговаривал на немецком.

Несмотря на внешнею открытость, никогда, ни с кем не разговаривал о своей личной жизни, о проблемах, не жаловался. Зато всегда доброжелательно, молча, выслушивал чужие проблемы, зачастую давал дельные советы.

Все отмечали его аскетизм в жизни. Пунктуальность. Алименты выплачивал как положено. Когда заболела тёща, выслал ей денег на лечение. Предлагал устроить в европейскую клинику и оплатить. Тёща умерла. Выслал деньги на похороны. В личных документах хранит фотографию маленького сына.

Следующей выставкой я сделал фото Второй мировой войны. Как союзники освобождали Европу. Только два фото было о красноармейцах. Водружение Знамени Победы над Рейхстагом, и как солдат расписывается на закопчённой стене этого здания.

Потихоньку, не так быстро, как мне хотелось, но стали офицеры постоянными клиентами из моего заветного стеклянного сооружения с Бульвара короля.

Когда обновлялись «картины» на стенах, они внимательно рассматривали, обсуждали, комментировали. Некоторые оставляли большие, чем обычно, чаевые. Я наблюдал за Таммом. Мне была важна его реакция. Он задержался у двух фото с воинами из Советского Союза.

Тамм стал заходить почти каждый день. Он ни с кем не вступал в разговоры, только приветствовал знакомых по службе. Садился в угол. Заказывал пиво, иногда скумбрию по-бельгийски.

Если свободных столиков не было, то присаживался за барную стойку и брал пиво и сырные палочки. Пиво пил неспешно, потягивая каждый глоток. Так же неспешно и кушал. Очень долго жевал каждый кусочек, зачастую, прежде чем положить в рот, нюхал его, затягивал носом аромат свежей пищи, иногда прикрывал глаза. Как в Советской армии учили: «Тщательно пережёвывая пищу — укрепляешь обороноспособность Родины!»

Сидел он прямо, развернув плечи. Роберт Тамм был высок, за метр восемьдесят, широк в плечах. Годы и сидячая работа, конечно, наложили свой отпечаток. Под кителем уже был не каркас из мышц, как у российского десантника, которым он был непродолжительное время, но чувствовалось, что он крепок, готов к битве.

На лице видны мелкие шрамики. Они выделяются на белой коже. Так часто бывает, когда при обстреле лицо сечёт мелкими камешками и в ранки забивается пыль и грязь. Отметины на всю жизнь.

Даже когда Тамм сидел к залу спиной, он старался контролировать то, что у него за спиной. Бросал быстрые, короткие взгляды на зеркальную стену за спиной у бармена.

Было заметно, что он уклоняется от общения с американцами. Двое, майор и капитан, часто заходили. Вели себя громко и вызывающе. Было видно, что подполковник Тамм сдерживает себя, когда майор по-приятельски хлопнул его по погону. Я несколько раз просматривал этот эпизод. Тамму с трудом удалось сдержать себя, чтобы не взорваться. Он резко схватил руку, крепко сжал. Потом встал и мягко отвёл от погона.

Потом заказал ещё стопку водки, именно водки, выпил одним глотком, затем допил пиво точно так же, одним глотком, понюхал остатки сырной палочки, забросил в рот. Быстро проглотил, достал деньги из кошелька, бросил на стойку, не дожидаясь сдачи, нахлобучил фуражку и быстро вышел.

Потом он два дня не появлялся. Я уже стал переживать, что американцы испортили репутацию моему заведению. Стал разрабатывать иные пути для встреч и установления оперативного контакта.

Но нет. Вернулся. Заказал пиво и своё любимое блюдо. Стал заглядывать каждый вечер.

У меня сегодня смена экспозиции. Война НАТО в Афганистане и Ираке.

Случайно, совершенно случайно, хотя в разведке случайности встречаются крайне редко, а уж и совсем была не случайность, но было фото, где среди многих был и, тогда ещё, майор Тамм. Проще было бы, если это фото привезли из Москвы. У них большой фотоархив с Таммом, начиная с его первых фотографий. Пришлось побегать, в поисках фотографий в Европе. Нашёл, упросил, заплатил. И вот увеличенные снимки готовы для размещения на стенах моего заведения.

Встал, несколько резких взмахов, несколько боксёрских ударов по невидимому противнику! Глубокий вдох и выдох.

Конечно же, я не буду устраивать поединок с бывшим российским десантником. Я люблю тебя, Тамм! Как старый развратник медленно, шаг за шагом совращает молоденькую девушку. Так и здесь.

Грубое и нелепое сравнение. Но что-то есть в этом. Только меня не интересуют сексуальные совращения и извращения. А безопасность моей страны. Звучит несколько высокопарно, но если не осознавать цель, которой служишь, то можешь банально закончить предательством. А таких масса примеров. Как тот же полковник Потеев. Или скандально известный писатель в Англии по фамилии Резун, литературный псевдоним «Суворов». Тот же резидент в Англии Гордиевский, который сдал более сотни разведчиков. Или небезызвестный Калугин. Да, много предателей. Они забыли для чего пришли в разведку. Брюхо с родиной спутали. Божий дар с яичницей перепутали.

Эх! Начали! Вышел в зал.

— Эллис!

— Да, мсье.

— Ты — молодец! Выручка выше. Даже то, что не продавалось уже неделю, ты сумела реализовать! Как тебе удалось? Кому? Мне сегодня стоять вечером за стойкой, поэтому и интересно.

Эллис, польщённая похвалой работодателя, немного зарделась. И начала вещать, щебетать, расписывая в лицах, как она предлагала новинку нашего заведения.

У меня в очередной раз было раздвоение, растроение сознания. Я ненавидел этот бар. Но, как владелец собственного дела, я должен быть заинтересован в увеличении прибыли, и поэтому я слушал, кивал, отпускал реплики, подбадривая и поддерживая её рассказ. Запоминал. Мне самому это пригодится. Не может быть хозяин хуже работника. Не может априори!

Другая часть сознания выискивала наиболее выигрышную позицию для размещения фото. Мне не нужно, чтобы все посетители узрели, опознали Тамма и кинулись поздравлять, окружая его вниманием, отсекая его от общения со мной. Нужно иное, чтобы только он признал себя на снимке. Значит, подальше от окна. И не выделять освещением. И чтобы он сел за стойку, рядом с фото.

Поддерживая разговор о мастерстве барменши, я снимал старую экспозицию со стен.

Пусть Эллис говорит. Доброе слово кошке приятно, не говоря уже про человека. А когда человеку, особенно женщине, дают возможность донести миру о том, какие они молодцы, то надо лишь поддерживать разговор. Но искренне. Никакой тени фальши. Человек 90 процентов информации получает через глаза. И даже при разговоре мы получаем информацию визуальную и оцениваем её. И видим ложь. Мы её и слышим тоже. Но именно визуально пытаемся угадать, понять, распознать ложь. И если будет ничтожное сомнение, что собеседник неискренен, потеряете его. Пусть даже ваш визави в этот момент несёт откровенную чушь, но гордится ею — будьте с ним открыты к диалогу. Покажите, что он вам интересен как человек. С его мастерством, недостатками. Он в вас поверит. Он обретёт в вас сначала собеседника, товарища, друга. Но не сразу. Постепенно. Но это произойдёт. Точно так же и с бельгийцами. Внешне открытыми, но чрезвычайно замкнутыми внутри. С огромными комплексами подозрительности, маниакальной завистливостью.

Бельгийцы могут ездить на старых машинах. Одеваться как попало. Женщины могут не расчёсывать волосы.

Когда проходил обучение, нам внушали, что, приезжая в страну пребывания, мы не должны строить какие-то догадки. Просто воспринимать всё как есть. Никого не осуждать, не пытаться улучшить. Но… Первым впечатлением было, что собрали со всей Европы женщин с помойки. Неухоженные, нерасчёсанные. Когда оформлял документы на открытие кафе, пришлось немного походить по инстанциям. Со мной работала чиновница. Пятно на кофте, волосы, как встала, так и пошла. Ни капли макияжа, ни капли духов и дезодоранта.

Все деньги бельгийцы вкладывают в оборудование квартир, домов. И гонка. Гонка за самыми последними моделями бытовой техники. И этим можно как бы так, невзначай, похвастаться перед окружающими.

В гости никто просто так не ходят. Встречи дома назначаются за месяц-два, приуроченные к какому-нибудь событию. И приглашаются заранее. Через два месяца, такого-то числа, в такое-то время.

При встрече с неродственниками не обсуждаются личные, семейные проблемы. Только политика, погода и сплетни. Это бельгийцы очень уважают. Французы и немцы — невинные дитяти по части слухов.

И мои два источника в Бельгии поначалу пытались выдать слухи за проверенную оперативную информацию. Был бы помоложе и не такой опытный, мог и поверить и передать в Москву. Обучил, воспитал источников. Но всё равно, любую информацию от бельгийцев нужно проверять. Особенно если она устная, а не документальная.

Вербовка, её принципы, основа прописана ещё шесть тысяч лет назад китайцами. Ничего нового, только используй в каждом конкретном случае. Вопрос в том, что деньги могут быть лишь началом вербовочного процесса.

Вербовка источника информации — это не только получение твёрдо выраженного согласия оказывать помощь разведке России. Но и постоянный процесс. Ну взял человек деньги, передал информацию. Потом у него начинается психологическая ломка, что он предаёт свою страну. Или просто делает нечто, что не вяжется с его принципами. Вот тут надо его поддержать, подменить понятия.

Что есть правда? У каждого человека правда — это то, во что он верит. От этого у каждого человека своя, правда.

Помните, был фильм давно «Доживём до понедельника», и там была фраза: «Счастье — это когда тебя понимают!». Каждый человек мечтает, чтобы его понимали. С его правдой, с его недостатками, мечтами, неудачами. И вот если человек поймёт, что его понимают — идеальный кандидат на вербовку!

Мы все родом из детства. Кого из взрослых мы помним из детства. Не родителей. Нет! А дядю, тётю, соседа. А почему мы помним именно их? Нас окружали десятки взрослых. Потому что они были к нам добры. Искренне добры, они уделяли нам своё время и внимание. Они искренне интересовались нашими делами, помогали в наших проблемах.

Вот такое чувство благодарности мы записываем на подсознательном уровне и тянемся всю жизнь к таким людям. Хочешь подружиться с человеком — стань его добрым «дядей» из детства. Добро помнят только дети и животные.

Дети вырастают. Надевают маски, забывают добро, запоминают негативные моменты, отрицательные поступки окружающих, пронося глубоко в душе добрые искры воспоминаний.

Каждый человек хочет справедливости, правды.

Если под понятием «правда» имеются эмоции, эмоциональная составляющая, то это уже становится убеждением. Вот и задача разведчика-агентуриста убедить человека, что он делает доброе дело. Чтобы гордость от осознания собственных поступков у конфиденциального источника была раздута. Нужно постепенно менять его мировоззрение. Самый лучший источник — это тот, кто сотрудничает за идею. Тогда он сам уже думает, как больше добыть ценной и особо ценной информации.

Знаменитая «Кембриджская пятёрка» работала много лет на разведку Советского Союза бесплатно. Никто не брал за помощь Советскому государству ни пенни. А их информация была бесценна.

Вот и при предстоящей беседе с Таммом нужно понять, что у него правда. Пусть он поделится со мной ей. Пусть не всей. Мы все носим маски и скрываем от окружающего мира истинное лицо своего внутреннего «Я», некоторые проживают всю жизнь, но так и сами не могут внутри себя разобраться. А мне нужно понимать, чтобы строить работу в дальнейшем.

Мозг всё-таки удивительная штука! Раздумывая про Тамма, внезапно всплыли слова песни из молодости:

Там, за облаками
В небе колышется дождь молодой,
Ветры летят по равнинам бессонным,
Знать бы, что меня ждёт
За далёкой чертой,
Там, за горизонтом, там, за горизонтом,
Там, там-тарам, там-тарам.

Тьфу! Тамм — там-тарам!

Тьфу! Точно не выспался! Нельзя думать по-русски! Нельзя! Даже во сне! И сны должны быть на языке проживания! Можешь бесконтрольно что-нибудь сболтнуть по-русски. Точно так же и во сне сказать, пробормотать. Нельзя!

И во сне нужно думать и анализировать! Есть такое заболевание «гипертимезия». При ней человек помнит всю свою жизнь. Каждую секунду. Говорят, что таких людей человек тридцать в мире. Врут они всё. Все российские разведчики такие. Ложась спать, ты, в отличие от большинства людей на планете Земля, не пускаешь пузыри во сне, а закрываешь глаза и начинаешь прогонять свой день в деталях. Не сказал ли чего лишнего. Вспоминаешь всех людей, лица, одежду, с которыми сталкивался или мельком видел сегодня. Анализируешь встречи с людьми, которых видел вчера, неделю назад, месяц. Это может быть филёр наружного наблюдения. Их могут менять, чтобы ты не мог отфиксировать его дважды за день. Но возможности полиции, контрразведки не безграничны, его снова пустят за тобой, пусть даже у него будет борода, усы, другая одежда, иной возраст, но ты обязан его опознать. Иначе — провал. А самое лучше время для анализа — когда ты в кровати. Если у тебя в квартире сумели незаметно смонтировать систему видеонаблюдения или наблюдают за тобой через тепловизор из соседней квартиры, то в положенное время для наблюдателя ты спишь в своей кровати. А ты не спишь, ты вспоминаешь, анализируешь, думаешь, сопоставляешь. Ни секунды из своей жизни нелегала ты не должен пропустить. Помнить всё! И всегда!

Тем временем Эллис закончила живописать, как ей удалось продать лежалую выпивку. Слушая одним ухом, поддакивая, искренне восхищаясь её ловкостью, снял со стен постеры старой экспозиции. Вместе с барменшей отнесли в мой «офис», вынесли новые.

Теперь Эллис, именно она, должна повесить их так, как мне нужно. Но она должна быть убеждена, что сделал сама. Это её идея.

Вышел на середину зала, вытянул руки, раскрыл ладони, растопырил пальцы, глядя через пальцы на стены, спросил:

— Эллис! Вы мне помогали развешивать фотографии прежних выставок. И это было очень удачно. У вас есть и вкус, и интуиция, то самое чутьё, что позволяет расположить исторические фотографии так, чтобы нравилось посетителям, заставляя их расставаться со своими деньгами.

— Фотографии снова военные для военных? — Эллис вышла из-за стойки.

— Конечно! Военные любят выпить, и у них есть монета. Вне зависимости от капризов погоды и туристического сезона. Согласна?

Эллис смешно наморщила носик и лоб, изображая думу на своём челе, поднесла указательный палец к носу и кивнула.

— Да, мсье. Поначалу мы все,— она мотнула головой в сторону кухни,— полагали, что вы — сумасшедший. Все гоняются за туристами, заманивая самым изощрённым, а порой и извщрённым способом. Вы изначально пошли иначе. Сразу видно — чистокровный француз. Нестандартно, элегантно, умно, изящно. И они пошли. Сначала слабым ручейком, потом больше. И идея с детской экскурсией — это. ..— она замахала руками от возбуждения.— Это было конгениально! Чудесная идея!

— Эллис. Спасибо, что вы оценили мою задумку, но дети — получилось само собой.

— О, мсье очень скромный. Мы это уже поняли и оценили. И очень добрый. И поэтому мы все готовы помогать. И я тоже! Итак? Давайте расставим вдоль стен сначала.

— Эллис, я думаю, что нужно выбрать самую яркую фотографию и разместить так, чтобы было видно при входе в кафе,— я крутился на месте, делая вид, что ищу самую яркую фотографию.— Вы же сами так мне говорили, Эллис.

— Да, мсье! Я так считаю!— с вызовом, уперев руки в бёдра, сказала Эллис.

— И какая, по вашему мнению, заслуживает пристального внимания?— я по-прежнему крутился на месте.

На самом деле закрывал фото с Таммом.

— Вот же!— Эллис явно нравилось выступать экспертом по выставкам и понукать своим хозяином.

Я и сам определил, что она самая яркая и будет в центре, когда отбирал фото. Каменистая площадка, несётся военный внедорожник, который население называет «Хаммер», за автомобилем шлейф пыли, из люка высунулся пулемётчик. На заднем фоне горы со снежными шапками. Фотографу удалось передать напряжение, скорость, динамику момента.

Очень примечательное, позитивное фото.

Когда я отбирал фотографии, мне неоднократно предлагали те, где запечатлены жертвы войны, в том числе и разбомблённые странами Коалиции больницы, школы, старики, оплакивающие своих внуков. Инвалиды без конечностей, сидящие у миски с потухшим взглядом.

Но зачем мне такие фотографии с жертвами? Я же не собираюсь будить в них совесть. Мне нужны весёлые, лихие, отчаянные вояки, которые к чёрту в зубы полезут за победой! Только позитивный настрой, который будит воспоминания о прежних победах, чтобы хотелось выпить, покуражится, что-то вспомнить, приукрасить.

Я водрузил её по центру зала, чтобы сразу было видно. Включил светильники, отрегулировал освещение поярче.

— А теперь, Эллис, как вы мне рассказывали ранее, что-то возле бара. Где много деталей. Яркое, привлекающее внимание. Чтобы хотелось встать из-за столика, подойти, рассмотреть и заказать чего-нибудь выпить, коль всё равно возле стойки. Правильно?

— Мсье всё помнит!— она была польщена.— Думаю, вот эту!

Она ткнула пальцем в картину, где на лётном поле в длинный ряд была выстроена различная боевая техника.

Красивая картинка. Яркая. Техника излучала спокойствие и мощь, силу. Много деталей, их надо рассматривать.

Мне предлагали другие фотографии, где такая же техника была разорвана в клочья, горящие и горелые остатки этой боевой некогда мощи несокрушимой армады НАТО в Афганистане.

Но не нужны мне были такие фотографии о потерях.

За час мы развесили ещё полтора десятка фотографий. Самую «вкусную», с Таммом я приберёг напоследок.

Взял в руки, покрутил её, выискивая место.

— Вот же!— Эллис ткнула пальцем возле стойки, ближе к кухне.

— Точно! Я уже и забыл, что там осталось место. Она и не такая яркая, как остальные. Там ей самое место будет.

Эллис подошла поближе. Рассмотрела групповой снимок.

— Вы правы, мсье, вы правы. Лица не радостные, усталые, даже не усталые,— она помолчала.— Опустошённые лица, будто внутри всё выгорело. Как будто, как святой Лазарь, спустились в преисподнюю и вернулись оттуда. Всё оставили там, а вышла только оболочка. Какая-то неприятная фотография.

Помолчала снова, вглядываясь в изображение.

— Знаете, мсье, страшная фотография. От неё пахнет тленом, смертью. Я даже боюсь её!

Зябко повела плечами.

Мне пришлось рассмеяться.

— Эллис, Эллис! Всё в порядке. Просто такое освещение. Я отрегулирую его, и всё будет хорошо! Здесь же темно! Вот смотрите!

Я включил подсветку, стало светлее на фотографии, тени ушли, лица стали более светлыми.

— Вот видите!

Она посмотрела:

— Да, мсье. Стало легче. Но всё равно… Неприятная фотография!

Я отвлёк её внимание. Не хотелось, чтобы она узнала Тамма.

Остаток дня пролетел в хлопотах. Первые посетители появились сразу после открытия. Кому-то кофе, кто-то пил пиво. Это туристы. Были завсегдатаи, эти обедали.

Предлагал же руководству внедрить систему распознавания лиц под легендой увеличения выручки. Заходит постоянный клиент или тот, кто был полгода назад, а система его идентифицирует и выдаёт меню, которое он употреблял ранее, отмечая его любимые напитки и блюда. И посетителю будет приятно, что у бармена хорошая память. Ну и мне будет тоже проще выполнять задания Центра. Ага! Хрен с маслом! Не привлекать внимания! Когда всё это найдёт широкое распространение в барах Европы, вот тогда — внедряй! А пионером в этом деле не смей! Полиции и контрразведке станет интересно откуда у тебя такие дорогостоящие «игрушки», тем паче рядом со штабом НАТО.

Сегодня четверг, я пораньше отпускаю Эллис, она навещает свою мать в доме престарелых. Традиция у них такая, своих родителей сдавать в дома для престарелых. Моя подчинённая хоть молодец, раз в неделю навещает. Знаю некоторых, которые только в Рождество и день рождения, звонят раз в квартал. И при этом записывают в ежедневник, выставляют напоминание в телефоне, чтобы такого-то числа, в такое-то время позвонить родителям.

Я выставку специально приурочил под четверг, сам встану к стойке. Хлопот много, но так надо.

Эллис, заглянула, сказала, что ей пора. Я вышел в зал. Ранее наблюдал за реакцией вошедших. Особенно офицеров в форме. Реакция была положительная. Они с удовольствием рассматривали постеры, переходя от одной картины к другой, потягивая пиво, возле стойки бара вспоминали, что нужно ещё что-то, и заказывали. Чаевые Эллис сыпались щедро. Конечно, она не всё присваивала себе. Половина уходила на кухню.

Только одна пара дамочек экзальтированного вида, заглянув, увидев, что много военных и они рассматривают фронтовые фотографии на стенах, стала громко возмущаться:

— Это безобразие! Это пропаганда смерти и войны!

Английский майор, ухмыляясь, встал из-за стола, подошёл к ним:

— Леди! Это не ваш формат! Не портите нам праздник, и мы не испортим ваш!

Самая наглая дамочка пару раз беззвучно открыла и закрыла рот, потом выпалила:

— Хам! Солдафон! Я буду жаловаться!

Выбежали на улицу. Бессердечные офицеры многих стран рассмеялись им вслед. Взрыв хохота был таков, что перекрыл музыку, которая шла фоном, и мне в каморке было слышно. Дамочек я тоже зафиксировал. Пусть Центр посмотрит. Может, известные скандалистки, ходят по барам, ждут, когда их кто-то оскорбит, а потом подают в суд на заведение. Многие зарабатывают как могут.

Эллис пошла переодеваться, я встал за стойку. Скучать не приходится.

Вошли немецкие офицеры. Спокойствие, равнодушие. Майор и два капитана. Смотрю на лица. Они удивились новой выставке. Озираются, рассматривают издалека фотографии военных лет. Подошли ко мне.

— Добрый вечер, господа офицеры.

Заказали пиво, мясные закуски. Передал заказ на кухню, наливаю пиво. Предлагаю им присесть за столик. Моя задача — занять посетителями все столики. Одно место должно быть свободным.

Отслеживаю клиентов. Вечер будет жарким. Офицеры ходят по залу, рассматривая фотографии, снимают их на камеры смартфонов. Обсуждают. Пересылают фото со стен и свои снимки на их фоне друзьям, коллегам. Кто-то звонит и приглашает на кружку пива. Это иностранцы. Не бельгийцы. В течение часа подтягивается народ. Зал почти полон. Заполняется барная стойка. Одно место должно быть свободным. Ставлю поднос с чистыми кружками напротив нужного барного табурета.

Приходится крутиться быстро. Народу прибывает. Они голодны, хотят выпить. Только успевай поворачиваться. Плюс пробежаться по залу, забрать пустую посуду, протереть стол. Спросить, не желают ли мсье офицеры ещё чего-нибудь заказать.

Некоторые уже встают, рассчитываются, чаевые действительно хороши. До двадцати процентов от суммы чека. Это щедро. Очень щедро для такого места и далеко не фешенебельного ресторана. Предлагаю тем, кто сидит за стойкой, переместиться за освободившийся столик.

— Мсье, полагаю, там будет удобно.

— Нам и здесь неплохо, дружище! — слегка хмельные офицеры стран НАТО ответствуют.

— Там иные фотографии из вашего славного прошлого, вы их можете подробно осмотреть — я не настаиваю, предлагаю.

«Терпение — добродетель!» — так записано во многих трактатах. Ну а у разведчика — это догма. Плюс умение ждать. Ожидание выматывает само по себе. Внутри кипит. Центр требует информации, наступательного движения. А как? Сказать, что не получается, потому что нужно ждать, выжидать, ожидать. Сложно. В сотый раз протираю стойку бара. Придёт — не придёт. Прямо как подросток на первом свидании волнуюсь. Любит — не любит. Не хватало ещё ромашку купить в цветочном киоске, там есть голландские, и сиди, обрывай лепестки.

Пришёл! Подполковник Тамм вошёл. Он опоздал. Лицо уставшее, походка расслабленная. Кого-то увидел в углу за столиком, помахал рукой. Уф. Столик занят. Компания изрядно уже выпила и что-то громко обсуждала, тыча пальцами в фотографию с рядами техники.

Только Тамм вошёл, я тут же убрал поднос с кружками. Табурет стоит несколько поодаль ото всех. Знаю, что Роберт не любит шумные компании, предпочитая проводить время в одиночестве.

Он оглядел зал в поисках мест. Кое-где были свободные места за столиками, он обратил взор на стойку бара. Есть! Он пошёл на «его» — подготовленное — место.

Снял фуражку, полоса на лбу, надавило. Небрежно повесил её на стойку, растёр лоб.

— Добрый вечер, мсье подполковник! Пиво?

— Да, — он кивнул.

— А закуски?

— Пока ничего не надо, — он равнодушно махнул рукой, стал оглядывать зал. — У вас сменилась экспозиция?

— Да, — кивнул я, наливая ему пиво. — Стараемся каждые две недели освежать.

— Это хорошо. Новые фотографии, новые впечатления, — он крутил головой, рассматривая.

Улыбка тронула его губы, когда он рассматривал центровую фотографию, специально подсвеченную.

Поставил пиво перед ним. Он сделал большой глоток, слегка запрокинув голову. Взгляд зацепился за фото, что висело над ним.

— Ох! Ё! Это, что?

Он забыл про салфетку, оттёр тыльной стороной ладони губы, пену от пива, встал, кружку на стол.

Он стоял долго, молча, забыл про всё, во все глаза, рассматривая фотографию, где он был моложе на десять лет.

Не отрываясь от фотографии, спросил:

— Откуда это у вас?

— Как и все фотографии. Из редакций военных журналов. Они охотно дают на экспозицию свои работы. Поверьте, у них там много. Но тогда бы мои посетители ничего бы не заказывали. А лишь бродили между столиками, рассматривая стены.

Я прикинулся лишь жадным барменом. Для меня все эти картинки — лишь для привлечения внимания посетителей.

— Вы знаете, кто на этом фото? — спросил он?

— Нет, — я пожал плечами.

— Точно? — он насторожён.

— Точно. Я человек не военный. Точно так же не знаю, какая техника на других фото. Танки какие-то, пушки, — снова пожал равнодушно плечами.

— Понятно, — подполковник кивнул.

Подумал, наклонив массивную голову. Не отрываясь, выпил почти всю кружку пива. Вытер губы салфеткой.

— Водка есть?

— Водка есть, — кивнул я. — Вас какая интересует? Есть: американская, польская, израильская, французская.

— А русская? Русская есть? — настороженно спросил он.

— Конечно, мсье. Есть русская.

Достал из холодильника «Столичную». Поставил перед ним.

— Стакан.

— Стакан? — я сделал удивлённые глаза.

— Жаль, что у вас нет русского стакана, — он огорчённо покачал головой.

— Подождите, мсье. С этой водкой, в подарочной упаковке шли не очень красивые стаканы. Я убрал их в дальний угол, — нагнулся, достал гранёный стакан и стопку такой же формы.

— То, что надо! — он удовлетворённо кивнул. — Сигареты какие самые крепкие есть?

Я достал пачку, открыл, щёлкнул по донышку, вышла наполовину одна сигарета. Спички с фирменной этикеткой и адресом моего заведения лежали в вазочках.

— Мсье курит? — вежливо поинтересовался я.

Было видно, что Тамм переживает массу эмоций.

— Мсье сегодня курит, — кивнул он. — Сейчас вернусь. Водку не убирайте и никому не давайте. Она — моя!

— Как скажете!

Роберт вышел на улицу покурить, бутылку я убрал вниз. Было видно, что взволнован. Закурил чуть ли не в зале.

Вернулся.

— Стакан водки! — голос требовательный, взгляд жёсткий, как командир перед строем.

Мой голос вкрадчив, немного удивлённый:

— Мсье будет пить в чистом виде, или развести соком?

— Стакан чистой водки! Никакого сока! И... — он подумал. — Эту стопку тоже налейте.

Мне не нужно, чтобы он быстро опьянел и привлёк внимание к себе окружающих. Пока что только я и он сам себя опознал на фото. Иные участники «массовки» мне ни к чему.

— Мсье, позвольте заметить, что водка — очень серьёзный напиток и требует к себе внимательного отношения. Не желаете заказать мясное горячее блюдо? У меня тут были туристы из России. Они сумели выпить почти все мои запасы водки и кушали много мяса горячего. Я думал, что придётся вызывать скорую помощь, потому что любой другой бы уже умер от алкогольного отравления. Но они сами ушли и вели себя очень прилично. Даже не шатались

— Хорошо, — кивнул. — Есть что-нибудь готовое? Чтобы не ждать. Дежурное блюдо имеется?

— Конечно, мсье. Гуляш по-фламандски, мясо, картофель, овощи.

— Только быстро!

Сделал заказ на кухню. Быстро подали. Всё это время Тамм сидел, задравши голову на фото.

— Наливай! — кивнул он. — Есть ржаной хлеб?

— Нет, мсье, нет. Только белый.

— Кусок.

Налил стакан водки по нижнюю каёмочку, стопку водки, подвинул к нему хлеб на тарелочке.

Тамм положил кусок хлеба на рюмку. Встал, перекрестился на католический манер, слева направо, посмотрел снова на фото, показалось, что слёзы блеснули в уголках глаз, выдохнул и одним залпом выпил стакан водки.

Никто на него не обращал внимания, даже те, кто сидел неподалёку.

Сел на табурет, охватив голову руками. Я пододвинул ему тарелку с горячим.

Он начал жадно есть.

— Хлеба! — резко попросил он.

Я потянулся снять хлеб со стопки с водкой.

— Не трогай! Другой кусок!

Подал ему. Отошёл обслуживать других клиентов. Конечно, мне хотелось быть рядом с ним. Но увы и ах.

Когда я снова подошёл к нему, спросил, не нужно ли чего ещё. Он попросил ещё порцию гуляша.

— Налей мне порцию водки. Но в стакан.

В мерный стакан, потом в стакан. «1 дринк» — 30 миллилитров. В Англии — это 25, во Франции — 45.

Он поднял стакан чуть выше головы, как бы чокаясь с изображением. Выпил, закусил. Я протирал кружки полотенцем.

Поднял на меня глаза.

— Вы знаете, кто на фото, где она сделана и когда?

— Нет, мсье. Но она вам дорога, судя по вашей реакции.

— На фото… — он сделал глубокий вдох, загоняя рыдания внутрь. — Фотография сделана двадцать второго июня две тысячи седьмого года. В Афганистане в долине Сангин провинции Гильменд. А на следующий день, двадцать третьего июня, двое с этой фотографии, — он снова сделал глотательное движение, загоняя слёзы внутрь, махнул пальцем, мол, налей, — в результате ракетной атаки погибли, сержант Калле Торн и младший сержант Яако Карукс. Ещё четверо получили ранения — двое из них тяжёлые, они так и остались калеками.

Я налил. Он снова махнул.

— Вот что значит для меня эта фотография.

Я вышел в зал собрать посуду, принять заказ, протереть столики, поставил в окно кухни грязную посуду, подошёл к фото, как будто впервые её увидел.

Налил Тамму порцию. Протянул.

— За счёт заведения. Я увидел, что вы там, на фотографии, только моложе и небритый.

— Да, — кивнул, выпил. — Я. Вы правы. Моложе, полный идеалов. Идиот! Не так, конечно, как в 1995-м. Но всё равно. Наивный, полный иллюзий, идеалов. Считал, что спасаю мир, планету от террористов. А сейчас эти террористы пришли в Европу под видом беженцев, и европейцы аплодируют им. Парадокс жизни. Вот и спрашивается, за что воевал я сам и за что погибли они? — он снова поднял глаза на фотографию.

— Мсье, это политика, — поддержал разговор я.

— Да. Политика. Давным-давно я воевал в Чечне.

Я поднял удивлённый взгляд на него.

— Да-да. Воевал в России. Там тоже были исламские террористы, арабы. Но в Европе твердили, что в Чечне — рост национального самосознания и нужно помогать партизанам против русских войск. И помогали всем миром. Помогали террористам. Но там их сумели победить. Но они пришли в Европу. В Чечне у меня не было потерь. Чего не скажешь про Афганистан.

— Мсье желает ещё заказать горячего? — поинтересовался я.

Он подумал.

— Давай рыбу. Мяса уже достаточно.

— Кофе?

— Давай кофе. Сделаю перерыв, — было видно, что подполковника «развозило».

Кофе, так кофе. Медленно потягивал огненный крепкий, какой смог сделать, напиток без сахара, кивнул на бутылку водки.

— Вы пьёте коньяк, который не сделали во Франции? Или шампанское?

Я усмехнулся в ответ.

— Это невозможно, мсье. Это не коньяк и не шампанское. Это нечто в бутылке, которое так называется. Но их нельзя отнести к этим благородным напиткам.

— Согласен. То же самое с водкой. Она может быть только русской. Всё остальное, как правильно заметили, некая субстанция в бутылке с надписью «Водка». Пусть даже она и будет казаться мягче, даже с какими-то парфюмированными отдушками. Но это не та водка, которая есть в классическом исполнении. Даже водка, выпущенная во Франции, Америке по старинным русским рецептам, и то уже не то. И это не просто смешать воду и спирт. Это будет не водка, а просто водно-спиртовая смесь, но не водка. В ней нет поэзии, души.

— Чего? — переспросил я.

— Ничего, — устало махнул он. — Проехали. Забудьте. Вам не понять, — помолчал. — Вот, фотография сделана 22 июня. Что это дата говорит для вас?

Я закатил глаза к потолку, тщательно делая вид, что вспоминаю.

— Вряд ли что-нибудь эта дата говорит мне.

— Это дата начала войны Гитлера с Россией. Она тогда называлась Советским Союзом.

Я резко отреагировал:

— Мсье знает, когда Гитлер напал на Францию — мою Родину?

— Нет. Мсье не знает. — Тамм отрицательно покачал головой.

— Десятого мая одна тысяча девятьсот сорокового года. Нас в школе учили. Сейчас в школах не учат. Вообще забыли ту войну. Ну было когда-то. Было

и прошло. Кто сейчас вспомнит про столетнюю войну.

Тамм покачал головой.

— Тогда была первая попытка организовать первый ЕС. Германия во главе с Гитлером. Неплохо получилось же! Минимум сопротивления. Заводы потом работали на экономику Германии. На войну против Советского Союза. Сейчас ЕС, НАТО. Все работают против России. Модернизация. И все довольны. Население занято на производстве. Не лезет в политику. Нет сопротивления. Антиглобалисты объявляются нигилистами, отщепенцами, сумасшедшими. Примерно так же, как и русские, которые не идут в кильватере.

— Вы же не русский,— пошёл на провокацию я.— Отчего же вы так печётесь о них? Если я не ошибаюсь, судя по вашей форме и нашивкам на ней, вы из Эстонии. Так?

— Правильно. Я не этнический русский. Я — эстонец. И горжусь этим. Но родился в СССР. И считаю своей родиной не просто маленькую республику, а огромный, великий Советский Союз! Да, тогда не было красивых обёрток, как за границей. Вы же не из Бельгии? У вас акцент иной.

— Я из Франции. Француз. И живу не так давно здесь.

— Отчего же здесь, а не на родине у себя?

— Решил попытать счастья.

— Понимаю. У соседа и трава зеленее и вода мокрее,— он явно наступал, и это хорошо.

— Да. Мне так казалось,— я кивнул, еле сдерживая улыбку.

— И как? Получилось?

Я отрицательно помотал головой.

— Немного не так. Хоть и язык одинаковый с небольшими вариациями. Вроде и думают так же. Но не то. Местные — иные. Немного, но другие. Но я не жалуюсь. Меня многое устраивает и нравится. И видите, я разговариваю с вами откровенно. Аборигены про себя ничего не говорят. Скоро я стану полностью, как все, и буду только кивать и улыбаться.

— Отчего не едете домой?

— У меня кредитов, во! — я чиркнул себя по горлу ногтем большого пальца руки.

— То есть поехали за мечтой, а напоролись на скрытый риф?

— Примерно так. Но я не теряю надежду!

— Вот так и я. Вернулся в Эстонию. Думал, что республика, осознав себя маленьким, но великим народом, сумеет подняться с колен. Но я был молод, глуп, отравлен идеалами пропаганды. В СССР Эстония была великой республикой среди прочих. Все пятнадцать республик были великими. Каждая по-своему. Но они были наравне со всеми другими сёстрами. Как в семье, бывает, что ссорятся, ругаются, но все родственники и помогают друг другу. Но это было давно. В прошлой жизни. А сейчас Эстония... Побирушка. А сейчас... люди уезжают. Вся промышленность останавливается. И армия... вся армия — это чуть больше пяти тысяч человек. Звучит смешно. Бригада. Нас пугают русской угрозой. А мы никому не нужны. Понимаете?! Не нужны! Мы так рвались в Европу, думали, что будем жить как Германии, Франции, Бельгии! А мы живём как на задворках. Думали, что станем равноправными членами ЕС. А стали прислугой и плацдармом для НАТО, чтобы пугать русских. А русским плевать на нас и НАТО. Они лишь крутят всем фиги и живут как хотят, по своему укладу.

— А семья есть? — я осторожно поинтересовался.

— И семья была. Распалась. Кончилась. Из-за того что в Эстонии решили отрицать всё русское. Жена не выдержала, забрала сына и уехала. Сын уже большой. Самостоятельный. Более разумный, чем я. Знает, чего хочет для себя. Сказал, что он — русский. И не мечется с самоопределением,— взгляд был устремлён в пустоту.— Эх! Пауза кончилась! Налей! — он пододвинул стакан.

— Может, ещё кофе? — осторожно поинтересовался я.

— Лей! — ткнул пальцем в сторону бутылки.

Я через мерный стаканчик налил ему чуть меньше дозы. Он не глядя замахнул одним глотком. Стал лениво ковыряться в рыбе на тарелке.

Народ постепенно потянулся на выход. Много столиков освободилось. Но Тамм не замечал этого, он сидел за стойкой бара. Теперь надо переводить разговор как-то иначе. Люди часто перебирают лишнего, откровенничают с незнакомым попутчиком в транспорте или по жизни, а поутру, протрезвев, понимают, что сболтнули лишнего, рады бы прибить свидетеля — носителя их сокровенных тайн, но не могут. И поэтому просто замолкают, стараются максимально быстро удалиться от бывшего собеседника.

Мне же этого не нужно.

— Знаете, я видел эстонцев в своём баре. Они не так пьют, как вы.

— И как же? — Роберт криво усмехнулся.

— Как вы обычно. Пиво умеренно. На закуски — снеки или рыба. Как вы обычно. Их даже и не видно. Сидят тихо. Как немецкие офицеры. Вы же ведёте себя как русские туристы. Пьют много водки. Не представляю, чтобы кто-то из присутствующих вот так выпил столько водки в чистом виде и продолжал сидеть. Разумно рассуждать, не крушить мебель. Не падал на стол или под стол. Не типично. Водку я держу для коктейлей. Самые отважные заказывают «Кровавую Мери» или «Отвёртку» — апельсиновый свежевыжатый сок с водкой.

— Дети,— довольный Тамм махнул рукой.— Водкой можно обработать раны, остановить кровь, согреться. Унять тревогу и тоску, помянуть усопших,— кивнул на стопку с кусочком хлеба наверху.—

Те, кто служил в Советской или Русской армии, знает это. Равно, как и в НАТО сидят дети. Им сказали, что враг—это Россия. Они и верят. В Эстонии нет здравоохранения. Ну нет его. Кончилось после девяносто первого года. У кого есть деньги, ездят лечиться в Швецию, Финляндию. Вместо того чтобы вкладывать деньги в медицину, Эстония покупает оружие. Много оружия. Заманивает НАТО на свою территорию. Отдаёт пашни под полигоны. И не думает, что за её спиной ей же готовят в спину нож. Большой. Огромный!—он развёл руки, показывая, как рыбаки демонстрируют, какая рыбина у них сорвалась.

При этом взгляд у него стал трезвым, жёстким. Значит, информация косвенно подтверждается. На территории Эстонии что-то готовится. И теперь уже ни Центр с меня не слезет, ни я не отстану от Тамма. Не похищать же его и не везти в Москву! Только если сам сбежит! Тоже неплохая мысль, кстати!

— Отчего же вы не поможете своей стране?—спросил я, глядя в глаза.

— Помочь? Эстонии? Помогать больному можно и нужно, когда он сам этого хочет. А если он упорно лезет в петлю, его вынимаешь из неё, но стоит только отвернуться, он уже на табуреточке. И петелька на шее, и пистолет у виска. Выстрелю себе в голову, упаду. Даже если и выживу, то петля задушит! Контролируемое самоубийство.

— Но она же ваша страна. Это как мама. Если она в силу заболевания или возраста творит глупости, вы же не бросите её? Мы в детстве делали массу неприятных вещей, но родители нас не бросили, а помогли. Теперь наш сыновний долг помочь матери. В вашем случае—вашей Родине.

Задумался.

— Не брошу, конечно. Но вряд ли смогу помочь. Остаётся только наблюдать за трагедией. Максимально дистанцироваться от этого.

— Знаете,—начал я осторожно, издалека,—недавно в Лондоне был террористический акт. На Лондонском мосту микроавтобус врезался в толпу отдыхающих. Затем из него выскочило трое арабов с мачете. Известно такое оружие?

— Конечно.—Тамм кивнул.—Полумечи для рубки сахарного тростника. В умелых руках—страшное оружие. Рубяще-колющего применения.

— Думаю, что эти фанатики тренировались, коль не сумели добыть огнестрельного. Так вот. Они начали крошить, крушить окружающих их людей. Когда отдыхающие в панике все бежали, арабы пошли в ближайший пивной паб. Продолжили там свои злодейства. Только один из посетителей поднялся и не побежал, а взял стул и стал отбиваться от этих животных. Задержал по времени нападавших. Отвлёк их на себя. Все посетители паба и персонал скрылись, сбежали. Он отвоевал им время. Спас много жизней. В одиночку.

— Прикрыл отход,—подполковник заинтересовался моим рассказом.

— Но ему было мало задержать отход, а потом погибнуть. Он перешёл к атаке. И выдавил террористов на улицу, под выстрелы полиции. Всех троих отправили на тот свет. В их рай, к девственницам, или о ком они мечтают.

— М-да. Хорошая история. Не слышал. Этого отчаянного смельчака надо наградить. Русские говорят: «И один в поле воин!»

— Один. Воин. Боец. Не за награду он бился. Я так думаю. А чтобы людей спасти и самому не погибнуть.

— Наверное, парень был изрядно пьян.—Тамм усмехнулся криво.

— Так и вы не трезвы,—парировал я.

Он снова посмотрел на меня тяжёлым, но уже трезвым взглядом.

— Не понял.

— Вы можете спасти свою Родину.

— В одиночку?—недоверчив.

— Зачем в одиночку. На свете много неравнодушных людей, которые хотят помочь Эстонии не попасть впросак. Не натворить глупостей.

Тамм откинулся. Осмотрел уже полупустой зал. Фотографии на стенах. Ещё раз взглянул на фото над собой. Потом на меня.

— Налей,—палец на бутылку.

Я плеснул уже без мерного стакана. Почти полстакана. Может пить подполковник. Сразу видна русская ВДВ-шная школа.

Он взял стакан, оттопырил указательный палец, обвёл рукой со стаканом зал:

— Я понимаю так, что всё это для меня? Для разговора со мной? Так?

Одним глотком выпил водку как воду. Зацепил уже подсохшую закуску с тарелки, кинул в рот. При этом старался не отводить взгляд от моих глаз.

Рисковал я? Очень рисковал. Но я так решил. Принял решение! Ва-банк!

— Да. Всё ради вас. Или ради Эстонии. Как хотите. Конечная цель—ради мира на Земле.

— Не боитесь, что я сейчас пойду в контрразведку НАТО или в местную SE—sûreté de l'Etat?

Я улыбнулся.

— Вы вольны делать всё, что хотите. Я не вправе вам указывать, что делать и с кем говорить. Просто не каждому выпадает уникальный шанс помочь своей Родине. Спасти страну, спасти граждан своей страны, которых, как вы сами заметили, и так уже мало осталось,—я смотрел на него жёстко, уже не как благодушно-равнодушный бармен.

Тамм молчал, желваки у него гуляли под кожей.

— Кто вы?

— Я?—я усмехнулся.—Бармен. А вот кто вы—сами решайте. Сейчас не важно, кто я. Главное—кто вы. Подполковник, боевой офицер или…

— Или?

— Или кусок гудрона, лежащий на обочине жизни, который все пинают. Сами определитесь для себя. И вам станет легче и понятно, что делать дальше. Как поступать. Применяя военный термин, ответьте сами себе, в чьих окопах вы?
— Кто за вами стоит? Какая разведка? Или контрразведка?
— Скажем так. Люди, желающие мира во всём мире.
— А конкретно?
— Подполковник, вы часто проходите тест на полиграфе?
— Дважды в год. — Тамм пожал плечами. — Допуск к совершенно секретным документам. Стандартная процедура. Все проходят. А что?
— И вам задают вопрос о контактах с представителями разведки стран, не входящих в блок НАТО?
Он задумался.
— Да. Есть такие вопросы. Даже несколько. Они повторяются в различных вариациях.
— Так вот мы, — сделал упор на «мы», — в первую очередь заинтересованы в вашей безопасности, как личной, так и служебной. Чтобы вам не пришлось врать, изворачиваться, подставляться при проверке на полиграфе.
— Я настаиваю, — он упорствовал.
— Назовём так: «Фонд борьбы за мир во всём мире». Вас это устраивает?
— Какая страна?
— Международный. Поверьте, вам же легче будет проходить полиграф и иные проверки. Не знаешь — не соврёшь.
Он молчал. Молча, показал на бутылку. Я вылил остатки в его гранёный стакан. Поднял на уровень глаз и сказал по-русски:
— За ваше здоровье! — выпил.
Я улыбнулся.
— Вы знаете русский? — голос твёрдый, требовательный.
— Я смотрю американские боевики, в которых русские все пьют водку и постоянно говорят один тост: «На здоровье!» Русские туристы, которые заходят ко мне тоже часто говорят, как вы: «За здоровье!» Поэтому я понял, что вы пьёте за моё здоровье. За это вам отдельное «спасибо».
— А ты скользкий, — в его голосе сквозило уважение.
Я молчал. Он молчал. Потом выдавил из себя:
— Давайте поговорим. Но я много не знаю.
— Давайте завтра. Не здесь. Как вам такой расклад?
Он кивнул.
— Во сколько вы встаёте?
— В пять утра, — он был удивлён.
— А потом?
— Потом у меня пробежка.
— Маршрут один?
— В основном, да. Но я часто меняю. — он замялся. — Привычка. Профессиональная деформация личности. Считаю, что на привычном маршруте проще устроить засаду. Много зелёных насаждений. «Зелёнка». А я очень не люблю их с Кавказа, — он поёжился от воспоминаний.
— Понимаю, — я кивнул. — Как насчёт того, что вы завтра выйдете на пробежку, но измените маршрут?
— Так рано встречаться? — удивился он.
— А что вас смущает? Город ещё только просыпается. Где вы обычно бегаете?
— Парк Волюве (Parc de Woluwe).
— Знаю. Хорошее место, — кивнул. — Вы забегаете со стороны бульвара Суверен?
— Да, — голос удивлённый. — Ведь чувствовал, что за мной наблюдают. Чувствовал как волк, но не мог понять! Всё-таки интуиция на войне научила многому.
— В пять десять я буду на машине возле входа в парк, сядете на заднее сиденье.
— Вы меня похитите? — голос напряжён.
— Зачем? — искренне удивился. — Если мы будем спасть страну, а то, может, и не одну, зачем вас похищать. Я желаю вам самого лучшего, здоровья и многие лета, плодотворной жизни! А сейчас рассчитайтесь и ступайте спать. Вам утром на службу.
Он был ошарашен. Достал банковскую карту, я снял с неё деньги. Тамм из кармана достал несколько купюр, бросил на стойку:
— На чай! — громко сказал он, так чтобы слышали все в зале.
Голос пьяный, немного развязанные манеры. Хорошо играет. В меру.
— Благодарю, мсье. Очень щедро с вашей стороны, — я улыбался как бармен, получивший хорошие деньги.
В течение часа посетители очистили зал. На часах полночь. Я отсчитал половину неплохих чаевых, зашёл на кухню, смена уже сворачивалась. Шеф-повар, назовём его так, хотя до «шефа» ему было далеко, Михаэль, вопросительно смотрел на меня.
Я поблагодарил всех. Отдал ему долю чаевых. Все видели, что сумма приличная, гораздо больше, чем обычно, зааплодировали.
Сел в машину, домой. Спать. Я ещё не подготовил сообщение в Центр о поездке во Францию. Завтра. И про одно и про другое мероприятие. Если он притащит контрразведку. Чужая душа — потёмки. Хотя я наблюдал за ним, анализировал, не должен… Спать!
Подсознание анализировало прошедший день, прошедший разговор. Попутно вспоминалось, кто и как из посетителей вёл себя. Может, кто обращал внимание на нас. Прислушивался. Не заметил. Спать.
Сквозь обрывки сна снился мне мой дед. Старинного дворянского рода. Лазарев.

Давным-давно при царе-батюшке было Жандармское управление. И было там восьмое охранное отделение. На всю Российскую империю тридцать два офицера. Тридцать два оперативных сотрудника. Не много. Но работали эффективно. Они внедряли своих агентов во все политические партии, движения, кружки, во все слои общества свою агентуру. Контролировали, а порой и управляли процессами.

Азеф Евно, оперативный псевдоним как агента «охранки» «Инженер Раскин». Сдал массу боевиков эсеров.

Среди всех партий были источники информации. Но любая разведка или контрразведка работает в интересах или по заказу высшего политического руководства страны. И хоть контрразведчики докладывали, сигнализировали, что ситуация в Российской империи выходит из-под контроля, чревата взрывом, революцией, но царь, правительство всё игнорировали. И случилась Февральская революция.

В тот же день все архивы восьмого отделения Жандармского управления сгорели. Сгорело всё. Дотла. И личные дела на офицеров тоже пропали бесследно.

Никто не был пойман, задержан. Растворились в воздухе. Только один был задержан. В Киеве. Мой дед.

Его жена была беременна. Тяжёлая беременность, тяжёлые роды. И сыпной тиф… В сыпном бараке умерли и жена и трёхмесячный сын.

Деда опознал его бывший агент из эсеров. Деду повезло, он только оклемался от тифа. Был ещё сильно ослаблен. Бросили в киевскую тюрьму, в одиночную камеру. Сам Петлюра хотел его лично допрашивать. Надо же! Целого жандармского офицера поймали! И непростого, а из «охранки»! Важная птица!

Об этом напечатали местные газеты. Даже советская власть тут же обратилась через посредников к Петлюре с предложением обменять или выкупить деда.

Двое суток провёл в камере дед. А потом исчез. Из закрытой камеры. Из охраняемой тюрьмы. Больной, ослабленный. Испарился, растворился.

В тридцатых годах советская власть через зарубежную прессу обращалась к названным офицерам, просила вернуться домой или выйти на связь с советскими представительствами. Обещали полную реабилитацию, деньги, славу, почёт, пенсию. Никто не откликнулся на призыв советской власти в то время. Знаю точно, что информация о них в России до сих пор засекречена, хотя прошло уже почти сто лет.

Дед всплыл во Франции. Только уже не как русский эмигрант, а как француз. Имел в собственности два доходных дома. Снова женился. Тоже русская. И тоже из древнего русского дворянского рода. Вот и получается, что я насквозь дворянин и кровь у меня цвета медного купороса. А я тут барменом пыль со столиков смахиваю и раскланиваюсь за щедрые чаевые.

В 1937 году у деда родился сын. Мой отец. Дед понял, что Гитлер не успокоится, и после оккупации немцами Судетской области Чехословакии отправил свою жену с годовалым сыном в Советский Союз. С письмом, в котором рассказывал, кто он и предлагал помощь разведчика-нелегала в Европе.

Бабушку с отцом отправили жить в Ленинград… А потом началась война и больше чем девятьсот дней блокады города. Голод и холод…

Бабушка умерла и похоронена на Пискарёвском кладбище. Отца вывезли в Горький, в детский дом.

Дед активно работал на советскую военную разведку. Свои доходные дома во время захвата Франции он предоставил немецким офицерам. Что использовалось для получения информации и легло маленьким кирпичиком в общую Победу над фашистами.

После освобождения Франции деда обвинили в коллаборационизме. Деду пришлось продать за бесценок свои дома и уехать в деревню. Там купил шато и поднял его. Вино его марки приобрело популярность. А потом приехал к нему сын. По легенде, сын войну пережил в Австралии, там и получил первое образование, женился.

Так и зажили они втроём, три разведчика-нелегала советской разведки. Наверное, уникальный случай. Когда семейная пара нелегалов — нормально, а вот когда в двух поколениях… Ненормально.

Там же родился и я. По достижении десятилетнего возраста я уехал с дедом в Советский Союз. Официально, думаете, куда? Ну конечно же — в Австралию! К родителям моей мамы. Она же у меня коренная австралийка! Конечно, никаких родственников там у меня нет.

И вот в славном городе на Неве я прошёл подготовку. Многому меня обучал сам дед. Я видел, с каким почтением, с какой учтивостью с ним общались и говорили мне, чтобы я гордился своим дедом. И какой он уникальный человек, и как много сделал для Родины!

Я гордился. И осваивал нелёгкое ремесло разведчика-нелегала. После вернулся к родителям. Я их и раньше видел, они приезжали в отпуск. Недолгие встречи. Казалось, что мы не спали всё это время. Вчетвером говорили, ходили по городу. Дед рассказывал нам про памятные места его молодости. Показывал фамильный дом. Конечно, там живут другие люди. Но всё равно, приятно стоять возле своего родового гнезда и осознавать, что мои предки жили здесь и как много они сделали для своей страны.

Работа в шато давала возможность отцу разъезжать по всей стране, не вызывая подозрений.

Прикрытием поездок было — наладить новые каналы поставок вина.

Отца с мамой отозвали в Союз, а мне было поручено продать семейный бизнес и заняться иной деятельностью. Что я и сделал. В глазах окружающих я читал осуждение. Дед поднял с колен полуразвалившееся хозяйство, отец продолжил, а сынок-повеса всё загубил.

Невдомёк им было, что вкус вину придаёт лоза из советской Грузии и Абхазии. Именно купаж с добавлением этих сортов винограда и ценился у знатоков и выгодно отличался на фоне конкурентов.

Дед похоронен на старинном кладбище в Санкт-Петербурге — Лазаревском. Там же покоятся и многие его предки. Не такой величественный памятник, как окружающие, на его могиле. Но как он любил говорить мне маленькому: «Человек не велик памятником могильным, а делами своими и памятью о нём!» Мне часто стал сниться мой дед. Великий разведчик, великий патриот.

Родители живут под Санкт-Петербургом в своём небольшом доме. Мама, хоть и на пенсии, но до сих пор преподаёт в университете на кафедре иностранных языков, занимается переводами на французский.

Папа, официально, на пенсии. Очень любит возиться в саду. Многолетняя привычка работать на земле во французской деревне осталась. Он пытается вывести виноград в северных широтах, но получается плохо. Также осталась привычка к хорошему вину. Иногда отец исчезает на несколько месяцев. Соседям говорит, что навещает свою многочисленную родню по всей России. Прежняя служба периодически привлекает его для выполнения отдельных мероприятий. Даже у меня поработал связным, когда нужно было передать срочно информацию в Центр, а тайниковый способ не подходил.

В Петербурге и его окрестностях проживает много потомков славных дворянских родов. Высоко посаженная голова, ровная, как будто лом проглотил, спина, хорошие манеры. Это никого не приводит в ужас в культурной столице. А вызывает уважение. И мои родители с их манерами хорошо вписываются местную среду.

Будильник разбудил меня в четыре утра. Которая по счёту у меня уже бессонная ночь? Можно, конечно, открыть замаскированный контейнер. Там есть специальные таблетки. Они дают гарантированно семьдесят два часа бодрствования. Только потом столько же времени нужно спать. Иначе сорвёшь нервную систему в ноль.

Ну ничего. Мы уж как-нибудь привычными средствами обойдёмся. А специальные лекарства, разработанные в секретных лабораториях, оставим на потом. Даже «сыворотку правды», которая также припрятана в тайнике под видом безобидных инъекций, оставим на иное время. Душ, кофе с чайной ложкой коньяка, да простят меня французы, что я так обращаюсь с десятилетним напитком, витамины, бутерброд. В глаза капли, чтобы снять красноту белков глаз. Голову вправо, влево, назад, вниз. Уши растереть. Ехать по пустому городу десять минут. Но мне нужно не просто доехать до места и взять пассажира. Я же не таксистом работаю.

Круг в три квартала вокруг предполагаемого места встречи, постепенно сужая радиус. Под конец, оставил машину, пешком прогуляться по парку. Вроде тихо. Нет времени извлекать сканер радиочастот, чтобы прослушать эфир. Операцию проводят люди. А они совершают ошибки. Болтают в эфире. Выходят из машин, чтобы размяться, покурить. У всех разная степень подготовки, они по-разному относятся к выполнению задания.

Но тихо! Я дал слишком мало времени контрразведке для подготовки мероприятия по моему захвату. Если допустить, что Тамм прошествовал к контрразведчикам, после полуночи не так легко всех быстро собрать в одном месте, расставить людей, проработать различные варианты. И надо ещё поверить ему. В подполковнике сидело полкило водки, а это уже немало для нормального организма.

Могли запустить и дрона, чтобы с высоты фиксировал встречу. Камеры наружного наблюдения в этом районе после терактов меняли на цифровые, так что можно было не переживать, что засекут. Сейчас на короткий срок район остался без средств объективной фиксации. Вон, видны провода. Старые камеры городские власти сняли, новые не установили. Но есть камеры у магазинов, баров. С них тоже просто снять происходящее. Но на это нужно время. У меня был небольшой запас этого ресурса. Фора.

Ещё раз прогнал разговор с Таммом, не выходило, что он должен был метнуться в органы безопасности и писать явку с повинной, что его хотят завербовать неизвестные злыдни под доброй личиной бармена.

Ладно, с Богом! Бог не выдаст, свинья не съест. На наручных часах пять часов. Поехали! Завёл мотор, двинулся в сторону парка, из которого я только что вышел.

В спортивном костюме цвета национального флага своей страны бежал Тамм. Вокруг него никого не было. Он бежал легко, размашисто, экономя силы. Так бегут спецназовцы на марш-броске. Носки кроссовок чуть внутрь, чтобы ноги не так быстро уставали. Старается дышать носом.

Я подъехал к нему, остановился в двух метрах впереди. Так и крутилась фраза на русском на языке из фильма «Бриллиантовая рука»:

— Такси на Дубровку заказывали?

Но не стал хулиганить. Тем паче что до конца не уверен в благоприятном исходе дела.

Я опасаюсь его, он боится меня. Взаимное недоверие—это нормально на вербовочной беседе.

Опустил все стёкла в машине, чтобы он был спокоен, что, кроме меня, никого нет.

Тамм, не снижая темпа, подбежал к машине, резко рывком открыл заднюю дверь, влетел в машину. Я нажал кнопки на закрытие окон, начал движение.

— Доброе утро,—начал я.—Удалось поспать?

— Не очень.—вид у него и действительно был изрядно помятый.

«Что же вы, ваше благородие, так нарезались-то вчера, а?!»—мелькнула мысль. Да и «выхлоп» перегара водочного у него солидный.

— Давайте поговорим,—продолжил я.

— Мне нужны гарантии, что Эстонии не будет нанесён вред,—угрюмо он смотрел в водительское зеркало заднего вида.

Я поднял глаза, встретились взглядами.

— Во-первых, я не знаю, о чём идёт речь. Во-вторых, я же сказал, что организация, которую я представляю, против войны в любых формах. За мир во всём мире. Думаю, что вы тоже разделяете, как военный, эти взгляды. Потому что военные и их подчинённые погибают на поле боя за промахи политиков, неспособность их договориться. И из-за амбиций военно-промышленного комплекса. Люди гибнут за металл. Если вам нужны гарантии, то расскажите мне всё, что знаете, а мы подумаем, как нам обезопасить вашу страну. Договорились? Я внимательно слушаю. Но для начала уберите, пожалуйста, всё, что у вас есть в карман, в металлическую коробку, что лежит на полу,—посмотрел на него и добавил с нажимом.—Пожалуйста.

Он нагнулся, поднял коробку, откинул крышку и начал вытаскивать из карманов телефон, ключи, всё положил, закрыл крышку.

Коробка была со свинцовым напылением. На дне установлен датчик давления, который включал систему подавления сигнала. Изнутри ни одно радиопередающее устройство не могло ничего передать. Стандартная мера предосторожности. Также внутри автомобиля был установлен сканер выявления радиосигнала. Я посмотрел на панель приборов. Горел зелёный светодиод. Значит, всё в порядке. Можно разговоры говорить.

Тамм вдохнул полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, затаил на секунду дыхание и начал:

— Часто со мной советуются по политическим и военным аспектам по России и Эстонии. Три месяца назад меня вызвали в отдел анализа и планирования специальных операций и попросили охарактеризовать, на мой взгляд, русское меньшинство в Эстонии. Их возможное поведение в случае массовых беспорядков в Эстонии. Насколько вероятно проведение референдума по присоединению отдельных территорий Эстонии и других прибалтийских республик.

Он замолчал.

— И это всё?—я был разочарован.

О таком сценарии власти трёх республик трубили во всех средствах массовой информации, тем самым усиливая давление на оппозицию и на «не граждан» их стран.

Он помолчал, продолжил:

— Также их интересовало, как поведёт себя население в случае химической атаки со стороны России? В частности, со стороны Псковской области.

— И это всё?

— В общих чертах—да.

— Понятно. И каков был ваш ответ?

— Я сказал, что не исключено, что не только русские поддержат референдум, но и часть эстонцев тоже. Потому что ожидание праздника—лучше самого праздника. И вступление в единую Европу и в НАТО не принесло Эстонии тех возможностей и уровня жизни, на которые они рассчитывали. А про химическую атаку сказал, что только глупец может применять боевые отравляющие вещества. Население будет умирать и паниковать.

— Это всё?—он начинал меня уже раздражать.

Конечно, источник в НАТО нужен, пусть даже и представитель ничего не решающей страны, но имеющий допуск к небольшой информации—это лучше, чем ничего. И я не собирался отступать. Но вот так проводить вербовочную беседу «на бегу», глядя периодически в зеркало заднего вида автомобиля,—не дело. С кандидатом на вербовку, с конфиденциальным источником, иначе «конфидентом», нужно общаться не менее пары часов, глядя в глаза, понимая, где он лжёт, утаивает информацию, пытается сознательно донести до меня дезинформацию, двурушничает или откровенно встал на путь предательства. Некоторые источники, получая денежное вознаграждение за информацию, «подсаживаются» на «денежную иглу», а добыть ничего стоящего не могут. Утратил оперативные возможности, вот и начинает врать, придумывать, вытягивая деньги. Только личная встреча может помочь выявить ложь. А сейчас… А я вот так… Не профессионально я поступил. Но Центр «давит», получая обратную связь, буквально пиная меня.

— Тамм, давайте спокойно, без суеты. Кто вас приглашал? Кто конкретно разговаривал?

— Были три офицера из Стратегического Командования НАТО, отдел анализа и планирования специальных операций…

— Вы входите в какое подразделение?—хотя ответ я и так знал.

— В «Постоянный Комитет планирования НАТО». Как все военные представители. Так вот. Три

офицера. Два американца, британец. Их я давно знаю, пересекались на совещаниях и учениях. Специалисты по Восточной Европе и России. И был один штатский. Его часто привлекают при разработке операций. Томас Браун. Немец. Говорят, что лучший ученик американца Стивена Манна. Вы знаете их?
— Потом. Сейчас мало времени. Продолжайте!
— Они меня долго расспрашивали о моей службе в России, об опыте боевых действий в Чечне. Потом про Афганистан. Я потом уже понял, что они проверяли мою лояльность. Нет ли у меня симпатий к России. Спросили про семью,— секундная пауза.— Сказал, что давно уже не поддерживаю отношений. В России сказать, что твой отец или бывший муж входит в представительство НАТО — навлечь массу неприятностей. Потом долго расспрашивали про Эстонию. Какой мой взгляд на отношение людей к ЕС, НАТО. Ответил честно, что они разочарованы. И даже качество лекарств в Германии, Франции выше, чем в Эстонии. Да что там лекарства! Банальный стиральный порошок, и тот лучше! Из-за санкций против России и контрсанкций многие предприятия закрылись. Люди нищают. Всем говорят, что Россия во всём виновата, но многие считают иначе. Ну а потом стали меня опрашивать на предмет, если появятся «зелёные человечки», как в Крыму, т. е. военные без опознавательных знаков принадлежности к какой-либо армии, местные повстанцы из русских захватят административные, военные объекты, какова будет реакция населения? Поднимутся они или нет на защиту своего суверенитета? Я честно ответил, что очаги сопротивления, безусловно, будут, но незначительные. Особенно, ближе на восток, где сильны пророссийские воззрения, то ничего не будет. Тогда они стали меня спрашивать, изменится ли настроение, в случае применения русскими химического оружия? Ответил, что русские не будут применять химическое оружие массового поражения. И нет у русской армии такого опыта применения. Тут надо понимать менталитет местных в Эстонии. Они с тем, кто сильнее их. Они на стороне победителей. Был сильным Сталин — они его приветствовали, пришёл Гитлер — с цветами и радостными визгами. Вернулась Красная армия — снова цветы. Из прибалтийских республик эстонцы первыми отчитались перед Шикльгрубером о том, что всех евреев уничтожили. Не все, конечно, но в большинстве своём. У меня в крови намешано много всех наций. По мужской линии — эстонцы. Вернее, носители фамилии Тамм. Но замуж все брали русских, литовок, белорусок, были и польки, норвежки. Так что внутри у меня интернационал. У самого жена наполовину русская, наполовину белоруска. Люблю Эстонию, но часто не понимаю, от этого и ненавижу аборигенов. Ждут, когда им всё принесут на подносе. А когда этого нет, то бегут за лучшей долей из страны. Не хотят на месте ничего менять. Вот так же и с оккупацией Россией. Никто не будет сильно сопротивляться. Если пришли русские, значит, они сильнее НАТО и ЕС. Все помнят заводы, фабрики, что были в СССР. Бесплатные квартиры и образование. Поэтому пусть медведь с шакалами воюет, а мы посидим, покурим, понаблюдаем и к победителю с цветами подбежим, пнём поверженного врага. Как в китайской поговорке: «Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает за битвой тигра и льва. А потом спускается и присягает победителю либо добивает оставшегося в живых раненого». Как с Советским Союзом получилось. Только почувствовали, что медведь ранен и ослаб, тут же и переметнулись на другую сторону. Менталитет такой у маленького народа. Примерно так я рассказал им. Не очень-то понравилось им.
— Что ещё?
— Точно знаю, что они интересовались подобными вопросами у литовского представителя. Мы часто встречаемся на совещаниях, да, и сверяем информацию, когда докладываем в свои Главные штабы. Должна же быть одна позиция на совете. У латышей интересовались тоже. Все примерно одинаково обрисовали картину.
— С кем конкретно вы общаетесь?
— Подполковник Петраускас Лукас.
— И каково его мнение было?
— Примерно такое же. Хотя нас просили не обсуждать ни с кем этот разговор. Петраускас до разговора со мной пообщался с представителем от Латвии Озолиньш Эдгарсом. То же самое. Будет война гибридная, то население в большинстве своём будет пассивно наблюдать. Латыши более открыты и честны. Литовцев у нас за глаза называют «цыганами». Точно так же, как норвежцы, датчане, шведы кривят рот, но не признают финнов скандинавами, за спиной шёпотом называя «чухонцами». Но у всех представителей стран Прибалтики в НАТО, на удивление, оказалось одно мнение.
— Ваших визави это удовлетворило?
Он задумался.
— Знаете, я понял так, что офицеры спокойно отнеслись к этому. А инициатором был Браун. Он очень эмоционально реагировал. Он не понимал, отчего население будет спокойно сидеть. Он постоянно повторял: «С таким сознанием хаос не посеять!»
— Вы общаетесь с Брауном?
— Несколько раз. Случайно. Он — фанатик шахмат. Постоянно носит с собой планшетный компьютер и там разыгрывает шахматные партии. Там где нельзя проносить электронные устройства, достаёт карманные шахматы и разыгрывает сам с собой этюды. Вы играете в шахматы?
— А вы?

— Немного. Научился в армии. Браун сидел как-то рядом, я подсказал ему да хода. В армии научился. Но шахматы не люблю.
— Отчего же так?
— Знаю, что древние в Индии придумали, чтобы развивать стратегическое мышление у генералов. Но не для современных военных они. Сделал ход и жди ответный от противника. В современных войнах не надо ждать ответного хода, а действовать, наступать, отступать, маневрировать, использовать фланговые кинжальные удары, отрезая войска от тыла. И в шахматах каждая фигура может двигаться лишь по правилам. В современных войнах всё иначе. Кто действует по правилам—проиграл. Точно так же, как и с Крымом. Отчего весь мир прозевал момент присоединения? Потому что действовали нестандартно. Не по принятым правилам. Средства радиоконтроля НАТО не зафиксировали никаких приготовлений к захвату. Всё было сделано на высшем уровне организации. Потом несколько месяцев здесь, в Брюсселе, тщательно изучали опыт русских. Меня неоднократно привлекали, чтобы я прокомментировал. Но я сам был в шоке от организации этой операции. Это уже другая армия, не та, что была в Чечне. Точно так я и заметил, что в случае захвата Прибалтики русскими, в чём я глубоко сомневаюсь, не будет применена эта схема, всё будет иначе. Вот Браун и решил внести этот новый элемент—химическое оружие. Но это бред. После того как я подсказал ему пару ходов, которые он не видел, он проникся ко мне уважением, что ли. Доверием. В столовой пару раз обедали. Вернее, я обедал, а он всё рассказывал про теорию хаоса, точнее, управлением им. Вам интересно?
— Продолжайте.
— По его словам, вся система управления обществом давно уже прогнила. И сейчас должна прийти новая формация. Он—агрессивный прозападник. По его словам, Даже Бог—сторонник Хаоса. Была какая-то большая устойчивая система. Она как-то функционировала. Но пришёл Бог и сказал: «Да, будет свет!» И произошёл Большой Взрыв. Что есть взрыв? Это и есть хаос. Любая граната, снаряд—устойчивая система с элементами взаимодействия, находящаяся в состоянии покоя. Но именно взрыв—хаос, приводит в действие массу случайных и запланированных факторов, которые рождают новые устойчивые системы. Так, в результате Большого взрыва из одной большой устойчивой системы появились миллионы других стабильных систем—наша Вселенная, наша планета. Так и со странами, обществом, экономикой. И тот, кто управляет взрывом—управляет миром. Управляешь хаосом—управляешь миром. Сложившаяся система ценностей типа христианской морали не позволяет управлять миром. Поэтому нужно внести корректировки, которые разрушат эту устойчивую систему. Поэтому Содом и Гоморра теперь уже города-герои, а не источник греха. Точно так же, как и существующая система государств неприемлема. Её надо менять «направленными взрывами», которые должны управляться высшей расой—англосаксами и народом Израиля. Хотя он сам немец, но почему-то причисляет себя к ним. Все остальные страны и народы должны помогать либо погибнуть или стать разменной монетой на пути господства. Он активно помогал в Тбилиси, Киеве во время всех их революций и волнений. Типа полигона, обкатки технологий. У него получилось. Он стал одним из авторитетнейших экспертов в Европе в этой области. И многие сквозь пальцы смотрят на его чудачества. Порой несколько эпатажный вид и поступки.
— Вы можете с ним завязать более тесные отношения, чтобы попасть в группу разработки управления хаосом?

Тамм внимательно посмотрел на меня в зеркало.
— Могу. А зачем?
— Вы же военный. Если что-то замышляется против вашей родины, нужно понимать, чтобы принять оборонительные шаги, предотвратить катастрофу. Например, как на Украине.
— Понятно,—кивнул головой.
— И ещё. Чтобы понимать ваш потенциал возможностей, не могли бы вы написать, к каким документам, сведениям имеете доступ. Только не пользуйтесь компьютером, а ручкой. И нижние листы потом надо будет уничтожить. Также какие у вас связи в штаб-квартире. С кем контактируете. Их данные, телефоны, всё, что посчитаете возможным.

Повисла неловкая пауза.
— Так всё-таки вы меня вербуете? В России меня военная контрразведка пыталась завербовать, чтобы я стучал на своих товарищей. Я отказался!
— Я не прошу вас стучать на своих товарищей. А предлагаю совместно обезопасить вашу родину—Эстонию. Может, заодно и другие прибалтийские государства. А может, и не втянуть мир в хаос третьей мировой войны. Я же говорю, что мы—за мир. Вы же сами понимаете, что начинается какая-то большая игра, которая закончится кровью ваших сограждан. Ради новой формации могут принести в жертву тысячи жизней эстонцев. А чтобы иметь представление о картине, надо понимать ваши возможности. Не требовать же от вас схему расположения «Минитмен-3» в США или места расположения американских подводных лодок типа «Огайо» в мировой океане.

Перехватил удивлённый взгляд.
— Мы же за мир во всём мире. Не исключено, что они же и будут наносить удары по русским войскам в Эстонии, если таковые найдутся. Вот тогда от Эстонии ничего не останется. А были там русские

или нет, поди, разбери после ядерного удара. Лишь пепел да стекло. Главное же — объявить, что там были русские.

Повисла пауза. Тамм тяжело вздохнул, продолжил:

— Мои родители-старики пошли собирать ягоды на бывший советский танковый полигон. Рядом с деревушкой Соодла. Там много озёр. Красивые места. Собирают ягоды. А тут р-р-раз! И из кустов выскочили негры их, США, в камуфляже. Арестовали моих родителей. Положили лицом в грязь, руки заломили, наручники. Мешки на головы. Доставили в штаб. Разделили. Обыскали. Стариков!!! Моих родителей! И три часа порознь допрашивали. Даже мне позвонили, уточнить что-то. Я поставил на уши всю штаб-квартиру здесь, в Брюсселе. Позвонил в Главный штаб сил самообороны Эстонии… Освободили стариков, — помолчал. — Не такой я участи хотел для Эстонии и своих родителей.

Я возвращался к месту посадки Тамма. Прошло двадцать минут нашей встречи. Пора расставаться. Протянул ему бумажку. Визитная карточка моего заведения, они стояли на каждом столе.

— Возьмите. На случай экстренной связи. Вверху телефон бармена, внизу — автоответчик. Звоните по второму телефон, заказывайте столик на двоих на имя Доминик с указанием времени и даты.

— А потом приходить к вам?

Протянул вторую бумажку.

— Прочитайте, запомните адрес. Я буду через два часа там от времени, указанного вами на автоответчике. Если всё нормально, то через неделю в 19.00 я жду вас здесь же. Конечно, будьте в партикулярном платье. Не в форме.

Он внимательно прочитал адрес.

— Место-то криминальное, — он усмехнулся.

— Зато меньше лишних глаз. Доезжаете до Северного вокзала, потом по переходу под путями. Мимо квартала Красных фонарей. Там мало освещения, мало камер видеонаблюдения.

— Вокзал и его окрестности славится большим количеством карманников.

— Ну вот видите, вы знаете его. А вот теперь возьмите вот это, — я протянул ему бутылку с распрыскивателем.

— Что это? — он подозрительно смотрел.

— Солёная вода. Побрызгайте на лицо. И руки. Вы же бегали. Вспотели. Вода высохнет, соль останется. В вашем же доме есть видеокамеры. Да и другие жильцы могут встретить вас. Дышите глубже.

Роберт усмехнулся. Побрызгал на раскрытую ладонь, понюхал, лизнул, сплюнул.

— Точно. Солёная вода, — побрызгал на лицо, ладони с тыльной стороны. — Вы предусмотрительный.

— Не приходите ко мне больше в бар. Только в случае большой срочности. Закажите гуляш по-фламандски. После того как вы уйдёте, встреча через два часа по этому адресу, который вы прочитали. Если закажете иное блюдо, значит, встречи не будет. Закажите себе чай, значит, вы полагаете, что за вами следят и вам угрожает опасность. Со мной напрямую не общайтесь.

— Почему? — удивился Тамм. — Мы же с вами мило посидели. Душевно. И это видели многие из посетителей. Постоянного и переменного состава.

Я усмехнулся от его чисто армейского выражения. Зато чётко сформулированного.

— Сами посудите, что может связывать вас и бармена? Вы же не числитесь в алкоголиках. Это может вызвать подозрение. А то, что вы устроили посиделки у барной стойки в компании хозяина заведения, так это фотографией навеяло воспоминания. Минута слабости. Ничего страшного. Вы увидели на фото погибшего товарища. Это добавляет человечности к вашему облику. Тоже хорошо. И постарайтесь понравиться Брауну. Очень постарайтесь. — уже с нажимом произнёс я.

— Зачем? — Тамм искренне удивился.

— Так надо, Роберт. Так надо, — на второй фразе я был настойчив.

— Понятно, ясно, — он кивнул.

Тем временем добрался до места недалеко от дома Тамма, остановился в тени. Кивнул подполковнику. Он забрал телефон и ключи, выскользнул из машины и побежал в сторону дома.

Повёл машину к своему дому. Вытер отпечатки пальцев в салоне и на ручке машины снаружи, которую трогал Тамм. Его пальцы у меня имеются, снятые с бокалов. Лишние мне ни к чему и местной контрразведке тоже. Точно так же я протёр бутылку с солёной водой.

На работу. Первым делом кофе. Самый крепкий, какой мог сварить дома. Стопку коньяка в себя, стопку в кофе. Да простят меня французы и истинные ценители коньяка.

И начал кратко, только факты, излагать по поездке во Францию и встрече с источником. Точно так же о беседе с Таммом. Не забыл, конечно, описать Брауна.

Этот дядя нам был давно известен. Он со своим учителем Манном были одними из основных разработчиков серии цветных революций на Ближнем Востоке и на Украине. Неоднократно ЦРУ и Моссад привлекали этих двух «научных мужей» для консультаций и разработок операций.

И если Брауна привлекли в НАТО для разработки операции, то задумывается большая гадость. Очень большая гадость.

Тамм, по моему прогнозу, сам это понимает и будет стараться на первоначальном этапе. Поэтому после получения информации от него, будем считать, что он стал моим агентом.

Я прихлёбывал горячий кофе. Коньяк ударял в нос. Спирт ещё не весь вышел. Но сон уходил. Кровь разгонялась, мозг начинал думать быстро.

Умеренная доза крепкого алкоголя и неумеренная кофе заряжает энергией мою нервную систему.

Надо подготовить донесение в Центр.

Одним из самых острых, опасных мероприятий является передача информации разведчиком в Центр. Раньше использовали радиопередатчики. А тайниковые операции использовали всегда. В момент закладки или выемки тайника могут схватить. И вот тогда трудно оправдаться. Но как меня учили, помимо Школы, отец с дедом: «Никогда ни в чём не сознавайся! Даже если жена застала тебя в постели с любовницей, отпирайся. Мол, я только перелазил, когда эта незнакомая тётка легла ко мне в постель!» Утрированно, конечно, но смысл верен. При подходе к тайнику, его закладке, думай, анализируй, сопоставляй. Всё, абсолютно всё и всегда у тебя должно вызывать недоверие. И продумывай все мелочи. Это говорят, что дьявол в мелочах. У разведчиков внимание на мелочи.

Подготовили отчёт, донесение в Центр. Едете на машине к месту закладки. А тут, бац, и авария или сердце прихватило. Ваше бессознательное тело и машину осматривают. Находят смятую пачку из-под сигарет или подозрительно лёгкий камень, а там колонки цифр. Или письмо тётушке в Базель. А у вас рядом с домом, работой почтовые ящики гроздьями висят. Исследовали бумагу, выявили, что она обработана специальными составами. И снова вопросы. В английской разведке были провалы, когда разведчики писали между строк, пардон, продуктами мужского естества. Запах выдавал. Немецкая контрразведка немало так выявила разведчиков и агентов Британии.

Не секрет, что почти каждый дипломат российского посольства находится под системой контроля. Технического, визуального. И вот он получает задание изъять контейнер с закладкой. Крутится по городу, отрывается от слежки, или дают ему понять, что оторвался. Создают режим мнимого благоприятствования. И вот он на берегу пруда в Леопольд-парке кормит уточек, потом швыряет камушки, что-то кладёт в карман и уезжает. Или, наоборот, оставляет камень на берегу, в траве, рядом со скамейкой.

Даже несведущему станет понятно, что не камушек на память он подобрал перед отъездом на родину. Могут задержать, могут проводить до ворот посольства или консульства русского дипломата, кто закладывал тайник или забирал его. Расшифровать вряд ли удастся. Но скандал на весь мир. Придумают даже то, чего и не было.

Возникает вопрос, что кто-то положил туда этот «камушек». Начинают изучать камеры видеонаблюдения. И если у вас нет привычки, хотя бы раз в неделю приезжать и мотивированно кормить уточек, то вы попадаете под подозрение. И вас начинают изучать под микроскопом. А в жизни любого человека, пусть даже кристально чистого, есть пара-тройка «скелетов шкафу». И их найдут. А если разведчика рассматривать под углом зрения контрразведки, то они поймут, что за фрукт перед ними. А они это умеют. В контрразведке дураков не держат.

Вот и приезжай в этот парк, где носятся бегуны, катаются на велосипедах, скейтах, туристы, мамочки с ребятишками, пенсионеры неспешно прогуливаются, смешивайся с толпой и корми этих уток! Будь они неладны! Я уже вагон хлебобулочных изделий скормил им!

И корми так, чтобы со стороны было видно, что ты делаешь это с любовью к окружающему миру, а не пытаешься проломить сухарём голову невинной водоплавающей птице.

И если ребёнок подойдёт, должен посюсюкать с ним и дать хлебушка, чтобы тот покормил птичек. И умудряйся подбирать или закладывать тайник.

Приеду домой в отпуск, закажу маме, чтобы сделала утку под клюквенным соусом. Теперь понимаю, отчего отец так не любит уток и прочую птицу. Наверное, тоже устал кормить голубей да уток. Всегда с видимым удовольствием шугает их по поводу и без.

Так что хоть и дьявол в мелочах, но приходится всё держать в голове и продумывать каждую мелочь. Репетировать дома, как кидаешь кусочки хлеба уточкам, потом роняешь хлебушек, наклоняешься, поднимаешь контейнер или, наоборот, закладываешь. И он должен лежать в строго определённом месте. Смещение положения контейнера является признаком его компрометации. А это значит, что разведчик попадает под подозрение или тот, кто закладывал.

Иногда используют пенсионеров, курьеров для закладки или выемки. Вот и папа у меня порой исчезает из дома. Маме ничего не говорит. Только привозит её любимое вино или шампанское, которое в Петербурге не найдёшь.

Это в СВР и ГРУ закордонных резидентур много, как под посольской «крышей», так и нелегальных. А у ФСБ крайне мало. Вот и приходится крутиться, как можешь. Сам неоднократно вынимал и закладывал чьи-то контейнеры. Это могли быть и проверочные мероприятия в отношении меня. Не перешёл ли я на сторону противника или двурушничаю. Специалисты этот контейнер потом на просвет изучают. До миллиметра обнюхают. Все ли контрольные метки на месте. Меточки не доморощенные, а казённые. Ногтем задел, и всё — она скомпрометирована.

Но это всё вторично, как само собой разумеющееся. Главное — работа. Служба!

И вся моя работа должна быть нацелена на вскрытие разведывательных устремлений со стороны иностранных разведок к России и её союзникам.

Вот и Тамм как раз подходит для этих целей и задач, по крайней мере, я так полагаю. И надеюсь.

С годами зрение не становится лучше. Только коньяк становится лучше. Всё остальное портится. И у меня с годами развилась дальнозоркость. Мелкие предметы с близкого расстояния плохо вижу. И даже в очках. Пришлось обзавестись очками с увеличительными стёклами. Часовых дел мастера и ювелиры зачастую такие используют.

В Бельгии, да и вообще в Западной Европе, городские жители крайне редко сами проводят ремонтные работы по дому. Квартиры арендованные. Значит, должны выполнять сертифицированные специалисты.

Если ты ничего такого дома не делаешь, значит, что-то надо придумать, дабы выглядело естественно, а не как чужеродное тело в квартире. Вот поэтому я и придумал себе «хобби», будь оно неладно! Так как из французской деревни, то испытываю ностальгию по детству. Собираю модельки сельскохозяйственной техники. У меня уже семь моделей. Предлагал Центру, чтобы они собрали и выслали мне. Хрен! Чтобы мои отпечатки пальцев были на внутренних поверхностях деталек тракторов, грузовиков. Хотя могли бы сами мои пальцы оставить. Умельцы из Управления специальных технических операций не такие чудеса творили. А моих образцов отпечатков пальцев у них — вагон и маленькая тележка! Это на тот случай, что понадобится меня или компрометировать, в случае предательства, или, наоборот, вытащить. Например, мои пальцы находят на украденном кошельке. А меня обвиняют в шпионаже. В то же время получается, что я находился в другом месте. И получается, что я не русский шпион, а мелкий воришка. На тебе три года общеуголовной тюрьмы.

Вот и тратил время, здоровье, сон на сборку этих никчёмных игрушек.

По бельгийской привычке, в гости я никого не зову. Только уборщица приходит, под моим наблюдением она проводит уборку. Вот ей и хвастался своими достижениями в области сельскохозяйственного моделирования. Заодно и подпускал к своему рабочему столу. Там лежала ещё одна модель. Там же и очки для работы с мелкими предметами. Если кому-то проболтается, а это как пить дать, или опрашивать будет полиция, контрразведка впрямую или опосредованно, то всё мотивированно. Мсье на старости лет головой тронулся, в игрушки стал играть. Но в целом мсье безобиден.

Для декорации игрушечных моделей у меня хранятся камушки. Большие и маленькие. Вот и получаются композиции. Только некоторые эти камни и есть контейнеры для тайниковых закладок. И на виду, и не видно. И опять же, оправдание, если «прихватят» с контейнером. Мол, камушек понравился. Конечно, все эти отговорки «в пользу бедных». Но тем не менее. Лучше так, чем просто уронят лицом в грязь, как грязного шпиона, и будут по рёбрам охаживать крепкими ботинками с высоким берцем.

Вот один из таких камней я холил и лелеял. Сегодня даже в карман положил. В кармане небольшая дырочка присутствует. Чуть надавил на камень, ткань разошлась, камушек на землю и упал. А там, господа полицейские, доказывайте, что он мой. Обработан он специальным составом, нет на нём никаких следов. Ни пальцев, ни запахов, ни остатков/останков ДНК. Ничего. Вот в этот контейнер заложил послание в Центр. Ликвидатор, в случае несанкционированного проникновения, поставил в боевое положение, контрольные метки. Нет, не взорвётся он в руках, отрывая кисти и поражая осколками тело любопытного. Хотя и такие тоже имеются.

Здесь просто агрессивная жидкость за секунду растворит шифрованное послание. При вскрытии жидкость после соприкосновения с воздухом превратится сначала в гель, а через полминуты — в твёрдый материал. То же самое произойдёт, если подвергнуть контейнер рентгеновскому облучению, компьютерной томографии.

Сколько же я мучился в Школе, обучаясь закладке и извлечению таких вот закладок! Даже экзамен сдавал.

Обязательно поставить контрольную сигнальную метку, чтобы знали в Центре, вскрывалась посылка или нет. Вот вроде и всё. Готово.

Критически осмотрел «камень». Он может и в воде пролежать около месяца. Его можно кидать. Но не так, чтобы он ударялся о скалу или что-то сильно твёрдое. Камень да камень. Неприметный. Из местных. Камни с берега Волги или Енисея отличаются от тех, что лежат мирно в Леопольд-парке. Ну не подошёл он для моей инсталляции с крестьянской миниатюрой, не вытанцовывается французская пастораль. Вот поэтому и возвращаю его на место.

А вот теперь самое «острое» мероприятие на сегодня. Доставить послание до «почтового ящика». По дороге меня могут задержать, при закладке тоже могут. Вот и крутись, как можешь.

Помимо моего рукописного зашифрованного послания о встрече с Таммом, в контейнере располагалась микроскопичная карта памяти. Это сообщение от одного из источников во Франции.

В провинции Бретань, что во Франции, присутствует большой мясокомбинат. Забивают скот, разделывают его, готовят вкусные деликатесы, поставляют мясо по всей Европе.

Руководитель цеха по забою скотины мой источник.

Спрашивается, а зачем русской разведке в интересах контрразведки, такой источник? Узнать сколько мясной продукции выпускает французский мясокомбинат? Не голодают ли французы?

Нет. Не интересно это ФСБ России.

Недалеко от этого комбината есть база морских коммандос ВМС Франции. Одна из самых жёстких система полготовки спецназа в мире. Они были сформированы во время Второй мировой войны в Англии. Принимали непосредственное участие в Нормандской операции и освобождении Франции. Также постоянно поддерживают связь с английскими САС.

Даже великий исследователь морских глубин Жак Ив Кусто был морским офицером и внёс немалый вклад в дело обучения и подготовки французского морского спецназа.

У них 6 подразделений, каждое из которых носит имя офицера, командовавшего им в своё время или погибшего в бою:

— Хуберт (борьба с водолазами противника, контртерроризм);
— Жауберт (нападение на море, вытеснение, ближний бой в море);
— Трепель (нападение на море, вытеснение);
— Пенфеньо (разведка, разведывательные операции);
— де Монфор (глубинная разведка и огневая поддержка);
— Кифье (кинологическое подразделение).

Раз в два-три месяца один из цехов отдела / цеха по забою закрывается. Все рабочие перекидываются на один день на другой участок работы. Остаётся только мой источник. Спецназовцы отрабатывают, оттачивают навыки убийства. Тренируются на скотине, подготовленной на убой. Огнестрельное оружие, холодное оружие, подсобные средства, голыми руками. Попробуйте голыми руками убить свинью, которая ошалела от стресса, страха, запаха крови, готова убежать или постоять за себя. Нельзя мышь загонять в угол, она дорого будет продавать свою жизнь, что уж говорить за старого племенного быка или кабана! Всё это снимает оператор, чтобы потом, на базе, разобрать действия каждого бойца, указать на ошибки, чтобы в последующем их исправить.

Также отрабатывается разделка туш, поедание тёплых органов животных, только что вырванных или вырезанных из неостывшей туши.

Работа такая у людей. Убивать. Бывает.

В Европейском союзе очень жёсткие требования по гигиене. Все, кто посещает мясокомбинат, обязаны пройти санитарную обработку. В том числе и рук. Не просто сполоснуть их в дезинфицирующем растворе, а положить руки в ванночку, и скребок, по типу как моют стёкла, автоматически проводит по пальцам, ладоням, соскребая грязь, бактерии. Нам удалось усовершенствовать это устройство, и оно стало сканером для считывания отпечатков пальцев.

Естественно, что на время визита военных, все заводские камеры отключены. Мы установили свои.

Спецназовцы из Англии, других стран НАТО тут тоже частые гости. Последние четыре года стали посетителями и вообще экзотические личности. С Ближнего Востока и Африки. Их готовят для борьбы в составе партизанских отрядов с проправительственными силами. Поступающая информация свидетельствовала, что контрразведка активно выявляла бывших боевиков из ИГИЛ, которым под видом беженцев удалось просочиться во Францию и другие страны ЕС. Их выдёргивали, делали предложение, от которого они не могли отказаться. И начинали обучать по программе морского спецназа Франции. А потом забрасывали снова на Ближний Восток, снова в ИГИЛ. Но уже обученных, подготовленных, полностью контролируемых и подпитываемых со стороны НАТО.

Сейчас возрос поток выходцев из бывших стран Советского Союза, особенно с Кавказа и Средней Азии. По словам источника, много русскоговорящих. Их готовили и забрасывали как в Россию, так и в сопредельные государства.

Мы имели видео лиц, рост, вес, форму ушей, носа, отличительные признаки в походке, в поведении, отпечатки пальцев. Иногда образцы голоса. Также имелась съёмка, как они убивали скотину. Это тоже свидетельствовало о многом: опыт, психологическая подготовка, любимые приёмы.

В Центре во время отпуска мне сообщили, что часть заброшенных боевиков они установили по отпечаткам пальцев. Часть была взята под контроль. В Средней Азии такую диверсионно-разведывательную группу разведка 201 мотострелковой дивизии ВС РФ, в Душанбе, уничтожила. Те не хотели сдаваться. Прессе всё выдали за стычку противоборствующих наркокланов.

Вот так начальник цеха на французском мясокомбинате помогает выявлять русской контрразведке террористов, подготовленных в НАТО.

Нельзя сказать, что агент «Бенедикт» трудился на нас во славу русского оружия и из идейных соображений. За каждую такую «посылку» с «пальчиками и видеосъёмкой» он получал щедрое вознаграждение. Чуть больше его полугодового оклада. Хорошая прибавка.

Очень сложно контролировать агента, особенно когда ты находишься от него далеко. Поначалу он ошалел от такой суммы. И приходилось его увещевать. Неразумные траты привлекают внимание не только окружающих, но и налогового органа, полиции, контрразведки. В Европе, с её высокими налогами, всегда подозрительны приобретения новых автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Что-что, а доносительство они впитывают с молоком матери.

Вот и первый «гонорар» я ему отдавал частями. Он хотел купить новую машину. Грезил ей.

Объяснил ему, что нужно купить в кредит. Тогда никто не будет завидовать и подозревать. И вот он

частями на деньги, полученные от меня, погашал автокредит. Так постепенно приучал его не жить расточительно, не привлекать к себе внимание. Не бахвалиться в компании, за бутылочкой «Божоленуво», молодое вино сильно ударяет в голову и тянет на «подвиги», что можешь скупить всё это кафе. Да и язык становится длиннее твоего роста.

Вербовочный процесс—дело тонкое и деликатное. И не заканчивается при выражении иностранного гражданина оказывать содействие российской разведке в интересах контрразведки.

Зачастую бывают и казусные ситуации, например, когда перспективного источника разрабатывают две разведки одновременно. Так было с помощником военного атташе Великобритании во Франции. У меня появился к нему подход через его любовницу, но на мой запрос в Москву об изучении его как кандидата на вербовку пришёл категоричный отказ с жёстким приказом свернуть всю деятельность вокруг данного тела. Потом, в отпуске, уже шепнули на ухо, что наши военные вокруг него круги год как нарезают.

Одно время я подвизался на общении с бывшими сотрудниками министерства обороны и военной разведки Франции. Добыл списки, у кого из них были неизлечимые болезни, и под видом писателя, за щедрое вознаграждение опрашивал дедушек.

Многие старые тайные операции мне были поведаны. Заодно по косвенным признакам в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны агенты военных разведок стран НАТО. Некоторых удалось перевербовать. Во время перестройки и девяностых они активно сотрудничали со многими разведками.

Ну и больные старики рассказали немало компрометирующих материалов на современных руководителей разведывательных органов. Тогда они были ещё юными, начинающими сотрудниками, делающими первые шаги, совершающими ошибки, о которых они были готовы позабыть сейчас. А старикам на краю могилы хотелось поговорить. Вспомнить молодость. Свои достижения, промахи, что хотели бы изменить, показать себя с наилучшей стороны, покритиковать нынешнее руководство за мягкотелость. Очень много интересного можно узнать, имея терпение и энную сумму денег.

Не поверите, но деньги нужны даже тем, кто одной ногой стоит в чистилище. Дедушки вскорости умирали из-за болезни, а их воспоминания анализировались, сопоставлялись с имеющейся информацией. Часть информации использовалась как выводная, чтобы не совершать ошибки, выявлялись новые признаки ведения подрывной деятельности разведслужб на территории России и сопредельных государств с целью дестабилизации политической и экономической обстановки. И резидентуры иностранные в России не сворачивали свою деятельность, а в последнее время, наоборот, активизировались. Даже стали «расконсервировать» агентуру, замороженную десяток лет назад. Один из признаков или переворота, или «особого периода»—предвоенного периода.

Запомнился мне разговор с одним из полковников. Это был старик, родившийся в годы Второй мировой войны в шале на юге Франции. Здесь же он коротал свой оставшийся век.

Мы сидели во дворе под цветущей яблоней. На столе стоял большой глиняный кувшин с домашним вином, сыр, отварное мясо.

Полковник разлил вино по стаканам, не по изящным бокалам, а грубым крестьянским стаканам. Посмотрел на свет цвет вина, покрутил немного, понюхал:

— Вот что я скажу тебе, молодой человек! На излёте жизни я считаю, что жизнь человека подобна бочке с вином. Господь Бог наполняет её, кому доверху, кому-то наполовину. В детстве мы пьём виноградный сок. Наши матери нам щедро наливают его, мы хватаем его стаканами. Один, другой, третий, и бежим во двор, чтобы поиграть с ровесниками или помочь отцу. Потом вино становится молодым. И мы, как молодое вино, которое ударяет в голову, пускаемся во всяческие приключения, авантюры, полагаем, что мир создан для нас и только для нас. Нет авторитетов, и Эверест—это не вершина мира, а всего лишь макушка горы, которую мы покорим запросто. Потом приходит время шампанского. Женщины, романтика, снова авантюристические приключения. Драки, служба, войны. Но всё равно считаем, что мы всего добьёмся, всё одолеем, всех победим. Ну и, конечно же, женщины. Много женщин. Вино и женщины. Ни того ни другого много не бывает. Затем приходит время выдержанного вина. Мы уже осознаём, что вина в бочке жизни остаётся всё меньше. И уже не так шалим, более сдержаны, рассудительны, более взвешенные. Оглядываемся назад, понимаем, что слишком много сил потратили впустую, в погоне за миражами, которые сами себе придумали или чтобы кому-то понравиться, зависели от чьего-то бесполезного мнения. Но всё равно продолжаем упорно идти вперёд в надежде достигнуть чего-то. Пусть уже менее призрачных, но реальных целей, взвешенных целей и достижений. И вот приходит время коньяка. Уже реально понимаешь, что особых подвигов у тебя не получится сделать, да и нет особого желания. Но хорохоришься, мнишь себя мудрецом, к которому идут за советом, хотя им не совет нужен, а требуется лишь, чтобы ты договорился о решении чей-то проблемы со своим боевым товарищем, который стал политиком или банкиром после выхода в отставку. Вы знаете, что коньяк хранится и выдерживается в дубовых бочках семьдесят пять лет. Потом уже нет смысла это делать. Он не набирает силу, не обогащается

ароматом. Нет столетнего коньяка. Точно так же, как и наша жизнь, после семидесяти пяти не набирает силу, крепость. Приходит лишь осознание простой мудрости, что счастье оно всегда было рядом. Вот так сидеть вечером в кругу большой семьи, возвратившись с виноградника с заходом солнца. Вино на столе, как вот это — он кивнул на кувшин на столе — без оксида серы. Сыр, отварное мясо, хлеб. И говорить. Просто говорить, Вечером, прихлёбывая из стакана десятилетнее вино из собственного погреба, неспешно пыхтеть трубкой с домашним табаком с добавлением вишни и чернослива, читать книгу, бросая иногда взгляд на большую семью. Чтобы все были рядом, перед глазами. Это и есть счастье. Качаешься в кресле-качалке, которое сделал ещё мой прадед, оно неказистое, грубое внешне, но очень удобное. Вы пейте вино, юноша, пейте. Ему больше сорока лет. Оно живое. Если оставить в тепле — заплесневеет. Плесень, она же живая, и живёт и размножается только там, где живая культура, например, как сыр, как домашнее вино. То вино, что в бутылках, — мёртвое. Чтобы не было плесени, добавляют окисленную серу. А сера, как известно, она от дьявола. Из ада. Вот и получается, что люди — глупые создания, от дара Божьего отказываются — от вина, созданного трудом и любовью, политого потом крестьянским, и убивают его дьявольским порошком, пьют мёртвое вино. Сами себя отдаём на откуп аду. Поэтому пока молодой, не совершайте самую большую глупость — не транжирьте время, отпущенное Всевышним. Либо займитесь крестьянским трудом, либо трудитесь на благо окружающих вас людей, родственников или просто тех, кто попросит у вас помощи. Нам неведомо, какая у нас бочка вина. Мне повезло. Я почувствовал весь процесс, от виноградного сока, до самого старого коньяка. Вот и пью свою жизнь — выдержанный коньяк маленькими глотками — с оглядкой на прожитое. С каждым днём его всё меньше и каждый глоток всё слаще и желаннее, изысканнее, утончённее. Мало коньяка осталось на дне бочки. А сколько моих ровесников не попробовали даже выдержанного вина. Окончили свой жизненный путь на шампанском. Многие на войнах. Сейчас я оглядываюсь назад, на колониальные войны, в которых принимал участие, и не понимаю, а зачем и кому это надо было, и не понимаю, для чего. Это не принесло ни славы, ни богатства никому. Ни солдатам, что погибали, ни Франции. Те, кто жил в колониях, тоже не в восторге от того, что было. Они хоть свою землю защищали, свой уклад жизни. А мы? Ладно, мсье, я сам стал по-стариковски болтлив и суетлив, и время уходит в моём пустословии. Поэтому давайте нальём ещё по стаканчику из этого глиняного кувшина, который сделал мой отец своими руками, я очень люблю те вещи, которые сделали сами мои предки. Для окружающих они не представляют никакой ценности, а для меня — история. История моего рода, моей семьи, тот самый мостик, который двигает меня что-то оставить после себя. Точно так же и кусочек моих мемуаров, который вы вставите в свою книгу.

И этот старик честно, откровенно, порой с излишними подробностями поведал мне нелёгкий путь службы от лейтенанта в Алжире до полковника военной разведки.

Окончание следует

Анастасия Астафьева

Давай поженимся!

…Хуже татарина

Анастасия Васильевна уже собиралась спать и расправляла постель, прислушиваясь к телевизионному новостному фону, когда на тёмной улице резко взлаял Мазурик, а следом в дверь несильно, но настойчиво постучали. Хозяйка накинула телогрейку, сунула голые ступни в валяные опорки и нырнула в морозные сени.

— Кто там?—строго спросила она. А в ответ услышала высокий скрипучий голос:

— Я приглашаю вас сюда—
В сосновый край под синим сводом.
Радушно примем вас всегда:
И я, и дом мой, и природа!

Анастасия Васильевна удивлённо распахнула дверь и увидела незнакомую женщину. Около ног той стояли две большие клетчатые сумки, за спиной тянул к земле тяжёлый рюкзак, а перед собой она держала газету «зож».

— Вот я к вам и приехала!—женщина бесцеремонно стиснула растерянную хозяйку в объятиях.

— Ну… проходите,—беспомощно пригласила та.

Незваная гостья бодро вошла в дом, сняла не новое и не чистое пальто, повесила его на вешалку рядом с аккуратными вещами Анастасии Васильевны, закинула туда же мокрые от растаявшего снега шапку и шарф, оставила у порога разбитые сапоги и без приглашения протопала в залу. Там она внимательно осмотрелась, потрогала безделушки на комоде, на ходу коротко полистала фотоальбом, зачем-то пощупала подушку на кровати Анастасии Васильевны, пощёлкала пультом от телевизора, переключая программы без толку и цели.

Анастасия Васильевна в это время поставила чайник, достала из буфета чашки и сахар, выложила хлеб, масло, кусочек сыра. Пока она хлопотала, гостья занесла в залу свои сумки и рюкзак, села на расстеленную кровать и стала копаться в своих вещах, выкладывая на пол, на стулья, на комод какие-то бесконечные пакеты, кофты, вязаные носки, халаты и прочие тряпки. Наконец она выудила из рюкзака что-то завёрнутое в несвежий носовой платок, принесла это к столу, развернула и выкатила на клеёнку слипшийся комок «дунькиной радости».

За чаем выяснилось, что гостью зовут Тамарой, она откуда-то с юга, есть у неё там сын, лет ей под семьдесят, ехала от Москвы на электричках, потом на попутке… Но более охотно Тамара говорила не о себе, а о газете «зож» и о стихах Анастасии Васильевны, цитировала их, иногда, впрочем, вплетая в строки, действительно написанные хозяйкой дома, чьи-то чужие. Призналась, что всю жизнь завидовала тем, кто умеет сочинять, и всегда мечтала познакомиться с поэтом. И вот её мечта сбылась! Спасибо газете «зож»!

Так всё и прояснилось: редакция газеты «зож» рядом с письмами читателей в обязательном порядке печатает адрес отправителя—люди просят выслать лекарственные травы, настои или предлагают собственные рецепты здоровья. Но Анастасия Васильевна посылала в газету «лечебные» стихи! Читатели нередко писали благодарные отзывы, присылали свои вирши, с некоторыми завязалась настоящая дружба по переписке. Но личное явление поклонницы её поэтического дара случилось впервые.

После чая сразу легли спать. Хозяйка уступила гостье свою любимую удобную кровать, а сама приютилась на старом продавленном диванчике, где уснула лишь под утро, вынужденно слушая здоровый, ровный храп Тамары.

…Ночь бессонная, словно глухая стена.
И подушка, как камень, и сорочка тесна.
Память тянет из прошлого всё, что не жаль.
Память, что ты! Так больно не жаль!..

Истопив поутру печь и напившись с Тамарой кофе, Анастасия Васильевна пригласила её на экскурсию по родной деревне.

Тихий морозный день сплёл кружево для всех деревьев, для каждого кустика и сухой травинки в округе. Солнечные искорки рассыпались на снежной равнине, раскинувшейся за селом, и на крышах домов, над которыми кой-где медленно, замороженно тянулись струи печных дымов.

Анастасия Васильевна показала Тамаре школу, где проработала всю жизнь учительницей русского языка и литературы. Двухэтажное кирпичное здание теперь стояло с выбитыми стёклами, в пустых классах гулял ветер. Они прошли мимо старой каменной церкви, прогнившая крыша

и провалившийся купол которой сплошь поросли молодыми берёзками. Поставленные вкруг стен лет десять назад одним местным предпринимателем строительные леса покосились и почернели. Зашли в магазин, бывший в лучшие времена большим универмагом. От него осталась лишь мелкая продуктовая лавочка, вместившаяся со всем своим нехитрым товаром в низенькую пристройку. Над заброшенным дк, в ветвях высоких лип скандалила хулиганская воронья компания. У колодца лежал старый пёс. Уткнув от мороза нос в густой мех, он продолжал зорко следить за происходящим. Анастасия Васильевна достала из кармана пальто целлофановый пакетик и высыпала перед ним куриные косточки.

Гуляли они долго, но встретили лишь двоих соседей-стариков. Посмотрев чужими глазами на свою опустошённую деревню, Анастасия Васильевна даже всплакнула. Где всё? Где все? Куда разбежалась-разлетелась шумная разновозрастная орава её учеников? В города? В лучшую жизнь? Куда ушли подруги, коллеги-учителя? Многие вон там, в берёзовой роще, лежат холмиками под густым снегом. А ведь какие весёлые интересные праздники проводили они когда-то в Доме культуры, где она помогала ставить сценки и спектакли по русской классике. Талантливой Ларисе Сошиной настойчиво рекомендовала поступать в театральный… Лариса уехала в город, но не заладилось ни с учёбой, ни с работой, ни с личной жизнью. Вернулась домой, спилась. Ходит занимать у бывшей своей учительницы деньги. Помогает копать огород весной… В церкви в советское время был музей. Анастасия Васильевна с учениками в каникулы ходили по деревням, собирали предметы старины, устраивали тематические выставки, мечтали создать свой фольклорный коллектив. Однажды церковь загорелась… Что успели спасти из исторических ценностей, увезли в районный краеведческий музей. Там затерялось… Так прошла жизнь. Но кто скажет, что была она бессмысленной? Повзрослевшие ученики—словно её выросшие дети. И дети этих детей. И внуки… Судьба не подарила Анастасии Васильевне своих ребятишек, но она воспитала целый полк хороших людей из своих учеников! Разве этого мало? Разве это всё зря?

Всю свою жизнь она описала в стихах. Она выплакалась в них, она ими излечилась от душевных ран. И вот теперь они служат ещё кому-то, врачуют ещё чьи-то души. Разве этого мало для счастья?

…Родная деревня, прости же, прости меня!
За то, что поля твои стали пустынными!
И что не услышишь на улице оклика.
Лишь чёрная стая всё кружится около…

В деревне гость—только первые три дня гость. Дальше он должен либо поблагодарить хозяев и отправиться восвояси, либо включиться в домашние дела, коих в деревенском быте бесконечно и монотонно много.

На пятый день Тамариного гостевания Анастасии Васильевне доставили долгожданные дрова, и она принялась возить их на садовой тачке от кучи, сваленной у калитки, в дровяник. Расстояние вроде и невеликое, метров тридцать, и работу эту она любила—нравилось ей укладывать чистые берёзовые полешки ровными рядами, радостно глядя, как заполняется полуопустевший сарайчик—но и от помощи не отказалась бы.

Тамара за четыре дня даже не предложила помыть посуду, не то что дрова укладывать. Печку топить она не умела. Разгребать снег не хотела. Воду носить ей тяжело. Она не застилала поутру свою постель, не предлагала сходить в магазин, питаясь—и с аппетитом!—на невеликую пенсию хозяйки. Зато умело создавала беспорядок, повсюду разбрасывая свои вещи. Сидела в доме у телевизора как прикованная и смотрела передачи, которые Анастасия Васильевна на дух не переносила—все эти скандалы, грязное бельё звёзд… И очень громко смотрела… У Анастасии Васильевны поднималось давление… Ей было неудобно спать на диванчике, стала ныть спина и левая рука. Она не могла открыто сказать, что денег скоро не останется даже на хлеб, а до следующей пенсии ещё жить неделю… Она боялась обидеть Тамару—всё-таки та скрашивала её одинокие вечера беседами о литературе и поэзии. Успокаивала она себя тем, что, наверное, через неделю гостья начнёт собираться домой.

Но вот и куча дров вся, до последнего полешка, переместилась в сарай, и пенсия закончилась, и неделя миновала, а их совместный с Тамарой быт не претерпел никаких изменений.

Вечером десятого дня Анастасия Васильевна словно бы в шутку спросила: не хватятся ли Тамару родные. На что получила ответ, что родных нет и хвататься некому. Тогда, собравшись с духом, хозяйка сообщила, что завтра им не на что купить продукты. Тамара легко парировала слабую просьбу о деньгах, сказав, что на вокзале у неё всё украли, даже документы. Поэтому и домой не уехать. Анастасия Васильевна нервно закашлялась, с трудом сглотнув это известие, подумала с минуту и искренне предложила купить билет с её предстоящей пенсии, но получила удар-нокаут: Тамара решила остаться насовсем. Ей здесь очень понравилось!

Ночью Анастасия Васильевна дважды вставала накапать себе валокордину. Посидела у окна, тихо и грустно глядя на чернеющий в темноте ельник. Всю жизнь она старалась оставаться вежливой и предупредительной с окружающими. Ни разу за семьдесят два года с её уст не сорвалось крепкого бранного слова. Если она не могла помочь кому-то

в ответ на просьбу, то долго извинялась и затем не одну неделю носила в себе тонко и досадно ноющее чувство вины. Стремилась не указывать, не укорять, не обвинять огульно, вникала в чужие проблемы, как в свои. Она терпела неудобства и обиды. Умела прощать и быть снисходительной к человеческим слабостям. Только измену мужа не смогла простить… Поэтому уже давным-давно жила одна. Но при всём этом сохраняла прямую спину, бодрый дух и мечтательность натуры. И вот настал час, когда ей впервые в жизни понадобилось оскалить зубы, ради себя, ради своего здоровья и покоя…

…Друг для меня — святое слово!
За друга жизнь отдать смогу.
К нему беда стучится снова?
Я вновь на выручку бегу…

Участковый милиционер слушал Анастасию Васильевну терпеливо и внимательно.
— …может быть, ссора какая-то семейная, может, несчастье какое, вот и пришлось человеку в путь отправиться. Я ни в чём её не подозреваю и не прошу вас подозревать. Но нужно попытаться разыскать её родных. Я вот тут на бумажке написала, что удалось узнать. Я не уверена, всё ли здесь правда. Но можно попробовать послать запрос. Вдруг кто-то ищет человека.

Участковый пообещал помочь.

Михаил Иванович, глава сельской администрации, под конец рассказа расхохотался:
— Вечно вы, Анастасия Васильевна, со своим принципом человеколюбия в истории попадаете! Нельзя же так! Может, в этот самый момент, пока вы тут у меня сидите, она ваш дом обчистила и чешет себе с добычей куда глаза глядят!
— Ой, ну как можно! У меня и брать-то нечего. Пенсия кончилась. Деньги за дрова — отдала. Смертные хорошо спрятаны, не найдёшь!
— Не найдёшь… — проворчал глава и перестал веселиться. Потому что веселиться тут было не от чего. Михаил Иванович подумал, посмотрел что-то в бумагах, позвонил кому-то и сказал. — Есть пустующая квартира в бараке на Лесной…
— Я знаю, там Лариса живёт! — кивнула Анастасия Васильевна.
— Живёт… — мрачно согласился собеседник. — Не самое замечательное соседство. Но это всё, что могу предложить. Временно! Заметьте! Максимум до апреля. Запас дров там есть. Мебелишка кой-какая…
— И хорошо! И отлично!
— И это только для вас! Заметьте! Только потому, что я вас всю жизнь знаю. На одном доверии, так сказать…

Выйдя из начальственного кабинета на вольную улицу, Анастасия Васильевна испытала несказанное облегчение. Всё складывалось как нельзя лучше. Всю ночь накануне она обдумывала своё положение и к утру пришла к компромиссу: и человека не выгонит совсем, и о себе позаботится.

К вечеру следующего дня она, с Ларисиной помощью, переселила Тамару в выделенную квартиру. К двум клетчатым сумкам и рюкзаку, с которыми гостья приехала, добавилось ведро картошки и пакет различных овощей из подвала Анастасии Васильевны. Одеяло, подушка и комплект постельного белья. Старый, но ещё хороший чайник, кастрюлька, по паре ложек и вилок, несколько тарелок и большая кружка. Анастасия Васильевна сунула Ларисе зелёную тысячерублёвую бумажку из самых сокровенных запасов, та сбегала в магазин, купила продукты для скромного новоселья. Они посидели немного, без спиртного, потому что Лариса была «в завязке». По-трезвому тихая и услужливая, она согласилась топить печь у новой соседки, носить ей воду. На том и расстались.

С наслаждением вытянувшись на своей кровати Анастасия Васильевна с грустью подумала о былой и напрасно растраченной красоте Ларисы, о своей молодости и не сложившемся семейном счастье, о трудном стариковском одиночестве. Но затем отмахнулась от тяжёлых дум и по заведённой давно привычке принялась слагать строчки будущих стихотворений. В мыслях подбирала рифмы, эпитеты, иногда проговаривала вслух ритм. Это поэтическое упражнение полностью уводило её от реального мира в мечты, в необъяснимое светлое и невесомое пространство, заполнявшее всё её существо и воздух вокруг… Она становилась лёгкой и крохотной, как пылинка, вьющаяся в луче солнца, и отплывала в сон легко и бесстрашно…

…Вот я лежу в перине облаков,
И вижу землю сверху, словно птица.
Но сон обманчив, и вовек веков
Поутру к жизни нужно возвратиться…

Так миновала зима. Из морозного и солнечного февраля родился ветреный и пасмурный март. Несмотря на отселение, Тамара регулярно приходила к Анастасии Васильевне обедать, а вечером с завидным упорством напрашивалась посмотреть свои любимые ток-шоу. Анастасия Васильевна и здесь смогла обойтись без конфликта: тарелки супа ей не жаль, а во время ненавистных телепередач она стала прогуливаться перед сном и находила в этом большую для себя пользу.

Пару раз она встречала участкового, но никаких новостей тот не поведал. Анастасия Васильевна с удовольствием и не без скрытой гордости отмечала, что относится ко всему спокойно, внутри не вскипает ни малой волны сопротивления обстоятельствам и житейским мелочам. Она отметила, что не испытывает и привычного чувства вины, мучавшего её когда-то в самых ничтожных ситуациях. Она всю жизнь хотела научиться такому

ровному и мудрому приятию жизни, не равнодушию, не апатии, нет, а внутренней тишине. Анастасия Васильевна открыла в себе это духовное достижение через Тамару и потому была сейчас благодарна той за появление в своей судьбе…

Утром девятого марта её разбудил громкий и тревожный стук в дверь, затем ещё более пугающий — в окно. Анастасия Васильевна выглянула и увидела растрёпанную Ларису, которая размахивала руками и орала что-то, без стеснения матюгаясь. Словно пуля, в висок Анастасии Васильевны выстрелило слово «горим»!

До Лесной бежать далёконько. Ещё из-за поворота завиднелся чёрный дым, валящий из окон Тамариного жилища. Рядом толпились люди. У некоторых в руках вёдра. Лариса, добежавшая до дома гораздо быстрее Анастасии Васильевны, кричала на Тамару, стоящую на улице на ветру в одном халате, грубо толкала её. Когда, тяжело дыша, Анастасия Васильевна доковыляла-таки до места происшествия, из дверей квартиры вывалился кашляющий и матерящийся Михаил Иванович и выкрикнул:
— Отбой! Окна и двери настежь — всё вытянет!

Собравшийся народ поплевался и стал расходиться. Анастасия Васильевна слышала обращённые в свой адрес фразы: «спалит твоя подружка дом, как пить дать…», «…откуда только её лешие принесли?», «…вечно Настька всякую шваль жалеет да подбирает…»

Замотав лицо шарфом, Лариса вошла в квартиру Тамары, где через минуту с грохотом настежь распахнулись окна. Дым сперва повалил сильнее, а потом стал рассеиваться и вскоре совсем ушёл.

Трясущаяся то ли от страха, то ли от холода Тамара не проронила ни слова. Анастасия Васильевна не хотела ни утешать, ни увещевать, ни вообще когда-нибудь ещё её видеть. Молча она вынесла ей из квартиры пропахшее гарью пальто и пошла прочь.

Позже выяснилось, что хорошо выпившая накануне в честь женского дня Лариса не пришла к Тамаре топить печь. Перебившись день, наутро Тамара сама решила разжечь плиту и открыла только одну, ближнюю задвижку. О существовании второй, нижней, она и не подозревала. Дым, разумеется, повалил внутрь…

Всё обошлось, но история эта, почти анекдотическая, всколыхнула волну негодующих откровений и ропота односельчан, посыпавшихся на бедную голову бывшей учительницы. Так Анастасия Васильевна узнала о похождениях Тамары в родной деревне: у кого, когда и сколько она заняла и не отдала, как клянчила продукты и одежду, как жаловалась на то, что подруга её сначала сама пригласила жить, а потом выгнала, что всю пенсию приходится отдавать за эту холодную грязную квартирку сельсовету, жить ей не на что и никому она не нужна.

Лариса встала в позу, чтобы старуху убирали подальше, пока та не спалила всех. Михаил Иванович вызвал на беседу Анастасию Васильевну и участкового и предложил отправить Тамару во временный приют для бомжей.

Полностью отказавшая Тамаре в своём участии и общении Анастасия Васильевна бессонными ночами молилась о прощении и освобождении.

…Тропинка, как пряжа в руках —
Перепутаны нити-дорожки.
Куда же по ней приведут
Мои старые бедные ножки?…

Дородный неприветливый мужчина молча погрузил две клетчатые сумки и рюкзак в бело-грязную иномарку и зло захлопнул багажник. Тамара сидела в холодной квартире на табурете, вцепившись в него пальцами намертво.

Анастасия Васильевна, Лариса и участковый молча взирали на это. Слова все закончились.
— Я тебя вместе с табуреткой твоей в машину засуну и увезу… — зло прогудел, склонившись над матерью, сын. — Отпусти… — он стал по одному отдирать её пальцы, но тщетно. — Отпусти, я сказал!.. Так бы и двинул тебе!
— Может быть, поэтому она с вами и ехать не хочет? — строго спросил участковый.

Мужчина только досадливо махнул рукой и ушёл на улицу курить.

Анастасия Васильевна подошла к Тамаре и осторожно, успокаивающе положила ладонь ей на голову:
— Надо ехать, Тамарочка. Сын такой путь проделал, натерпелся по нашим дорогам… Пожалей ты его. Там у вас тепло, уже цветёт всё. Не то что у нас — слякоть да серость. Внуки там твои. Могилки родные. Там твой дом. Не здесь. Ты прости нас. И сыночка прости. И поезжай с Богом…

Она взяла её руку, легко отняла от табуретки и вывела Тамару за собой, как ребёнка, посадила в машину. Сын буркнул «спасибо», стал совать какие-то деньги, но Анастасия Васильевна отошла подальше и махала рукой:
— С Богом… с Богом…

Иномарка газанула, рванула с места, свернула в проулок и исчезла из вида.

Лариса осталась прибирать в освободившейся квартире, а участковый вызвался проводить Анастасию Васильевну:
— …и вот так каждую зиму она сбегает из семьи и живёт у чужих. Документы прячет, чтобы, значит, домой сразу не отправили. Пенсия у неё на карточку капает. Она её не тратит, проживает за счёт добрых людей. А добрых людей на Руси великой ой как мно-ого! Да, Анастасия Васильевна?

Участковый улыбнулся и подбадривающе, по-сыновьи приобнял пожилую женщину. Затем отдал честь и быстрым упругим шагом пошёл

по улице. Анастасия Васильевна словно в ступоре стояла у своей калитки и смотрела ему вслед, пока не заскулил Мазурик, оставшийся без завтрака.

…Прошу, обними меня,
Силой своей защити!
Мне рук твоих нежных,
Тебя не хватает в пути…

Летом от Тамары пришло письмо, невнятное и бестолковое. В конце она просила Анастасию Васильевну выслать ей лечебных трав по списку. Весь июнь та собирала эти травы, сушила, что было, в общем-то, не в тягость. Отправила. Ответ пришёл нескоро, заставив переживать: дошла ли бандероль? Во втором письме, не написав ни слова благодарности, Тамара предлагала открыть бизнес: Анастасия Васильевна будет присылать ей травы, а она реализовывать, так как северные травы у них очень ценятся. Какую выгоду от этого бизнеса получит Анастасия Васильевна, Тамара не уточняла. В третьей эпистоле уже откровенно попросила выслать ей денег на дорогостоящее лечение…

Анастасия Васильевна не один вечер писала ей послание, долго подбирая слова, следя за интонацией, чтобы не быть грубой и надменной с больной женщиной. Объясняла своё финансовое положение, старалась донести, что полагается в жизни только на себя. Оправдывалась, что и так постаралась сделать для неё всё возможное… Но даже выверив и взвесив каждое слово, опуская письмо в почтовый ящик, она не была уверена, что её отказ не ранит Тамару. Подзабытое чувство вины напомнило о себе, тонкой и досадной ноткой вплетясь в кровоток и покалывая то тут, то там.

В конце августа Анастасия Васильевна вскрыла конверт со знакомым обратным адресом, из которого выпал обрывок газетной страницы, поперёк которого чёрным фломастером Тамара вынесла приговор: «На этом наша дружба кончена!!!»

Анастасия Васильевна долго бродила в тот день в предосеннем лесу, слушая шёпот листьев на ветру, скрип старых стволов, редкие вскрики птиц. Она любила это время перехода лета в осень. Именно в эти дни, перед началом учебного года, а не в конце года календарного, она по привычке подводила итоги, чтобы начать новый этап жизни с чистого листа.

Затихающий после весенне-летнего буйства лес спокойно и мудро покачивал кронами деревьев. Убаюкивал, нежил, оберегал от кручины и пустой суеты. Спешить было некуда, и не гнала из леса надоедливая в раннюю летнюю пору мошкара. Только липли невидимые воздушные паутинки на лицо, да таилась в густых ельниках холодная темнота.

Анастасия Васильевна ни о чём не спрашивала себя, хотя, по сути, пошла сегодня в лес за ответами, которые не всегда удавалось отыскать в душе среди повседневных дел. Ей хотелось тишины, и, неторопко шагая лесной тропой, она сохраняла это драгоценное редкое состояние, покуда сквозь него не пробились и не зазвучали строки нового стихотворения. Она на ходу сложит, отшлифует его, а запишет уже дома, вечером, вернувшись с полной корзиной грибов и веткой красной рябины.

Нет, не остыло моё сердце!
Я жить люблю сильней, чем прежде.
И, скинув дряхлые одежды,
Ещё задам я жизни перцу!
Я не боюсь обид и мести.
И не точу язык для лести.
Во мне запас стихов,
Его нам
Всем вместе
Хватит лет на двести!

Давай поженимся!

— Серёжа!.. Ну! Улыбнись!.. Прямо в камеру смотри и пирог впереди себя держи… Руки-то вытяни… Ну что ты как деревянный!

Максим присел перед сыном на корточки и заглянул в потемнелые его глаза.

Серёжа стоял, вжавшись в угол между подоконником и газовой плитой. В их тесной кухоньке было душно и неуютно от осветительных приборов.

Оператор выключил камеру и закурил, повесив на своём лице выражение невыразимой скуки.

— Серёжа, ну надо улыбнуться на одну всего минуточку. Они снимут, и всё! — уговаривал отец насупленного сына. — Пирог вот так держи, руки под тарелкой… не надо пальцами его прижимать! И стесняться нечего. Ты же его сам испёк?

— Сам… — еле прошелестел Серёжа.

— Так и скажи прямо в камеру: «А этот пирог я испёк сам, для моей будущей новой мамы!»

— Я не хочу… — ещё тише произнёс сын. — Зачем это, папа? Так стыдно… так… что убежать хочется…

На съёмках передачи всё происходило совсем иначе, чем потом показывали в телевизоре. Максим долго сидел в большой ярко освещённой студии, за знакомым круглым столом, под пиджак ему подвешивали аппаратуру с микрофончиком, гримёр грубовато поправляла что-то в причёске и смахивала кисточкой с лица. Три ведущие о чём-то сухо переговаривались. Вокруг них тоже суетились гримёры и техники. С сидящей вокруг на разноярусных рядах публикой репетировали аплодисменты по определённому сигналу. Максим старался улыбаться, пробовал пошутить с гримёршей, попытался поймать взгляд знаменитой ведущей. Но она, если и смотрела в его сторону,

то не на него, а словно сквозь. Взгляд её был жёстким и холодным.

Но вот прозвучала команда режиссёра. Зрители дружно зааплодировали. И лицо ведущей резко изменилось.

— Здравствуйте, Максим! Вот я смотрю на вас: вы такой молодой, ухоженный, и не могу поверить в ту историю, которую вы описали… Что такого могло произойти с вашей, с позволения сказать, женой, бывшей женой, что она ушла от вас, бросила сына… Расскажите нам! Она же загуляла?

— Здравствуйте! — от долгого нервного напряжения голос Максима прозвучал хрипло. — Так сложилась жизнь. Я расскажу… — Откашлялся и продолжил уже более твёрдо. — Но я не хочу никого осуждать. Мне кажется, что в житейских бедах, а в неурядицах семейной жизни уж точно, никогда не бывает виноват кто-то один…

Родители Люси не были алкоголиками. Они даже проблемными людьми не были. Трудолюбивые, тихие, скромные до закрытости. Кое-кто в деревне считал их нелюдимыми и скупыми, но всё равно здоровался при встрече и вежливо интересовался делами. Работали они всю жизнь на железке, в железнодорожный колледж путь после школы был назначен и их дочери — жили-то на станции, поэтому династии железнодорожников здесь не были редкостью.

Максим с Люсей учились в одном классе, дружили сначала компанией, потом разделились на пары. Так и пошли дальше парой — в колледж, после годичной Максимкиной службы в армии поженились, работали в одной бригаде проводниками на пригородных поездах, потом родился Серёжа, но Люся в декрете недолго просидела — скучала без работы.

В тот августовский вечер они уже заканчивали смену: оставалось четыре небольших перегона до конечной станции. Пассажиров в вагоне было немного — понедельник, люди в основном возвращались с работы, а дачники разъехались накануне.

И вот электричку резко тормознули посреди леса. Встала и стоит. Охрана заметалась по составу, к машинисту, обратно… Максим за ними. Авария! Впереди сошёл с рельсов скоростной поезд. Пока бригады «скорой помощи» едут, пока мчс вызовут, пока те доберутся…

И охрана, и проводники, все, кто первым на месте оказался, похватали аптечки, фонари, рации и туда…

Машинист двери электрички заблокировал, чтобы пассажиры не лезли, прокричал «оставаться на своих местах». Ему-то своё место тоже покидать нельзя, но побежал всё равно. Женщина в окно стучит, кричит ему. Ничего не понять. Форточку догадалась открыть: «Врач я!..» Вернулся, матюгаясь, выпустил её через свою дверь… Остальные пассажиры, как дети, прилипли к окнам, пялились бессмысленно в темноту…

Бежали в сумерках, спотыкаясь и скользя по гравию насыпи. Люся за Максимом, следом ещё проводники. Охрана рванула вперёд. Лучи фонарей выхватывали из полутьмы людей, мечущихся на фоне бесформенных огромных тёмных груд. Кто-то кричал о помощи. Кто-то громко и жёстко отдавал команды. Слышались щелчки и скрипучие переговоры по рации. А вообще была какая-то жуткая тишина. Лес кругом чернеет, искорёженные вагоны, рельсы из-под них торчат в разные стороны, погнутые, как проволочки, провода болтаются, столбы завалены… Аварийный свет горел, но не ярко, а словно жидкий желток лился на всю эту чудовищную картину…

Добежав, они даже не успели спросить куда, что, чего, им уже через разбитые окна стали подавать людей. Максим на всю жизнь запомнил эти ощущения, эту кожу скользкую и липкую от крови, эту теплоту безвольных тел, женские волосы, наоборот, прохладные, путающиеся… Иногда вместо человеческого тела в его руках оказывалась мёртвая холодная тяжесть чемоданов или ледяной металл искорёженных кресел — их тоже нужно было вынимать и выбрасывать подальше, потому что там, под ними, стонали живые ещё люди. И люди почему-то всё не кончались и не кончались. Многие выбирались сами: кто слабо раненный, в сознании… Тут же суетились и только мешали совсем здоровые пассажиры, зачем-то прибежавшие из передних не пострадавших вагонов. Какая-то истеричная женщина вскрикивала и рыдала… Мальчишка лет двенадцати стоял в стороне, как столбик, молча… К нему подошёл машинист:

— Как ты себя чувствуешь?

Он ответил:

— Хорошо.

— Страшно было?

— Нет, я уже большой. Я понял, что всё хорошо… Маму только надо найти…

Мальчика увели.

Раненых относили и складывали ближе к лесу. Там уже работали женщины: кололи обезболивающее, бинтовали, накладывали шины… «Скорая» хоть и приехала к переезду, но до места аварии проехать было никак нельзя, и они шли пешком по насыпи с носилками, с кейсами своими неподъёмными… мчс тоже уже давно прибыли на место и оттесняли проводников, благодарили, просили не мешать, а помочь разгонять зевак, сложить в одно место разбросанные вещи, поставить кого-то сторожить.

Максим еле отыскал в этой жуткой круговерти Люсю: она сидела около раненых, кого бинтовала, кому давала пить, кого-то просто обнимала, успокаивала. А увидев Максима, вдруг сама заплакала и стала повторять на одной ноте:

— Как на войне! Как на войне! В кино, помнишь? Если состав разбомбят… Как на войне…

Максим поднял её с холодной сырой земли и повёл обратно к своему составу. Здесь они были уже не нужны, а там надо было успокаивать пассажиров, надо было как-то решать вопрос с их доставкой домой.

— Как на войне! Как на войне…

Максим остановил Люсю и дважды резко ударил её с обеих сторон по щекам.

Она мгновенно ослабла и бессильно сползла к его ногам…

— Пережитое вместе горе, весь этот ужас… бывает, что он сплачивает людей,— говорила хорошо поставленным голосом ведущая.— Но это был не ваш случай. Так, Максим?

Вырванный из воспоминаний её вопросом, Максим не сразу вернулся в настоящее и не сразу ответил. Поэтому она продолжала твёрдыми своими комментариями выводить его на нужную по сценарию дорожку:

— А ваша жена после пережитого справиться с собой не смогла… Она стала искать утешения в спиртном и…— ведущая выдержала паузу,— …в мужчинах. Ни ваша любовь, ни маленький сын её не остановили.

— А вы пытались обращаться к психологу?— спросила в свою очередь холодная, как Снежная Королева, астролог.— Жену вы не пробовали отправить на сеансы психотерапии? Такие стрессовые ситуации можно отрабатывать…

— У нас маленький городок, там нет достаточно квалифицированных специалистов… да и стоит это дорого,— оправдывался Максим.

— Ну что ты хочешь?— обернулась к астрологу ведущая.— Люди в сельской местности относятся к депрессии, как к насморку— само пройдёт и хватит дурака валять! И основное лечение— опрокинуть стопарь…— и она посмотрела на Максима,— чем ваша супруга и стала регулярно заниматься!

— Это не совсем так,— тихо возразил Максим и снова откашлялся— хриплый комок всё время стоял в горле и не давал говорить.— Она сначала… у неё началась бессонница, и она не ела совсем… Ей корвалол выписали, пустырник, но это же как мёртвому припарка… Я не сразу заметил, что она стала выпивать. Она ведь на работу продолжала ходить, только так получилось, что нас потом в разные бригады развели. И я уже не мог быть всё время рядом…

Просто однажды он учуял исходящий от неё винный дух. Люся отговорилась, что отмечали с девочками чей-то день рождения. Но и назавтра, и ещё через день, и неделю, и месяц… И потом она стала позже приходить домой, всё позже, позже, а как-то не пришла совсем. И утром не вышла на смену. Он искал её тогда целый день и нашёл только к вечеру в настоящем притоне… Она спала на замызганном топчане совершенно голая, едва прикрытая какой-то серой рваной простынёй.

Максим приволок её домой, отмыл, привёл в чувство… Неделю с ней не говорил. Не мог. Да и она не особо стремилась. Серёжа всё это время находился с её родителями. А она и сыном не интересовалась, и с работы её скоро уволили за прогулы. Максим же, уходя на смену, запирал Люсю дома, отбирал телефон. Но что толку? Через десять дней вечером он опять не обнаружил жены дома. Снова искал её, снова нашёл в притоне, тогда ещё и сам чуть в беду не попал— подрался с её собутыльниками, его порезали, слава Богу, не сильно…

И жизнь превратилась в ад. Почти год он пытался её спасать: всё по тем же притонам, вынимая почти бесчувственную из-под грязной алкашни, вытаскивая полуживую из сугробов, уговаривая, матеря, умоляя сыном, жалея, презирая, ненавидя, любя. Но однажды, в очередной раз отмывая её после загула в ванной, он вдруг увидел её лицо: искажённое безобразной гримасой, с разбитым ртом, где уже не хватало передних зубов, какое-то жёлтое, морщинистое, со слипшимися, скатавшимися в колтуны волосами… Максим понял, что его Люси больше нет, а у его сына больше нет матери. Есть «соска Люська», которая в его жизни больше быть не должна.

В течение месяца он перевёлся на работу в соседний район, переехал, снял жильё, устроил сына в садик и стал жить дальше. Через год ему удалось добиться лишения Люськи родительских прав. Он её жизнью не интересовался, но доброхоты доносили о «подвигах» бывшей. Ещё через год один за одним умерли её родители, и Люська бурно пропивала доставшуюся в наследство хату. А потом и вовсе куда-то исчезла…

Молодым отцом-одиночкой часто и порой настырно интересовались самые разнообразные женщины. Пытались проникнуть в их маленький мужской мирок. Но Серёжа никого не принимал, да и сам Максим всё ещё не чувствовал в себе сил для создания новой семьи.

— Сколько же лет вы живёте вдвоём с сыном?— ведущая талантливо изображала сочувствие, а может, и вправду прониклась…— Без женской помощи, без ласки…

— Семь,— отозвался Максим,— сын в этом году в третий класс пошёл.

— А давайте посмотрим видео, где ваш сын… Серёжа, кажется?.. проводит экскурсию по вашей квартире.

— Да! Нам приданое нужно посмотреть! Квартира-то ваша? Или служебная?— проквакала в свою очередь «сваха».

— Выплачиваю кредит, — сухо ответил ей Максим и впился глазами в экран.

Серёжа так за всё время съёмки и не улыбнулся. Заученные фразы выдавливал из себя сквозь зубы, смотрел исподлобья, а с этим дурацким пирогом вообще: держал его впереди себя на прямых руках, как на лопате, и произносил, почти не шевеля губами: «Это я испёк для мамы…»

На съёмку в студию Серёжа так и не поехал, ничем его Максим не смог уговорить, даже обещанием подарить на день рождения ноутбук.

Видео закончилось, и ведущая бодрым голосом возвестила:

— Ну что ж, знакомьтесь с первой невестой!

Максим поднялся со своего места и на ватных ногах взошёл на сцену.

Невеста вышла к нему на тонких длинных каблуках, выше на целую голову, в белой мини-юбке и смелой красной блузке, чёрные распущенные волосы, макияж, маникюр, ухоженная городская девушка из хорошей семьи… Куда ему до такой? Поедет она за ним в небольшой городок? Будет воспитывать его замкнутого и ранимого мальчишку? Зачем это всё?.. Так стыдно… так… что убежать хочется…

В ожидании обратного поезда Максим долго болтался по Ленинградскому вокзалу, ел невкусные холодные пирожки, глазел на обложки журналов, теснившихся за стёклами киосков, купил сборник сканвордов в дорогу и уродливого пластмассового трансформера для Серёжи. Дождило, было сумрачно и смутно.

Уже когда зашёл в вагон, сел на своё место, убрал под сиденье сумку, вынув из неё тапочки и припасы в дорогу, и стал бесцельно смотреть в окно, зацепился вдруг взглядом за фигуру бомжихи, бредущей вдоль перрона. Шла она медленно, еле переставляя ноги, её толкали торопливые пассажиры, задевали чемоданами, тележками. На ней была нелепая яркая куртка с грязными рваными рукавами, широкие, не по размеру, джинсы, разъехавшиеся кроссовки. Она остановила какого-то очень приличного пассажира в дорогом пальто, бесцеремонно схватив его за рукав. Тот, не глядя, достал из кармана пачку сигарет, выудил двумя пальцами одну и протянул ей. Бомжиха порылась в карманах куртки, нашла зажигалку и, привычным жестом откинув голову чуть назад и набок, долго, со вкусом прикуривала…

Внутри у Максима вдруг сжалось что-то: этот жест головой… как будто она откинула пышные длинные волосы назад, боясь их опалить… но ведь короткая стрижка… и как она держит сигарету в пальцах… и как курит, гордо, с достоинством, запрокинув голову и пуская колечки дыма в равнодушное отсыревшее небо…

Поезд дёрнулся, двинулся, заскрипел, пополз, и поплыл перрон за окном — сначала медленно, но вот скорее и скорее. И лица за окном менялись всё быстрее, всё неразличимей, сливаясь в непрописанный коллективный портрет… Потом за окном поплыли городские спальные кварталы, мосты, шоссейные развязки… Потом пригородные дачи и голые лесополосы. Вагонное стекло всё чаще прочерчивало тонкими штрихами дождя, а сумерки настойчиво покрывали заоконный пейзаж.

— Нет… Нет… — дважды, с долгой паузой, повторил Максим и, взяв кружку, пошёл по проходу раскачивающегося плацкартного вагона к титану, налить себе кипятку.

Ненависть

За несколько часов до смерти мать начала дико кричать от ставшей непереносимой боли… Наверное, опухоль, доедавшая все последние месяцы её поджелудочную, лопнула и разлила свой жгучий яд внутри ссохшегося, почти мумифицированного тела. Отец, заслышав этот непрекращающийся предсмертный крик, просто оделся и ушёл из дома. Не для того, чтобы позвать на помощь фельдшера, не для того, чтобы принести и сделать уже последний обезболивающий укол, не для того, чтобы хоть как-то облегчить огненную муку жены. Нет. Он просто ушёл. В свою вахтёрскую будку на территории колхозных гаражей. Там он затопил буржуйку, выпил водки и благополучно завалился спать.

После его ухода Валюшка со Светкой ещё долго сидели под кухонным столом. Изо всех сил зажав ладонями уши, они обе кричали в голос, чтобы слышать себя, а не мать. Слышать мать было страшно, очень страшно, так, что худенькие девчоночьи тела под тонкими платьицами немели от ужаса. Казалось, что кричит весь мир, что началась война, что мать ранена, что у неё оторвало взрывом ногу… много чего казалось. Пойти посмотреть на неё ни Валюшка, ни Светка не решались. В спальне было темно. И там, в этой темноте, кричал уже не человек, там кричало, выло, скулило истерзанное, изорванное, изглоданное всей своей прожитой жизнью незнакомое существо…

— Он тебе такой же отец, как и мне! — рубила Светка, тряся на руках орущего от голода годовалого сына и помешивая кашу в алюминиевом ковшичке.

— Он мне не отец… — процедила сквозь зубы Валя.

— Ну тогда и мне он никто! — легко отрезала сестра и также легко и ловко скинула ковшичек с огня на стол, даже не прихватив его горячую ручку тряпкой. — В конце концов, есть социальные службы…

— У них очередь… да и не хотят они к нему… ты же знаешь, на что он похож стал?.. — Валя тяжело опустилась на табуретку около стола, так и не сняв пальто.

— А это не моё дело! Они обязаны! А у меня вон — второй на подходе, — скороговорила Светка,

успевая поддевать кашу, дуть на неё и совать в разинутый клюв сына.
— Если есть родственники, то ничего они не обязаны,—бессильно возразила Валя, понимая, что пришла она к сестре зря. Она могла бы объяснять, что только устроилась на хорошую работу, что Виталика надо водить на массаж и в бассейн, что муж уходит в рейс неделя через неделю и не на кого тогда оставить дом… Но она и сама знала, что слова эти только напрасно сотрясут воздух и не заденут Светкиной совести. Да и что с неё возьмёшь? Один все руки оттянул. Новое пузо на нос лезет… Валя даже не стала говорить, что всего лишь хотела просить сестру забирать из школы Виталика в те дни, когда ей надо будет уезжать туда, к этому человеку. Она ничего не стала говорить, потому что сейчас между ними была невидимая, но совершенно непроницаемая стена. А у неё совсем не было сил ломиться сквозь эту стену.

Двадцать пять лет прошло с того зимнего морозного дня, когда их маму похоронили и девчонок взяла на воспитание родная тётка. Отца они больше не видели. Никогда. Он не приезжал, не помогал деньгами и никак не интересовался их жизнью. Где-то пил, гулял, мотался по свету. Девчонки забыли, что у них был когда-то отец, забыли, как он выглядел, но глубоко внутри по-прежнему носили какой-то сгусток ужаса и памяти о страшном и опасном существе, которое присутствовало в их детстве и терзало их худенькую измождённую маму… С годами эта память осела так глубоко, так запорошилась песчинками времени и других событий, что всё стало казаться дурным сном, не более… И вот—звонок оттуда, почти из небытия: звонили из областной больницы, назвали имя, фамилию, диагноз, «больной нуждается в постоянном уходе… вы—единственный родственник, обязаны забрать»…

Только тогда она поняла, что тот человек всё ещё жив. Валя тогда как в тумане была, всё делала на автомате: приехали, забрали, отвезли… Оказывается, и жил он всё это время в соседнем районе, и дом у него там был, и хозяйство, и сожительница…

И очнулась Валя в тот вечер в холодном полутёмном неуютном и совершенно чужом доме, оставленная один на один с человеком-овощем, лежащим на узенькой кровати. Только что была суета, люди, разговоры. Громче и больше всех, как всегда, говорила Светка. И в одно мгновение все испарились. У Вали в руках остались пакеты с одноразовыми шприцами, ампулами и таблетками, на полу горой лежали упаковки с пелёнками и памперсами. Кругом была грязь, рваные газеты, пустые коробки, разбросанные вещи, валялись вешалки-плечики—это сожительница в спешке ретировалась с места счастливой семейной жизни.

Человек-овощ дрогнул веками и что-то просипел. Потом едва заметно шевельнул рукой. Валя смотрела на него тупо и недвижно. Нужно было сделать шаг к нему, нужно было понять, что он хочет, исполнить его просьбу. Но внезапно Валя почувствовала, что в этой захламлённой комнате их всё-таки трое: рядом с ней, плечо к плечу, плотной тенью стояла Ненависть. Она вышагнула из Вали, из того давно задавленного в памяти мрака, и встала рядом как единственная опора и поддержка.

Человек снова что-то попытался просипеть. Валя резко бросила из рук на пол пакеты с лекарствами и выбежала прочь, на чёрную, продуваемую мартовским ветром улицу…

И начались эти полгода. Валя в эти полгода не жила. Она пребывала в коме. Её чувства были отключены: ни боли, ни голода, ни страха, ни тоски, ни горя, ни любви, ни каких-то желаний. Даже тактильные ощущения притупились—к чему бы она ни прикасалась. Горячее стало не таким горячим, и она легко могла обжечься. Вкус еды сделался пресным, и ела она только чтобы поддерживать функции организма. Притупились запахи, кроме самых едких и отвратительных. От таких начинала нестерпимо болеть голова. Чужие прикосновения и ласку мужа она принимала с равнодушием, как манекен. Она сильно похудела, у неё секлись и выпадали волосы, слоились ногти. На уговоры, крики, обвинения, мольбы и просьбы близких «взять себя в руки» она реагировала одинаково молча и бесстрастно. На работе поначалу взяла отпуск за свой счёт, надеясь, что за месяц уж точно найдётся сиделка. Но и одна, и другая женщина, согласившиеся было помогать, ушли на первой же неделе: слишком тяжёлый больной, ходит под себя, кричит… Вале пришлось уволиться, и дни её сделались совершенно одинаковыми и беспросветными. Да она и не видела дней. Полярная ночь опустилась на всё, что раньше было светлым, любимым, дорогим, единственно правильным и необходимым. Мир вокруг стал для неё бесконечным тяжёлым сновидением. Вале даже казалось, что глаза её закрыты, а видит и слышит она происходящее прямо через череп, каким-то внутренним слухом и зрением.

Она каждый день моталась на автобусе в соседний район, в тот дом. Жить она там не могла. Там было ощущение могилы, словно заживо похоронили. Там всё время смердило. А потому болела голова. Там она всегда что-то мыла, стирала, убирала, выносила, выливала, перестилала, вытирала, обмывала, смазывала, колола, кормила, переодевала. Болела спина, руки. Валя уже давно была надорвана: ворочала в одиночку сухое жёлтое тело, которое, по виду, не должно было весить ничего, но на деле весило, как железобетонная

плита. Как она всё это делала? Кто ей помогал? Сестра приехала один раз и сбежала через час, оставив на столе пару тысяч. Муж возвращался из рейса усталый, раздражённый, хотел видеть жену дома и в хорошем настроении. Сын жил у бабушки, скучал, задавал вопросы, обижался и плакал. А расстраиваться ему никак нельзя… Бабушка-свекровь ворчала, что Валя угробит себя ради этого чёрта, что на сына и на родной дом ей наплевать. Кто помогал? Только она — верная, надёжная подруга Ненависть давала нечеловеческую силу и выносливость, звериное терпение и выдержку. И Валя выдерживала. Всё. Кроме одного. Она не выносила, когда он начинал орать: тонко, тоскливо, пронзительно. В её кожу тогда словно миллионы иголок впивались. Крик сверлил Валин мозг и заполнял черепную коробку стремительно и полно, как несущийся поток воды заполняет любое полое пространство перед собой. Она подходила к нему и начинала бить его по губам. Он кричал громче и тоньше, она била сильнее. На его синих губах появлялась кровь, из бессильных истончившихся век текли крупные слёзы… Тогда она прекращала, выбегала на двор, громко и загнанно дышала, трудно втягивая внутрь воздух, который усмирял сердцебиение, охлаждал голову и возвращал в состояние так необходимой ей душевной комы. И тогда она закрывала дом, шла на станцию и ехала домой, чтобы утром опять вернуться сюда.

Что греха таить? Каждое утро, подходя к этому месту, она представляла только одно: вот она входит, раздевается, проходит в комнату, подходит в узкой кровати, и этот человек больше не дышит. Его больше нет. Всё закончилось. Она подробно представляла, как вызовет «скорую», милицию, как тщательно в последний раз вымоет дом, как закроет его и навсегда уйдёт отсюда, чтобы никогда-никогда больше не возвращаться.

И она входила в дом, подходила к кровати, и смотрела на него: человек-овощ дышал, открывал глаза, сипел. Он был. И ей некуда было от него деваться.

Иногда, очень редко, муж соглашался съездить помочь. Тогда он всю дорогу промывал Вале мозги. Она молча соглашалась с каждым его словом, потому что и сама долго не понимала, зачем взвалила на себя этот крест, который никто нести не захотел. Больше всех надо? Самая правильная? Двужильная? Святая? Хочет показать, какая она хорошая, а все вокруг сволочи равнодушные? Но это общие слова. Ей такого много наговорили… Валя долго копалась в себе и не сразу, но уловила один ясный и дьявольски жестокий мотив: ей нужно видеть всю низость его человеческого падения, его унижение, как он лежит в своих испражнениях, в пролежнях, бессильный, сломленный старик, и знать, что есть Бог и есть отмщение. Когда эти мысли завладевали Валей, Ненависть улыбалась и обнимала её крепко-крепко. Но оставалась маленькая неясность: если ей, Вале, нужно только отмщение и справедливость, зачем она не бросит этого человека догнивать в его чудовищном смрадном одиночестве? Зачем она всё делает наоборот, ежедневно возвращая его к нормальной человеческой жизни, насколько таковая возможна в его состоянии и положении? Ответа не было.

Через полгода муж ультимативно заявил, что она «должна бросить всю эту дурь» или он с ней разведётся. Валя промолчала и утром снова уехала туда. Вечером дома никого не было. Муж собрал вещи и ушёл к своей матери, где всё это время жил сын. Но хватило его не надолго: вернулся выпивший уже на второй день. Уговаривал, орал, тряс Валю за плечи, бил посуду, раздолбал об пол табурет, плакал, просил очнуться… Потом вдруг наклонился близко-близко к её лицу и выдохнул вместе с тяжёлым перегаром:

— А хочешь, я его убью? Достаточно подушкой прикрыть и только…

Валя отшатнулась от мужа, увидела вдруг его остекленевшие незнакомые глаза, убрала руку, которой тот неосознанно и очень сильно сдавил её колено. И только смогла выдавить:

— Иди спать…

Нет, не намерений мужа она испугалась. Она в этот момент в его глазах разглядела себя: как стояла всего неделю назад над тем именно так, с подушкой, как долго и внимательно рассматривала его отвратительную кожу, просечённую чёрными морщинами, тусклые редкие волосы, колючки щетины на подбородке, вздрагивающие, тонкие до прозрачности веки, и особенно долго смотрела на острый, с трясущейся куриной кожицей кадык и глубокую ямку под ним… Ненависть настойчиво повторяла: «Давай! Сделай!» Но кто-то тогда же тихо выдохнул: «Не надо… прошу тебя…» Она вздрогнула и оглянулась. И отшвырнула подушку…

И кормила потом этого с ложечки, не видя сквозь качающуюся на ресницах линзу слёз, что не попадает в безвольно обвисший рот, и каша размазывается по его лицу.

Первого сентября Валя вместе со свекровью провожали Виталика в школу. Муж был в рейсе. И туда она поехала только после обеда. Шла от станции к тому дому через парк медленно и согбенно.

Осень в этом году пришла рано — часто дождило, листва зажелтилась ещё в конце августа, говорили, что в лесах много грибов. А они всей семьёй любили «тихую охоту». Виталик радовался каждой сыроежке, прибегал показывать, возбуждённо заикаясь, рассказывал, где и кого видел. Муж, умиротворённый, бродил с корзиной по

знакомым укромным уголкам, выискивая белые. Сама Валя была непритязательна и собирала всё подряд. И какие это были счастливые дни!

Валя подошла к детской площадке. Из-за сырой погоды никто сегодня сюда не пришёл. Да и во всём парке она встретила только двух собачников, вынужденно прогуливавшихся со своими питомцами. На сиденьях качелей и на скамеечках стояли лужицы воды, прилипли жёлтые берёзовые листики. Валя присела на бортик песочницы, даже не подстелив ничего под себя. Ей было всё равно — промокнет она или нет. Замёрзнет или нет. Удивительно, но за все полгода она ни разу не простыла, не заболела, если не считать вечно ноющей спины и рук. Закованная, словно в латы, в скорбное бесчувствие, Валя не позволила себе раскиснуть. Ни разу за эти полгода. Вот только сейчас, минуточку она посидит здесь и пойдёт дальше этой выученной до каждой выбоины дорогой, ведущей в ад.

Валя сидела так пять минут, десять, полчаса. Её плечи опускались всё ниже, ниже, уже почти складываясь вместе, вся она сгорбилась, согнулась под не видимой никому тяжестью. Сжав в тугой узел холодные пальцы рук, она тихо подрагивала и покачивалась. На спину и плечи её капал дождь. Сетка около ног упала, из неё выкатились яблоки. Она смотрела на их красные глянцевые бока не моргая, пока не услышала стон — сначала тихий, едва различимый, потом громкий и протяжный. И она не сразу поняла, что стон исходит из её надорванного нутра, что это в ней стенает душа.

— Господи… не могу я больше… не могу я, Боженька, нет моих сил никаких, миленький… — шептала она, — нет у меня сил… нет у меня сил… больше нет у меня сил! — голос её постепенно рос, голос звал, кричал, молил, смешиваясь с рыданиями и жуткими нотками почти звериного воя. — Господи, прости меня, помоги мне, Господи, Боже ты мо-о-ой! Помоги мне, прости меня, Господи! Пожалуйста!!! Я не могу больше. Я сама умру… я умру… я умру-у!!!.. Помилуй ты меня! Его помилуй! Помилуй и отпусти!!! Отпусти… меня отпусти, его отпусти. Пусть он уйдёт уже, Господи-и-и!!! Или пусть выздоровеет тогда!!! Пусть он уйдёт! Прибери его, Господи!!! Или выздоровеет!!!.. Меня отпусти, я так больше не могу… жить так больше не могу я! Не хочу!!! Нет моих силуше-ек! Боженька милостивы-ы-ый!.. У меня всё боли-и-ит! Я вся умерла уже! Там всё внутри у меня болит… всё мёртвое внутри-то у меня! Всё выгорело! Всё выболело!.. А-а-а-а!.. Не живу я, Господи!!! Ну услышь ты меня! Пожалуйста, сделай что-нибудь!!! Что-нибу-удь!.. Пожалуйста… Пожалуйста-а-а…

Уже в потёмках, еле волоча ноги, Валя добрела до того дома. Долго не могла попасть ключом в замок — руки не слушались, дрожали. Долго раздевалась в коридоре, продолжая тяжело всхлипывать, вытирая и вытирая ползущие по щекам слёзы. Их было не остановить. Много их накопилось за эти полгода…

Она шагнула в полумрак комнаты, включила свет и, хватаясь за стену, сползла вниз. Спустив тонкие, мослатые, как у старого коня, ноги на холодный пол, голый отец неуверенно сидел на кровати, придерживаясь руками за спинку стоящего перед ним стула. От резкого света он быстро заморгал и сделал движение рукой, чтобы прикрыться, но силы его на этом кончились, и он неудобно повалился обратно на кровать, охая и вскрикивая.

Через неделю Светка привезла бойкую сиделку-молдаванку, которую нашла по объявлению. Та, привыкшая зарабатывать деньги таким нелёгким и невёселым образом, была достаточно крепкой и физически, и психически, чтобы не впадать в ненужную философию. Работала честно, хорошо, ловко, с шуткой-прибауткой. И укольчики, и упражненьица, и покушать, и прибрать…

Обретя такой надёжный тыл, Валя рухнула и две недели провалялась с высоченной температурой, как сказали бы в старину — в нервной горячке.

Когда она в начале октября приехала навестить отца и сиделку, в доме пахло жилым, было очень чисто. Больной сидел в подушках, уже достаточно хорошо шевелил руками, сжимал в слабый кулак пальцы. Взгляд его хоть и был ещё мутным, но сделался осмысленным. Валю он узнал. Проклокотал что-то, повернув голову в её сторону.

Валя в работу сиделки не вмешивалась, побыла немного, слушая её уютное воркованье, выпила чаю. Забрала грязное бельё и список продуктов и лекарств.

Всю обратную дорогу Валя прислушивалась к себе. Внутри было тихо: ни страха, ни отвращения, ни ненависти, ни любви. Просто тихо. Совсем. Всё, что могла, она сделала.

Иветта, Лизетта, Мюзетта…

У Савельевых роди́лись одни девчонки. Как ни старались Павел с Мариной состряпать пацана — ничего у них не выходило. Через девять месяцев после страстных усилий на свет появлялась очередная барышня. Остановились на седьмой. Хватит! Этакую ораву «мокрощелок» Павлу надо и одеть, и обуть, и накормить. Но ещё и урезонивать, и терпеть капризы, и желания исполнять, и ссоры, вспыхивавшие в бабьей толчее ежеминутно, тушить… Воспитанием дочерей в основном занималась Марина, а его дело — добывать деньгу и кормёжку для восьми ртов. О своём, девятом, почти не заботился, уж что останется. И потому был Павел худ, сух, работящ и сдержан на эмоции.

Спал мало, дома бывал редко: то в лесу, то на пилораме, то на охоте, то на рыбалке. Годы стояли тёмные, лихие—девяностые. Только вертись да срок не схлопочи, и украсть умей с умом, и работай не оглядываясь. Девки росли как во поле трава. Марина тоже за ними не всегда успевала уследить, а потому старшая Наташка с шести лет уже света белого не взвидела—младшие сёстры висели на ней, как серёжки весной на берёзе. В тринадцать лет она выкричала матери с отцом, что те лишили её детства, и сбежала из дома. Вернулась через неделю. И сдержанный Павел в ответ на бабий вой и крики, заполнившие их маленький домик до предела, наказывая Наташку, в сердцах, по неосторожности сломал ей руку. С того дня он окончательно отступился от дочерей.

Зима приходить, похоже, и не собиралась. Истекала вторая декада декабря, а температура днём и ночью держалась плюсовая. Население находило в этом свои плюсы: урожай ягод случился небывалый, и за клюквой ходили до упора—покуда не грянут морозы. Носили её рюкзаками, отвозили в городок, сдавали и на следующее утро, едва отдохнув и обсушившись, снова тянулись на болото.

Павел—заядлый и ловкий ягодник, которого иногда за глаза в шутку называли «комбайном»—пасся на клюкве с октября. Его тощая журавлиная фигура появлялась на тропе, ведущей от трассы к болоту, ещё в утренних сумерках, и без устали кланялась кочкам до самого вечера. В тот угол, где он ходил, никто уже не совался: во-первых, брать после Павла было нечего, всё до самой малой клюковки выберут из мха его длинные жилистые пальцы, во-вторых, никто не решался даже ради богатой и крупной ягоды лезть в настоящую трясину, где обычно спокойно ходил Павел. Все знали, что его с младенчества брал с собой за ягодой дед и передал внуку многие ведомые только ему лесные хитрости и тайности.

Обычно Павел ходил за клюквой один. Но в это воскресенье договорились с братом поехать на болото вместе. Побрать, переночевать в деревне и рано утром в понедельник отвезти ягоду, а накопилось её уже мешка три, в городок.

Выехали затемно. Мотоцикл оставили у края болота. Брат сразу зацепился за какую-то кочку, а Павел, не терпящий побранной ягоды, уверенно прыгая с кочки на кочку, быстро углубился внутрь, туда, где мох под ногами лениво и мирно покачивался и между островками, алеющими россыпью клюквы, стояли озерца чёрной воды. Неведомая глубина таилась в этих чёрных дырах. На их словно стеклянной поверхности иногда плавала жёлтая листва или обрывки ряски.

Облюбовав местечко, Павел сбросил с плеч лёгкий, почти пустой рюкзак и повесил его на ближнюю жидкую сосёнку. Извлёк из кармана куртки алый головной платок и повязал на верхушку этого же деревца. Примета яркая, заметная на прозрачном болоте издалека. Теперь он будет кружить вокруг этого места с трёхлитровым пластмассовым ведёрком-набирушкой, удаляясь и возвращаясь, не боясь заблудиться. А заблудиться на болоте проще простого: куда ни глянь, на километры одинаковые чахлые сосны да гнилые берёзки, мох да кочки. Сонное провисшее небо над головой и ни души вокруг. Ни птички, ни лягушки. Тихо. Безветренно. Жутко.

Павел склонился к крупным кровянисто-красным ягодам, и пальцы его привычно, споро, цепко принялись собирать клюкву с сырой холодной кочки. Брал он быстро и чисто, успевая выбрать из горсти случайную мшину, сосновую иголку, почерневший листик. Ведёрко наполнялось за полчаса. Тогда Павел разгибался, отдыхал, неспешно пробирался к помеченной сосёнке, высыпал клюкву в рюкзак. Медленно курил. И снова уходил по качающемуся мху, останавливался, склонялся к ягодам. И снова работали его пальцы—без устали, без перебоя. Клюква обсыпала кочку тесно, плотно, бочок к бочку. Всё ещё сохранившая твёрдость, весомая, крупная и прохладная, она похожа была на красный град, засыпавший округу из невесть откуда прилетевшей ягодной тучи.

Тишину и спокойные раздумья Павла нарушала только дурацкая песенка, навязчиво звучавшая в его голове: вечером девчонки смотрели старую, советскую ещё комедию. Скакали, орали, громко выкрикивая: «Иветта, Лизетта, Мюзетта!» Хохотали, толкались, обзывали друг дружку глупыми заморскими именами. И толку никакого этой песней дать не могли. Только повторяли по сто раз: «Иветта, Лизетта, Мюзетта!» А он и не слушал их, вроде, а вот, поди ж ты, привязалась…

«Иветта… Лизетта… Мюзетта…»

Клюква глухо стукалась о стенки ведёрка. Бродни погружались в сырой мох чуть не по колена. Чавкала и недовольно булькала под ними вода. Даже закутанные в шерстяные портянки, ноги чуяли, какая она ледяная, эта вода, как властно и упорно тянет мох в свою глубину. Павел с силой выдёргивал сапоги из хлюпающих бочажин, переступал на другое место, вновь погружаясь по колена.

Внезапно тишину над болотом разорвал оклик брата. Павел выпрямился. Откликнулся. Больше оклика не последовало. Значит, всё в порядке. Просто «проверка связи».

Спугнутая перекличкой братьев ворона уныло пролетела над редкими верхушками болотных сухостоин и пару раз каркнула раздражённо.

И снова лишь глухие постукивания ягод в ведре. И снова слова песенки в голове: «Иветта… Лизетта… Мюзетта… А дальше-то что? Погремушка какая-то, а не песня…»

Чтобы отвлечься, Павел стал прикидывать, сколько сможет завтра выручить за клюкву и что нужно купить. Олюшке и Викушке — по зимним сапогам. Катька вчера в клочья разорвала куртку — не девка, а супарень, через забор лезла, упала, зацепилась… Тетрадок всем надо, кто-то просил фломастеры… «Иветта… Лизетта… Мюзетта…» Тьфу!..

Павел высыпал в рюкзак очередное полное ведёрко. Подстелив пакет, присел рядом с сосёнкой. Достал из кармашка рюкзака «тормозок»: куски чёрного хлеба с салом, пару солёных огурцов, варёное яйцо. Сидел, жевал хлеб равнодушно. Очистил яйцо. Съел. Закурил.

Полинку отвезти к врачу. У Ани день рождения на следующей неделе… Наташка со своими колготками загрызла. А ещё муки мешок, а ещё сахару… А ещё Новый год на носу! Только Сонечка пока ничего не просит. Спит да титьку сосёт.

Павел невольно улыбнулся, припомнив младшенькую.

Время давно перевалило за полдень, но декабрьские сумерки так и не рассеялись. Лес вокруг стоял в тяжкой дремоте.

Рюкзак был полон, но Павел хотел ещё добрать ведёрко. Ходил уже лениво, выискивая самые крупные ягоды, выбирал не дочиста.

Снова над болотом разнёсся оклик брата. Устал братец, замёрз, домой хочет. Павел отозвался и решил двигаться к выходу. Надел на плечи отяжелевший рюкзак, который сразу придавил его книзу, а потому шаг сделался труднее, ноги проваливались с мох ещё глубже. Выломав для опоры и безопасности длинную крепкую палку, Павел стал медленно и осторожно перешагивать с кочки на кочку, ненароком примечая россыпи ягод, которые оставались теперь никому не нужными. Вряд ли в этом году он сможет ещё выбраться на болото. Наклонился пару раз, но сразу и бросил это занятие: с тяжеленным рюкзаком за плечами очень уж неудобно. Так же неудобно стало теперь прыгать с кочки на кочку. При каждом прыжке рюкзак дёргал назад, словно отдача после выстрела.

«Иветта!» — прыжок.

«Лизетта!» — прыжок, нога чуть проехала по скользкому мху, но он быстро нашёл равновесие.

«Мюзетта!» — прыжок, палка сломалась. Откинул обломки. Примерился к следующей кочке. Оттолкнулся. Под правой ногой предательски хрустнула и просела ненадёжная опора — обросший мхом остов дерева — и оттого прыжок получился недостаточно сильным. Тело по инерции пошло вперёд, но соскользнувшие ноги уже погружались во взбудораженную жидкую ряску, под которой не было никакой опоры, никакого дна…

Павел провалился сразу по пояс, но руками на лету успел ухватиться за ненадёжную твердь, за которой трясина заканчивалась и мох уже не таил смертельной опасности. Один неудачный шаг, одна секунда, и вот его тело во власти леденящего бездонного пространства, исхоженного поверху вдоль и поперёк, но абсолютно неведомого внутри, в своей глубине.

Да это просто смешно!

Нужно снять и откинуть рюкзак. Держась одной рукой за торчащий из тверди скользкий корень, Павел принялся выбираться из лямок рюкзака. От каждого движения тело словно ввинчивалось в густой кисель трясины, намокшая одежда, наполнившиеся болотной жижей сапоги тянули вниз посильнее двухпудовых гирь. Но он всё же смог стащить и выкинуть рюкзак на высокое место. Собрав все силы, впившись руками в осклизлые корни и ветви поваленных когда-то и затянутых мшанником и ягодником деревьев, вытягивал и вытягивал себя из трясины. Но там, внизу, кто-то гораздо более сильный тянул его обратно! И стоило ему только ослабить хватку, как провалился обратно уже по грудь.

Павел закричал. Но отклика не услышал. Он снова напрягся и тянул себя, покуда не выдохся. Снова крикнул. Отклик раздался не сразу. Далёкий. С другой стороны, чем он ожидал. Звать на помощь — значит, терять силы, надеяться на брата — значит, сдаться и погибнуть. Сам! Только сам! Лишь бы дотянуться до этой берёзки! Какие-то жалкие сантиметры не доставали до неё пальцы! А жадная голодная трясина, распустив липкую бурую слюну, сладострастно тянула жертву в свою утробу…

Держась за корень окоченевшей левой рукой, Павел правой размотал и выдернул из горловины рюкзака шнурок и попытался закинуть его за стволик берёзки. Раз, другой, третий… шнурок зацепился, но нужно было освободить вторую руку, чтобы подтянуть его и наклонить деревце к себе. Раз, два, три! Павел рывком выпростал из болотной жижи левую руку и ухватился за спасительный тоненький шнурок. Но тело его тут же осело в трясину по плечи. В панике подтягивая к себе слабое деревце, едва не упустил его. И только почувствовав в руках казавшиеся спасительными веточки, понял, что берёзка ничем ему не поможет. Он стремительно замерзал и уставал. Всё его измученное тело сделалось словно отлитым из чугуна. Снова крикнул. Уже слабо, уже не понимая силы собственного крика. И решил какое-то время не двигаться, чтобы накопить немного энергии для нового рывка.

Он знал, что долго отдыхать нельзя, но прикрыл глаза и вдруг отчётливо услышал детский смех. Совсем рядом. Девчонки прыгали, визжали и весело повторяли:

«Иветта! Лизетта! Мюзетта!»

Павел улыбнулся и одними губами прошептал: «Олюшка… Викушка… Наташа…»

И, вздрогнув, очнулся! И впился грязными пальцами в берёзку, и со звериным рычанием вытягивал и вытягивал себя из смертельной ловушки, из морока, уже окутывающего сознание. Показалось, что выбрался немного, что отвоевал у трясины несколько сантиметров.

Но только показалось…

Трясина поглощала свою добычу с каким-то почти плотским наслаждением. Даже по-зимнему леденящая, она обнимала, обволакивала, втягивала в себя страстно и как-то совсем по-женски, в свою влагу, в самую её глубину. Спелёнатый этой смертной лаской, уставший сопротивляться ей, Павел делал ещё какие-то движения немеющим телом… точнее, ему казалось, что делал.

Он снова прикрывал глаза, снова отдыхал. Тела уже не было. Он его не чувствовал. Но ещё теплилось сознание.

«Иветта! Лизетта! Мюзетта!»—смеялись вокруг неугомонные дочки.

«Вся жизнь моя вами… как солнцем…—вспыхивали в засыпающем мозгу Павла слова, которых он вроде и не запомнил…—как солнцем июльским… согрета… согрета… Полина, Аня, Катька…»

«Иветта! Лизетта!! Мюзетта!!!»—хохотало всё вокруг.

«Вся жизнь моя вами… Сонечка…»

Синие губы Павла дрогнули. Вместо улыбки по ним скользнула боль.

Его всё крепче окутывал морок. В густеющей замедляющейся крови разливалось безразличие. И уже не было страха, не было борьбы…

Жизнь уходила.

До туманящегося слуха долетел окрик брата—такой далёкий, такой нереальный, но его хватило, чтобы кровь ударила в голову, чтобы тело с неистовой силой рванулось вверх из жадной склизкой пасти, но ничего, совсем ничего не случилось. Последнее движение оказалось не только напрасным, но и решившим исход этой никому не видимой и неведомой битвы. Оклик донёсся снова и внезапно вонзился раскалённым клинком в грудь Павла, разливая непереносимую огненную муку по его телу. Как оно, уже почти мёртвое, могло чувствовать такую боль?! Павел несколько секунд тянул ледяную струю воздуха в обожжённую грудь, чтобы погасить этот адский огненный взрыв внутри… Через мгновение его ободранные грязные пальцы выпустили исковерканную берёзку, и та, словно не веря в свою свободу, распрямилась не сразу, медленно, болезненно расправляя тонкие голые ветви.

Трясина сомкнула гнилую пасть над головой жертвы и сыто утробно отрыгнула…

Часа через два на тихое потаённое место выбрел медведь, так и не залёгший из-за тёплой погоды в берлогу. Он долго принюхивался, улавливая в воздухе остывающие запахи недавней трагедии. Сильно пахло человеком. И главным в густом месиве его запаха был запах предсмертного ужаса. Но ещё тянуло чем-то съестным с кочки, на которой росла ободранная берёзка. И медведь не смог устоять перед этим манящим запахом. Он ловко и легко перепрыгнул туда, присел и деловито распотрошил намокший тяжёлый рюкзак. Пожива оказалась невеликой: пара раскисших кусков хлеба с салом. Собранную клюкву медведь не столько съел, сколько рассыпал и передавил. Не найдя больше ничего для себя интересного, лесной хозяин побрёл дальше. А над болотом повисла та самая сонная и равнодушная тишина, которая предвещает скорый и сильный снегопад.

Андрей Калинин

Зима кончается

Дерево

Я шла туда одна.

Вчера весь день лил дождь. Не ливень, а такой мелкий моросящий дождь, который падает из единственной однотонной тучи, затянувшей всё небо. Сначала я молила господа бога о том, чтобы это кончилось, а потом поняла, что бесполезно. Что мне так и суждено весь этот день протащиться по полю, промокнув до нитки. Без единого шанса.

А поле было под стать дождю. Я спустилась на него с пригорка как раз, когда первые капли упали с неба. Надевала плащ, которому вскоре было суждено превратиться просто в тяжёлую мокрую тряпку, и смотрела на это бесконечное поле. Серая земля, усыпанная редкими высохшими травинками — частями колосьев то ли ржи, то ли пшеницы, которая тут росла и была скошена.

Конечно же, я рассчитывала, что оно кончится через пару часов, может, чуть больше. Как и дождь. Потому что, когда тащишься по мокрой, почерневшей от воды земле, которая проваливается под твоими сапогами, дольше чем два часа, то всё становится как-то совсем тоскливо и уныло. Даже больше: всё становится как-то отчаянно.

И вот чем дальше я шла, тем чаще думала: скорей бы это кончилась. Скорей бы это кончилось. Дождь и поле. Поле и дождь. Бесконечный дождь и бесконечное поле. Во все четыре стороны вокруг тянулось оно, без единого овражка, без единой рощицы, гладкое, как какой-то адский бильярдный стол. Весь день. Весь этот мерзкий, серый, безликий промозглый день.

Где-то часов в шесть вечера я разрыдалась. Упала задницей на свой рюкзак и разрыдалась. Капли дождя смывали мои слёзы, словно показывая, какой убогой песчинкой была моя грусть посреди громадного безмолвного ничто. Я вдруг осознала, что ни разу за весь день не видела даже птиц. Почему? Потому, что их действительно не было вокруг, или я просто не обращала внимания? А вообще, птицы в дождь летают? Я вот не знаю этого…

А ещё раньше, до этого момента, захотелось повернуть назад… Ведь что там позади и сколько мне идти до дома, я знала, а вот сколько идти вперёд… Только догадывалась. Но я себя переборола.

Вечером, когда я наконец добралась до леса и кое-как развела костёр из присыпанных листьями гнилых коряг, дождь ещё накрапывал, но вскоре стих. Я повесила свою тряпку, то есть плащ, на ветку торчащего рядом дерева. Оставалось надеяться, что он высохнет и завтра будет сухая погода.

Только я развалилась у костра, проглотив бутерброды с сыром и чипсы, как из леса на огонёк вышел парень. Возраста он был где-то моего, на внешность, прямо скажем, не красавец. Худой и какой-то… на ум лезет слово «плешивый». Попросил погреться, что я могла ответить?

— Ты оттуда идёшь? — спросила я, глядя на огонь.

— Откуда «оттуда»? — немного просиял он, обрадовавшись тому, что мне от него что-то нужно.

— Ну, от дерева.

Он помолчал и сказал:

— Да, конечно.

Я поёжилась. Придётся ещё расспрашивать этого субъекта, хотя настроение было укрыться полусухой курткой и задремать…

— И какое оно? — спросила я.

Он опять помолчал, дождавшись, пока я на него не посмотрю. А потом сам перевёл взгляд на костёр и задумчиво сказал:

— Красивое.

— Ты дурак! — выпалила я.

Он рассмеялся.

— Что смешного?

— Люблю, когда меня называют дураком!

— Почему это?

— Оно красивое… — повторил он вместо ответа.

— Оно не может быть красивым.

— Почему? А какое оно, по-твоему?

— Оно… — я задумалась, подбирая слова, — оно мерзкое должно быть! Но никак не красивое…

— Эй, постой, — удивлённо воскликнул он. Это странно, но он мне даже понравился немного в этот момент. — А ты разве не видишь красоту в этом?

— В чём «в этом»?

— Ну, в этом! — и он развёл руки в стороны и слегка потряс ими. — В этом во всём.

Я опять задумалась. Да, он прав. За эти несколько дней окруживший меня серый мрачный мир и правда начал казаться по-своему красивым. Ободранные деревья, насыпи полусгнивших уже, как будто покрывшихся язвами листьев — останки жёлтой осени. Даже в сегодняшнем поле было некоторое величие и первозданность. И несколько

ночей с костром, с воспоминаниями, с бликами от огня. Это было завораживающе, как-то по-первобытному.

— Эта красота…— сказала наконец я,— она есть, да. Она только… готическая такая.

— Да… Спать хочешь?

— Хочу.

Мы легли по разные стороны от костра. Через пять минут он спросил:

— Можно тебя обнять?

— Нет,— сказала я.

Хотя мне очень хотелось, чтобы меня обняли. Но не он. Может, я жестокая? Но что поделаешь, если всё так.

Я вдруг вспомнила момент из далёкого детства. Я была совсем маленькая. Стояла зима, и мы очень сильно поругались с мамой. Я выбежала из дома в одних колготках и накинутом пальто, без шапки. Выскочив за двор, я забилась в ямку посреди горки, заваленной снегом. Горкой была куча из земли и кусков фундамента не построенного кем-то когда-то дома. Я сидела там, посреди бетона и снега, сжавшись в комок, и плакала. Мне так хотелось тепла, так хотелось, чтобы меня кто-нибудь обнял… Я вдруг поняла, что потом, уже взрослой, сжимаясь иногда от непереносимой жизненной безысходности в комок, на кровати или на полу, я становилась той маленькой девочкой, которая лежала посреди зимы и так хотела объятий. Так хотела, чтобы кто-то был рядом, и даже не говорил ничего, а просто обнимал, не злясь на меня за мои слёзы. Калитка скрипнула минут через пять. Мама несколько раз крикнула моё имя. Только сейчас я понимаю, сколько горечи и страха было в её голосе. Тогда я этого не поняла и продолжала сидеть в своём укрытии, обиженная на неё и на весь мир.

Когда я проснулась, парня не было. Я слегка перекусила и, собравшись, двинула дальше. Вот дура, даже не спросила, долго ли мне идти. Еды оставалось уже не так много.

Сегодня природа уготовила мне новое испытание. Дождя не было, но были деревья. Невысокие, колкие и ветвистые. Почти сразу я поцарапала себе лицо, пробираясь сквозь ветки. После этого я стала поосторожней и аккуратно огибала эти гнусные коряги. Часто приходилось нагибаться. Часто приходилось обходить. Бывало, я срывалась и, держа двумя руками перед лицом рюкзак, просто начинала бежать вперёд как бешеная. Ветки расступались, некоторые трескались и ломались. Я бороздила ногами землю, пока не напарывалась прямо на дерево или не падала, теряя равновесие. Уже к обеду я была дико уставшая и грязная, как свинюшка. Куски грязи налипли на мою куртку и волосы. Джинсы уже просто сливались с окружающим пейзажем. Я была похожа на женский вариант Робинзона Крузо и Маугли разом.

Поела я, сидя на холме и глядя на проезжающие по трассе машины. В отдалении виднелась заправка с магазином, где я смогу купить еды по пути назад. Наверняка для водителей этих машин я казалась статуей какого-то языческого бога. А может быть, я просто фантазирую.

Я знала, что скоро приду. Бредя по земляной дороге, наступая на грязные лужи, пиная пустые пластиковые бутылки, я смотрела вдаль, на коршунов, планирующих над свалкой. Она была чуть на пригорке, и мне пришлось подниматься, хотя ноги болели уже просто нестерпимо. Я шла дальше, между хаотичных куч из отходов, сгнившей травы, сломанной мебели, непонятных предметов. На другом конце двое местных жителей на миг остановились, высматривая меня, но, видимо, поняв, в чём дело, принялись дальше рыться в поисках добычи. Спустя две минуты я увидела его и расплакалась.

Это произошло не сразу. Сначала я, заворожённая, смотрела на него. На дерево. Оно было огромное, наверное, метров двадцать в высоту. Огромное, массивное, могучее и одинокое. Его толстый ствол, искривляясь, поднимался вверх, давая множество отростков, порождавших всё новые отростки, порождавшие новые отростки… Оно было большое, могучее и очень ветвистое. Я не разбираюсь в деревьях. Но в этот миг для меня это дерево было гигантской секвойей, хотя я даже не помню точно, как выглядит секвойя. Оно стояло чуть в низине, в совершенном одиночестве. Ни других деревьев, ни кустарников, только оно. Я подумала, что вот она — цель моего паломничества. И от этого я расплакалась.

Утерев слёзы рукавом грязной куртки, я стала спускаться. Только сейчас я заметила человека, сидящего, прислонившись спиной к дереву. В паре метров горел маленький костёр. Я на миг задумалась о своём внешнем виде, но потом поняла, что у него вид, должно быть, и того хуже, учитывая его место обитания. Метрах в двадцати я снова остановилась. Он был прав, тот парень, прав, чёрт побери. Оно было потрясающим! Дерево. На его бесчисленных ветвях, погружающихся в окрашенное заходящим солнцем небо, висели десятки, сотни некогда разноцветных, но сейчас посеревших пакетов. Они заплетались в небольшие бутоны, оборванные, потерявшие цвет, болтающиеся на ветру пакеты. Они висели, как ленточки, которые повязывают на ветвях, загадывая желание.

Подойдя ближе, я воскликнула бодро:

— Так это оно?

Он, мужчина лет сорока пяти, с бородой, в пуховике и шапке, курил сигарету. Повернувшись ко мне, он улыбнулся и доброжелательно (какой же молодец) ответил:

— Да, оно. Дерево несбывшихся желаний…

После этого мы молчали минут пять. Я отвернулась и снова начала плакать. Все воспоминания накатили на меня, но я для этого и шла сюда: ощутить их в последний раз и проститься с ними. Наконец я успокоилась. В который раз помог грязный рукав, я подошла ближе. Нижние ветви висели в полуметре над моей головой.

— А как это получается?—спросила я.

— Летом ветер пакеты надувает. Знаешь, как в фильме «Красота по-американски»?—сказал он.—Они цепляются, заплетаются, и висят так потом… Соседние ветки их обдирают, грязь и пыль обесцвечивают, и вот получается такое серое чудо. Красиво, да?

— Очень,—медленно протянула я.

— Ты хочешь отпустить своё желание?—спросил он.

— Да, откуда Вы знаете?

— Потому что я хранитель дерева,—он улыбнулся улыбкой без пары зубов и подмигнул.

Мне захотелось сделать для этого человека всё, что я только могу.

— Ладно,—шмыгнув носом и поддержав его весёлый тон, сказала я.—И как же мне это сделать, мистер хранитель?

Он встал и, выдерживая паузу, отряхнулся.

— Ну!—заговорил хранитель.—Для начала, ты уверена, что хочешь отпустить это желание? Что хочешь идти дальше?

Я тяжело вздохнула. Это была игра, всего лишь игра, но сколько она значила для меня… Я произнесла:

— Да, я уверена. Я шла несколько дней для этого.

Он хмыкнул.

— Ну что ж. Тогда найди своё желание. Найди и сорви его. Ты знаешь, где оно?

Я вновь оглядела дерево.

— Знаю,—ответила я. Я подошла чуть в сторону и посмотрела вверх. В дальнем фокусе моего зрения сквозь тонкие линии веток просматривалось тёмное матовое небо. В ближнем—привязанный природой к одной из веток, еле видно колыхался на ветру белый пакетик. Это было оно, среди всей обесцветившейся почерневшей массы людских желаний, я своей хрупкой девичьей душой отыскала своё, я была уверена. Мне хотелось ободряющего взгляда. Я посмотрела на мужчину, его вид был серьёзен. Он кивнул.

Я подняла руки и начала снимать пакет с дерева. Он непонятно как обмотался вокруг ветки и никак не поддавался. Я возилась уже пару минут, в мозг закралось знакомое отчаяние. Я начала рвать пакет.

— Стой!—сказал вдруг хранитель.—Рвать нельзя.

Я остановилась.

— Рвать нельзя,—повторил он вновь.—Не торопись, аккуратно, встань на цыпочки и развяжи его.

И тут я успокоилась. Я совсем забыла то ощущение спокойствия, с которым жила последнее время. Мне нужен был просто ритуал. Чтобы отпустить прошлое окончательно… Через минуту грязный, рваный, но всё-таки белый пакетик был у меня в руке.

— И что теперь делать?—спросила я.

— А ты догадайся,—спокойно сказал он, доставая сигарету.

Я догадалась. Подойдя к костру, я в последний раз взглянула на смятый в руке безликий целлофановый пакет и кинула его в огонь. Он вспыхнул и истлел за мгновения. На душе у меня было хорошо. Разделив с новым знакомым скудные остатки моей пищи, мы поболтали минут пятнадцать ни о чём.

— Послушайте,—сказала я, глядя ещё дальше за дерево, на небольшую поляну, поросшую такими же деревцами, через которые пришлось продираться днём,—если здесь дерево несбывшихся желаний, то что тогда там?

Он посмотрел туда. И, только дожевав кусок хлеба, ответил:

— Там деревья тех желаний, которые люди испугались загадывать.

— А дальше?—спросила я. Дальше раскинулась низина, за которую готовилось погрузиться заходящее солнце.

— Дальше? Там земля тех, кто не испугался после несбывшихся загадывать снова и оказался прав.

— Вот бы там оказаться…—прошептала я.

— Нет,—сказал он, бросая сигарету в огонь.—Так просто не получится. Вернее, может получиться, но сначала тебе нужно сделать кое-что. Сначала тебе нужно вернуться назад, к началу своего пути. Вернуться, но уже другой.

Через двадцать минут я устало брела по трассе. Назад я, пожалуй, доберусь на попутках. В совершенно пустой от мыслей голове лёгким звоном отзывалась гармония. Я поняла, для чего люди совершают паломничества.

Иван

Его звали Иван. У него была своя, собственножизненно, если можно так выразиться, выведенная, не похожая ни на что философия.

Родился Иван в Москве и рос весьма активным и любознательным мальчиком. Рано заговорил, быстро научился читать и писать. Уже в раннем возрасте у него проявились способности к точным наукам. Он любил анализировать и размышлять.

Семья его, кстати, была весьма состоятельной. Жили они в огромной двухуровневой квартире в престижном районе столицы. Ещё имелся прекрасный особняк в Подмосковье, в который семейство иногда выбиралось летом и на Новый год. Были ещё парочка квартир, какие-то земли, доли в ресторанах и прочих бизнесах, акции, ещё что-то… но на тот момент Иван, разумеется, всего этого не знал. О богатстве ему было известно по сравнительным впечатлениям, полученным с улицы и из телевизора.

Родители очень любили Ваню, но не могли уделять ему много времени, поэтому за ним присматривала няня. Няня была милая, но странная. Она была какая-то вся воздушная и потрясающе хорошая. Как бы мальчик ни шалил, она всегда оставалась спокойна и добра. Ещё она часто говорила о том, что их мир — это всего лишь небольшая часть Вселенной. Что главная цель человека — это счастье. И самое странное — в этой жизни большого счастья не будет. Оно будет потом, в другом мире, и чтобы попасть туда, нужно быть добрым и хорошим.

Однажды, укладываясь в постель, Ваня спросил отца, почему няня такая странная.

Отец сказал:

— Да не обращай внимания, сынок. Она какая-то дзен-буддистка, что ли…

Иван хотел спросить отца, а что же такое «дзен-буддистка», но тот его перебил:

— Она тебе что-то плохое говорит?

— Да нет, — на миг призадумавшись, ответил Ваня.

— Ну вот и хорошо, — сказал отец, поцеловал мальчика в лоб, потушил свет и ушёл читать документы.

Отец Ивана был членом правления одного из крупных банков. Он постоянно пропадал на работе, много ездил по командировкам, а когда был дома, то всё равно часто заседал в своём кабинете, листая какие-то бумаги. Ваня отца очень любил и много наблюдал за ним, когда тот был дома.

Исходя из разговоров родителей, редких гостей, телевизионных репортажей и общения с другими людьми в садике, а потом в начальной школе, Иван понимал, что его отец — богатый, влиятельный, преуспевающий и очень успешный человек. В то же время дома отец часто выглядел поникшим и уставшим. Иногда он пил в своём кабинете, а когда все засыпали, шатался по дому в поисках непонятно чего, постоянно запинаясь и цепляя столики, комоды и прочую мебель. Ещё во время таких хождений он сильно матерился. Пару раз Ваня даже видел, как отец плакал. Мальчик был так удивлён и напуган таким зрелищем, что убегал в свою комнату и забивался в кресло в углу. Кроме того, родители иногда ссорились, не часто, но сильно…

Из всего этого, основываясь на своих наблюдениях, словах людей, в том числе очень важно — словах няни, Иван сделал первый в своей жизни важный вывод, который, переводя на «взрослые» категории, можно было выразить так: богатство, престиж и успех счастья не приносят.

Мама же Вани занималась рестораном. Она, конечно, работала гораздо меньше отца, но тоже практический каждый день уходила на работу. Няня говорила, что мама — очень сильная женщина. Кроме того, мама была потрясающе красивой. Высокая, стройная, в свои тридцать семь она сохраняла гладкость кожи и блеск волос. Богатство подчёркивало её стильность и грацию.

Но мама тоже пила и плакала. Выглядело это не так буйно, как у отца, но это только выставляло напоказ какую-то безысходность. Бывало, она целыми вечерами сидела в кресле, потягивая мартини и смотрела куда-то вдаль. Иногда она по телефону разговаривала с какими-то мужчинами. Ване, который подслушивал из-за угла, это было очень неприятно, хотя он толком не понимал, о чём идёт речь. Веяло каким-то обманом. Ссорясь с отцом, мама кричала, что он испортил ей жизнь, и иногда кидалась вазами.

Тогда Иван сделал второй в своей жизни важный вывод: красота счастья не приносит.

Ваня рос и превратился в юношу. Сексуальное взросление, как на дрожжах сдобренное непомерными карманными суммами, выдаваемыми отцом, произвело на него ожидаемый эффект. Подаренный на восемнадцатилетие спортивный автомобиль, бутики, клубы, развязные девушки, лёгкие наркотики… мысли в сознании завертелись, как стёклышки в калейдоскопе. Алкогольные и наркотические угары порождали как неимоверные приступы удовольствия и эйфории, так и странные думы. В такие моменты Иван как будто гнался в тёмном лабиринте, освещаемым клубными фонарями, за белым кроликом или кем-то ещё. Всё это напоминало приключения Хантера Томпсона.

Также Иван мучительно не мог понять, нравится ли он девушкам непосредственно как личность или их привлекают его деньги. Дошло до того, что, занимаясь сексом с очередной красоткой, он начал испытывать что-то вроде несчастья и опустошения. Всё это стало казаться ему эфемерным и искусственным. Кроме того, девушка, в которую он вроде бы по-настоящему влюбился, как назло, выбрала другого. Почему так, думал Ваня? Почему, чёрт возьми, именно она? Любая, в которую он мог ткнуть пальцем, с радостью прыгала к нему в койку. А эта, вот именно эта, не захотела… Ваня был совершенно опустошён и измотан. Лёжа после очередной буйной вечеринки в своей кровати на чёрном шёлковом белье, от которого девушки просто приходили в экстаз, он сделал третий в своей жизни важный вывод: пьянство, клубы, угар, беспорядочный секс, возможность сорить деньгами, в общем, то, о чём грезят многие люди, — счастья в жизни не приносит.

Иван почувствовал, что надо что-то менять. Надо бы приостановиться и оглядеться вокруг, должна же быть ещё какая-то надежда.

Он сидел на скамейке в парке, смотрел вдаль и хотел, чтобы что-то случилось.

— Возьмите, пожалуйста, — подняв взгляд, Иван увидел девушку. Она была симпатичной, но совсем не такой, как те, что из его окружения. На ней были потёртые джинсы, красная вязаная кофточка, на ногах кеды. Волосы её были заплетены в две косички. Девушка протягивала Ване какую-то книжку.

—Это альманах стихов,—ответила она на молчаливый вопрос.—Здесь есть и мои. Екатерина Мезенцева. Катя,—и чуть погодя добавила:—Самопиар!—И подмигнула.

Иван взял книжку и, сам не зная зачем, почему-то сказал: «Могу я угостить вас кофе?»

Жизнь Ивана изменилась. Прошло время, и он уже лазал с Катей по крышам, стараясь находить нужные слова в беседах про звёзды. Поначалу Ивану иногда хотелось позвать Катю в клуб, выпить коктейлей, но он понимал, что это будет что-то не то.

Они ходили по каким-то странным выставкам. Выставкам картин, фотографий, каких-то непонятных скульптур. Иногда там были просто горы опилок или какие-то сваренные трубы. Всё это было снабжено некими длиннющими пояснениями на бумаге, которые Иван абсолютно не понимал. Причём ему казалось, что эти подписи не особенно понимают и Катя, и её друзья, с которыми они ходили на выставки, а также сами авторы этих подписей. Потому что как их можно понимать, когда они вообще бессмысленны? Свои размышления Ваня старался держать при себе, опасаясь открыть со временем то обстоятельство, что был просто глуп. Но, как ни крути, для Ивана такая жизнь была интересна и нова, она давала эмоции, заставляла размышлять.

Ещё они с Катей часто бывали в различных компаниях, основным занятием в которых было пить и вести философские беседы. Люди эти были зачастую просто одеты, обладали длинными причёсками и, по-видимому, считали себя гениями. Они говорили о разном. О карме, о различных книгах, религиозных направлениях, музыке. Богатых они считали глупцами и стадом. Иногда они предлагали покурить траву, Ваня отказывался. На него смотрели, как на изнеженного мажора. При этом ему было странно, как можно считать кого-то глупым, когда ты сам несколько дней в неделю пьёшь дешёвое пойло и еле наскребаешь порой на метро.

Для Ивана деньги проблемой, естественно, не были. Он дарил Кате дорогие подарки. Она искренне говорила, что он не должен так делать. Это он, надо сказать, довольно высоко ценил. Когда Ваня привёл Катю знакомиться с родителями, те вопросительно переглянулись.

Гром грянул среди ясного неба. Они с Катей сидели у неё в комнате, она рисовала на холсте, а он любовался ею. Вдруг Катя сделала резкое движение вперёд рукой, пробила картину и расплакалась.

Через три дня Иван снова сидел на лавочке. Он жевал сахарную вату и глупо, обречённо улыбался. Катя расплакалась из-за того, что её сердцу было трудно осознавать тот факт, что Иван не тот, кого она хочет видеть рядом. Он долго утешал её, а потом оказался как кот, которого выгнали на улицу, закрыв перед носом дверь.

Было сформулировано четвёртое важнейшее правило: люди, какими бы они ни были, счастья в жизни не приносят.

Было очень тяжело и гнетуще. Город давил, дом давил, окружающие лица давили… Попытки снова раствориться в пьянках и беспорядочном сексе облегчения не несли. Он поговорил с отцом. Отец внимательно выслушал.

— Послушай, сын,—сказал он.—Так получилось, что с рождения ты имел практически всё, что человеку нужно в жизни. Всё, к чему кто-то стремится много лет, ты получил только появившись на свет. Тебе не нужно было предпринимать каких-либо усилий, чтобы выжить. И не просто выжить, а получить хоть какой-либо комфорт и статус.

Отец почесал ухо, чуть задумавшись.

— Логично,—продолжал он,—что, имея такую жизнь, познав все её радости и не приложив к этому усилий, ты придёшь к тому, что всё это пусто. И ощущение это будет только от того, что ты не знаешь, что бывает иначе.

В общем, отец предложил Ивану начать всё с нуля.

— Ты должен построить себя,—сказал он,—пройти сквозь тяготы и лишения, и только тогда ты поймёшь, чего на самом деле стоит жизнь и чего на самом деле стоишь ты.

Итак, в 22 года Иван пошёл в армию. Это было очень странно. Сидя в вагоне поезда и глядя на уплывающую вдаль Москву, он думал о том, какая же разная бывает жизнь.

В армии его поразили многие вещи. То, что его били сослуживцы,—было больно, бессмысленно, но, как это ни противоречиво звучит, в общем-то понятно. То, как вели себя в армии сами военные, оставалось вакуумно, беспросветно, как чёрная дыра, за пределами восприятия. Как-то ночью ему попытался это объяснить шёпотом сосед по койке.

— Понимаешь, бл… Никто, на хрен, тебя здесь не научит стрелять из автомата. Никто тебя здесь не научит кидать гранату или водить танк. Единственное, что ты здесь поймёшь—это то, что вокруг происходит какая-то жопа. А если когда-нибудь вдруг начнётся война, то вот это будет самая большая жопа из всех. И тут ты вспомнишь, что что-то подобное с тобой уже было. И ты, типа, примерно знаешь, как действовать. Условный рефлекс. Понимаешь?

Иван задумчиво кивнул. Сосед отвернулся с чувством выполненного долга. Прошло время, Иван понял ещё многие вещи и вернулся домой. Он шёл по родному городу с улыбкой от уха до уха, и в его голове стремительно и громко неслась музыка группы «Браво»: «Пееееeесня плывёёёт, сеееердце поёёёт… Эээээти словааа о тебее, Мооосквааааа». Иван излучал счастье! Он одновременно

излучал его и впитывал из каждого листочка, каждого камешка, каждой пары глаз, которые смотрели на него.
— Кажется, наш сын счастлив,—с улыбкой сказал как-то его отец жене. И подумал: «Ну вот, стал настоящим мужиком».

Следующий шаг был—заняться своим делом. Отец предложил ему стать помощником директора в одной из семейных фирм, занимающих среднее место в личной империи. Иван, разумеется, согласился. Он наконец, казалось, уловил то самое предназначение каждого мужчины, которое далеко не всем дано исполнить. Нужно быть волевым, сильным, словно лев, идущим к своей добыче. Только такому мужчине посчастливится встретить и удержать женщину, настоящую женщину, которая будет способна понять и поддержать своего мужчину в трудные моменты жизни, а во времена взлётов с радостью примет ту лавину счастья, которой он её одарит.

Через некоторое время, научившись азам, Иван сам занял место руководителя. Работал он много и лихорадочно. Работал по принципу «хочешь что-то сделать—сделай это сам». Пропадал вечерами в кабинете, брал бумаги на дом (к тому времени он, конечно, жил в отдельной квартире). Учился выводить деньги, уходить от налогов, постигал практику подмаза и откатов. Потихоньку бизнес рос, а Иван чувствовал тот сладостный вкус, который имеют *свои*, собственноручно заработанные деньги. Но к ним он старался относиться максимально легко. Он по-прежнему помнил те золотые правила, которые последовательно вывел для себя, и главной его целью оставалось—найти всё-таки путь к счастью, о котором говорила когда-то няня. Чёрта с два, его нет в этой жизни! Нет уж! Только неудачники и псевдофилософы могут заявлять подобное. Есть счастливые люди, есть. У них любимая работа, хорошая жена, интересная жизнь. Нужно только найти это, найти закон, который сделает тебя победителем!

Нет, Иван будет богатым, будет сверкать лоском, но он уже никогда не будет тем сомневающимся юнцом, которого, возможно, выбирали лишь за деньги. Нет. Он будет работать над собой и добьётся успеха во всём.

Иван стал ходить в спортзал, в бассейн, на йогу. Он увлёкся иностранными языками и рисованием. Он катался на сноуборде, ездил в тёплые страны учиться ловить волны на сёрфинге. Участвовал в любительских соревнованиях по боксу и побеждал. Он растил своё детище, свою фирму. Он ходил на тренинги по НЛП и практической психологии. Он заходил в дешёвые кофейни и соблазнял женщин разговорами о Сальвадоре Дали. А когда они чуть ли не падали в обморок от роскоши его квартиры, втайне упивался собою. Был момент, когда Иван, слегка выпив, вышел в дорогущем халате на свой балкон, с красивейшим видом на ночную Москву. Шёл дождь, сверкали молнии. Иван, словно древний могущественный маг, возвёл руки к небу и начал смеяться. После этого он легко улыбнулся над своей гордыней, съязвил что-то остроумное и остался доволен тем, что, даже став таким человеком, сохранил самоиронию. А это, как-никак, показатель интеллекта.

Свою первую любовь он нашёл быстро. Она торговала шмотками в каком-то бутике. Он трахнул её в первую же ночь. Щёлкнул, как орешек, и выплюнул. Она звонила, плакала, говорила, что любит, но он был непреклонен. Он не то, чтобы отомстил, это не было его целью. Он просто доказал.

Теперь оставалось найти Катю. К ней у него были совершенно иные чувства. Он представлял, как найдёт её, тихую и замызганную, несчастную в своей жизни жены какого-нибудь спивающегося художника-неудачника. Найдёт, обнимет, отогреет, увезёт её от всего этого и даст столько нежности, на сколько только способен в своей нынешней роли мачо-победителя. И ещё он не причинит ей боли, как той бестолковой пустышке. Никогда не причинит ей боли. Никогда. Только любовь и нежность.

Искал он Катю около двух месяцев. Ходил по захудалым барам, андеграундным подвальным клубам, мастерским. Старые приятели изумлённо смотрели на него. Он не чувствовал к ним неприязни. Какой-то тонкий коктейль из превосходства и жалости. Он чувствовал себя сильным.

Она жила в Питере. Работала продавцом в книжном магазине и вела курсы живописи.
— Извините, я ищу Катю Мезенцеву,—улыбаясь, сказал он некрасивой девушке-консультанту в магазине.
— Ааа, Катя,—протянула она, окинув незнакомца взглядом,—Катя ушла обедать.

Под давлением его вопросительного взгляда она добавила:
— Вот там кафе на первом этаже за углом, «Рояль» называется, она там должна быть.

Поблагодарив девушку, Иван вышел на прохладный воздух осеннего Питера. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Ну вот она, вывеска «Рояль». Иван вдруг вскользь подумал, что не умеет играть на рояле. Ничего, улыбнулся он, научусь. Вдруг его охватила тревога. Как, что сейчас будет? Но он научился успокаивать себя. Он научился быть победителем. Вот сейчас он зайдёт в кафе и увидит Катю. Она сидит за столиком, допивает кофе и читает какую-нибудь книжку. Он подойдёт и скажет: «Привет!». Она поднимет свои глаза, которые тут же расширятся от удивления. Он присядет, они заговорят. О чём будут говорить? Да бог его знает… О многом будут говорить, будут смеяться, вспоминая былые времена. А вечером он проводит

её домой и просто попрощается, не давая намёка на продолжение, но одновременно оставляя такое сладкое, волшебное ощущение того, что скоро в жизни предстоит что-то невероятно хорошее…

Он вошёл и увидел её. Она сидела с ребёнком на руках, славная такая, милая девочка. Рядом сидел и обнимал её симпатичный худой мужчина, с волосами, собранными сзади в пучок. Трио весело смеялось, мужчина улюлюкал с девочкой. Катя увидела Ивана. Их взгляды встретились на несколько секунд, и в них пронеслось и прошлое, и настоящее, и будущее. Они всё поняли в один момент. Что-то вдруг оборвалось.

Катя не успела издать ни звука. Иван вышел из кафе, стремительно вышел и, как в фильме, не видя ничего перед собой, побежал через дорогу. Его сбила машина. Не сильно так сбила, не трагично, даже смешно. Он улетел лицом в грязь. По законам жанра он должен был истерически захохотать над всей абсурдностью своей жизни, но ему, чёрт возьми, было как-то не до этого!

К слову, к этому времени многое в его жизни случилось. Например, умер отец, заваленный многолетним грузом ответственной работы,—сердце отказало. Мать вроде бы снова возродилась, но выразилось это в отъезде за пределы Родины с каким-то греком. Так что Иван скорее испытывал ещё одну потерю, чем точно знал, что мать действительно счастлива.

И вот, садясь в тёмное купе поезда Санкт-Петербург—Москва, он вдруг явственно понял несколько вещей: у него есть работа, к которой он как к процессу в принципе равнодушен. У него есть друзья, которые сейчас, в момент ясной осознанности своей жизни, оказались людьми, которых, кроме общности дел, мало что связывает. Наконец, у него есть множество знаний, умений и навыков… Которые никогда, хоть ты восемь раз оземь расшибись, не сделают его лучшим мужчиной для любимой девушки! И речь даже не о Кате, вернее, не только о ней. Вспомнив ключевые моменты жизни, Иван вдруг понял, что всё, что бы он ни делал, не приносило ему того, чего он хочет. Люди, которых так хотелось видеть рядом, всё время ускользали. Все начинания оканчивались каким-то нелепым тупиком. И это уже было совсем не весело.

Итак, жизнь Ивана повернулась на 180 градусов. Говоря проще, повернулась к нему задницей. Ему вдруг привиделось воспоминание из детства с плачущим отцом, и он понял, что становится таким же. Успешным, богатым, крутым, но несчастным. Иван понял, что изменения, которые напрашиваются, должны быть не просто косметическим ремонтом, это должна быть операция по удалению опухоли. И он на неё решился. Хотя «решился»—не совсем подходящее слово. Им двигала вовсе не решимость, а скорее отчаяние.

Иван решил, что все должны идти к чёрту. Бабы, художники, деньги, спортзалы, работа, проповедники и бизнес-тренеры, песчаные пляжи и квартиры. Во всём этом не было никакого смысла, ровно никакого смысла.

Он продал квартиру, коттедж, фирму, доли, акции, машины, побрякушки… он продал всё, что заработал сам и что оставил отец. Половину денег перечислил в благотворительные фонды, половину положил в банк. На всякий случай. Хотя был уверен, что они ему не понадобятся. Иван сделал то, что было противоположно предыдущему желанию победить и завоевать всё,—он сбежал от всего. Он решил, что если жизнь такая хреновая штука, то всё, что остаётся, это как можно больше от неё абстрагироваться.

Он долго размышлял над тем, что же может дать избавление, и наконец нашёл ответ. Он вспомнил армию и ночи на работе. Он вспомнил чувство, которое делало бессмысленным всё остальное—секс, увлекательные разговоры, размышления, дела, потребность встречаться с людьми, потребность что-то делать со своим телом и сознанием… то, из-за чего это становится ненужным и бесполезным в конкретный момент времени… это усталость. Иван вспомнил, как после армейского дня или безумной суматохи офисных встреч, сдобренных походом в спортзал, или, самое главное—боли от эмоциональных переживаний, он приходил в казарму или домой, падал на кровать и погружался в вязкий, тяжёлый, чёрный, вызывающий чувство надежды, но одновременно самодостаточный и сам по себе счастливый, не требующий ничего другого, мягкий, карамельно-сладкий сон… А как же хорошо утром… Как хорошо, когда ты проснулся, но сон ещё не отпускает тебя… Он окутывает тебя как облако, нежно держит, шёпотом зовёт назад. И ты не утруждаешь себя каким-либо усилием, а просто отпускаешь мир и снова медленно погружаешься в эту восхитительную негу забытья… И хорошо. И ничего, ничего тебе больше не нужно.

Итак, выход был найден. Или вход. Там, откуда не возвращаются, не важно. Главное было соблюсти все условия. Во-первых, надо было уставать. Ежедневно, хронически, всеми клеточками тела и мозга, выматываться так, что единственным желанием будет прийти куда-либо, где стоит твоя кровать, и упасть на неё, отключившись от жизни. А во-вторых, нужно изолировать себя от этого гнусного мира так, чтобы никогда, никогда больше, не дай Господь, в мозг не закралась гадкая мыслишка, что ты делаешь что-то не так. Иван представил себе древние поселения, отделённые друг от друга тысячами километров, которые можно было преодолеть лишь за годы. Поэтому все сидели на пятой точке, работали, ели, спали и не терзались

проблемами поиска какого-то важного смысла. Нет его, этого чёртового смысла, подавитесь им!

Иван уехал из Москвы, оставив всё. Купил дом в небольшой деревне за Уралом. Устроился грузчиком на железнодорожную станцию. Он стал тем городским, вернее, в данном случае деревенским сумасшедшим, который тихо живёт, вечером работает, таская тяжёлые мешки и ящики, подрабатывает, заливая фундамент деревенских домов, когда кто-нибудь примет это редкое решение — что-то строить, чистит стайки за копейки, удивляя селян и заставляя их на миг почувствовать себя ленивыми горожанами… а под вечер приходит домой, выпивает литр молока, потому что готовить есть под грузом накопившейся усталости невозможно, ложится на кровать и проваливается в тот самый сон, о котором так мечтал.

Он не стал алкоголиком, чего следовало ожидать. Нет, он пил, но не забываясь. Как-то средне между простым деревенским мужиком и тем же деревенским сознательным хозяйственником, который капли в рот не берёт, а только работает, и все изменения в его жизни характеризуются только ростом поголовья скота и появлением новой техники.

Шло время. У Ивана появились приятели, женщина, которым он постепенно, медленно, не по дням, месяцам, а скорее годами, впуская в себя, рассказывал о своей предыдущей жизни. Конечно, как только такие вести появились на свет, они мигом расползлись не только по деревне, но далеко за её пределами. На Ивана показывали пальцем. Местные умники говорили, что он уедет. Сбежит, не выдержит, а если правильнее — поймёт, что живёт не своей жизнью, и опомнится. Но шло время, а Иван всё не уезжал и не уезжал. Он, казалось, врос в свою новую жизнь. Она впитала его, как чай впитывает сахар. Иван как будто объединил вокруг себя деревню, стал её столпом и самой яркой фигурой. Он стал ходячей былиной. Он был словно театр, собирая вечерами вокруг себя толпу людей со всех окрестностей, рассказывал истории из своей жизни, рассказывал о сотне прочитанных книг, десятках жизненных теорий и философий, приправляя это своими суждениями.

И вот, когда уже поверилось в то, что Иван был здесь всегда — Иван пропал. В один день, вернее, в одно утро его женщина обнаружила, что проснулась в кровати одна. Это было странно, потому что Иван неукоснительно следовал выбранной философии и спал минимум до обеда. Полдня женщина с глупым выражением лица просидела на стуле, глядя в одну точку. Потом, около 7 вечера она выбежала во двор с криком «Иван пропааал!!!».

Однако обмануть мир ей не удалось. Иван не появился вдруг, ведомый желанием Вселенной помочь отчаявшейся женщине. Иван пропал насовсем. Деревня собралась на сход. Всем было ясно, что это никакой не ловкий трюк, Иван не выйдет вдруг из леса с мешком еловых шишек и не объяснит, зачем он за ними пошёл. Все на каком-то тонком уровне понимали, что он не вернётся.

Тем не менее терять народного героя без вести было невозможно. Произошло невероятное. Всем миром собрали денег на экспедицию и направили двоих людей в Москву на поиски гуру. Посланники сельчан не обманули, наняли детектива, искали в Москве и Питере, производили допрос Кати Мезенцевой — бесполезно. Найти Ивана так и не смогли.

Исчезнув так, одномоментно и безвозвратно, Иван окончательно стал для своих соседей мифологическим персонажем, непонимаемым и безгранично любимым. Говорили, что он уехал гоняться за смерчами в американских пустынях. Якобы бабка (какая?) нагадала ему, что, лишь попав внутрь смерча, он будет унесён им в то место, где действительно обретёт жизненное счастье.

И вот — река Ниагара, разделяющая своими мощными водами Американский штат Нью-Йорк и Канадскую провинцию Онтарио, стремительно несётся вперёд. Снующие в небе вертолёты с телекамерами и рупорами передают картинку на ведущие телеканалы. В центре действия Иван, плывущий на плоту из четырёх круглых брёвен, связанных прогнившими лианами. Он, словно эпический герой, стоит на полусогнутых ногах, его длинные волосы, ставшие в легенде седыми, развиваются на ветру. Его грязная, потная, разорванная белая майка обнажает громадные мускулы, приобретённые в московских спортзалах и на деревенском вокзале. Его взгляд устремлён вперёд. Там, в чреве восхищающего весь мир Ниагарского водопада, бушует не поддающийся осмыслению, сметающий всё на своём пути, сильнейший за последние двести лет смерч.

Наш герой, в которого по не понятным никому причинам стреляют американские и канадские солдаты, стремящиеся разрушить его мечту, неминуемо движется к цели. Он, как герой древнего мифа, готовится броситься в разверстую пасть льва, чтобы победить его.

Были и другие версии. Например, Ивана могли забрать пришельцы. Чем ещё объяснить такое непонятное, не оставившее никаких следов исчезновение? Излучая столь яркое энергетическое желание победить бренность бытия на этой планете, Иван вышел на секретную частоту инопланетян, которые, почувствовав забытое уже ощущение сопричастности и восхищения, забрали его к себе.

Те же умники говорили, что Иван отправился в одну из европейских стран, чтобы воспользоваться достижениями крионики. Погрузив своё тело в жидкие субстанции максимально низких температур, он сохранил надежду дожить до времён, когда на Земле не будут важны ни любовь,

ни дружба, ни другие приносящие разочарование вещи. А наше сознание будет перенесено в электронный чип, размером с блоху.

А может быть, Иван сидел сейчас на холме, собирая ладонью капли росы с верхушек травинок и думал, что же ему делать дальше? Что нам всем делать дальше? Может быть. Всё может быть.

Таковы были легенды. Тем временем Иван через кубики льда, медленно таявшие в стакане с коктейлем, и собственно сам напиток пытался разглядеть океан. Океан был голубым, искрился отражавшимися лучами солнца и издавал звуки, казавшиеся Ивану лёгкой музыкой. Выпустив дым дорогой сигары, он сделал первый за много лет глоток.

Откинувшись на спинку плетёного кресла, Иван расплылся в улыбке. Он думал о первых днях в Москве, после возвращения из армии. О своей тогдашней радости. Нет, всё-таки человеку нужны потрясения. Только пережив задницу, можно понять, что избушка стоит к тебе передом. По-другому не получается.

За столик к нему подсела женщина.

— Разрешите?— спросила она по-английски и улыбнулась.

— Конечно,— ответил Иван.

Женщина закурила тонкую сигарету.

— Меня зовут Эльза,— сказала она,— а Вас?

— Иван.

— Иван? Вы из России?

— Да.— Иван наклонился к Эльзе, прищурил глаза и сказал полушёпотом: — Я русский крестьянин.

— Да Вы что?— театрально удивилась она, слегка рассмеявшись.— И что же делает русский крестьянин на трансатлантическом лайнере?

— Пробует в жизни что-то новое,— ответил он с улыбкой.

Она тоже улыбнулась.

— А Вы знаете, Иван… Я бы тоже не прочь попробовать что-то новое.

Наступила пауза. Она ждала ответа. И когда уже показалось, что пауза затягивается, Иван спросил:

— Вам наскучила жизнь?

Тон его был серьёзен. Улыбка сошла с лица Эльзы. Её взгляд перескочил на палубу, потом снова на собеседника.

— Всем нам становится скучно рано или поздно…

Иван понял, что женщина ему нравится.

— Хм,— он посмотрел в небо.— Прямо сейчас?!

— Ха-ха…— подхватила она оживлённый тон.— Вы весёлый человек, Иван! Да, почему бы и нет, прямо сейчас!

— Пойдёмте,— он поставил бокал и встал.

— Куда?— удивилась Эльза.

— Искать новое. Пойдёмте-пойдёмте, вставайте!

Он протянул ей руку, а когда она встала, затушив сигарету, направился к борту.

— Океан чудесен, правда?— заговорил он, глядя в голубую даль.

— О да, конечно! Ради этого мы и здесь,— волосы её приподнимались от потоков ветра.

«А глаза грустные…»— пронеслась мысль у Ивана.

— Океан чудесен,— повторил он.— Вы умеете плавать?

— Что?

— Плавать умеете?

— А, ну да, конечно.

Вдалеке прозвучал смех. Они обернулись и увидели брызги воды, разлетающиеся от бассейна. Через секунду на поверхность вынырнул весьма тучный парень, и его смеявшиеся друзья что-то весело закричали на немецком.

Эльза улыбнулась, но выражение её лица тут же сменилось под серьёзным взглядом Ивана. Он взял её за руку.

— Если через час у Вас будет хорошее настроение, то я признаюсь Вам в любви,— сказал он.

Она опять рассмеялась.

— А если нет?

— А если нет, то е**сь всё конём,— сказал он по-русски.

— Что это значит?— спросила она.

— А сейчас узнаете!— сказал Иван, быстрым движением поднял её на руки, закинул свою ногу на перила, сильно оттолкнулся от пола другой и перекинул её через борт.

Перед тем, как их охватил океан, в фокусе его зрения мелькнули расширившиеся глаза Эльзы.

«Человек за бортом!»— раздался крик официанта. На палубе началась суматоха.

Зима кончается

Медведь стоял и смотрел на мир. Мир был собственно льдом, водой, небом и более ничем. Да и была ли необходимость в существовании чего-то, когда вокруг блистала такая чудесная бесконечность?

Он стоял и вглядывался вдаль, будто стараясь обнаружить что-то. Казалось, ему известна очень важная тайна, не доступная той части мироздания, в которой есть города, все люди, бесконечные дела, какие-то важные события. Медведь походил на старого жреца индейского племени, ждущего появления на горизонте каноэ вождя.

Внезапно он вытянул вперёд шею, будто увидев это долгожданное каноэ, и меня обдало озарение, что тот, кого он ждёт,— это я. И он тоже испытывает ко мне большое уважение. В этот самый момент, когда чувство огромной радости вспыхнуло во мне, автобус сильно дёрнулся и я стукнулся головой о поручень.

Очнувшись, я понял, где нахожусь. Это было обычное утро по пути на работу. Машинально я повернул взгляд вправо, но ничего, кроме хмурых утренних лиц, снабжённых каркасами в чёрно-серых дублёнках, не увидел. Непонятная музыка доносилась из динамиков. В общем— привычная

картина. Как я умудрился задремать в этой обстановке?

Выйдя на улицу, я обрадовался крупному снегу, сыпавшему с неба в довольно больших количествах. Вспомнив медведя, я рассмеялся.

Ещё больше я развеселился, придя на работу. Хмурые физиономии коллег выдавали отсутствие в их утре приятных событий, пусть даже воображаемых. Это придало мне сил. Я как будто бы хранил некую тайну, знал положительный итог важнейшего матча, который все проспали. Они же, погружённые в повседневность, и понятия не имели, что есть повод для радости.

Захотелось что-то сделать. Внести какую-то необычность в монотонный утренний распорядок, устроить игру. Я оглядел людей. Кто-то уже погрузился в компьютер, кто-то читал книгу с планшета, остальные перебрасывались незначительными фразами.

Вычислив, что на месте нет Миши, я развернулся и проследовал на кухню. Он был там, похоже, с похмелья. От его бренного вида меня охватила вторичная волна веселья. Горячий кофе, наполняющий кружку, вдруг представился таким радостным событием, что захотелось танцевать!

Я исполнил парочку несложных па.

— Что, весело?—поинтересовался Миша.

Мне показалось, что в этом вопросе был заключён весь, скопленный веками, жизненный груз многострадального русского народа.

— Ночью повезло?—предположил коллега.

— Нет, утром.

— Ааа…—промычал он.

Поняв, что дальнейшая беседа для него невыносима, я ушёл.

В коридоре я встретил Серёгу и Наталью Ивановну. Дождавшись паузы в их разговоре, я произнёс речь, окончившуюся вопросом, было ли в их жизни, что какая-нибудь фантазия или реально случившаяся нелепица порождала такое счастливое настроение, что все серьёзные жизненные проблемы затмевались этим чувством?

— Годовой отчёт, вот проблема, которую ничто не затмит,—сказала Наталья Ивановна.

Выйдя вечером с работы и поняв, что не могу идти домой, я завернул во встретившуюся по пути кофейню. Несмотря на весёлую музыку, разносившуюся по залу, там меня охватила дичайшая тоска. Равнодушно взирая на какао с зефиром, обозванным официанткой каким-то незнакомым словом, я пребывал в поганейшем настроении. Возможно, виной тому была зима, лишившая организм некоторых необходимых для счастья гормонов. А может, просто жизнь, накопившая критическую массу неверных решений, слов и поступков, и никакая зима тут ни при чём. И даже наоборот, зима была как раз кстати, потому что лето мешает эти вещи разглядеть, сглаживая углы.

Все эти мысли и чувства казались бесконечными, непроглядными, похожими на знаменитое многокилометровое мусорное пятно, дрейфующее в мировом океане. Куклы с дырявыми глазницами, бытовые отходы любой масти, пластиковые бутылки и серая болотная жижа сжались вокруг таким кольцом, что конца и края не видно. Сколько было таких ситуаций, когда выхода не виделось? Но каждый раз он находился. Правда, и поверить в это каждый новый раз было невозможно.

Неожиданно я понял, что со мной разговаривают.

— Здесь свободно? Можно сесть?—спросил лысый мужчина и, не дождавшись ответа, опустился на соседний стул. Хотя половина столиков в зале были не заняты.

— Вы, похоже, о чём-то сильно думаете?—живо спросил он.

Округлив глаза от такого неожиданного вторжения, я, сам того не ожидая, моментально ответил. Слова просто автоматом слетели с языка.

— Да, думаю о полярных медведях. Вы что-нибудь о них знаете?

Он не удивился и, снимая пальто, сказал:

— О, я специалист по медведям! Подробней расскажете? Что вас интересует?

Тон его был таким, будто подобные разговоры между незнакомыми людьми в порядке вещей. Может, он сумасшедший? Хотя, может, не он, а я?

Я смерил его взглядом. Но никаких особых примет в нём не было. Хорошая, но не броская одежда. Карие глаза, небольшая щетина. Вид серьёзный, но добродушный. Он внушал доверие и располагал к себе. Такая энергетика идёт от человека, с которым только что случилось что-то хорошее. Я сказал:

— Меня интересует, почему они подолгу смотрят вдаль, стоя на берегу океана.

Он восторженно посмотрел на меня и мотнул головой, мол, ничего себе! Потом почесал подбородок и, приняв позу поудобнее, увлечённо заговорил:

— Ооо! Это особый вид медведей, очень редкий. У вас самого есть предположение, что он там высматривает?

— Может, мусорное пятно, которое создали люди?

Незнакомец спросил:

— А зачем его высматривать? В нём что, есть что-то интересное?

Прозвучало это с такой претензией, будто я высказал на серьёзной научной конференции абсолютно бредовую теорию.

Я смутился и почувствовал раздражение. Что вообще происходит? Если бы это была красивая девушка, то можно было бы и принять эти игры. Но лысый мужчина… Вся ситуация вдруг приобрела странные оттенки.

Не знаю, заметил ли он мои душевные метания, всё длилось секунду. Но моментально моё

состояние вновь изменилось. Я подумал: откуда эта проклятая пошлость? Почему при любой неожиданной и нестандартной ситуации ум сразу начинает выкручиваться и противиться происходящему? А на каких же основаниях я желаю получить от жизни что-то большее, если не могу принять даже такую мелочь, как дурацкий разговор о медведях?

Я понял, что нужно быстро ответить, и выдал что-то несуразное. Главным было в тот момент не затягивать.

Незнакомец опять странно на меня посмотрел и через две секунды сказал:

— Нет там никаких пятен. Но что-то он определённо чувствует там, вдалеке, очень важное, не так ли?

В голове всплыла утренняя картинка глядящего вдаль животного. Вспомнились и мои эмоции от ожидания встречи с ним.

— Что он чувствует? — спросил я.

— Ваши предположения?

— Не знаю.

Тут подошла официантка и мой собеседник заказал чёрный чай. Наконец спустя несколько секунд он ответил:

— Должно быть, он чувствует вас?

— В смысле?

— Ну, вас! — воскликнул он. — Вы же чувствуете на себе чей-то взгляд, когда долго смотрят. Почему он не может чувствовать ваш? Вы ведь на него смотрели.

Тут я замолчал, не в силах ответить что-либо адекватное.

— Знаете ли, — заговорил он, не став дожидаться ответа, — я писатель. И в связи с этим хочу вам рассказать одну историю.

Я мысленно выдохнул. Понятно, писатель! Теперь проясняется… Среди писателей вполне бывают странные личности, пристающие к людям в кафе с дурацкими разговорами. Я откинулся в кресло. Возвращение диалога к привычным категориям расслабило меня. Но про медведя я ещё спрошу… Как он угадал, что медведь действительно ждал меня?

— Рассказывайте, — сказал я, пригубив какао.

Он посмотрел на меня и, удостоверившись, что я внимательно слушаю, тоже отпил чай и начал.

— Это произошло лет двадцать назад, на заре моей молодости. Когда мои писательские мечты в первый раз были жестоко унижены действительностью. Моя первая большая работа, роман, в который я вложил довольно много своих юношеских сил, оказался никому не нужен.

Не то чтобы я сильно витал в облаках и ждал успеха, но какого-то признания всё-таки хотелось. Как и любому творческому человеку. А тут я понял, что миру на мою работу по большему счёту плевать. Это сильно обломало крылья.

Он на секунду замолчал, видимо, что-то вспоминая.

— Я метался между ослабленным этой правдой желанием писать и необходимостью зарабатывать деньги нормальным с точки зрения окружающих способом. Да и вообще, жить как-то более по-земному, приглушив эти странные обрывочные сюжеты, возникающие в голове, — он покрутил пальцем у виска.

— У некоторых людей может возникнуть вполне резонный вопрос: почему бы не делать это одновременно? Почему процесс творения так сложно совмещать с другой умственной работой, которую большинство людей и считает удачной и престижной? Но многие творческие люди меня поймут. Здесь очень сложно быть двуличной натурой. Некоторым это удаётся, но их творческая сторона сильно теряет за счёт такого компромисса. Мне жалко тех, кому пришлось на него пойти.

Сделав небольшую паузу для глотка чая, он продолжил:

— Однажды ночью я лежал и не мог заснуть. К тому времени я почти год ничего не мог написать. Семья у нас была небогатая, жили в однокомнатной квартире с младшим братом и мамой. Отца не было. Теперь понимаете, что необходимость зарабатывать, а не просиживать штаны, стояла весьма остро?

Я кивнул.

— И вот я лежал на своей кровати и мучился бессонницей. Не помню, о чём тогда думал. Но вдруг ко мне пришёл отчётливый образ, вокруг которого начал складываться рассказ. Этот образ был таким чётким и притягательным, что фразы так и закружились в голове! Для меня это было как дождь после засухи… — он хлопнул в ладоши. Люди в кофейне обернулись на звук, но мой собеседник не обратил на них внимания.

— Но я знал, что, как только встану и попытаюсь его записать, он уйдёт. Мгновенно улетучится, сбежит от меня, как было всё последнее время. Я почти привык к той ситуации, когда воображение сначала завлекает меня прекрасными картинами, но как только ручка и бумага оказываются под рукой — предательски разворачивается, показывая язык!

Он жестикулировал, изображая своё смятение.

— И вот я лежу. Времени — третий час ночи, а завтра на работу. И я знаю, что рассказ скорее всего уйдёт. И я наверняка разбужу родственников, если попытаюсь его записать.

Всё это мучило меня! К тому времени я свыкся с мыслью, что жизнь встречает любые необычные, спонтанные, творческие, сумасшедшие порывы отторжением и неодобрением. Я был почти убеждён, что мои игры воображения — всегда не к месту. Что это что-то пустое, несерьёзное, нелепое, бесперспективное.

Он говорил довольно эмоционально, и я обратил внимание, что на нас смотрит сидящая за соседним столиком женщина. Тоже заметив это, мой собеседник подмигнул ей, чем порядком её смутил.

— И вот, лёжа и переворачиваясь с боку на бок, я вдруг подумал: а почему я принимаю за аксиому все эти обстоятельства? Почему *правда* выглядит так, будто всё вокруг стремится меня уничтожить?

Сообразив, что я не совсем понимаю, он объяснил:

— Почему правда не в том, что я писатель и ко мне идёт рассказ, а в том, что мне что-то мешает его записать?

Я подумал, что, если чувствую необходимость заниматься чем-то и жить определённым образом, то именно это и должно стать моей правдой. Не помехи, непонимание и осуждение людей, необходимость спать, когда все спят, а именно то, что я чувствую. Я писатель, к которому идёт рассказ. И что должен делать в этом случае писатель?

Он уставился на меня.

— Писать.

— Правильно! Встать и пойти писать. Если вокруг не происходит пожар или какие-то иные события, на которые стоит реагировать, исходя из здравого смысла. Только не из чужого здравого смысла, а из своего. Потому что чужой может подсказывать некоему человеку, что ты не писатель, а какой-нибудь экономист.

— Но ведь не все чувствуют свою правду,—сказал я,—иногда кажется, что себя совсем не знаешь.

— Да все,—не согласился он,—все её чувствуют. Просто почему-то нас очень сильно убеждают в обратном. И поверить, что исходящая из твоего нутра потребность в чём-либо и есть самый правильный выбор для тебя—великий подвиг, о котором написано тысячи книг. Хотя, наверное, нужно ещё больше.

— То есть вы тогда написали этот рассказ?—вставил я.

— Главное, я пошёл его писать. Остальное не так важно. Я дописал его потом, ведь это работа, она требует времени. Важно, что с того момента всё изменилось.

— Что именно?

— Я поверил в то, что моя правда не слабее правды остальных. И стал вести себя соответствующе.

— А если кто-то чувствует, что его правда—убивать людей?—спросил я.

Он поморщился.

— Фильм «Танец Дели»[1] видели?

Я кивнул.

— Почему Освенцим—это первое, что пришло вам на ум?—процитировал я.

Теперь кивнул он.

— И что, это всё, что нужно, следовать своей правде? Просто поверить в то, что ты прав, и начать так жить?—спросил я. Знаю, это наивно, но мне захотелось задать эти вопросы.—А проблемы? Проблемы, которые из этого возникнут?

— Какие проблемы?—спросил он.

— Те самые. С деньгами, например.

Он посмотрел в свою пустую кружку.

— Нет никаких проблем, понимаешь? Для полярного медведя нет пробок, дымящих заводов, вырубки лесов, голода. Ему не нужен ионизатор воздуха. Кому стало бы лучше от того, что медведь стал беспокоиться по всем этим поводам? Ну, кому? Просто есть те, для кого беспокоиться по всем этим поводам и что-то делать—их внутренняя суть и их правда. Не стоит принимать её на себя.

— И что всё-таки нужно делать?

Он вздохнул и посмотрел на часы.

— Делать придётся много чего. Главное—пойми суть. Поверить в свои мечты и свою собственную идеальную жизнь. Без оговорок и протестов. Поверить и сдаться.

— Кому?

— Тому, кто смотрит на медведя.

Я не понял. Захотелось задать вопрос, но он перебил:

— Мне пора. Приятно было пообщаться.

И добавил, в который раз меня огорошив:

— У тебя всё будет хорошо.

Я вслед за ним встал, а вернее, вскочил со стула и засыпал его вопросами. Как, почему, откуда он уверен? Как его зовут и откуда он вообще взялся? На этот раз все в кофейне уставились уже на меня.

— Только не подумай, что я какой-то пророк,—сказал он.—Мне просто кажется, что ты выберешься из своих передряг. Я склонен считать, что люди способны выбраться из своих передряг. Видимо, поэтому они меня и читают!—он засмеялся.

Было странно, что он не хочет назвать своё имя, но в жизни я встречал людей, предпочитавших нагнетать на себя таинственность, и решил, что здесь тот же случай. Напоследок мы пожали друг другу руки, и я поблагодарил его. Подмигнув опять всё той же даме, внимательно изучавшей нас всё это время, он ушёл так же быстро, как и появился.

Через десять минут я вышел на улицу и вдруг вспомнил, что скоро весна. Я шёл и снова думал о недостатке солнца, о простой химии тела, которая скоро подарит другие чувства, другие состояния, другую правду.

Всё-таки как хорошо, что в этом мире, который, возможно, просто чей-то грандиозный сон, зима кончается.

1. Фильм российского режиссера Ивана Вырыпаева.

Александр Ломтев

Не бойся

Онтология смерти

— Над крестами гроб с покойничком летает,
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят…
И тишина…
К/ф «Неуловимые мстители»

Пустыня раскинулась совершенно ровным палевым кругом, гладко расходящимся к горизонту, и лишь два серых валуна слегка нарушали холодную идеальность плоскости. Арсений сидел на одном из валунов и силился вспомнить, кто он, как попал сюда и зачем. Путешествие? Катастрофа? Может быть, сон? В голове кружил свои галактики первозданный космос; то тут, то там вспыхивали сверхновые, возникали чёрные дыры и белёсыми кометами проносились *редкие* неуловимые мысли, возникая неизвестно откуда и пропадая неизвестно куда.

И отчего-то пахло бензином. Хотя если кто-то спросил бы Арсения, что такое бензин, он, пожалуй, не смог бы ответить. Отчего-то возникло слово «амнезия». А-а, понял Арсений, что-то случилось, я потерял память и поэтому не знаю, кто я и где. Вдруг раздался свист ветра в крыльях, и он увидел, как из низкого тёмно-индигового и отчего-то тоже совершенно плоского неба вынырнул и спланировал вниз человек с огромными крыльями за спиной. Он был тёмен, и крылья его были черны. Человек опустился в двух шагах от валуна, на котором сидел Арсений, подошёл неторопливо, едва касаясь земли босыми ногами и молча сел на соседний валун.

Сколько они просидели так, разглядывая друг друга? Может, минуту, а может, час. Арсений перестал чувствовать течение времени.

— Я Ангел Смерти,— сказал наконец человек с крыльями таким неземным голосом, что у Арсения колоколом загудела голова, зашлось дыхание и заколотилось сердце. Арсений почувствовал, что Ангел заглянул к нему в душу, окинул взглядом космос его мозга и в одно мгновенье всё про него понял. Он понял даже то, что сам Арсений не в силах был осознать, хотя пытался из всех сил. Они помолчали, и холод, заполнивший было душу Арсения, потихоньку просочился наружу, руки потеплели, и сердце забилось ровнее. Ангел пошевелился, словно устраиваясь поудобнее, и начал:

— Эпикур сказал: «Смерть для человека — ничто, так как когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, а когда смерть присутствует, мы не существуем».

Железная логика этого изречения Арсению была ясна давно. Он вдруг вспомнил, что всегда, ну, положим, с раннего детства интересовался этим вопросом. Но отчего разговор коснулся смерти?

— Некоему вельможе бросился в ноги раб,— продолжал между тем Ангел, глядя в глаза Арсению, словно наблюдая за его реакцией.— Он рассказал, что встретил на базаре Смерть, которая грозила ему пальцем. Раб умолял господина, чтобы тот дал ему коня, на котором он смог бы спастись от Смерти, бежав в город Самарру. Вельможа дал рабу коня, и тот умчался. Через некоторое время вельможа и сам встретил на базаре Смерть и спросил: «Зачем ты испугала моего раба? Зачем грозила ему пальцем?» — «Я его не пугала,— ответила Смерть.— Просто я очень удивилась, встретив его в этом городе, потому что в этот вечер мне предстоит с ним свидание в Самарре…»

Ангел усмехнулся и внимательно посмотрел на Арсения.

Ночь. Звонок в дверь. Хозяин спрашивает:
— Кто там?
— Это я, смерть твоя!
— Ну и что?
— Да вот, собственно говоря, и всё…

— От смерти не убежишь, правда? — и он шевельнул чёрными крыльями.

Да уж, мысленно согласился Арсений. А главное — это самая непостижимая и самая притягательная загадка. Вот ты есть в этом мире, что-то делаешь, на что-то влияешь, кто-то тебя любит или ненавидит. И вдруг — тебя нет! Просто нет и всё! И как прикажете с этим жить? Как к этому относиться?

Арсению припомнился вдруг душный жаркий день на Кубе. Шумной группой они шли по узким улочкам колониального городка, пока не вышли к большому старинному кладбищу. Экскурсовод — полненькая, но очень энергичная негритянка — вывела их к китайскому сектору и, указав на кумачовый транспарант над воротами, спросила,

кто отгадает, что на нём написано? И когда кто-то явно в шутку сказал: «Добро пожаловать», удивилась: действительно: «Добро пожаловать!» Это восточное отношение к смерти, сказала она, *там* лучше, чем здесь, и нужно радоваться, попадая *туда*.

Не может быть, ещё подумал Арсений, чтобы китаец не боялся смерти. Наверное, боится, просто народная философия, вся культура бытия учит его относиться к смерти как к явлению неизбежному, но необходимому и даже полезному.

Арсений вспомнил историю двух братьев-вьетнамцев, которую рассказали ему когда-то в школе. Она произвела на него неизгладимое впечатление. Один из братьев был партизаном, французы поймали его, и повели на расстрел. К конвоиру подошёл второй брат и стал упрашивать, чтобы ему разрешили поменяться с братом местами. У того много детей, большие долги, и семья не сможет отдать их; а я бездетный и никому ничего не должен,—говорил он. И охранники на свой страх и риск разрешили. И пойманного отпустили, а невиновного расстреляли.

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
— Ку…
— А что же так ма…

Ангел молчал. Арсений закрыл глаза, и в памяти его всплыли картины молодых лет, когда он бродил с ружьецом по глухим лесам тощего Нечерноземья. Там, в забытых Богом деревеньках, запущенных властями и обойдённых временем, разговаривая со старыми людьми Арсений в какой-то момент понял, что многие из этих девяностолетних стариков и старух смерти не только не боятся, но, случается, и призывают её. «Уж дальше и жить-то незачем,—говорила ему одна бабушка, сгорбленная и сморщенная, словно печёное яблоко, когда сидели они у окна её домика, за которым буйствовала сирень, и Арсению, молодому и весёлому, совсем не думалось о печальном.—И я всем в тягость, и мне житьё в тягость. Все мои подружки уж давно *там*».

«Какая-то старорежимная бабушка»,—подумал тогда Арсений, и пройдёт немало лет, когда логика атеизма станет не такой уж бесспорной, и беседуя со священником небольшой сельской церковки, он вдруг осознает всю глубину и непоколебимую значимость той бабушкиной «старорежимной» философии…

Ангел Смерти, словно подхватив поток его мыслей, заговорил:
— Вы знаете цену всему. Вы знаете всё обо всём. Вы мните себя хозяевами жизни, венцом природы! Но как дети, боящиеся темноты, стараетесь не заглядывать в тёмный чулан философии смерти. Вы *ничего* не знаете о ней, а страх—неизвестность и ожидание. Ожидание неизвестно чего. Всю жизнь обстоятельства, родители, окружающие, общество учат вас всему—от умения ходить и говорить, до умения врать, лечить и убивать. Не учат только умирать. А древние бабушки в затерянных деревеньках застали ещё те времена, когда учили. Человек и тогда, конечно, боялся смерти, зато он знал: *там*—его существование продолжится и *там*—хорошо…

Но мир всё больше отстраняется от философии души, освещавшей человеческий путь и помогавшей достойно уйти из жизни, а взамен…

Жил, жил—и что?

Да вот, собственно говоря, и всё…

У Арсения перехватило дыхание. Да что же такое происходит? Откуда-то из глубины сознания проклёвывался вопрос, который он никак не решался себе задать: умер я что ли?!

Ангел Смерти тем временем достал из складок одеяний книгу и, листая её, продолжил:
— Люди думают: нет иной жизни, кроме земной. И это страшно. И чтобы заглушить страх—смеются. И вот новые атеисты новых времён легко и непринуждённо говорят о таинстве смерти. Ангел разгладил страницы и, сложив губы в ироническую усмешку, прочитал:
— «Утром просыпается и видит, что с ним что-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не даёт. И пульс у него не бьётся, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее поднести к ротику. Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался… Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок… Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скушанное крымское яблочко…»

Наверняка смерть будет чем-то похожа на утро понедельника…

Мимо, гудя мотором, проехал невидимый грузовик, послышался скрип тормозов и через секунду раздался возбуждённый голос: «Смотри-ка, смотри…» Арсений повертел головой, но кроме плоскостей неба и пустыни, да Ангела, внимательно наблюдающего за ним, вокруг ничего не было.

Ангел, словно ничего не услышав, перелистнул несколько страниц:
— Или вот: «В комнату влетел свежий ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах».

Ангел помолчал минутку, давая Арсению подумать над прочитанным.
— Но отсмеявшись и встав на самом краю, вы замираете с трепещущим сердцем, как—уже?! И в ужасе цепляясь немеющими руками за предсмертную простыню, напряжённо глядите туда, куда нельзя проникнуть взором—что *там?!*

Ангел вытянул руку с книгой и книга исчезла. Но вместо неё тут же появилась другая. Открыв её, как показалось Арсению, наугад, Ангел принялся читать:

— «Кто там? — спросил он дрогнувшим голосом… То был некто, обладающий способностью проникать сквозь стены, не прикасаясь к замкам. А когда он пригляделся, то увидел, что это была смерть…

Погоди, смерть! Ещё не настал мой час. Я должен умереть во сне, в полутьме своего кабинета, как предсказала мне в незапамятные времена слепая гадалка… Но смерть отвечала: „Нет, генерал. Это произойдёт здесь, сейчас! Вы умрёте босой, в одежде нищего, которая на вас…“ И он умер так, как сказала смерть, умер тогда, когда меньше всего хотел этого, когда после стольких лет бесплодных иллюзий и самообмана стал догадываться, что люди не живут, а существуют, чёрт подери, что самой долгой и деятельной жизни хватает лишь на то, чтобы научиться жить — в самом конце!»

Ангел кашлянул, выводя Арсения из состояния заворожённости:

— Ты читал это — Габриэль Гарсиа Маркес, «Осень патриарха». Но что ты думал, читая это? Понимал ли, что читаешь? И что теперь думает об этом сам Маркес *там*? Как считаешь?

Что он думает? Как раз в те дни, в советские ещё времена, когда Арсений читал эту вещь, приятель рассказал ему о своём начальнике. Начальник — Очень Большой Человек — умирал. Неизлечимая болезнь. У постели семья, друзья, сослуживцы. За спиной полная трудов и заслуженных наград жизнь. Впереди… Несгибаемый коммунист, правоверный атеист вдруг жутко испугался смерти. И чем больше вокруг него хлопотали, тем тяжелее ему становилось; душевная боль перерастала в боль физическую, и не действовало никакое болеутоляющее. Стыдясь себя и своего страха, на ухо другу признался он, что покоя ему не даёт память об уничтожении храма, за которое он ратовал и в котором принял участие много лет назад. Трезвый, жёсткий, смелый, в общем-то, человек прошептал, что мерещится ему всякая нечисть!

Под страшным секретом привели к нему священника и оставили одних. О чём они говорили, никто, конечно, не знает, но умер Большой Начальник со спокойной улыбкой на устах.

> Стук в дверь. Хозяин открывает. На пороге маленькая косенькая, хроменькая девочка в драном балахоне с капюшоном и сломанной косой в руках.
> — Ты кто?
> — Я смерть твоя!
> — ?!
> — Да, такая вот несуразная, нелепая смерть…

Кто просто жил — тот просто умирает. Эту формулу Арсений неосознанно вывел ещё в детстве.

Ночь. Старая дедова изба. Арсений с братьями на пышущей жаром русской печке в полудрёме согревается после катания с ледяной горы. Из-за занавески видно, как в «передней» гости разливают бледно-молочный самогон в старые зеленоватые стаканы. На столе картошка, капустка, грибки, круглый ржаной хлеб, от которого дед время от времени отрезает большим ножом косые ломти. И разговор…

— Вот он и говорит: тоска что-то на душе, даже самогону не охота.

— Да, маялся, эт точно…

— Да-а… И вот пришёл из баньки, повеселел вроде…

— Да, баня она кого хошь развеселит…

— Да ты слушай! Пришёл, кваску попил, лёг на кровать и помер.

— Да-а-а…

Арсений знал этого дядьку. Здоровяк-шофёр возил его несколько раз в поле к комбайну старшего брата с обедом в узелке. Арсений представил себе, как он здоровый, розовый после бани приходит домой, пьёт ядрёный деревенский квас (с подбородка падают янтарные капли), ложится на кровать и вдруг превращается в покойника. Из живого становится мёртвым. Как раз тем летом похоронили бабушку, и Арсений уже знал, как выглядят покойники, как человека хоронят и как проходят поминки. С тех пор рисовая каша с изюмом ассоциировалась у него с этим печальным обрядом.

А разговор цепляет одну смерть за другой. Этого задавило бревном, другой утонул, третий попал под поезд. Вспомнили и дядю Арсения, который в пургу сбился с пути, долго плутал вокруг деревни, и замёрз насмерть в двух шагах от забора соседского сада.

И чего это взрослые будто бы смакуют подробности, словно это доставляет им какое-то болезненное удовольствие.

Может быть, подумал Арсений, очнувшись от воспоминаний, это нормально — Memento mori?

Арсений вдруг обратил внимание, что плоское небо и такая же плоская пустыня начали менять цвета и странно загибаться краями друг к другу. Появился горизонт, которого — Арсений только теперь это осознал — раньше не было. Небо и пустыня слились в один целый кокон, и этот кокон начал сжиматься. Он сжимался всё стремительнее и, не успев испугаться, Арсений сам превратился в кокон. Перед глазами (перед какими, ведь у кокона не было глаз?!) поплыли разноцветные очень чёткие идеально ровные геометрические фигуры, которые сменились на ослепительные, гипнотизирующие круги, непонятные — похоже, компьютерные — символы. Арсений вдруг осознал, что не дышит! Но как это может быть?! А что такое

дышать? Это втягивание воздуха в лёгкие. Но что такое «лёгкие» и что такое «воздух»?

И в этот момент Арсений осознал с кристальной ясностью: обман! Вся жизнь обман! Нет никакого воздуха, никаких лёгких, нет никакого Я и никакого Мира. Есть лишь компьютерная программа, а вся жизнь — лишь упорядоченное движение электронов.

Страх сжал сердце Арсения (но какое сердце может быть у компьютерной программы?), страх перерос в ужас ожидания неминуемого небытия: сейчас, вот-вот сейчас кто-то могущественно несуществующий (Бог?) щёлкнет кнопкой и сознание Арсения начнёт стремительно меркнуть, сощёлкнется в узкую белую линию, которая превратится в ослепительную точку — и всё!

Арсений почувствовал, как ужас переродился в сильнейшее разочарование, потом его объяла невыносимая печаль, которая неожиданно вылилась в злость. И эта злость, не известно где находившаяся (Арсения-то не было), остановила панику. Арсений с облегчением почувствовал, что снова дышит, что у него есть тело, что Ангел Смерти по-прежнему сидит перед ним на сером валуне и внимательно за ним наблюдает.

Всё вошло в норму, только отсутствия горизонта Арсений никак не мог понять, да застрял на дне сознания вопрос: так жизнь действительно реальна или просто кто-то передумал пока нажимать кнопку «выкл»?..

> Стук в дверь. Хозяин открывает дверь, а на пороге маленькая — с голубя смерть. Маленькая, но страшная, с косой, в чёрном балахоне и капюшоне. Хозяин схватился за сердце, но смерть замахала руками:
> — Да не бойся, не бойся, я не к тебе, к твоей канарейке.

Они посидели молча, и когда сердце Арсения стало биться ровнее, Ангел поменял книгу на новую и прочитал:
— «Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стёкла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: „Неужели?..“ Ещё раз, и последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно».

Арсений открыл глаза и увидел, что сидит в тесной комнатушке медпункта; вокруг него военные; все смотрят в маленький экран переносного телевизора. Где-то за спинами на белой кушетке на жёстком солдатском байковом одеяле (в медпункте очень жарко) постанывает раненый человек. Арсений не видел его, но знал, что это горбоносый крепкий с зелёными глазами и многодневной щетиной чеченец. Живот его перебинтован, и на белой марле проступили желтоватые и розовые пятна.

На экране телевизора развалины кирпичного дома, похоже, многоэтажки. Бородатые люди в зелёных повязках на головах, камуфляжной форме и с автоматами в руках окружили невысокого белобрысого мужчину в летней форме с лейтенантскими погонами. Арсений непонятно как знает, что плёнка, которую они смотрят, каким-то образом связана с раненым человеком, постанывающим за спиной.

Тем временем камуфляжники на экране спрашивают что-то у пленного, показывают в камеру его документы, заставляют его раздеться и разуться. Пленник, не торопясь, явно затягивая время, снимает ботинки, и всё время что-то говорит извиняющимся тоном людям с автоматами. Автоматчики улыбаются в ответ, но улыбки эти напоминают Арсению оскал кошки, играющей с полуобморочной мышкой. Арсений заметил вдруг среди бородачей кого-то в длинном хитоне и с крыльями за спиной, но, похоже, его не видят ни автоматчики, ни пленный, ни люди, смотрящие телевизор. Взгляд существа с крыльями напряжён и печален. Арсений понимает, что сейчас произойдёт, и всё же когда бородачи отходят от пленного и раздаются выстрелы, он вздрагивает. Босой пленный падает. Раздаётся ещё несколько выстрелов, и после каждого босые ноги убитого нелепо дёргаются. Один из стрелявших подходит к трупу и бросает ему на грудь раскрытый паспорт. Камера неровно наезжает и Арсений видит фотографию молодого человека и надпись «Зайцев Игорь Валентинович».

Арсений задумался. Странный кошмар. Как это связано со мной? — силился понять он.
— Всему своё время, — басовым колоколом прогудел голос Ангела Смерти. И Арсений снова увидел вокруг всё ту же палевую пустыню, уходящую в бесконечность и нигде не соединяющуюся с низким небом.

«А, может быть, то, что снится нам в страшных кошмарах, — это предсказание будущего или, может быть, проекция того, что происходит прямо сейчас в каких-то других, параллельных мирах? — подумал он. — Да может быть, и не в иных мирах, а здесь, на земле, где-нибудь за тысячу вёрст отсюда».

Чувство, которое он только что испытал показалось ему знакомым. Да, тот сон… Странный сон… Гостиница, длинный темноватый коридор не известно в каком городе, не понятно в каком году. Зима? Осень? За окнами серое утро. Арсений шёл по этому коридору, а навстречу шла улыбающаяся незнакомая женщина. Арсений улыбнулся в ответ, но вдруг поразился, поняв, что улыбка встречной — коварно-злобная и совершенно жуткая.

Арсений силится перестать улыбаться и не может. Он входит в ванную комнату, запирает за собой дверь на шпингалет, поворачивается к зеркалу и, заледенев, видит отражение стоящей у него за спиной страшно ухмыляющейся женщины! Но он же запер дверь! Арсений с бьющимся сердцем обернулся—никого! И тут неведомая сила агрессивно и жестоко принялась ломать и душить его. Весь в холодном поту Арсений сопротивлялся из последних сил, и только твердил про себя: главное не сойти с ума, главное не сойти с ума!

В какой-то момент он осознал, что борьба идёт не физическая, что это душа его борется с чем-то чему нет ни названия, ни определения, ни описания. И когда Арсений понял, что легче умереть, чем потерять душу,—он проснулся…

Он и до сих пор уверен, что Нечто во сне или в каком-то другом измерении (уж очень это было не похоже на сон) пыталось отобрать у него жизнь; и если бы он не справился, утром его нашли бы в постели мёртвым… Или безнадёжно свихнувшимся.

«О, чёрт!—испугался вдруг Арсений.—Я же сошёл с ума! Вот в чём дело. Лежу в палате какой-нибудь психушки, а сам галлюцинирую. Как там—не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума? Да, это всё объясняет. И Ангела, и эту пустыню…»

Врывается мужик к соседу—весь взмыленный, бледный, руки трясутся.
— Будь другом, дай закурить!
— Так ты же бросил три года назад.
— Поднимешь тут поневоле—Смерть только что постучалась в двери.
— Что-то ты подозрительно живым выглядишь.
— Да она за наждачным бруском заходила—коса затупилась.

Тоска начала сосать его сердце: ведь отсюда же теперь ни за что не выбраться. Но почему, почему?

Почему пахнет бензином? Почему слышны звуки машин и—сквозь вату—людские голоса? Ангел их, интересно, слышит?

Может быть, и слышал, но вида не подавал, он полистал очередную книжку и, расправив лист, прочитал:
— «Смерть—это робот, управляющий миром действия. Смерть безмолвна, у неё нет рта. Смерть никогда ничего не выражала. Но в ней есть нечто заманчивое, некое послевкусие. Только тот, кто вроде меня открыл рот и сказал: „Да, да, да“ и ещё раз „Да!“—способен встретить смерть без страха, с распростёртыми объятиями. Смерть, как вознаграждение—да! Смерть в результате свершения—да! Смерть в венце и на щите—да!»

«Интересно,—подумал Арсений,—Генри Миллер, написавший эти полубезумные строки, сегодня, уже оказавшись *там*, по-прежнему готов подписаться под ними?»

— Когда-нибудь ты сам у него это спросишь,— улыбнулся Ангел.—Но ещё не скоро…

Значит, не умер, решил Арсений. Всё же сошёл с ума? Интересно: сумасшествие равно смерти? Или это другое состояние? Сколько было гениальных сумасшедших, но были ли они при этом самими собой—вот в чём вопрос!

Арсений поневоле улыбнулся, вспомнив безобидного деревенского дурачка, которого он видел, приезжая на каникулы в дедов дом. Саня-кнут. Классический такой юродивый: ходил в обносках, зимой и летом босиком, в сумку собирал всё, что ни найдёт, или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и разговорчивым. И всё время не расставался с самодельным верёвочным кнутом, за что и был прозван Саня-кнут.

Дед, когда сильно сердился на Арсения за детские его не всегда разумные проделки, говорил в сердцах:
— Да у тебя понятия меньше, чем у юродивого! Вырастешь, будешь, как Саня-кнут с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-кнут истово верующим. И была у него мечта: попасть на камушек Серафима Саровского. Саровский монастырь в те годы уже оказался за колючей проволокой; посёлок, что был под его стенами, облюбовали учёные и военные, которым Родиной было поручено создать атомную бомбу, чтобы ответить на бомбу американскую и спасти мир от войны. За колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, вдоль которой ходили солдаты с овчарками, оказалась и Дальняя пустынка, где Серафим вершил свой главный подвиг. Так что мечта попасть туда была из области несбыточных.

Но не зря старые бабушки говорят: вера сотворит любое чудо. Невероятно, но факт: на серафимовских местах Саня-кнут побывал!

Как-то в июле он вдруг из села пропал. А через месяц его привезли на военном газике, провели в правление колхоза, а потом опять посадили в газик и увезли. Верёвочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане… После этого юродивый сгинул окончательно…

И только годы спустя тайное стало явным.

В то лето Саня-кнут во что бы то ни стало решил попасть в секретный город и пробраться на Дальнюю пустынку. Он всю весну и весь июнь бродил вдоль колючей проволоки и выискивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнолицый солдат—то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

И вот в конце концов Саня набрёл на железнодорожную ветку, по которой в закрытый Саров по ночам ходили время от времени составы. Тут он и понял, как проберётся в город. Выждав,

когда на станцию пригнали состав с лесом, он нашёл платформу с самыми большими брёвнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботиться о дураках, пьяных и Соединённых Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог видимо пожалел Саню, и его не раздавило брёвнами, не унюхали овчарки, не проткнул длинным железным штырём солдат на кпп. Когда состав пришёл на товарную станцию Сарова, была ещё ночь, и Сане удалось незамеченным выбраться из брёвен и так же не обнаруженным уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике на Дальней пустынке, которую нашёл без труда по рассказам богомольных деревенских стариков, ещё помнивших, как их в детстве водили на поклонение мощам Серафима и в монастырь, и на пустынку. Однако когда кончилась принесённая в котомке еда—хлеб, печёная картошка и печёные же яйца, пришлось идти в город. Тут, в городе его и замели. Для интеллигентных жителей научного Сарова в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка. кгб в те времена работал шустро. Саня-кнут был моментально задержан, доставлен куда следует, и кто следует, его допросил. Долго не решались поверить, что оборванный человек не американский или, на худой конец, английский шпион. Несмотря на то, что Саня-кнут подробнейшим образом описал, как он проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, саровские рыцари плаща и кинжала долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии шпионского направления, допрашивая его, как инквизиция Коперника. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы, и вышел из себя лишь однажды, когда кгбшники отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались.

В конце концов Саню посадили в газик, привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией кгбшникам пришлось-таки с большим сожалением расстаться…

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в гбшный газик, Саня-кнут беспечно и счастливо улыбался. Ещё бы, его несбыточная мечта сбылась. Газик повёз его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные старушки тайком крестили воздух ему вслед…

С тех пор ни одного юродивого в наших краях никто никогда не видел…

Да, но не всё так безобидно. Бывают ведь и другие сумасшедшие. Как же он мог забыть о двоюродной своей тётке—Маряклньe? Звали-то её, конечно, Марья Яковлевна, но так уж повелось, что торопливая родня не размениваясь, слила имя и отчество в одно прозвище—Марякльна—и всё. Работала она в психбольнице. Уж давно… И вот была, была, а потом пропала. Арсений знал её мало и даже не поинтересовался—куда делась. И только потом рассказали ему, как было дело. Был у них там один буйный. И как-то так вышло, что только Маряклньe его удавалось успокаивать. Уж чем она его взяла—неизвестно, только тот даже стал вроде как в себя приходить. Марякльна упросила главврача, чтобы ему разрешили в общий холл выходить и даже гулять изредка. А весной он её в дровяном сарае зарубил. Рассказывали, что пришёл в общую комнату с топором, а с лезвия кровь капает. Стоит, глаза ясные, как бы даже весёлые, вроде как доброе дело какое сделал… Потом, правда, дошло, что ли до него, буянить начал, кричал жутко, плакал. Но недолго мучился, однажды ночью порвал на лоскуты простыню, да и повесился…

Говорят, когда Маряклньу нашли, она ещё живая была. И вроде еле дышала уже, и голова в крови, а глаза ясные, и вроде как не больно ей совсем. Не судите, говорит, его, он хороший, больной только…

Арсений передёрнулся. Нет, уж лучше посох и сума. Всё же страшная штука—смерть. Или не страшная? Ему припомнился сумрак вечерней избы, иконы, поблёскивающие серебряной фольгой окладов в танцующем свете свечей. Старенький священник, прихлёбывая, попивает крепкий душистый чай с неведомыми травами, и отвечает на наивные, воспитанного в атеизме Арсения вопросы.

— Вот если ты христианин, значит, должен помнить свой смертный час—и вовеки не согрешишь. Перед смертью все твои богатства, кроме духовных,—тлен и ничто. Знаешь, как в народе говорится—гроб карманов не имеет. А смерть—не горе. Смерть—для нас живых печаль об ушедшем, но для усопшего рождение к новой жизни.

Потрескивает фитилёк лампадки, пахнет ржаным хлебом, травами и лампадным маслом. Старый человек с улыбкой смотрит Арсению в глаза:

— Смерти не бойся.

— Да я и не боюсь…

— И хорошо.

Ангел тонко и холодно улыбнулся, спросил громовым голосом:

— Так не боишься?

Словно ледяным ветром повеяло в лицо, сердце снова забилось со страшной силой. «Так не боюсь?—замирая от страха, спросил Арсений сам себя.—И почему он спрашивает меня об этом?

И зачем мы так долго — час? день? год? Беседуем о смерти? Экзамен? Чистилище? Бред?»

Отчего ещё сильнее запахло бензином.

На вопрос «Как вы хотели бы умереть?» было получено много разных ответов. И только один из более сотни опрошенных ответил: «Никак»…

Ангел встал, расправил складки хитона, засмеялся и взмахнул невероятными крыльями, отчего стало ещё холоднее. Пустыня вдруг начала стремительно белеть, и Арсений почувствовал холод снега. Ангел оторвался от земли и, поднимаясь в небо, закричал громовым голосом:
— Не бойся! Не бойся, но помни! Очнись, парень, очнись!..

— Очнись, парень, слышишь, очнись! — голос из громового превратился в обычный мужской человеческий, и Арсений почувствовал, что кто-то трясёт его за плечо.

Солнце било в глаза, капала со лба кровь, в голове гудел колокол. Снег залетал в расплющенное окно автобуса, завалившегося на бок под откос шоссе. Пахло пропитавшим снег бензином. Из-за переднего сиденья торчала рука со скрюченными в последней судороге пальцами. Рядом застыла в нелепой позе женщина с открытыми, но слепыми глазами и оскаленным в немом крике ртом. Человек в зимней куртке и сваливающейся ушанке тащил Арсения за рукав из разбитого автобуса:
— Очнись, парень, очнись. Бензин разлился, может полыхнуть.

Автокатастрофа! И Арсений всё вспомнил.

В эту командировку он очень не хотел ехать. И ему самому было это странно, ведь он любил поездки, любил новые места и встречи. Недаром бабка называла его порой Шатун Гулящий. А тут надавило что-то на сердце, навалилась депрессия, впору отказаться. Только как откажешься — работа. Пришлось ехать. Арсений ясно вспомнил, как автобус весело летел по зимнему шоссе, как сверкало солнце в инее белых берёз и пушистых лиственниц. Он даже повеселел и начал получать удовольствие от поездки. А в какой-то момент увидел в лобовом стекле «Икаруса» мчащийся навстречу грузовик, потом заснеженные деревья придорожной лесопосадки, странным образом переворачивающиеся кронами вниз, и очнулся сидя на валуне в странной пустыне…
— Ну, парень, повезло тебе, — гудел над ухом мужчина, помогая Арсению взобраться на обочину. — Четыре трупа вокруг тебя, а тебе только бровь поцарапало. Ну, повезло.

Арсений стоял, в оцепенении смотрел, как одни люди, вытаскивают из покорёженного брюха автобуса других людей, слышал, как кто-то кричал, кто-то кого-то звал и никак не мог придти в себя. Он почувствовал на себе взгляд и обернулся. На противоположной обочине шоссе стоял высокий человек в длинном — почти до пят — чёрном пальто, пристально смотрел на него и слегка улыбался. Он оглядывал Арсения, словно хотел в чём-то убедиться.

Незнакомая женщина подошла к Арсению и принялась платком вытирать кровь на его лице, а когда отошла и Арсений обернулся, человека в чёрном уже не было.

Снег падал из лёгких редких облаков и сверкал на солнце, мороз пощипывал лицо. Но Арсений не замечал этого. Мысли его медленно плыли одна за другой. Наверное, это правильно, что мы не знаем, когда и как умрём. Наверное, это правильно, что мы не знаем заранее, что *там*. Может быть, только это и делает нас людьми. Но как же хочется верить, что душа *там* по-прежнему жива. Потому что, если это так, то есть надежда на прощение. Есть надежда на то, что тот, кого ты обидел, не понял, кому не помог, видит твои запоздалые мучения, чувствует их и — сочувствует? А может быть, и прощает?

Поскрипывая затоптанным снегом, Арсений неторопливо побрёл к автобусу, который подогнали, чтобы забрать пострадавших. Он сидел в холодном кресле, смотрел на суету за окном и думал о том, что хоть всё и пойдёт в его жизни по-прежнему, что-то в нём самом будет иным. Он никогда не забудет слов Ангела «Не бойся!», но не забудет и о кнопке с надписью «Выкл.»…

Кирилл Анкудинов

Поэзия и прогресс

1. «Теория меньшинств» и прогресс

Существует ли прогресс в поэзии?

Существует ли прогресс в культуре вообще? Когда я сдавал экзамен по философии в аспирантуру, мой экзаменатор, старый марксист, задал мне этот вопрос. Я сказал, что прогресса в культуре нет — и получил протестующее замечание.

Некоторые изменения в культуре безусловно происходят. Поэзия тоже меняется по ходу времени. Современная поэзия не похожа на поэзию XVIII века, и не только характером лексики. Изменяется мышление поэтов, становится иной методология отношения к лирическому объекту и к авторскому слову; притом эти перемены являются не локальными, а массовыми. Прогрессивны они или регрессивны? Это зависит от взгляда наблюдателя за ситуацией.

Есть две крайние точки зрения. Первая (назову её «квазиаристотелианской») чрезвычайно распространена среди идеологов и практиков так называемой «актуальной литературы»; эта установка *требует* от поэзии непременной новизны. Отсутствие таковой в предпосылках этой установки делает поэтический текст неполноценным по причине отсутствия в нём смысла, приравненного к новизне.

«Так или иначе, есть *культурно бессмысленные* стихи (курсив авторский. — *К.А.*). Именно про них возникает вопрос: а зачем вы это написали? Я бы немного откорректировал его: а зачем вы это нам принесли?.. Из миллиона стихотворений, написанных за год по-русски, более 99% не имеют культурного смысла и бесследно исчезают, будучи помещёнными в русскую поэзию, условно говоря, от Сумарокова до Херсонского. Как старательный детский рисунок в Третьяковке» (Леонид Костюков. Провинциализм как внутричерепное явление // Арион. 2009. №4).

Уязвимость квазиаристотелианского подхода связана с проблемой механизмов верификации культурной цены текстов. Научные гипотезы в точных науках верифицируются сравнительно легко, ещё проще происходит верификация технических открытий и изобретений. Но если мы примем к действию тезис «в поэзии хорошо всё, что ново», мы потонем в океане «поэтической информации, претендующей на новизну». Тем более что такая «новизна» не вызовет сочувствия и / или интереса у подавляющего большинства аудитории, так или иначе ориентирующейся на традиции. Доверившись этому тезису, мы рискуем получить лавинообразное увеличение «культурно-энтропических текстов», да ещё и вне «обратной связи».

Есть противоположная крайность, наиболее чётко высказанная советским критиком, литературоведом и поэтом Татьяной Глушковой в статье «Традиция — совесть поэзии» (давшей название книге; М.: Современник, 1987).

«О чём же поэт-критик (Е. Винокуров. — *К. А.*) ведёт речь? Об *улучшенности* (здесь и дальше курсив авторский. — *К. А.*) анапеста — сравнительно с гекзаметром? Тактовика — в сравнении с силлаботоникой? О прогрессивности „тёмного бега реки" (Пушкин) сравнительно с „зыблющей равниной волн" (Державин)? А с другой стороны, об улучшенности „осатаненья льющегося пива С усов обрывов, мысов, скал и кос" (Пастернак) относительно „тёмного бега реки" или пушкинской же „свободной стихии"?.. О прогрессе („более совершенном состоянии") творчества наших сегодняшних поэтов — сравнительно с Гомером? Шекспиром? Пушкиным? Блоком?..

Абсурдность подобных утверждений, кажется, самоочевидна; а причина увлечённости абсурдным — пожалуй, в модности („современности") слова („прогресс"), бесконтрольно растёкшегося на области, с ним не сопряжённые, им не оцениваемые.

Говорить о прогрессе возможно разве в пределах конкретного, индивидуального творчества, где действительно проследим бывает рост, движение именно вперёд — от начальных, слабейших, ученических стадий к зрелым и высшим. Или, быть может, в рамках лишь *зарождающегося* жанра или вида искусства, чего, конечно, нельзя в XX веке сказать о русской поэзии» (стр. 128).

Точка зрения Татьяны Глушковой, пожалуй, ближе мне, чем противоположная ей точка зрения Леонида Костюкова. Однако и с глушковской

установкой на невозможность (абсурдность) прогресса в поэзии я не могу согласиться. Пушкин впрямь в чём-то прогрессивнее Державина: не будь так, он не считался бы создателем русского литературного языка (в том числе литературного языка поэзии). И будь так, то среди современных авторов количество подражателей Державину и количество подражателей Пушкину было бы равным (ведь нет же никакой «прогрессивности» Пушкина по отношению к Державину). Между тем число наших современников, «пишущих в пушкинском стиле», огромно, а «державинского стиля» как такового в нынешней поэзии нет (есть только стилизации и дистантные влияния в интонациях, приёмах и т. д.).

Я думаю, что разрешить загадку «прогресса в поэзии» невозможно, не обратившись к теории социальных меньшинств, разделяющей таковые на два типа — на «закрытые меньшинства» и «открытые меньшинства».

«Открытые меньшинства» попадаются на глаза общественности реже, чем «закрытые меньшинства»; однако именно с «открытыми меньшинствами» связана суть прогресса (и понятия «прогресс»).

Поясню следующим примером. В Российской империи XIX века подавляющее большинство населения было неграмотным. В самом многочисленном тогдашнем сословии — в крестьянстве — количество грамотных составляло исчезающее малое меньшинство. Немногочисленные грамотные крестьяне были, и их мироощущение в своей среде было подобно мироощущению некоторых современных меньшинств: оно порождало сходные комплексы и коллизии. Русский крестьянин XIX века, владеющий грамотой, в крестьянской среде чувствовал (примерно) то же, что чувствует еврей в нееврейской среде (и большинство к нему относилось соответственно).

...Прошли десятилетия и века, и теперь грамотные люди из меньшинства стали абсолютнейшим *большинством*.

Это и есть «открытое меньшинство» — такое меньшинство, которое может стать (и обычно становится) большинством в процессе научения, овладения полезными практиками. А сам процесс овладения навыками составляет содержание того, что называется словом «прогресс».

Когда появились первые автомобили, сообщество «умеющих управлять автомобилем» включало в себя считанное число экзотов (в основном из круга «сильных мира сего»), потом оно стало «корпорацией профессиональных шофёров» (оставаясь меньшинством). В настоящее время уже я, не умеющий водить машину, ощущаю себя меньшинством. Точно так же пользователи компьютеров из меньшинства становятся большинством.

Однако гораздо чаще в обществе встречаются совсем другие меньшинства — те меньшинства, которые никогда не превратятся в большинства, потому что они изначально устроены как меньшинства, потому что их превращение в большинства не нужно и объективно невозможно. Некоторые из этих «закрытых меньшинств» отрицательны (наркоторговцы — безусловное «закрытое меньшинство»), некоторые позитивны — в той мере, в какой нужны обществу и не выходят за рамки своих обязанностей (полицейские или государственные чиновники — тоже «закрытые меньшинства»); чаще всего «закрытые меньшинства» нейтральны. «Закрытые меньшинства» имеют либо врождённую, либо добровольную природу: рыжими рождаются, а панками или нумизматами — становятся. Эталонный пример закрытого меньшинства (смешанной «врождённо-добровольной» природы) — аристократы. При любой их оценке нельзя не признать, что аристократы — меньшинство, которое никогда не станет большинством: сам смысл аристократии как социального явления в том, что «аристократы в меньшинстве».

И, разумеется, «закрытые меньшинства» не могут быть агентами прогресса — никакие, ни врождённые, ни добровольные. Одни *не смогут* обеспечить прогресс, другие — *не захотят*. Ни рыжие, ни панки, ни нумизматы, ни аристократы, ни наркоторговцы, ни полицейские никогда не станут большинством в человечестве.

Теперь я перейду к культуре, и с культурой, как всегда, всё очень сложно — как с любым самоорганизующимся сообществом (а культура — в своей совокупности — есть явление самоорганизующееся, природное; культуру уместно сравнить с изменчивым облаком или с океаном, а не с неизменными творениями человеческих рук — статуями и законами). Некоторые культурные стратегии и их проявления соотносимы с «открытыми меньшинствами», а некоторые — с «закрытыми меньшинствами»; притом чёткую границу между ними провести невозможно. К тому же движение культурных потоков мало предсказуемо: бывало так, что авторы, представлявшиеся современникам «герметичными» и «элитарными», спустя века формировали повестку мейнстрима и, напротив, «площадные», наидемократичнейшие тексты в грядущем оказывались достоянием исключительно специалистов. Но иногда культурные сообщества *сознательно* позиционируют себя как «закрытые меньшинства» аристократического типа. Такие сообщества регулируются-охраняются цензом приемлемости текстов, выверяемым не столько по общей «сложности», сколько по эзотерической непохожести на всё, созданное «экзотериками», «не аристократами». Такие «закрытые меньшинства культуры» действительно генерируют новизну, только эта новизна никак не связана с прогрессом. Кстати, они-то для себя легко выявляют (верифицируют) «правильно новые» тексты в общем

массиве «новья» — по корпоративным «паролям», непрерывно меняющимся.

...Во французской литературе XVII века было два противоборствующих литературных направления. Тон задавал классицизм, и он позиционировал себя как «открытое большинство». Идеологи классицизма хотели, чтобы к их установкам приобщилось как можно больше людей. Классицизм был *просветительским*, экспансионистским проектом. Классицисты не терпели «варварство» и «простонародность», но они не отгораживали себя от «простонародья». Они стремились переплавить «дикость простонародья» в (классицистическую) «культуру».

Однако во Франции этого же века было другое направление — прециозная литература (Оноре д'Юфре, Мадлена де Скюдери, Сирано де Бержерак); оно позиционировало себя как «закрытое меньшинство» (фактически это было аристократическое ролевое сообщество). Прециозисты намеренно писали тексты, интересные исключительно кругу посвящённых, отгороженные от всякого социального содержания.

Концепт прогресса был по умолчанию включён в идейно-эстетическую программу классицизма (классицисты понимали прогресс как перманентное окультуривание «дикости» в рамках просвещённого абсолютизма). А в семиосистеме прециозной литературы понятие «прогресс» было бессмыслицей и вообще не могло дискурсивно существовать. Прециозная литература не имела механизмов культурного наследования, а случайные факты такого наследования подрывали смысл «прециозности», что было исчерпывающе показано классицистом Мольером в комедии «Les Précieuses ridicules» («Смешные прециозницы»): провинциальные мешанки Мадлон и Като стремятся к вершинам прециозной культуры, обретают её живые эталоны в лице молодых аристократов. Однако «аристократы» оказываются переодетыми лакеями Маскарилем и Жодле, и взаимообмен «закрытого сообщества» оборачивается фарсовым взаимообманом.

Культурный прогресс, осуществляемый через «открытое меньшинство», сложен. Но он возможен. Он может проиграть (как проиграл классицизм — по ряду причин, не рассматриваемых в этой статье), он может выиграть долгосрочно, но всё же временно (как выиграл на семь десятилетий в нашей стране марксизм). Такой проект требует тщательнейшего осмысления механизмов «обратной связи» со средой «большинства». Конечно же, это риск (это — многие тысячи рисков). А культурный прогресс, осуществляемый через «закрытое меньшинство» — это не риск, это нелепость и знак-стигмат культурной травмы. «Аристотелианцы», ратующие за прогресс в литературе и одновременно отвергающие все вкусы за пределами собственной корпорации, движимы не целеполаганием, а чем-то иным (по моему мнению, неврозом, сублимируемым в разрушительной «игре» по Эрику Бёрну). Культура «закрытых меньшинств» может претендовать на многое: иногда она способна создавать прекрасные произведения (и даже гениальные произведения), иногда она находит почитателей и исследователей в будущих веках; она не может претендовать только на то, чтобы быть источником и / или каналом, движущим началом и звеном прогресса. Она вне прогресса. Невозможно писать для замкнутого круга избранных и провозглашать прогресс.

Не случайно две революции, произошедшие в русской поэзии XIX века, совершили не усложнение стиха, не его элитизацию, а, наоборот, его *упрощение*. Пушкин в 20–30-е годы XIX века демократизировал поэтический *язык*, устранив эзотеричность допушкинской поэзии — либо барочно громоздкой, либо избыточно салонной в «лёгкости». А «некрасовская плеяда» в 40–60-е годы XIX века демократизировала *тематику* поэзии, избавив её от условностей и спиритуализма — так русская поэзия стала реалистической.

Неизбежен вопрос: а как же третья революция, грянувшая в начале XX века? Как же Серебряный век? Ведь он изменил состав русского стиха, притом изменил навсегда: ныне невозможно писать стихи, какие писались в пушкинскую эпоху, — потому что поэзия прошла через Серебряный век. Нам кажется, что Серебряный век был не упрощением, а многоуровневым *усложнением* стиха. Тем более нам кажется, что он *элитизировал* (и спиритуализировал) поэзию. В самом деле: вот в конце XIX века были сиволапые народники и попсовики-романсовики; а вот пришли изысканные индивидуалисты-символисты; а вот — в XX веке — явилась многообразная сложность — позднесимволистская, футуристская, имажинистская, обэриутская — со всем своим меню небывалых поэтических стратегий — автоматическим письмом, заумью, абсурдизмом.

Но может быть, нам только *кажется*, что Серебряный век сотворён «закрытыми меньшинствами»? Я не сомневаюсь, что Серебряный век был, не сомневаюсь, что он принёс поэзии прогресс, не сомневаюсь, что он был движим культурными меньшинствами, я даже не сомневаюсь, что некоторые из этих меньшинств позиционировали себя как «закрытые».

Что же произошло в Серебряном веке? Надо разобраться.

2. Серебряный век: прогресс как стихия

Русская литература XIX века была преимущественно дворянским делом; в конце XIX — начале XX веков в неё хлынули толпы представителей иных сословий, доселе пребывавшие вне литературы.

Они не могли быть ни читателями, ни писателями, потому что не владели грамотой. Аграрная реформа 1861 года разрушила сельскую общину; значительная часть крестьянства переселилась в города и была вынуждена научиться грамоте. Это был безусловный прогресс, и он привёл к некоторым последствиям, в частности к формированию массовой вербальной письменной культуры (массовой литературы и массовой журналистики). Она обслуживала потребности «новограмотной» публики. Другие приобщившиеся к литературе (представители низового духовенства, старообрядцы, некоторые мещане и купцы) были грамотны и были читателями. Но они не были читателями литературы. И вот все эти люди стали читателями литературы (и писателями тоже).

Надо заметить: не быть в литературе не значит — не быть в культуре вообще. Человек не может существовать вне культуры. Люди, жившие вне литературы, пребывали в *своей* культуре с её формами. Во-первых, это — фольклор (литература невербальная, неавторская и не вполне литература по большому счёту); во-вторых — культурные практики, к литературе вообще не относящиеся, но иногда сопровождаемые вербальными актами (хлыстовские распевы, выкрики юродивых, рассказы паломников). По мере расширения литературного поля за счёт увеличения его участников остаточные проявления этой культуры инфильтровались в литературу.

Потребности «новобранцев литературы» не сводились к чтению (и воспроизведению) масскульта. Некоторые из «новобранцев» хотели (и могли) реализовать себя в «высокой литературе». Но они несли в себе *способ мышления*, сформированный обстоятельствами их родной культурной среды и не похожий на способ мышления литераторов XIX века, это обеспечивало новизну их литературной практике.

Часто людям кажется, что все мыслят так же, как они. На деле формы и способы человеческого мышления разнятся. Цена, которую мы платим за прогресс, — выравнивание культурного поля и актуализация для нас древних кодов из ядра культуры. Пока культура сегментирована, эти коды не известны нам и не влияют на нас; крушение социокультурных перегородок приводит к тому, что из тёмных пучин культуры к нам всплывают «глубоководные рыбы» (и навязывают нам свою глубоководную речь, формируют наше мышление).

…Если типичному современному человеку (не продвинутому в литературе) показать стихи Пушкина и стихи Велимира Хлебникова, он предпочтёт Пушкина. Но *думать* — понимать окружающий мир, объяснять себе причины его изменений, выстраивать стратегии поведения в нём — он будет *как Хлебников*, а не как Пушкин. Изящная пушкинская «философия судьбы» нам недоступна, потому что мы ежесекундно получаем информацию, которую не получал и не мог получать Пушкин. Зато специфическое мышление «хлебниковского типа» — с его тотальным конструктивизмом, ретроутопизмом и конспирологизмом, с его заражённостью «славянскими» мифомаячками, с его установками на автоматическое письмо — ныне повсеместно. И наш типичный современный человек, пишущий стихи, станет подражать Пушкину, насыщать тексты «пушкинскими словечками» — «музами», «девами» и «кумирами», а получаться у него будет, как у Хлебникова (не чуждавшегося тех же «пушкинских словечек»).

Кстати, Велимир Хлебников был бы возможен и в XIX веке; вероятно, он и тогда творил бы то, что творил. Вот только тогда он был бы не поэтом, а каким-нибудь «каликой перехожим», «нищим странником»; и у него самого не было бы потребности считаться поэтом; и в историю поэзии он бы не вошёл. Не случайно, попав в Персию, Хлебников прослыл тем, кем слыл бы в прежних социальных рамках — «урус-дервишем». От «странника-дервиша» (по меркам России XIX века и Персии) — через «инновационного поэта-модерниста» (по меркам России начала XX века) — к типичному современному человеку — вот вехи пути «Хлебникова». На всех этих этапах «Хлебников» неизменен; он таков, каков есть. Но изменяются пути его реализации, и изменяется наше восприятие его культурной деятельности. И это — плод культурного прогресса. Кстати, плод неоднозначный: в позднесоветское время Эдуард Асадов формально поэтом был, но ни один советский критик никогда не писал о нём — Асадов считался «фигурой вне поэзии», и его тексты распространялись по фольклорным каналам. Прошли десятилетия — ныне Асадов стал чемпионом среди поэтов советского периода по количеству издаваемых сборников. Механизмы прописки Асадова в литературе и механизмы прописки Хлебникова в литературе — идентичны. Эксперты скажут, что Хлебников — хороший поэт, а Асадов — плохой поэт. Вот только повлиять на работу издательств эксперты не смогут. Что поделать — иногда прогресс действует как стихия. Вычленить стихию на «хорошие» и «плохие» составляющие невозможно. Стихия нераздельна.

Теперь поглядим, что стихийный прогресс Серебряного века дал русскому стиху.

Пожалуй, самое значительное влияние на современную поэзию оказал символизм.

Новизна символизма проявилась не столько в расширении тематики, сколько в ином отношении к образу. В реалистической поэзии второй половины XIX века образ указывал на предмет. В символистской (и постсимволистской) поэзии образ (субъект называния) не связан с предметом (объектом называния), а связан со сложным ритуалом культурных соответствий. Символистское

мышление выросло из мышления аллегорического, эмблемного (образ — эмблема чего-либо). Аллегорическое мышление привязывает означающее к своему означаемому при помощи навсегда закреплённого переноса смысла; в символьном мышлении означающее отвязывается от означаемого и существует само по себе. Образы символистской культуры не существуют в предметном мире ни как отражения предметов, ни как аллегории; они — выдумки, приобретающие значение исключительно в языке авторской семантики.

Генезис символистского образа, становящегося из эмблемного образа, просматривается при сопоставлении текстов предсимволиста Иннокентия Анненского и символиста Александра Блока.

У Анненского сложные, изысканные, не всегда прозрачные образы несут в себе привязку к (метонимически переосмысленной) реальности.

Пока с разбитым фонарём,
Наполовину притушённым,
Среди кошмара дум и дрём
Проходит Полночь по вагонам.
(«Зимний поезд»)

«Полночь» здесь — не реальная полночь, но и не произвольная авторская выдумка; «Полночь» — проводник поезда, который по служебной обязанности обходил вагоны ночного поезда с фонарём (так было заведено во времена Анненского). Точно так же другие образы этого стихотворения аллегорически отражают реальность (но не указывают на реальность): «пышущий дракон» — поезд, «тяжкие гробы» — вагоны, «Рассвет» и «Закат» — рассвет и закат, переосмысленные и приравненные к «Полночи» строчным написанием первой буквы. Такая образная система, кстати, вызвала бы раздражённое неприятие критики предыдущей (чернышевско-белинской) формации, воспринявшись как рудимент барочной поэзии конца XVIII — начала XIX вв. (куда более скромные искания Фета были встречены той критикой шквалом насмешек и пародий).

Несколькими годами ранее Александр Блок написал другие строфы.

В пустом переулке весенние воды
Бегут, бормочут, а девушка хохочет.
Пьяный красный карлик не даёт проходу,
Пляшет, брызжет воду, платье мочит.

Девушке страшно. Закрылась платочком.
Тёмный вечер ближе. Солнце за трубой.
Карлик прыгнул в лужицу красным комочком,
Гонит струйку к струйке сморщенной рукой.
(«Обман»)

Образ «Полночи» у Анненского и образ «пьяного красного карлика» у Блока типологически различны: первый образ рождён феноменом реальности (проводником с фонарём), второй образ не привязан к реальности никак; он — исключительно выдумка автора. Для того чтобы выявить смысл образа «Полночи», надо знать особенности поездного быта начала XX века; для того чтобы отыскать интерпретацию образа «пьяного красного карлика», необходимо исследовать образную систему стихотворений Александра Блока 1904–1905 годов, сопоставить этот образ со смежными (с чертенятами, весенними тварями, болотным попиком, невидимкой и др.), провести сюжет текста через семантическое поле «городского локуса» в блоковской поэзии этого периода, образ девушки сравнить с парадигматикой предшествовавшего цикла «Стихов о Прекрасной Даме». Только при помощи таких операций возможно определить содержание текста.

С современной поэзией ещё сложней. У символистов, как правило, один отвлечённый образ приходился на один поэтический текст, а общая система образов раскрывалась в концепции цикла текстов. Современные стихи строятся на отвлечённой образности почти всегда. Если в современном стихотворении появляется слово «рыбы», оно может означать всё, что угодно, кроме реальных рыб; если поэт употребляет слово «верблюд», он вкладывает в него какие угодно смыслы, помимо собственно верблюда. Вдобавок символы из разных кодов в нынешней поэзии сыплются на читателя, словно в «Тетрисе» — только успевай реагировать-интерпретировать-раскодировать.

интересна не форма но мысль
watermelon арбуз ли кавун
с боем взяли снега перемышль
но надеюсь оставят москву

интересна не форма но стыд
птицеловом прикормленных слов
и горчит и горит и гранит
за собой оставляет любовь

анатомия тела овал
страусиные гонки зрачков
или рифма которой связал
все аксоны-дендриты в пучок
(Евгения Баранова «Тонкие материи»)

Между прочим, это — не самая сложная, не самая модернистская и совсем не заумная поэзия; по теперешним меркам это — глубокий арьергард, традиционная «женская лирика». Можно попытаться разобраться, к чему тут «кавун» и «перемышль», «гранит» и «анатомия тела», «страусиные гонки зрачков» и «аксоны-дендриты», «стыд птицеловом прикормленных слов» и «watermelon»,— да не хочется разбираться.

Тех, кто видит в подобных практиках изысканность и элитарность, разочарую: эмблемное мышление — свойство *низового*, неподготовленного

сознания. Я часто сталкивался с тем, что в строке моего стихотворения «ночью на красные наши щиты зверю из логова выть» определение «красные» понималось публикой как знак-манифест коммунистической идеологии (хотя тут — аллюзия из «Слова о полку Игореве»). Человек, который не продвинут в механизмах работы культуры, склонен во всём видеть коварную «подмену». Поэтому аллегорический способ подачи образов (А = Б) и выросший из него символьный способ подачи образов (А = Не-А) по отношению к реализму (А = А) — не усложнение поэзии, а её *упрощение*. Целостная картина мира рассекается на фрагменты-образы, и в каждом из фрагментов выискивается отдельный смысл. Впрочем, это не предел: Велимир Хлебников находил смысл в отдельной букве, жёстко привязывая к буквенному означающему конкретное означаемое (многие современные адепты гороскопов и сканвордов согласятся с ним). Символизм — не только «расширение поэтического поля»; символизм — уступка «новобранцам литературы», ранее не знавшим ничего, помимо притч и басен. И это — уступка всем нам. Ведь разгадывать кроссворды удобней, чем вести диалог с живым человеком (с поэтом в том числе).

С заумью и абсурдизмом Серебряного века — совсем уж просто…

…23 января 1914 года в разгар «споров о футуризме» в газете «Русское слово» была опубликована заметка журналиста и писателя А. Амфитеатрова. Амфитеатров утверждал, что «истинный золотой век стихотворного футуризма цвёл 50 лет тому назад в мещанских слободках и улочках Орла, Мценска, Калуги, Епифани и т. п., где сочинялись такие стихи: „Чинги дрынги, мой фетон, Чинги дрынги фарафон!“». Амфитеатров был прав. Мещанская, купеческая и крестьянская среды XIX века дышали «заумью», которая, однако, не считалась частью литературы. Иван Яковлевич Корейша выкликал «без працы не бенды кололацы», вездесущие хлысты распевали «что писано тамо? сависвати свамо», уездные слободские ухажёры сочиняли «чинги дрынги», чтобы произвести эффект на девиц. Вся эта культура убедительно показана Лесковым, Сологубом, Андреем Белым и, в особенной степени, Максимом Горьким.

Абсурдизм тоже не был чужд XIX веку. Он процветал и в крестьянском фольклоре, и в «лесковской» серединной среде; он проникал и в «дворянскую культуру» — достаточно вспомнить «Козьму Пруткова». В XIX веке «Козьма Прутков» не был концептуален, считался «забавой досужих шутников» — но ведь он был.

А по какому ведомству провести «перформансы» вполне реального (помянутого Горьким в статье «О языке») нижегородского купца Алябьева?

Вот что он сипел, пританцовывая:

Пароходы — моровозы,
Гыр-гыр, гар-гар,
Гадят Волгу, портят воду,
Дым-дым, пар-пар.
Возят курв, халд, шлюх,
Возят всякую стерву,
Губят окуня, стерлядь,
Эх, чох, чих, чух…

По меркам Нижнего Новгорода — звучащая «клоунада» (зловещая и грозная) и, в любом случае, внелитературный акт. По меркам Серебряного века — литературно-инновационный (хоть и содержательно пассеистический) футуризм, Хлебников, Божидар и Василий Каменский в едином лице. По нынешним меркам — плохая, полуграфоманская, но поэзия, имеющая право на публикацию (желательно за счёт автора).

Прогресс — не повышение общего уровня; прогресс — это достижение *удобства*. Быть грамотным — *удобно*. Водить автомобиль — *удобно*. Пользоваться компьютером и интернетом — *удобно*. Писать стихи как легкокрылый Пушкин (а не как громоздкий Державин) — *удобно*. Давать волю фантазии, создавать поэтические образы, сообразные только с внутренним миром автора — *удобно*, и продвигать слободские (заумно-хлыстовские или лубочно-сентиментальные) практики, называя их инновациями, — *удобно*. Предпочесть Эдуарда Асадова Борису Слуцкому, Давиду Самойлову и Сергею Островому — тоже *удобно*. Само по себе удобство — позитивное явление, в общем. Но порой прогресс осуществляется не запланировано, а стихийно (если быть точным, конкретные достижения прогресса — результат воли и ума людей всегда, но *последствия* этих достижений — зачастую слепой выплеск стихии).

Реформа 1861 года заставила неграмотных людей стать грамотными — это плюс. Грамотность выявила потребность в массовой культуре — это плюс под знаком вопроса. Социальные слои, жившие и реализовывавшиеся вне литературы, вошли в литературу — это (всё же) плюс. Способы мышления, сохранявшиеся ими, инфильтровавшись в литературу, дали Серебряный век — это великий плюс. Серебряный век косвенно (и прямо также) привёл к социальным потрясениям-переворотам — это огромный знак вопроса. В 80–90-х годах XX века увеличилась свобода слова — это плюс. В силу этого массово стал печататься Асадов — это минус для «высокой поэзии» и плюс для аудитории Асадова. Появился интернет — это плюс плюсов. Благодаря интернету возник сайт «Стихи.ру», на котором могут самовыражаться сотни тысяч авторов (включая «алябьевых наших дней») — для меня это, наверное, плюс, но не для всех он бесспорен, а для кого-то это — минус.

Расширяется ли поле литературы? Да, расширяется. Вот только расширяется оно *снизу*. Вследствие социальных процессов раздвигаются рамки литературы; то, что раньше *существовало*, но существовало *не как литература*, входит в пространство литературы, становится приемлемой литературой.

Может ли раздвинуть границы литературного поля один-единственный автор-новатор? Может, если его искания будут нести в себе некоторое социальное содержание, созвучное культурным импульсам современного ему социума. Но просто так, по щучьему велению, по чьему-то хотению смыслы не прирастут, пределы не раздвинутся и прогресс не осуществится; переворот случится не в литературе, а исключительно в авторской головке. Ну может быть, достижения автора-новатора возьмёт на вооружение некая литературная корпорация, может, она достигнет определённых успехов лоббистским путём. Ни на общество, ни на культурные процессы, ни на историю литературы это никак не повлияет.

А новаторами современным поэтам быть (и слыть) хочется…

3. Советские детективы, ангелы и нейронные сети

Как писать стихи, не укладывающиеся в «русскую поэзию, условно говоря, от Сумарокова до Херсонского»?

Заумь и абсурдизм—не подходят: они уже *были*. Значит, они прошли.

Зато «символистский путь» размывания связей между предметом и словом подходит оптимально: этим можно заниматься поэтапно (от блоковского «красного карлика» до барановских «гонок зрачков» и так далее), и каждый этап даст впечатление новизны.

Надо только умерить чувства; ведь сильные чувства—атрибут «поэзии от Сумарокова до Херсонского». Прежние поэты любили, ненавидели, надеялись, протестовали, упорствовали, радовались, грустили, боялись. Чтобы не стать похожими на них, нынешним новаторам надо оставить себе лишь следы чувств, а чувства—запретить! Надо равнодушно играть словами, как кубиками,—называя чувства и не выражая их. Вот и у Барановой поминаются и «любовь», и «стыд»—в одном ряду с «аксонами-дендритами»…

…Но вдруг новаторам пришёл сюрприз, определяемый мной как «эффект советского детектива».

Я люблю «герметические детективы», обожаю разгадывать придуманные автором-детективщиком шарады. У Агаты Кристи личность преступника, его мотивы, способ совершения преступления узнаёшь на последних страницах—и азарт соревнования моего (читательского) ума с мощным умом Агаты Кристи—затягивает.

Советские писатели пытались создавать детективы, в том числе «герметические детективы» а’ля Агата Кристи. Но непременные идейно-этические нагрузки давали знать, и я вычислял преступников советского детектива на первом десятке страниц—минуя последующие сюжетные конструкции. Они, конструкции, могли быть суперзакрученными, однако я знал, что преступник—тот персонаж, который высокомерно разговаривает и делает научную карьеру. Или тот мужик, который разводит нутрий на продажу и копит деньгу. Или тот молодчик, который обожает заморские шмотки и носит имя «Игорь». Или тот Эдуард, который завскладом (не шахтёр же Вася). Или тот, чья фамилия заканчивается на «-ский». Получалось так, что хитросплетения советских детективщиков оказывались напрасны—я выигрывал соревнования с ними окольным, неправильным, несюжетным путём, приходил к разгадке чёрным ходом. Вот так и «сложности» современной поэзии моё сознание приучилось обходить.

…В конце 2016 года вышла анонимная антология «Русская поэтическая речь». Я принимал участие в этом проекте—не как поэт и не как автор второго тома «Аналитика: тестирование вслепую», а как скромный выборщик, отбиравший двенадцать лучших текстов антологии для дайджеста (мой дайджест, кстати, опубликован). Задача была нелёгкой: тексты антологии преимущественно были сложными, иногда—архисложными, а мне требовалось честно понять все тексты всех ста пятнадцати подборок (приблизительно—тысячу сто пятьдесят текстов), чтобы сделать отбор.

В процессе чтения я вдруг осознал, что для понимания этих текстов мне не требуется понимания слов, из которых тексты состоят. Слова текстов были хитрыми, связи между словами сложнейшими или нулевыми; а я—щёлкал один ребус за другим, руководствуясь не скрупулёзной расшифровкой слов-образов, а общими «настройками», интонациями. Вот первое стихотворение антологии…

Пыль во рту летящей птицы.
Круглый лёд в зобу леща.
Прошуршали наши лица,
как тряпички трепеща.
То сама себя капризней
(слаще лытки мотылька),
то, в отличие от жизни,
смерть по-прежнему легка,
но не так великолепна,
как под нею облака…
Слеплен хлеб. Судьба ослепла.
И смола—из молока.
И покуда в рай капустный
наших деток прячем мы,
«Это вкусно, это вкусно»,—
воют волки тёплой тьмы.

Преподаватель Владимир Руднев провёл опрос по интерпретации этого текста и посетовал, что «ни в письменных ответах, ни в последующем устном их обсуждении никто не смог объяснить значение фраз „рай капустный“ и „слаще лытки мотылька“». Ничего удивительного: эти фразы создавались не для объяснения значений, они вообще не имеют значений. Образы двух первых строк — яркие, запоминающиеся, но они не связаны с семантикой текста, они привнесены по частушечному принципу («птица прыгает по ветке, бабы ходят спать в овин, разрешите вас поздравить во честь ваших именин» — семантическая роль «птиц» одинакова). Следующие две строки дают некоторую тень смысла: прошуршали наши лица — и будя, и финита нам. Во второй строфе текста смысл окончательно проявляется — если проигнорировать «лытку мотылька» (чёрт знает, что это за лытка и отчего она сладка, но не слаще смерти). «Смерть по-прежнему легка, но не так великолепна, как под нею облака» — вот оно, содержание стихотворения (не сказать, что такое уж оригинальное). В третьей строфе — опять загадки-затычки: «слеплен хлеб» — кем? зачем? из чего? «Судьба ослепла» — суперштамп. «Смола — из молока» — сделана из молока? вытекает из молока? — бог весть. «Рай капустный» — почему «капустный»? Допустим, потому что детей «находят в капусте». «Воют волки тёплой тьмы». А если «воют волки кислой тьмы» или «круглой тьмы»? Ничего ведь не изменится. А если заменить на антоним: «воют волки хладной тьмы»? Текст чуть осквернится осмысленностью — только и всего. А если не «волки»? «Воют кошки тёплой тьмы», «воют кварки тёплой тьмы», «воют губы тёплой тьмы» — нулевой эффект. А если не воют? «Лают шавки грязной тьмы», «стонут дети глупой тьмы» — тот же нулевой эффект. Из четырёх слов строки сколько-нибудь семантично лишь одно — «тьма». Пойдём другим путём, выявим общую конструкцию строфы: волки воют «это вкусно», покуда мы прячем деток в рай (капустный) — опять ничего не прояснилось. А суть текста очевидна и без интерпретирования «зоба леща», «лытки мотылька» и «волков тёплой тьмы». Элегия-с. Просветлённое приятие жизни и смерти…

В той же подборке…

Не Дали ли литовской плойкой крутит лукавый ус,
а Везувий готовит пьесу «Выдавливание угря»?
Иисус за пазуху понапихал медуз,
а в трусы для юмора сунул себе угря.

Причём тут Дали? Ус Дали — ладно. А отчего Дали крутит ус «литовской плойкой» (а не «эстонской плойкой» или «латвийской плойкой»)? Извержение вулкана подобно выдавливанию угря — но зачем «Везувий», а не, допустим, «Толбачик»? И что даёт данное сравнение посылу текста? Ему ничего не даёт даже кощунство в третьей-четвёртой строках строфы — столь же необязательное, как остальные находки, и дежурное (во второй подборке антологии «Бог стоит посреди крапивы» — то медузы, то крапива).

Но ведь и здесь всё прозрачно: «карнавальный абсурд с оттенком протестности».

В какой-то момент моей работы над антологией её тексты стали казаться мне удручающе *одинаковыми*. Парадокс: авторы-анонимы разные, и слова в их текстах разные, диалоги между словами бессвязные — а тексты *одинаковые*. Десять «карнавальных абсурдов с оттенком протестности», двадцать «народно-лубочных самопрезентаций в духе Башлачёва», тридцать «элегий с просветлённым приятием жизни и смерти», сорок «гендерных верлибров»…

В самом деле, можно интерпретировать образы у Анненского и у Блока, но продуктивно ли поверять рациональной методикой герменевтики словообраза *это*?

Не бреющий ног задевает копытом —
И вот уж фонтан самоцветов зацвёл,
И вот самопальный кораблик испытан,
Танцуя огонь и скача, как козёл.
(№8)

Идёт на приступ ровный дым травы,
разинув ревень, катится аллюром…
Росою брызжут пальцы тетивы
в пельмени из панамок физкультуры.
(№17)

комар и малейшая грязь
в активную жизнь подалась,
грохочет земля, как буфет:
подайте дитя на обед.
(№39)

Может быть, всё же разумнее относиться к этим «козлам», «пельменям» и «буфетам» как к мяуканью кошки — ориентируясь исключительно *на интонации*, а не на Логос? Известно, что у высших животных (у некоторых млекопитающих и птиц) есть свои языки, но эти языки лишены Логоса (абстрактных понятий и логических конструкций); они — озвученные эмоции и интонации. Есть ли Логос в «пельменях из панамок физкультуры»? А если (всё же есть), надо ли его искать?

Мне было скучно мыслить «на кошачьем языке», а отобрать двенадцать лучших стихотворений — полагалось.

И тогда, чтобы скрасить скучнейшую работу, я стал считать ангелов.

Дело в том, что в первой же подборке было «Господь… как тюбики, ангелов смял». И в третьей подборке наличествовали «ангелы», и четвёртая началась с «ангела», и в седьмой оказались «ангелы», и восьмая завершилась «ангелом», и в девятой

«ангелы» спали, и в восемнадцатой говорили, и в двадцать второй дрались. Я принялся из любопытства считать подборки «с ангелами» (ангелов набралось на любой вкус — и «рыжих», и «чёрных», и «потных»). Итог: из ста пятнадцати подборок «ангелы» имели место в двадцати девяти. Примерно четверть книги, однако.

Добавлю: религиозной поэзии в антологии не было (что неудивительно: один из её составителей — воинствующий атеист). Да и не позволяют религиозные традиции ангелам потеть и сминаться, так что ангелы слетелись в антологию не из церковных книг. Но и не от Георгия Иванова с Георгием Адамовичем? Откуда? Да из массовой культуры же. Из попсы. От пресняковых-глызиных-киркоровых белыми крылышками бяк-бяк-бяк. Ну, ещё немножко от «стихийного гностицизма» — фарватерного метафизического настроя современного масскульта (и современного массового сознания). От Ричарда Баха, от Коэльо, от «Звенящих кедров Анастасии» (тоже — от попсы).

Боролись-боролись с попсой, гнали-гнали её в дверь. А она — в окно, и краше прежнего…

Ничего удивительного: сдвиг поэтической речи от общего смысла к отдельному слову, ослабление семантических рядов, парцелляция восприятия бытия на отдельные образы — всё это подавляет и уничтожает авторскую личность. Впрочем, составители антологии этого и добивались: не случайно же они собрали её из *анонимных* текстов. А там, где нет живой личности, там начинает множиться культурная «микрофлора» — мифомемы, архетипы (вряд ли авторы подборок №1 и №39 знакомы, но в их строфах, которые я привёл, есть единый мотив «пожирания детей» — землёй или «волками тёплой тьмы», продиктованный Солярисом мифополя), «образные фотоны попсы» (тоже связанной с архетипикой). Да и тексты попсовых песен — они ведь относятся к той вербальной культуре, которая уже прошла через мясорубку Серебряного века; нынешняя попса-эстрада — сплошной символизм, притом поздний, с распадающейся языковой основой. Какая связь между «рюмкой водки на столе» и «молодой луны криками»? Самая что ни есть символистская. И та немудрёная поэзия, которая сейчас в изобилии творится современными людьми, не знающими другой актуальной культуры, помимо массовой культуры — и она прошла через мясорубку Серебряного века. Возможно, не ведая о том.

Вот строфа из стишка, опубликованного в нынешнем, 2018 году журналом «Литературная Адыгея» (имя автора не называю):

Под парусом несбывшейся надежды
Лелеяла когда-то я мечту.
Соль на губах иссушенных и бледных
Щипала язвы в бурю и в жару.

В XIX веке было немало графомании, но ни один графоман XIX века не написал бы такое, потому что он задумался бы о том, зачем прикасаться солёными губами к язвам, да ещё и в бурю и в жару. Даже у Бенедиктова вычурные образно-отвлечённые конструкции соответствовали хотя бы логике разворачивания образа. Ясно, что данная строфа — *постсимволистской* культурной эпохи. И автор этой строфы следует по тому же пути, по которому устремились творцы «лытки мотылька» и «панамок физкультуры». Да, следует медленно и неуклюже, не освободившись от штампов-аллегорий (хотя чем «парус несбывшейся надежды» лучше «ослепшей судьбы»?), впадая в сентиментализм, но в том же направлении.

И читатель стихов — тоже идёт в том же направлении. У человеческого сознания есть особенность: когда семантические структуры становятся слишком сложными для восприятия, река мысли пробивает перегородки и начинает объяснять сложности простыми способами; чем больше усложнения в объекте восприятия, тем больше упрощения у субъекта восприятия, у воспринимающего. Оттого-то я, минуя хитросплетения сюжета советского детектива, вижу преступника в завскладе Эдуарде. Оттого-то все темноты советской поэзии понимались как плоские политические («эзоповы») аллегории и цензорами, и благодарными читателями. Оттого-то стишок Барановой — «о любви» (а не «о кавуне» или «о Перемышле»). Чем «инновационнее» связи между словами в стихах, тем пуще эти стихи станут восприниматься аудиторией как попса попсовишна — если отгораживаться от всепроникающего культурного поля попсы индивидуальной поэтикой их авторы не смогут (или не захотят). В самом деле: у попсовика словесный бефстроганов «с ангелами», и у инноватора — такой же словесный бефстроганов «с ангелами». Где разница?

Оппоненты скажут мне: «А как же Осип Мандельштам?» Я отвечу им: и Мандельштам стал поживой Аллы Пугачёвой, это во-первых. А во-вторых, Мандельштам *работал* над своей поэтикой — системно работал — даже поздний, «сумасшедший». Казалось бы, «пыль во рту летящей птицы» и «круглый лёд в зобу леща» — находки на уровне Мандельштама. Но они не связаны с соседними словами и с соседними строками; они — сами по себе. «Воющие волки тёплой тьмы», как я показал, заменяются на что угодно. Замените хоть одно слово у «бессвязного» и «безумного» Мандельштама…

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или *бруснику* в лесу,
Что никогда не сбирал.

Брусника смыслово не отличается от черники ничем: что та лесная ягода, что эта; различия

только в *звучании* названий ягод. Слово заменено равноценным по смыслу, но иначе звучащим аналогом — и строфа из драматичной вмиг превратилась в смешную. Вот что такое Мандельштам. Так что Мандельштаму — мандельштамово, а инновационным инженерам «спящих ангелов» — слыть попсой.

Ещё одно возражение: но ведь можно удалить из текстов последние следы «коллективной культуры» — так, чтобы в них не осталось бы ни «ангелов», ни «любви», ни «пельменей»? Ни трогательного, ни возвышенного, ни бунтарского, ни смешного — только постная бессмыслица, и всё. И остатки синтаксиса — сломать!

Например, так…

автомобили на полях
и вот он весёлый поднял как ветер,
и вот и всё возвратится в поле,
и в полумгле неподвижной
под водой поднялись в поле заката,
и вот он на поле над водой поднялась в поле
и волна весёлая весёлая,
и в поле вечернем положит волна.
и вот она возвратилась в поле волна,
и в поле волнуют ветер ветерки (и т. д.).

Раскрою секрет: этот текст был взят мной из научной статьи Бориса Орехова и Павла Успенского «Гальванизация автора, или Эксперимент с нейронной поэзией»; статья была опубликована в шестом номере «Нового мира» за 2018 год. Нейронные сети — совокупности математических функций, каждая из которых на вход получает данные, обрабатывает их и передаёт другим функциям в сети. Если сказать просто, это — алгоритмы машинного обучения. В настоящее время нейронные сети могут создавать (квази)литературные тексты; впрочем, и в прошлом веке кибернетические устройства писали «стихи»; я читал об этом в пору моего отрочества, в начале 80-х годов XX века. Тогда употреблялось слово «роботы» («робот пишет стихи»); по привычке воспользуюсь этим (напрочь устаревшим) словом и я.

Нейронной сетью (роботом) был написан текст. Авторы статьи сопоставили этот текст с другим текстом, созданным живым человеком, взяли два текста, без указания их авторства (но с напоминанием о том, что один текст «человеческий», а второй «нечеловеческий») показали тексты неназванному профессиональному литературоведу и предложили ему определить, что кем (чем) написано, а также проинтерпретировать оба текста.

Я сразу вычислил, какой из двух текстов создан роботом, — тот самый, про автомобили на полях. Но мне удалось это только потому, что в пару ему был отобран типичный модернистский текст первой половины XX века («Ущерб любви» футуриста Ильи Зданевича»).

автомобили роют грубой толпой рожи в качели
луна нудя руду левой левой ватаги солдат
кружит жужелица ковчеги убогих ложат на
мостовую деревяшки тьмы тем тьмы тем кофеен
столы
мосты с перепугу прыгают нынче молотят
женщину сутолка лакеи как тангенс как
тангенс столбы торчат
улицу оплели провода телефонов рыжие волосы
созвездия по ним говорят с
землёй злы (и т. д.).

Тоже набор слов. Но в его тезаурусе — в отборе существительных, в характере глагольной лексики — есть глобально-катастрофическая, урбанистическо-апокалипсическая сумятица, свойственная общемировой модернистской литературе периода 1914–1930 годов; и именно то, что делает этот текст живым, человеческим, по меркам современной «актуальной поэзии», выглядит предосудительным и «не имеющим культурного смысла», «исчезающим в русской поэзии от Сумарокова до Херсонского».

«Что за пафос?» — скажут автору текста и отошлют его к тупым панкам. Что поделать: всё «позитивное» и «возвышенное» ныне стало достоянием попсы, но ведь и всё «негативное» и «грязное» — тоже стало достоянием попсы. Не скомпрометировано только пресное, нейтральное, безоценочное.

Кстати, литературовед-комментатор тоже склонился к тому, что текст про автомобили на полях написан роботом, а текст про «рожи в качели» — человеком. Не скажу за литературоведа, но если бы мне показали бы не текст Зданевича, а текст современного инновационного поэта из «школы Драгомощенко», я бы, вероятно, ошибся.

Вот, например — всё из той же антологии «Русская поэтическая речь»…

когда я никогда не буду
пресловуто всё пресловуты
семь дней в неделю кто ходит
падает и то кто начинает тот
ненай идёт ненай нейдёт
нет у меня для вас ничего нет
никудышна и с утра и к вечеру не своя
у ты моя малоротая моя — малоротая.
(№36)

В машинном тексте про автомобили на полях больше *человеческого* — больше лиризма, больше искреннего потрясения пред красотой природы, чем в «ненае». Я мог бы предположить, что текст про автомобили на полях порождён живым воспоминанием о поездке на автомобиле по закатному ветреному полю. В «ненае» же — исключительно «отвратительная нирвана дешёвых меблированных комнат» (Н. Гумилёв).

…В антиутопиях XX века тотальное превращение людей в роботов — знак абсолютной беды, стопроцентного зла. А для нынешних адептов новизны робот, пишущий стихи, — желанный *эталон* для поэтов. Скопом попревращаться в роботов, — только б быть новым, не существовавшим в поэзии «от Сумарокова до Херсонского» — какой ужас!

Несколько лет назад я сказал, что русский стих подошёл к своим пределам. Надо мной посмеялись, заметили, что не русский стих, а я подошёл к пределам (консерватизма и охранительства). Я не отказываюсь от того своего утверждения. Русский стих действительно подошёл к пределам — формального усложнения. Исчерпались все социальные ресурсы усложнения русского стиха. Из кувшина можно вылить только то, что в кувшине *есть*. Из кувшина невозможно вылить то, чего в кувшине *нет*. Прогресс — удар молнии, включающий в себя не только электрический импульс сверху, из грозовой тучи, но ещё и «лидер» снизу. Не будет лидера снизу — не будет и молнии. В литературе не случится того, чего нет в социокультурном пространстве.

Ну нет там потребности в размывании семантических связей стиха — и неоткуда взяться такой потребности. Эта практика противоречит и состоянию современного социума, и механизмам человеческого восприятия текстов. Люди начала XX века привыкли видеть одно через другое, они *хотели* увидеть это и в поэзии. А современные люди *не хотят* и *не могут* понимать тексты с ослабленной связностью семантики. Они воспринимают такие тексты — по мере их «усложнения» — сначала как попсу (замечу, что современные поэты, эксплуатирующие наработки, допустим, Арсения Тарковского или Рубцова, выглядят как благородная альтернатива попсе, как не-попса, как «настоящая поэзия»). А потом инновации становятся неотличимыми от работы роботов. На *этом* пути русский стих впрямь подошёл к пределу.

Что же делать поэтам?

Выражать в стихах *личность* — чувствующую и мыслящую, изменчивую и неисчерпаемую. Личностная поэзия осталась далеко позади, в эпохе Модерна, эта поэзия «бесследно исчезает» в пространстве «от Сумарокова до Херсонского»? Плевать. Личность — та новость, которая всегда действительно нова. Прогремел же Борис Рыжий — не высшей степенью культурности или инновационностью, а своей (лирической) личностью. Ну, конечно, поскольку каждый современный поэт пребывает под тягчайшим гнётом-воздействием поэтической речи «от Сумарокова до наших дней», надо уметь, выражая личность, уклоняться от всех устойчивых форм речи, от шаблонов, навязываемых традицией. Именно уклоняться — не ломать правила игры, а играть, но по-своему, индивидуально. Не отказаться от рифмы вообще, потому что все рифмуют «маски-сказки-ласки», а воспользоваться рифмой «маски-хаски» или «маски-подвязки». Быть поэтом-традиционалистом, но таким традиционалистом, который ни на кого ни похож — узором собственной души (ведь каждая душа неповторима).

Если же всё ж невтерпёж прослыть «новатором»…

Чего сейчас много в культуре, но почти нет в литературе?

Уж явно не необычных сочетаний слов (их, наоборот, много в литературе, но социокультура в них, пожалуй, не испытывает нужды).

Мифологий — вот мой ответ. Низовых мифологий (мифологии всегда «низовые»). Их бесконечно много в нашей культурной жизни — но для высокой литературы они кажутся опасными. Благословен тот поэт, который работал с мифологиями (как Юрий Кузнецов) или работает с ними (как Мария Степанова в «Песнях северных южан»)! Такой поэт, который заставит нас относиться к «мифологиям большинства» как к предмету «высокой поэзии» и станет новатором. Хотя бывают мифологии не только большинства.

По мнению Ролана Барта, мифологии возникают, когда некоторые культурные практики и явления, будучи новыми, современными, преходящими и рукотворными, выдаются за нечто «древнее», «извечное», «бессмертное» и «природное». Барт был марксистом; он считал, что мифологии создаёт исключительно буржуазия, а пролетариату как бы незачем нуждаться в сладкой лжи и потому пролетарская идеология лишена мифологизации. Я думаю, что в этом пункте Барт был неправ. Мифологизирует действительность не только буржуазия. Мифотворчеством занимаются *все* социальные группы. Разумеется, создаёт собственные мифы большинство (в терминологии домодерна — «народ»). Но ведь и меньшинства тоже не чужды мифотворчеству. Притом «закрытые меньшинства» больше нуждаются в мифотворчестве, нежели «открытые меньшинства» — по той причине, по которой для Барта не нуждался в мифах пролетариат. Культурной преемственности потребна точность понимания механизмов культуры. Те, кто хотят обеспечить такую преемственность, заинтересованы в *правде*, а не в мифе. Социокультурные источники мифотворчества — народ… и элиты (закрытого типа); а просветители, пребывающие между элитой и народом, бегут мифов.

Замечу: в принадлежности к «закрытому меньшинству» по себе нет ничего плохого (если, конечно, «закрытое меньшинство» не является отрицательным). И в мифотворчестве «закрытых меньшинств» тоже нет ничего плохого (это процесс естественный). Плохо, когда «закрытые меньшинства» отравляются собственными мифологиями,

впадают в самообман. Если поэт коверкает язык, потому что ему кажется, что коверканье языка — новаторство, а на деле — потому что он принадлежит к некоторому «закрытому меньшинству» и сублимирует социально-психологический кризис своего меньшинства, это — частное дело данного поэта. Но когда он искренне убеждён в том, что «новаторство» его опытов — дело «древнее» и «природное» — вот это опасно — опаснее, чем зеркальные мифологии «большинств» о «древностях-извечностях-природностях». Опасно хотя бы потому, что (по моему мнению) «агрессивные мифологии большинства» есть *следствие* «мифологий закрытых меньшинств». Сначала «закрытые меньшинства», опьянённые «благословенностью всякого новаторства», начинают навязывать народу собственные бесполезности (а иногда и непотребства), выдавая это за «единственно верный путь»; потом народ, не желая идти по такому противоестественному пути, придумывает мифы «антиэлитарного» и «противоменьшинственного» характера. При этом страдают от народного гнева не только «закрытые меньшинства» (что прискорбно), но и «открытые меньшинства» тоже (что катастрофично).

Вот почему я склонен считать, что прогресс в поэзии (как и в культуре вообще) — это не расширение формальных возможностей поэтической речи (действительно объективно пришедшее к пределу), не всемерный триумф «закрытых меньшинств», пред которыми должны смиренно склонится все «непосвящённые», а непрерывный процесс *самоосмысления*, иногда приводящий автора к осознанному самоограничению.

Прогресс — не в навязывании всем того, чего нет и не может быть «в основе»; прогресс — совместное научение обучающих и обучающихся, при котором учатся не только обучемые, но и обучатели. Они учатся находить «в основе» то, что в ней есть, осмыслять и обрабатывать это — и передавать «основе» в виде «достижений прогресса».

ДиН ревю

Александр Астраханцев

Хроника потерянных

Красноярск: «Литера-Принт», 2018

Хроника потерянных» пролежала в моём письменном столе 28 лет, и это не мистификация и не литературный приём, к коим иногда прибегают литераторы — тому, что роман закончен в 1990 году, есть свидетели: уже тогда его прочли несколько писателей, журналистов и редакторов. Да внимательный читатель и сам это поймёт — по некоторой робости, с какой я брался за слишком острые в то время ситуации, темы, идеи, бывшие в то время на слуху; теперь-то многие из них уже стали отработанными штампами (как, например, эпизод «медвежьей охоты» для начальства).

Хочу объяснить, почему он так долго пролежал.

Время, когда я его писал — конец 80-х годов XX века — было хоть и советским ещё, но уже перестроечным: шумным, митинговым, — и писал я его, помнится, легко, с удовольствием, пользуясь элементами сатиры и фантастики, а написав, тотчас понёс, ещё, можно сказать, горяченькой, в местное издательство. Однако в издательстве, прочитав, мне его вернули с таким подтекстом: ты его нам не давал и мы его не читали; мы — не самоубийцы.

Я был обескуражен: ведь, окрылённый относительной перестроечной свободой слова, я решил дать в своей книге полный разрез советского общества, начиная с первого лица государства и кончая бомжами, обитающими в тепловых камерах и подвалах; в сюжет были вовлечены крупные областные руководители, чиновники, писатели, архитекторы, рабочие — это было своего рода социологическое исследование; я шёл непроторенным путём и думал, что многим это будет интересно. Я, конечно, понимал, что в редакции, свободной от перестроечной эйфории, ещё витает дух осторожности и советской цензуры — но не до такой же степени.

АЛЕКСАНДР АСТРАХАНЦЕВ

Лада Миллер

В переводе с птичьего

Хочешь придумаем

Хочешь придумаем дом у дороги,
Чтобы проснулся — и рад.
Дождь опираясь на тонкие ноги
Выйдет в заплаканный сад.

Вскрикнет во сне потревоженный ослик,
Медно откликнется таз.
Хочешь придумаем раньше и после,
Чтоб не кончалось сейчас?

Капля за каплей — не дождь, а варенье —
Слива, инжир, алыча.
Счастье садится к тебе на колени,
Солнце сползает с плеча.

Сколько их нужно — тревожных и нежных —
Капель, созвучий, цветов?
Это — стихи. Так снимай же одежды
С разоблачающих слов.

Во всём такая простота

Светает нехотя. Свечей
Обкусанные губы пухнут.
Вот коврик у двери — ничей —
Ползёт на кухню.

Там, ломким пальчиком грозя,
Часы отряхивают время,
И маятник стучит — Нельзя.
И тень. И темень.

Из безрукавок сквозняков
Так тянет нежностью и мятой,
Что огорошена любовь —
Вы что, ребята?

Во всём такая простота,
Что вспоминать её и плакать.
Чем гуще проголодь листа,
Тем слаще мякоть.

Чем изумлённее ладонь,
Тем изумительнее тело,
И сердце падает в огонь.
Ну вот.
Сгорело.

В переводе с птичьего

Ещё чуть-чуть и сад остепенится,
Затеплится, заварится… Ещё —
Вернутся недоверчивые птицы,
Доверчивые сядут на плечо.

Как облако из чайника, как вата
Из куклы, перекроенной сто крат,
Появится моё — Не виновата.
Распустится твоё — Не виноват.

Нахлынет май — то мять меня, то маять,
Укачивать под простенький мотив,
И прошлое останется на память,
А будущее выйдет, не простив.

Отчаянье разделится на гроздья,
Тоска влетит в незапертую грудь.
Придёшь домой — повесь меня на гвоздик,
Гулять пойдёшь — в прихожей не забудь.

Любить легко. Но тем сильнее жажда,
Чем ближе недоступная вода.
По-человечьи — ты меня однажды…
А я тебя по-птичьи — навсегда.

За рекой за небом

Вот низкое небо, а в небе — река,
В реке — опрокинутый лес.
Разлука безрука, разлука горька,
А выгонишь — холодно без.

То рюмка надежды, то капля вины,
(Волынка, жалейка, гобой),
Продрогшие ветки, озябшие сны,
Но там — за шершавой рекой,

За небом — где шёпот и шелест и хмарь —
Так много и ласково нас,
Что ты открываешь меня, как букварь
В счастливый бесчисленный раз.

И буквы — как листья — летят и летят
На свет безмятежного «Вдруг»,
И долгое счастье плетёт шелкопряд
Из наших горючих разлук.

До нашей эры

Смотришь в слепое окно, понимаешь—влип
В этот осенний сплин, в перехлёсты лип,
В то, что несётся по небу от и до,
И западаешь клавишей—нотой до.

До нашей эры деревья шагали врозь,
Это сейчас у каждого в сердце гвоздь.
Вот и сиди прикидывай, что больней?
Сколько бы ни было осени—всё о ней.

Сколько бы ни было истины—вся в вине.
Вечер рисует тыквенного Моне.
Пробкой размахивая, кланяется бутыль.
Смотришь на дно, уговариваешь—остынь.

До нашей эры и после—не та, не тот.
Что же внутри колоколит, глаголит, бьёт?
Это прощается дерево день за днём
С вырвавшимся гвоздём.

Давай улыбнись

День полон Шагалом и хрупкой листвой,
Дрожащей от смеха и ветра,
И мы вдруг становимся сами собой
Безудержно и беззаветно.

Ах, как удивляются сквер и вокзал,
И все бесполезные вещи—
Над улицей люди (Шагал, так Шагал)—
Цветными шарами трепещут.

По парам и врозь. Улыбаясь и нет.
Промокшие, лёгкие люди
Проносятся, трогая щёки планет
И млечные звёздные груди.

Сегодня, любимый, наш первый полёт,
Пусть ты опечален и болен,
И пусть за туманом окрестных болот
Не видно плечей колоколен,

Давай, улыбнись. Изумится народ,
Трамвай громыхающий взвизгнет,
А небо подхватит тебя и спасёт
От всепоглощающей жизни.

Так и выходишь на улицу

Так и выходишь на улицу—
Глупый, наивный, нагой.
Утро дождливо сутулится,
Пробует лужу ногой.

Дерево, дерево, облако…
Сколько ещё до небес?
Счастье—внутри, а не около.
Горе—бывает ли без?

Время—не бомба, а тикает,
Бог закрывает глаза…
Вот и возьми меня тихую
На руки (на небеса)

Кружатся птицы и головы,
Ветер умаялся—спит.
Март—это быстро и здорово,
(Медленно, больно, навзрыд)

На другой стороне любви

Полно, милая, не реви.
На другой стороне любви
Розы жалят и нежат осы.
Сад нездешний—что лист, что куст
Источают не грусть, но груз,
Не покой, но любимый голос.

Так случилось. Теперь пора.
Из-под нежного топора—
Брызги, дребезги, звёзды, щепки.
Счастья щепоть, глоток вина.
Между нами стена, стена—
Ток несильный. Замок некрепкий.

Несмертельно, небезопас…
За тобою мне—глаз да глаз.
Там—за глазом—темно и пусто.
Мы с тобою едва видны.
На другой стороне луны
Отпечаток моей вины
И твоё неземное чувство.

Валентин Нервин

Странная жизнь

В кинотеатре повторного фильма

Верили в Бога и в Белого Бима,
жили по совести, но всё равно
в кинотеатре повторного фильма
не повторяется
наше кино.
Что-то хорошее нам показали,
но про чужую судьбу и беду
не вспоминает в пустом кинозале
зритель,
уснувший в последнем ряду.

Странная жизнь

Странная жизнь,
похожая на бедлам:
калейдоскоп событий, шумов и лиц —
люди спешат по вымышленным делам
мимо красивых женщин
и певчих птиц.
Время переливается,
как вода,
и растворяется в будничной суете.
Занавес опускается. И тогда
женщины улыбаются
в темноте.

* * *

На фоне заката,
на лоне природы
мы жили, казалось, у края земли,
когда по фарватеру шли пароходы
и сонные воды, как время, текли.
Судьба нагадала
навеки проститься
и мы выпадали из времени, где
над нами летали красивые птицы
и тени сновали по лёгкой воде.
Чем дальше по жизни,
тем сумерки ближе —
махни на прощанье рукой вдалеке.
Во сне запоздалом однажды увижу
огни парохода на тихой реке.

* * *

Зачем, для какой стратегической цели
живую синицу в неволе держу?..
Опять журавли надо мной пролетели —
я шляпу снимаю и в небо гляжу.
Совсем невесёлые мысли мелькают;
дурацкие мысли, по сути своей,
от важной работы меня отвлекают.
А вся-то работа —
считать журавлей…

* * *

Эта жизнь — одноколейка:
развернуться не дано.
Ни повтора, ни ремейка
на дурацкое кино.
Правда, мы не в Голливуде,
потому что не у дел,
и кина тебе не будет,
если кинщик заболел.
Значит, надо постараться,
чтобы горе не беда,
чтобы вовремя добраться
к пункту Б из пункта А.
И маячат как попало
телеграфные столбы,
да загадочные шпалы
по периметру судьбы.

* * *

Время движется к закату —
жизнь была и не была,
потому что маловато
субъективного тепла.
Человеку не хватает
женской ласки наперёд:
счастья много не бывает,
а беды — наоборот.
Но перед заходом солнца
неизбывно хороши
капли нежности на донце
человеческой души.

* * *

В. Ц.

Красиво жить,
позировать молве,
петь соловьём…
А знаешь, дорогая,
красивых песен в жизни только две:
одна о смерти, о любви — другая.
Которое столетье напролёт,
во глубине породы изначальной,
языческой душе недостаёт
весёлых песен Родины печальной.
Пока ты распевала соловьём,
на свой филармонический обычай,
любовь и смерть стояли на своём.

Они потом поделятся добычей.

Старый альбом

Листаю альбом незапамятных лет
и, кажется, чувствую кожей,
когда фотографии смотрят на свет
и судьбы толпятся в прихожей.
Какая проекция счастья была
тогда на супружеских парах,
какая прекрасная юность цвела
на тех фотографиях старых!

Пора бы, пора бы усвоить всерьёз,
что молодость не повторится,
но в этом альбоме, ни горя, ни слёз,
а только весёлые лица!
Душа покидает родные места,
но даже в покинутом доме
блуждает улыбка счастливая та,
забытая в фотоальбоме.

Безделушка

В обыкновенной квартире
есть безделушка одна:
ангел играет на лире —
грош без копейки цена.
Купленный на барахолке
в годы больной нищеты,
он притулился на полке
выше мирской суеты.
Выше хулы и злословья
каждую ночь напролёт
у моего изголовья
вольная лира поёт.
Только свободное небо
запросто делит со мной
малую часть ширпотреба
в этой квартире земной.

* * *

Всё поправимо, кроме одного,
чему не научили в комсомоле:
из тех, кого теряю поневоле,
я не могу окликнуть никого.
Перечисляю всех по именам,
но слово распадается на звуки
и ветер галактической разлуки
разносит их по снам и временам.
Бог принимает нас, как таковых,
не глядя на фамилии и даты,
не персонифицируя утраты,
как принято на свете у живых.

* * *

Вот и осень по жизни пришла,
листья заживо падают в спешке;
у кого не попросишь тепла —
ни золы тебе, ни головешки.
Что романсы, когда наяву,
сообразно развитию темы,
остаётся посыпать главу
лепестками больной хризантемы.
Выше неба и ниже земли,
о весне поминая некстати,
полетели мои журавли,
догоняя тепло на закате.

* * *

Душа,
летящая как дым
от прогоревшего костра,
меня запомнит молодым
и развесёлым до утра.
Всё,
что не стоит ни гроша
за человеческой судьбой,
моя весёлая душа
запомнит и возьмёт с собой.

* * *

Жизнь повсюду хороша,
только нравы одичали,
оттого моя душа —
территория печали.
Я не ангел, не герой —
человек обыкновенный,
но случается порой
притяжение Вселенной.
Вероятно потому
и горит звезда молчанья,
уводя по одному
от земного одичанья.

Наталья Семёнова

Рай для старого самолёта

● ● ●

Один мой друг, хороший друг,
любого выслушать готов,
Но о своих проблемах скромно промолчит.
И пусть он стар,
ни на детей, ни на собак, ни на котов—
Я точно знаю—никогда он не ворчит.

Он быть угрюмым не привык,
он ценит в жизни каждый миг,
И много лет уже, на радость детворе,
Как видно, вовсе позабыв, что он давно уже старик,
Он вертолётики пускает во дворе.

Он видел солнце и дожди,
десятки лет на жизнь глядит,
Но до сих пор в неё, как в первый день, влюблён.
Как эту мудрость обрести, тоску оставив позади,
Открой секрет, мой милый друг—мой старый Клён.

● ● ●

Этот клоун, конечно, программы гвоздь:
так потешно зонтик вращает!
Но вот
канатоходца
уверенность
нас поистине восхищает.

Он под самым куполом, высоко.
Он—решился. Второй шаг, третий…
Он скользит стремительно и легко.
(«Осторожнее!»—шепчут дети;

дети глаз не сводят с фигурки той,
от волненья вцепляясь в кресла.)
Он парит, таинственный, над землёй…
Как он держится? Неизвестно.

Затаил дыхание целый зал,
ощущая секунд теченье.
Он дошёл! Ура! И—оваций шквал,
и—
огромное
облегченье.

● ● ●

Звон трамвая—из детства звук.
Три копейки стоил билет.
У меня был кленовый лук
И оранжевый пистолет.
Пистолет пулялся водой
(Ледяной набирала в колонке я).
Лук с резинкой был бельевой,
Вместо стрел были веточки тонкие.
На трамвайчике до Труда
Я когда-то к подружке ездила.
Снова мчится трамвай туда,
И звенит его сердце железное.

● ● ●

Самолёт на верёвочке
Летает только по кругу.
Лошадь в цирке
Только по кругу бегает.

Но есть легенды,
Что где-то живут
Свободные лошади
И дикие самолёты.

Один такой—
Я сама видела—
Поселился отшельником
На склоне горы Кокшетау.

Людям сюда не добраться.
Высота—почти тысяча метров,
А небо—рядом.
Рай для старого самолёта.

Диптих

1. Принцесса

Она, чудачка, не хочет жить по законам
Жанра, который филфак изучает на парах.
Она — принцесса, которой снятся драконы.
Но только не подумайте, что в кошмарах.

Вот один — тёплый бок и язык шершавый,
Хулиганский нрав, но доброе сердце.
Она уверена, летописцы не правы —
На дракона можно верхом усесться,

Если угостить его земляникой,
Ну, на крайний случай, сойдёт морковка.
А за глупых рыцарей ей неловко.
Это ж надо — напасть на дракона с пикой,

А потом дивиться, что откусил им
Руку, ногу или чего похуже…
Нет, она о таком не мечтает муже —
Разум должен быть, а не только сила!

…Вот бы познакомиться ей с учёным,
Редким натуралистом-энтузиастом:
Он — защитит диссертацию по драконам,
Она — уйдёт из принцесс и будет счастлива.

2. 40 лет спустя

Всё ещё носит джинсы, гуляет со спаниелем.
Детектив припасён на вечер и пива банка.
Говорит собаке нежно: «Ах ты, засранка!»
На ровесниц на лавке глядит свысока: «Постарели».

Сын в Москве, всё в делах, внуками не осчастливил.
Живёт не одна — с собакой и попугаем.
Соседи её не любят, она — другая:
Сериалы не смотрит, без зонта ходит в ливень.

Она собирает в парке красивые листья.
Велосипед себе присмотрела,— красный.
Печёт пирог на день рождения Агаты Кристи,
И вовсе не считает себя несчастной.

Она, как всегда, за чтением забудет про ужин.
Уснёт, не закрыв ни книгу, ни дверь балкона.
Во сне увидит: как прежде, гуляют с мужем,
Облака ищут в небе, похожие на драконов.

● ● ●

Он лакал из лужи дождевую воду,
Засыпал на крыше у печной трубы.
Он любил свободу, он ценил свободу,
Но порою думал он, что если бы
В день сырой осенний, в день холодный, мрачный
Кто-то ждал его бы, кто-то звал «кис-кис»,
То, покинув сразу неуют чердачный,
Он пушистой молнией слетел бы вниз.
Хочет стать домашним каждый кот бездомный,
Несмотря на гордость и к прогулкам страсть.
И когда неласков этот мир огромный,
Лишь мечта о доме не даёт пропасть.

Дана Курская

Осенняя полудница

• • •

Константину Сергеевичу Рубинскому

И вот мы выходим к мосту над рекою
И смотрим на тёмное долгое небо
На том берегу в благодатном покое
Звонарня на церкви застыла как небыль
И вечность её снова пахнет левкоем
И мёдом и хлебом

И мы подставляем глаза под созвездья
Тот берег хранит нашу общую память
И если мы даже не вместе, мы вместе
Приходим сюда и становимся нами
Внизу под мостом что-то тяжко нас крестит
И манит и манит

Но там лишь бурлящие чёрные воды
Кричащее дно и смертельные камни
И если я вниз засмотрюсь хоть немного
И даже на миг отвернусь от звонарни
То ты обними меня нежно и строго
Не разрешай мне

Метели

Год от года льняная метель
всё летит к изголовью кровати
мягкий снег заметает постель
и меня в этом снеге не хватит
первый год на урале бело
я вбегаю в сугробы с разбегу
девятнадцать метелей прошло
и москва улыбается снегу
ветер движет мою колыбель
но чужой в ней ребёнок заплакал
двадцать первая злая метель
укрывает как саваном папу
то ли вьюга, а то ли прибой
так играют на снежной свирели
и меня накрывают собой
двадцать девять ревущих метелей
я по снегу иду налегке
и меня уже ждут вдалеке
но останутся после всех лет
белый снег белый шум белый свет

Ваганьково

Земля принимает с одиннадцати до шести
В прочее время можно здесь погулять
Лёгкий ветер в листьях прошелестит
Если хочешь—пробуешь разгадать

После двенадцатой рюмки выползет темнота
И накроет край, где никто не считает дни
Если хочешь—закрой глаза, посчитай до ста
И тогда отовсюду выйдут к тебе они

Вот тогда и расскажешь про гулкий свой бой часов
Про панельный дом, где тебя ах никто не ждёт
В этот край оградочных адресов
Ты пришёл унять под ногами лёд

Расскажи им про деньги в стылой своей горсти
Про холодную одноместку свою кровать
Как ты принимаешь всех с одиннадцати до шести
В прочее время стараешься погулять

Как дрожит в больной руке твоей карандаш
Как дрожит звезда по ночам у тебя в груди.
И тогда они скажут: «Ты тоже, ты тоже—наш.
Вот поэтому больше не приходи».

Осенняя полудница

Не надо играть было в прятки нам
На поле в сырой полутьме
Теперь она с рыжими прядками
К полудню стоит на холме

По полю её светло-рыжему
Дыханье ползёт словно дрожь
Я больше не прячусь, я слышу как
Колышется мёрзлая рожь

И небо подёрнулось инеем
И бьётся костёр вдалеке
Прости меня, слышишь, прости меня
Я лишь стебелёк в колоске

Мой пепел над полем закрутится
И скоро настанет зима
Спускайся скорее, полудница
Спускайся, спускайся с холма

Крысоловка

Говорят, что я вовсе не умирала…
…Те мальчишки, с которыми я играла,
Повзрослев, со мной оставались мало,
Обещав потом позвонить.

Полагаю, что кто-то меня и помнит,
В заоконном пространстве квартирных комнат
Молча курит, из дома уже не выходит,
И песочная рвётся нить.

Я играла для них на своей свирели,
А они спасли себя, повзрослели.
В опустевшем дворе дребезжат качели.
Я на окна гляжу как вор.

Нам так нравилось в тёплом песке валяться,
А теперь эти люди меня боятся
Не пускают к окнам своих домочадцев,
И опасливо крестят двор.

И у тех, за кого я была в ответе,
Подрастают большие смешные дети,
Их мамаши кладут засыпать при свете,
Колыбель очертивши вкруг.

Их отцы им велят повзрослеть скорее,
И в качели, свирель и песок не верить.
И не дай им Бог приближаться к двери,
Если ночью раздастся стук.

И не сметь замок даже пальцем трогать.
Кто стоит за дверью? Посланник Бога?
Или странник, флейтой манящий в дорогу?
Или серая злая рать?..

Мне так мало надо, чужие дети.
И звучит за дверью на всей планете
То ли детский плач, то ли просто ветер:
«Выходи со мной поиграть…»

Ночь летнего солнцестояния

Где тело погружается в источник,
Там папоротник морщит лист железный.
Как столб в ладонь врастает позвоночник.
И бездна пьяно обнимает бездну.
Где кости погружаются в кострище,
Там кровохлёбка жадно прорастает.
И губы бездны бездны губы ищут,
И искры в небо движутся как стаи.
Где поле ночью в сумраке исчезнет,
Там завтра жатва тропку проведёт.
И бездна шепчет сны в другую бездну
И огненная влага ей как мёд.
Застыли тени у реки в лесном обряде.
…Две тряских бездны обрывают диалог,
Хватаясь за руки, ложась в кровать и глядя
На проступающий в пространстве потолок.

Тоньо

Тоньо-лунатик лепит меня из глины.
Тёплые пальцы скользят по холодной коже.
Ветер прибрежный с запахом формалина
Новое тело дрожью слегка тревожит.

Я возникаю из-под круженья пальцев.
Я начинаюсь там, где ребро ладони.
Шарик луны обманутым самозванцем
В водах Эштараса кротко безмолвно тонет.

Глина со дна послушней, чем лунный камень.
Кожа впитала в себя тёмных вод частицы.
Но за ключицей из глиняных перекладин
Жилка живая под пальцами Тоньо стучится.

Берегом правит луна, оживляя воду.
Берегом правит луна, оживляя Тоньо.
Если на небе в кромешную непогоду
Нет вдруг луны, он как ветер прибрежный стонет.

…Линия позвонков под его руками
Гибкость свою обретает и чуткий трепет.
Шарик луны неподвижно висит над нами.
Тоньо-лунатик из глины, рыдая, лепит.

● ● ●

Светлый полдень в небе над болотом.
Я лежу спиною на бревне.
Камыши лягушкой большеротой
Распевают песню обо мне.
Чувствую хребтом своим лесину.
Кожу мёртвой ветки шелохну.
Здесь гуляла радостная псина,
Лаем разгоняя тишину.
Тянется багульник над трясиной.
Никогда я дальше не умру.
Из собаки выросла осина.
Лучик в паутинке на ветру.

● ● ●

Бойся меня, о хлебе просящую.
Бойся меня, дары приносящую.
Бойся меня — взлетевшую, павшую.
Бойся меня, под вечер уставшую.
Бойся, когда я в автобусе еду.
Бойся, когда отмечаю победу.
Бойся, когда я снимаю колготки. —
Бойся, когда задыхаюсь от водки.
Бойся меня — и не сможем расстаться —
Я в одиночку устала бояться.

Эльдар Ахадов

Мудрость старой сказки

Одной из самых популярных детских сказок в мире является сказка «Три поросёнка». В России она известна в авторской трактовке Сергея Михалкова. Эта трактовка не вполне совпадает с английской народной сказкой «Three Little Pigs», где фигурирует мама-свинья, которая в начале и в конце сказки повторяет: «Whatever you do, do it the best that you can because that's the way to get along in the world», то есть: «Всё, что бы вы ни делали, делайте это наилучшим образом, поскольку только так можно прожить в этом мире». Дальше в английском оригинале сказки происходит почти то же, что и в пересказе Сергея Михалкова. Только, в отличие от михалковских, ленивые поросята погибают. Волк, сдув соломенный домик и домик из прутиков, тут же съедает обоих лентяев. Затем он пытается проникнуть в каменный дом трудолюбивого поросёнка через печную трубу и попадает в котёл с кипятком. Вроде бы всё простенько и понятно.

Кроме одного момента, который смущал моё воображение малыша с раннего детства. Я прекрасно знал, видел и представлял себе, как выглядит печная труба над домом. Тем более над основательным каменным домом. В это замечательное сооружение ни волк, ни любой другой зверь размером с взрослого волка протиснуться не в состоянии. Категорически это утверждаю. Или волк должен быть величиной с кошечку.

Однако сказка «Три поросёнка» — старинная, народная. Старинные сказки всегда основаны на правде. Они не лгут, особенно если какая-то деталь постоянно подчёркивается. И если в ней имеется такой фрагмент с проникновением именно через трубу (раз везде во всех вариантах сказки фигурирует именно такое развитие событий), значит, волк действительно пытается проникнуть в дом именно таким способом. Если бы это была труба доменной печи сталелитейного завода, всё было бы понятно и ясно. И волк бы туда пролез, и, может быть, даже небольшой слон мог бы протиснуться. Но это труба домашняя. В том-то и дело…

Кстати, трактовка сказки Сергеем Михалковым не единственный вариант авторских трактовок. Задолго до него в 1849 году историю о трёх поросятах изложил Джеймс Халливел. Его сказка была опубликована в Англии в книге под названием «Популярные рифмы и убаюкивающие истории». Халливел заслужил одобрение своего коллеги Джозефа Якобса после того, как адаптировал эту историю для его книги под названием «Английские сказки».

Теперь попытаемся представить себе: что это был за дом и откуда он взялся — с каких древних времён. На территории современной Англии когда-то жили кельты. Жилища кельтов Уэльса были круглыми и сверху покрывались соломой или камышом, внешне весьма напоминая чумы северных народов, поскольку конусообразные крыши свисали чуть ли не до земли. Ведь что такое чум? Практически — это крыша без стен. Просто крыша над головой. Развалить домик, забравшись на такую «крышу», не составляло никакого труда. Вспомним историю двух покойных ленивых поросят. Похоже? Очень.

Однако воздвигались и каменные постройки. Например, на юго-западной границе Ирландии строились каменные хижины с выступающими крышами — клочаны, построенные методом именуемым «насухо». Постройка насухо — это метод, когда камни укладываются без связующего раствора; крепость таких строений достигается за счёт давления камней друг на друга и сцепления их между собой. Клочаны напоминают собой ульи, с очень толстыми, до 1,5 метров, стенами. При этом иногда они не имели каменной крыши.

А теперь обратим внимание на III тысячелетие до нашей эры. Древний город Хаттусас (Турция) — столица древнего Хеттского государства. Город на этом месте существовал уже в III тысячелетии до н. э. Столицей он стал при царе Хаттусили I. Город просуществовал до XIII века до н. э., когда был уничтожен финикийцами — «народами моря». Многое из созданного зодчими Хеттского государства отражало влияние крито-микенской культуры и, в свою очередь, воздействовало на неё. Те же каменные дома круглой формы. Но где же печные трубы? В те давние времена предки кельтов, переместившиеся позднее на запад, были солнцепоклонниками, как и основная часть жителей Земли. Солнцепоклонниками в доисламские и дохристианские времена было и подавляющее большинство жителей Малой Азии и Кавказа.

В их домах не было печных труб в современном их понимании, а имелись сдвоенные дымоходы над домашним очагом, именовавшиеся «дубла». По одному дымоходу уходил дым от очага, а через другой в помещение проникал свежий воздух. Кроме того, через оба дымохода (они были достаточно широки для этого) помещения освещались. Никаких окон в таких жилищах не существовало. Дубла являлись и окнами, и дымоходами, и своеобразными «кондиционерами».

Кстати, одним из интересных обычаев на Апшеронском полуострове, связанных с этими дубла, был «гуршаг саллама» (опускание пояса через дымоход). «Гуршаг саллама»—своеобразное сватовство. Влюблённые молодые парни опускали свои пояса в дубла—дымоходы. К кончику пояса привязывался носовой платок. Если родители девушки были согласны, то платок отвязывался ими от пояса и завязывался на запястье девушки в знак помолвки. Если же согласия не было, то платок наполнялся сладостями и возвращался обратно. Очень такой вежливый интеллигентный отказ.

Вот в такие дымоходы каменных домов мог пробраться любой волк или злой дух! Мог и войти, и выйти. Запросто. И внизу действительно (в отличие от английских каминов) мог поместиться кипящий котёл, достаточных для крупного зверя размеров! Но. Оглянемся ещё раз: в какую глубину веков увела нас сказка о трёх поросятах! Тысячи и тысячи лет назад. И совсем иные места. Прошла бездна времени. Родились, переместились и исчезли целые народы. Возникли и разрушились государства. А мудрое слово сохранилось: «Всё, чем ты занимаешься, делай на совесть».

Тайна башни города Бога

Стоит посреди и одновременно на самой окраине города Баку одно из чудес света античного мира, о рождении которого ничего не известно до сих пор: Девичья башня. Посреди—потому что с этого места начинался город Баку. На окраине—потому что дальше только море. Когда-то я назвал эту башню «Свирелью для ветра». Изначально она была полой внутри, все этажи и перекрытия были установлены в ней гораздо позднее её постройки—фактически в современное время. 28-метровая полая изнутри башня с 9-ю окнами, выходящими на одну сторону и никуда больше—явно не для обороны. И вообще, никакого военного смысла в башне нет и никогда не было. Все имеющиеся сейчас окна направлены не просто в одну сторону, а вверх—в небо, то есть небо в них увидеть легко, а вот чтобы увидеть землю, надо так скрючиться и изогнуться, что ни о какой стрельбе из лука в осаждающих и речи быть не может. Ни с каких иных сторон окон в башне нет. И не было. Это видно по цвету камня стен. Он однородно тёмный. Свирель для ветра—это, конечно, поэтический образ. Баку—город ветров, 256 дней в году море штормит. Поэтому ветру легко было гулять по окнам-отверстиям полой башни (крыши она изначально тоже не имела), извлекая из неё удивительные ветряные мелодии.

Кстати, по поводу имени города. Долгое время считалось, что Баку—город ветров в стране огней. Здесь из-под земли, хранящей залежи качественной нефти (в том числе «белой нефти», фактически природного конденсата с большим содержанием бензина), выходили на поверхность природные газы. Они самовозгорались и пылали тысячелетиями. Поэтому и «страна огней».

Византийский автор первой половины V столетия Приск Панийский, описывая путь, ведущий из Скифии в Мидию, сообщает о «пышущем из морского камня пламени». Армянский автор VIII века Гевонд, описывая события в Кавказской Албании в связи с нашествием хазар в 730 году, упоминает разрушенную ими область Атши-Багуан. Слово «Атш», искажённое древнеперсидское «Атеш», означает огонь.

Следовательно, «Атши-Багуан»—«огни Багуана». Любимое название для ресторанов, открываемых бывшими бакинцами во всех частях света—«Огни Баку». Этимология слова «Багуан» связывается с индоевропейским корнем «бага» или «бхага»—«Бог» или «Бхагаван»—«Божественный». Таким образом, Баку—город Бога.

В октябре 2007 года при рытье котлована на месте известного бакинцам «дома Губернатора» были обнаружены остатки фундамента бывшей крепостной стены, фрагменты колонны, каменные стелы. На глубине 6–8 метров найдено большое количество керамики, которая, по заключениям археологов, датируется античным периодом (IV–I век до н.э.). Интересно, что большинство находок были обнаружены под слоем синей глины.

Образование этого слоя связано, скорее всего, с периодическими изменениями уровня Каспийского моря. Можно предположить, что наиболее древняя часть города находилась на побережье или даже в Бакинской бухте и разгадку античной истории одного из самых загадочных городов мира нужно искать… на дне моря.

Однако вернёмся к башне. По одной из наиболее популярных версий последнего времени, её предназначение было культовым: здесь поклонялись Солнцу. Возможно, так оно и есть, поскольку, например, расположение окон таково, что солнечный свет в них попадает только в определённое время и по нему можно довольно точно установить момент зимнего солнцестояния. Согласен. И всё же есть сомнения…

Первое, чтобы вообще чему-то поклоняться, нужно в первую очередь иметь для этого жизненную возможность. Что нужно человеку для того, чтобы жить на Земле? Воздух, свет и пресная

вода, чтобы пить её и выращивать растения для еды, возделывать землю… Баку со своей башней находится на Апшеронском полуострове. Климат здесь полупустынный. Пресной воды мало. Характерны холодная зима, мягкая весна, жаркое засушливое лето и ясная солнечная осень. Часты сильные ветры (бакинский норд, гилавар, хазри). Летом бывает очень жарко. И главная проблема всех времён — очень мало природной пресной воды. А если её не достаточно, то никто ничего ни для чего строить не будет. Потому что без воды жить невозможно. Но если башня — храм, значит, у молившихся Солнцу была вода. Откуда?

Второе. Если приглядеться, то даже на фотографиях ясно видно, что камень в тех местах, где находятся окна башни, более светлый, чем в остальных местах, то есть более «молодой», чем сама башня. А это значит, что окна в башне появились значительно позже её сооружения. Из чего следует, что если башня и имела культовое значение, то не со времени своего основания, а гораздо позднее, возможно, на несколько веков.

Обратив внимание на карту с местоположением башни, можно отметить, что находится она на самом краю Бакинской бухты, причём в её крайней северной точке, на изгибе. На надпись на карте сообщающую, что башня построена в XII веке, можно не обращать внимания. Это банальная ошибка археологов: возраст башни они определяли по надписи на арабском языке, вмонтированной в её стену, не заметив, что камень с надписью — пришлый и был вставлен в стену арабскими завоевателями. Цементный раствор, которым они это делали, по составу совершенно другой, чем у остальной кладки. Завоеватели не строили этой башен. Скорее наоборот. Сломать у них не получилось, стены слишком толстые, возни много, тогда они установили на башне свою «наклейку». Вставить камень — это же не саму башню строить. А уважаемые учёные об этом как-то не догадались.

Как было сказано выше, само поселение в древние времена наверняка находилось там, где сейчас плещутся волны Бакинской бухты. Уровень Каспийского моря был значительно ниже, и броситься с башни в море, как о том гласит популярная легенда, было никак невозможно. О том, что уровень моря был много ниже, говорит хотя бы такой исторический факт: туркменские племена, переселившиеся в Азербайджан и Малую Азию, перекочевали туда из Туркмении посуху — по песчаной косе, тянувшейся от Туркмении до Апшеронского полуострова через всё Каспийское море. Они не были мореплавателями, они перешли море с востока на запад, не замочив ног. Почему? Потому что существовал проход с востока на запад.

Море находилось гораздо ниже. И не было Бакинской бухты. А была плодородная земля. Если её орошать, конечно.

Чем орошать? Водой из башни. Если в башне нет окон. Если она полая внутри от основания до самого верха. Если у неё нет никакой крыши. То это что? Это — водонапорная башня! Ёмкость для воды — самый жизненно важный объект во все времена!

Но откуда в башню могла поступать вода?

Источник первый — атмосферный. Поскольку башня изначально была сквозной до земли, то во время дождей вода легко проникала в башню и стекала по стенам в желоба на ярусах вдоль стен. Далее по керамической трубе вода поступала на первый этаж и накапливалась в каменном колодце. Существовал и второй источник влаги — вода, конденсируемая из воздуха. Башня расположена на берегу моря, где влажность всегда повышенная, а в утренние часы — конденсируется на земной поверхности в виде росы. Толстые стены и высота башни создают большую разницу температур между воздухом снаружи и внутри башни, что также усиливает конденсацию влаги (толщина стен в основании — 5 метров, вверху — 4 метра). Выступы на ярусах верхних этажей шире, чем внизу. Внешняя сторона башни имеет широкую поверхность для водосбора. Крыши у башни не было. Вода с наружной стороны башенной стены затекала в щели между камнями и проникала во внутреннее пространство. Если обратить внимание на ребристую верхнюю часть внешней поверхности башни, то камни на ребристой части не так плотно подогнаны друг к другу, как в нижней части башни, между ними, вероятно сознательно, строителями каменного сооружения оставлены щели. К тому же и сама ребристая часть выступа башни также увеличивала поверхность водосбора. На старых схемах можно также заметить следующую деталь: внутри башни выступы ярусов значительно шире именно на верхних ярусах, т. е. там, где за счёт ребристой поверхности площадь водосбора увеличивалась, а следовательно, и возможности для сбора влаги, было больше.

Источник второй — кяриз. Почти 3000 лет назад, ещё за 300 лет до войны персов с греками, в персидском городе Гонабад была сооружена действующая до сих пор система кяризов. Не случайно античный историк Полибий сообщал о кяризах Южной Парфии, отмечая, что тому, кто проведёт «ключевую воду в местность, до той поры не орошённую», предоставлялась в пользование сроком на пять поколений вся область. Что такое кяриз? Кяриз считается одним из величайших изобретений человечества! Эта водопроводная система, способная собирать воду из подземных горизонтов и транспортировать её в города и ирригационные каналы. Благодаря этому изобретению Персия смогла существовать и развиваться в условиях засушливого климата.

Гидротехническая система кяризов включает в себя основной колодец, который получает

воду из подземного горизонта, систему туннелей, по которым вода транспортируется в определённое место, и вертикальные скважины для вентиляции вдоль всего маршрута, что также позволяет конденсировать влагу. Ко всему прочему, подземный водовод значительно снижает испарение драгоценной влаги. Строительство кяризов, глубина которых доходила до нескольких сотен метров, а длина галерей — десятков километров, являлось чрезвычайно трудоёмким делом. Причём мастера рыли колодцы снизу вверх, что было очень опасным занятием. Кяризы — уникальные сооружения, позволяющие добывать воду с большой глубины сложными цепочками подземных галерей и вертикальных смотровых колодцев, самотёком выводя воду в нужное место! Например, к Девичьей башне, под которой нет ни одного водонасыщенного пласта. Правитель Хорасана Абдуллах ибн Тахир (830–840) даже поручил знатокам религиозного права (факихам) составить специальное руководство по кяризам.

Автор XI века Гардизи пишет, что составленная книга «Китаб ал-Куний» («Книга о колодцах») продолжала служить и в его время, то есть спустя 200 лет после её написания. Знаменитая гонабадская система кяризов, включённая ЮНЕСКО в список всемирного наследия, действует до сих пор, несмотря на то, что была построена 2700 лет назад. В наши дни она обеспечивает водой примерно 40 000 человек. Длина гонабадских кяризов составляет 33 113 метров, они содержат 427 углублений для воды. Сооружения построены с использованием знаний законов физики, геологии и гидравлики.

Как я уже отметил, в недрах под Девичьей Башней воды нет, но выше, на склонах Бакинского холма, там, где находится дворец ширваншахов, подземная вода имеется. Даже родники есть. Расстояние от этого места до Девичьей башни — мизерное по сравнению с длиной гонабадских кяризов: несколько сотен метров. Известно, что на территории дворца ширваншахов имеется кяриз XV века. Почему бы не поискать более древний кяриз? И тогда тайна Девичьей башни наконец откроется. Более того, обнаружение такого кяриза поставит жирную точку в определении возраста города Бога — Баку. Ибо точно известно, когда именно человечество начало использовать кяризы — 3000 лет назад.

Исполненный очей

Помните песню, исполнявшуюся группой «Аквариум», «Под небом голубым есть город золотой»? Первый раз я услышал её в кинофильме «Асса». Были там странные слова, обратившие на себя моё внимание с первого раза: «исполненный очей». Как это? Что такое?

Поначалу я счёл, что «вол, исполненный очей» — такая поэтическая метафора. Все знают «воловьи глаза» — как бы большие глубокие глаза с поволокой. Я ошибочно решил, что именно этот смысл имел в виду автор текста песни. Но. Это заблуждение. Всё не так. Не так просто.

В Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис), дошедшем до нас на древнегреческом языке, сказано:

«И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему.

И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт» (гл. 4; стих 6–9).

Не вол, а все четверо животных исполнены очей спереди и сзади, то есть, по всему телу. Или, как минимум, по всей голове. У каждого из этих существ имеются крылья. Количество крыльев — шесть. Как такое может быть, если такое возможно? А если невозможно, то есть ли у человеческого воображения какие-то реальные основания?

Шестикрылые существа упоминаются и в Ветхом Завете. В Книге Пророка Исайи они появляются в его рассказе о странном видении перед призывом в храм иерусалимский: «Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шесть крыльев: двумя закрывал каждый лице своё, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.

И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (гл. 6; стих 2–3).

О глазах ничего не говорится, но шесть крыльев присутствуют. У Иоанна — животные, у Исайи — серафимы. Существует версия о том, что образ серафимов уходит корнями в облик существовавших ранее духовных существ сирийских мифов, датировавшихся первым тысячелетием до н. э., или в иконографию Вавилона и Ассирии, откуда во всём своём правдоподобии первых представлений об ангелах был заимствован в иудейский и христианский миры.

Итак, некие существа вокруг престола Создателя числом 4 имеют каждый по шесть крыльев и головы их (или тела) покрыты бесчисленными глазами. Фантастически невообразимая картина. Не правда ли?

Однако у меня возникли некоторые предположения по этому поводу. Пророки были людьми, обладающими великолепным воображением, несомненно. Но. Воображение это имело свои вполне реальные основания. Почему существ ровно четыре? Почему крыльев у них ровно по шесть? Шестью

четыре — двадцать четыре. В сутках 24 часа. По шесть часов приходится на четыре времени суток: день, вечер, ночь и утро. Первое существо — день, второе — вечер, третье — ночь, четвёртое — утро. Каждый час — это одно крыло. Вот вам шесть крыльев на каждого серафима! Престол — солнце. Четыре существа с шестью крыльями вращаются вокруг солнца — символ одних суток. Солярное (солнечное) происхождение всей этой истории в данной версии — очевидно!

Теперь о внешнем виде. Глаза — очи. Исполненный очей — покрытый глазами. Есть ли существа, покрытые глазами? Да! Павлин. Рисунок его перьев напоминает глаза, и не просто глаза, а ещё и с переливом! Знали древние о павлинах? Безусловно. Можно представить себе крылья из павлиньих перьев? Да. С какой стороны на них видны «глаза»? С обеих сторон! Кстати, есть ещё бабочки — «Павлиний глаз». У них по четыре «глаза» на крыльях. Это один вариант. Но есть и другой…

Глаза только на голове. В огромном количестве. Есть ли такие существа в реальности? Есть — стрекозы. Как и у многих насекомых, глаза стрекозы состоят из множества маленьких глазков — фасеток — благодаря которым изображение складывается на манер мозаики. Таких фасеток у стрекозы рекордное количество — до 28 тысяч! Более того, если фасетки верхней части глаз стрекозы различают только чёрно-белую гамму, то нижние фасетки умеют различать цвета, и различают их намного больше, чем глаз человека. Если сетчатка человека поглощает лишь три спектра — красный, зелёный и синий (остальные цвета результат «смешивания»), то фасетки стрекозы — пять, что позволяет ей видеть и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах!!! Частота зрения стрекозы в четыре раза превосходит человеческую. То есть если человек видит 24 кадра в секунду, то стрекоза — около сотни.

Итак, что мы имеем? Существа, имеющие глаза на голове, могут их иметь подобно стрекозе — до 28 тысяч глаз!

Теперь по поводу шести крыльев. Около 350 миллионов лет назад в каменноугольном периоде на Земле существовали огромные (величиной с голубя) летающие насекомые — диктионевриды, предки стрекоз. Размах крыльев у них был порядка сорока сантиметров. Один из видов диктионеврид — стенодиктия обладал шестью крыльями. Дополнительная пара маленьких крыльев у них располагалась возле головы, то есть ими стенодиктия могла прикрывать голову (точно, как в описании пророка Исайи!).

Давно уже пришёл к выводу, что искать в космосе инопланетный разум, предполагая его абсолютное человекоподобие — наивно и бессмысленно. Многообразие разновидностей разума во Вселенной очевидно. Оно может быть и «исполненным очей» и шестикрылым. Каким угодно. И древние пророки, возможно, что-то знали об этом. А возможно, и нет. Но во всяком случае их речи могут представляться нам странными лишь потому, что мы многого не знаем из того, что было известно (или представлялось) им.

Чины и звания Пушкина

Несмотря на огромное количество исследований, посвящённых Пушкину, на протяжении вот уже трёх столетий продолжают существовать значительные разногласия по поводу очень важных аспектов для понимания того, что же произошло в конце января 1837 года на Чёрной речке между Пушкиным и Дантесом, почему это произошло и почему произошло именно так.

Между ними произошёл поединок на пистолетах, до сих пор ошибочно именуемый дуэлью. Почему ошибочно? Дуэлью называется только тот поединок между участвующими в нём, на который одна из сторон вызвала другую. Как известно, ни Дантес, ни Пушкин в январе 1837 года на дуэль друг друга не вызывали. Да, осенью 1836 года Пушкин действительно вызывал Дантеса на дуэль, но сам же свой вызов и отменил в связи с официально объявленной свадьбой между Дантесом и сестрой жены Пушкина Екатериной Николаевной Гончаровой. Всё. Других вызовов ни один из них никому не делал.

В январе 1837 года Пушкина вызывал на дуэль посланник Нидерландского королевства барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард. Но на дуэль сам он не явился, а отправил туда Дантеса. Вместо себя. Интересная, кстати, дипломатическая ситуация: офицер русской армии выходит на поединок с подданным России Пушкиным, представляя на поединке посла иностранной державы, олицетворяющего собой Нидерландское королевство. Повторяю, для Дантеса это поединок, а не дуэль: лично он никого никуда не вызывал, и его тоже никуда не вызывали.

Посол иностранного государства — весьма высокий официальный статус. Кого могло вызвать на дуэль лицо, являющее собой лицо европейского королевства в России? Дворника могло? Нет. А титулярного советника? Посол — против (согласно табели о рангах) мелкого чиновника 9-го класса? Сомнительно. Однако известна и вот уже почти двести лет повторяется официальная запись из послужного списка титулярного советника в звании камер-юнкера Александра Пушкина, (опубликовано в 1937 г.): «…Обучался в Императорском Царскосельском Лицее. Выпущен из оного и по высочайшему указу определён в ведомство иностранных дел с чином коллежского секретаря 1817 г. июня 13-го. По высочайшему указу уволен вовсе от службы 1824 г. июля 8-го… По высочайшему указу определён по-прежнему в ведомство государственной коллегии иностранных дел тем

же чином, 1831 г. ноября 14-го. Пожалован в титулярные советники 1831 г. декабря 6-го. Пожалован в звание камер-юнкера 1833 г. декабря 31-го»

Вроде бы всё верно, и никаких разночтений быть не может. Но не так всё просто. Если уж разбираться, то сначала следует определиться со значениями слов, упоминаемых в табели о рангах. В ней говорится о чинах. Титулярный советник — чин, а камер-юнкер в пушкинские времена уже не чин, а звание. Чин камер-юнкера был в России отменён с 1809 года. А звание — осталось. Поэтому обратимся к словарям. Согласно толковому словарю Ожегова: «Звание — официально присваиваемое наименование, определяющееся степенью заслуг, квалификацией в области какой-н. деятельности, служебным положением. Воинские звания. Учёное з. профессора. з. заслуженного артиста». То же самое утверждает Большой энциклопедический словарь: «Звание — устанавливаемое и присваиваемое компетентными органами наименование, свидетельствующее об официальном признании заслуг отдельного лица или коллектива либо о профессиональной, служебной, научной или иной квалификации. Существуют звания почётные, воинские, учёные, спортивные, персональные, квалификационно-профессиональные, лауреатов премий, конкурсов и др». А что такое «чин»? Заглянем в толковый словарь Ушакова: «Чин — Степень служебного положения государственных служащих, гражданских и военных (дореволюц., загр.)».

Таким образом, чин — это должность, а звание — статус. То есть, к примеру, президент страны и главнокомандующий — это должность (чин), а звание — может быть и полковник. На должность самого себя можно и назначить, например генеральным директором, а вот звание самому себе дать невозможно. Звания присуждают другие. Командующим армии может быть и простой мужик, если армия эта, например, пугачёвская, повстанческая. А вот генералом себя самого назначить невозможно, это звание, а не должность.

И в пушкинские времена обо всём этом хорошо знали все, в том числе и писатели. «Дай бог здоровья вам и генеральский чин», — пишет Грибоедов в своём «Горе от ума». В этом пожелании явно говорится не о звании генерала, а о получении должности (чина), соответствующей генеральскому званию.

«Ты, однако же, сказал, какой на мне чин, и где служу?» — спрашивает Гоголь устами Подколесина — героя пьесы «Женитьба», подразумевая именно служебное место, должность, а не звание.

Знал об этом, естественно, и сам Пушкин. К сожалению, не заметил пока, чтобы кто-то из исследователей биографии Пушкина обратил внимание на то, что чины в соответствии с табелем о рангах повышались в зависимости от выслуги лет. Так, к примеру, срок выслуги для получения следующего чина титулярного советника для коллежского секретаря составлял 3 года. Для получения чина (должности) коллежского асессора титулярному советнику также нужно было отслужить в своей должности 3 года. Коллежскому асессору, дабы стать надворным советником, нужны были уже 4 года службы. Надворному советнику для получения должности (чина) коллежского советника — ещё 4 года. И наконец, коллежский советник становился статским советником тоже через 4 года. Итого коллежскому секретарю, чтобы стать статским советником, необходимо было проработать в соответствующих должностях 3 + 3 + 4 + 4 + 4 = 18 лет. Это при обычном продвижении по службе. Если же учесть то обстоятельство, что кандидату на повышение чина, удостоившемуся именного разрешения императора (или, как было принято писать тогда «Высочайшего благоволения»), один год из установленного срока убавлялся, то срок получения коллежским секретарём чина статского советника мог уменьшаться с 18 до 17, 16, 15, 14 и даже 13 лет, если «благоволение свыше» присутствовало.

Обратим внимание на то, что Пушкин состоял на службе с 1817 по 1824 год. И помнил он об этом хорошо. И не только помнил, но и другим напоминал. 21 июля 1831 года Пушкин пишет Александру Христофоровичу Бенкендорфу: «Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет ещё два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моём представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало…»

Я не случайно акцентирую внимание на должности статского советника. Вот текст Указа Николая I в том виде, в каком он был зарегистрирован в 1836 году: «9336. Июня 23. Именный, объявленный Министру Императорского Двора Управляющим делами Комитета Министров. О непредставлении к пожалованию в звание Камер-Юнкеров чиновников ниже Титулярного Советника, а в Камергеры ниже Статского Советника. Государь Император по статье журнала Комитета Министров 9 сего Июня о том, что Ваша Светлость изволили сообщить г. Председателю Комитета, что Его Императорскому Величеству не благоугодно впредь жаловать в звание Камер-Юнкеров чиновников ниже Титулярного Советника, — в 20 день текущего месяца собственноручно отметить изволил: „в Камергеры не ниже Статского Советника“. О сём Высочайшем повелении Комитет поручил

сообщить всем Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, от коих поступают представления к наградам чрез Комитет Министров».

Из этой записи следует, что и монарх прекрасно разбирался в отличиях между чинами и званиями. Из чего следует, что звание камер-юнкера Пушкин мог иметь по своей должности титулярного советника, а для того чтобы получить звание камергера, ему надо было дослужиться до чина статского советника! Именно на это ключевое обстоятельство регулярно ссылаются все противники версии того, что Пушкин на момент своей смерти находился в ином, более высоком придворном звании, нежели звание камер-юнкера. Помимо царского указа и записи из послужного списка Пушкина, нередко приводятся в пример (с комментариями пушкинистов) следующие записи самого поэта о присуждении ему звания камер-юнкера. Поэт, которому шёл в то время 35-й год, воспринял это назначение с нескрываемым раздражением: «Третьего дня,—записывает он в дневнике 1 января 1834 г.,—я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы NN (Наталия Николаевна) танцевала в Аничкове», «…произведён в камер-юнкеры. Теперь ко мне обращаются „ваше высокородие". Как-никак, а, практически, статский советник или бригадир…». Тут следовало бы сделать оговорку на то, что Александр Сергеевич был личностью ранимой и чувствительной и звание своё сгоряча называет чином. Чин камер-юнкера действительно соответствовал гражданскому чину статского советника и военному чину бригадира. Но означенный чин был отменён в 1809-м, о чём я уже здесь упоминал.

Так что? Королевский посол на самом деле сделал вызов на дуэль мелкому чиновнику 9-го класса? Оппоненты этой версии, выглядящей весьма правдоподобно, между тем ссылаются на следующие очевидные обстоятельства, умолчать о которых тоже невозможно: перед вами текст важнейшего во всей истории поединка Пушкина с Дантесом официального документа. Приговор военного суда от 19 февраля 1837 года: «По указу Его Императорского Величества Комиссия Военного суда, учреждённая при Лейб-Гвардии Конном полку над поручиком Кавалергардского Её Величества полка бароном Дантесом Геккерном и камергером Двора Его Императорского Величества Александром Пушкиным, соображая всё вышеизложенное, подтверждённое собственным признанием подсудимого поручика барона Геккерна, находит как его, так и камергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещённого законами поединка. А Геккерна—и в причинении Пушкину раны, от коей он умер. Комиссия приговорила подсудимого поручика Геккерна за таковое преступное действие по силе 139 артикула Воинского сухопутного устава и других, под выпиской подведённых законов, повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер Пушкин, но как он умер, то суждение его за смертью прекратить. Впрочем, таковой приговор комиссия представляет на благоусмотрение высшего начальства». Задайте вопрос самим себе: мыслимо ли, чтобы в официальном документе, в решении военного суда, выносящего серьёзнейший вердикт о судьбе двух людей дворянского сословия, ошибочно указывалось звание погибшего человека, известного всей России?

Камергером именовали Пушкина и поручик Дантес, и посол Геккерн, и секундант покойного подполковник Данзас, и командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд, и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин. Тот же чин камергера фигурирует в секретном рапорте штаба Отдельного гвардейского корпуса генералу Кноррингу от 30 января 1837. И не только 30 января и 19 февраля, но и 11 марта 1837 года командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром и начальник штаба корпуса генерал-адъютант Веймарн в письме аудиторскому департаменту военного министерства по-прежнему именуют Пушкина камергером. Могло ли такое количество ответственных опытных военачальников в генеральских погонах внезапно на полтора месяца впасть в коллективное безумие и именовать Пушкина не по его истинному званию? Я в такое не верю. В массе своей военные люди—народ весьма приземлённый и в эмпиреях не витает: сама их деятельность тому как-то не способствует.

Обычно оклад чиновника соответствует уровню значимости его должности. И если рассматривать совокупность косвенных признаков, указывающих на реальную должность человека, то на размер официального оклада следует обратить внимание. Дворника, получающего оклад премьер-министра, вообразить себе, конечно, можно, но найти такого дворника в реальной жизни—вряд ли…

Намекая на бедность Пушкина, зачастую упоминают вот такой отрывок: «В одном из своих писем в 1822 году Пушкин писал: „Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паёк ссылочного невольника". 700 рублей в год ассигнациями—таков был оклад Пушкина-чиновника». Упоминание, конечно, верное, но ведь оно относится не ко всей жизни гения, а только к его молодости, когда он числился кем? Коллежским секретарём. С соответствующим окладом.

Р. Г. Скрынников в книге «Пушкин. Тайна гибели» цитирует беловой вариант письма Пушкина Бенкендорфу: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного

Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III». Далее Скрынников пишет: «Предложение Пушкина пришлось кстати. На письме Пушкина Бенкендорфу монарх пометил: „Написать г-фу Нессельроду, что государь велел принять его в Иностранную Коллегию… для написания Истории Петра Первого“… 26 сентября 1831 г. А. И. Тургенев сообщил в письме брату важную новость: „Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом“. Вскоре же и сам поэт известил приятелей о свалившейся на его голову милости: государь „записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6000 годового дохода“. „Царь взял меня на службу,—писал поэт Плетнёву,—но не в канцелярскую, или придворную, или военную—нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы…“».

Цитирую Скрынникова дальше: «В июле 1831 г. царь распорядился, чтобы поэту было положено жалованье. Но прошёл почти год, прежде чем дело сдвинулось с мёртвой точки. Назначение Пушкина историографом привело к межведомственной тяжбе.

Граф Нессельроде долго отказывался платить деньги коллежскому секретарю Пушкину. Министр внутренних дел Блудов при встрече с поэтом по-дружески сообщил, что говорил с государем и „просил ему жалования, которое давно назначено, а никто выдавать не хочет“. Николай I приказал Блудову обсудить дело с Нессельроде. „Я желал бы, чтобы жалование выдавалось от Бенкендорфа“,—отвечал тот.

В 1828 г. Бенкендорф предлагал Пушкину поступить на службу в III Отделение. Высшие сановники империи, конечно же, знали об этом, чем и объясняется реплика Нессельроде. Министр подчинился лишь после того, как 4 июля 1832 г. получил через Бенкендорфа высочайшее повеление платить жалованье Пушкину в Министерстве иностранных дел. В связи с поступлением на службу коллежский секретарь Пушкин был произведён в титулярные советники. С него взяли подписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам, а затем привели к присяге на верность царю. В официальной табели о рангах Пушкин занял невысокую ступень чиновника IX класса. Соответственно он получил оклад в 5000 рублей ежегодно и право на обращение „Ваше благородие“».

Итак, коллежский секретарь с годовым окладом 700 рублей, а следующий за ним чин титулярного советника с годовым окладом… 5000 рублей? Вы понимаете, что это немыслимо? Что такого оклада не могло быть ни у кого, если бы у него действительно по табели о рангах была должность 9-го класса? Вот вам второй аргумент, свидетельствующий о том, что и фактический чин, и фактическое звание Пушкина были иными: 1) сбесившийся генералитет, тотально именующий Пушкина камергером; 2) сбесившаяся зарплата, молчаливо принимаемая пушкинистами за зарплату «титулярного советника». И это ещё не всё! Далеко не всё.

В связи с имевшимся у Пушкина вопросом выслуги лет обратим внимание на, говоря современным языком, его общий «трудовой стаж». С 1817 по 1824 год—7 лет. Это ясно. А вот дальше в связи с увольнением с работы и заключением в псковскую ссылку (Михайловское) стаж прерывается. Возобновляется он, по версии официальных историографов, в ноябре 1831 года. Однако вот на что я хотел бы обратить внимание: официальный стаж и официальная должность. А мы уже убедились, насколько в данном случае официальная должность отличается от официальной зарплаты. В июне 1829 года Пушкин был в Турции в составе русской армии. Известно, что на обратном пути из Тифлиса в Санкт-Петербург Пушкин предъявлял подорожную такого содержания: «Господину чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписано Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное в подорожной число почтовых лошадей без задержания и к приезду оказывать всякое содействие». Напоминаю, что 10 класс—коллежский секретарь. Выше уже упоминалось о том, что в 1828 году Бенкендорф предлагал Пушкину работу в своём ведомстве. Об итогах их переговоров мне неизвестно, однако получить такую подорожную без ведома Бенкендорфа сомнительно. Подорожная—документ официальный. В нём Пушкин называется не бывшим чиновником, а просто чиновником, то есть гражданским, служащим в своей должности. Таким образом, возникает повод для сомнения в том, что Пушкин был принят на работу в 1831 году, а не, как минимум, в 1829-м или даже в апреле 1828 года, когда от Бенкендорфа поступило известное предложение. Если же это так, то реальный стаж Пушкина к 1837 году составлял… 16 лет, срок, которого с учётом «Высочайшего благоволения» вполне достаточно для вступления Пушкина в должность статского советника, а следовательно, и для присуждения ему придворного звания камергера Его Императорского Величества.

Кстати говоря, замечу уважаемому писателю Скрынникову, что Нессельроде, так не желавший платить Пушкину из казны Министерства иностранных дел, всё-таки вывернулся и не платил ему никакого жалованья. Установлено, что Пушкин получал официальную зарплату не в МИДе, а из специального фонда Николая I в Министерстве финансов. Такое практиковалось только в самых исключительных случаях с особо ценными

сотрудниками. Кстати, для затрат по написанию истории Пугачёвского бунта Пушкин получил от Бенкендорфа 40 тысяч рублей серебром (то есть примерно 160 000 рублей ассигнациями). Какому титулярному советнику такое могло присниться? Никакому. А с историографом Его Величества это произошло, как говорится, в рабочем порядке.

Мы убедились, со слов основного свидетеля — поэта Пушкина, в том, что он заслуженно мог именовать свою должность «историограф России», поскольку сам признавался в этом: «Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы…». Однако официально ни такой должности, ни такого звания при дворе не существовало.

Ещё при жизни русского гения множество людей относились к нему не как к какому-нибудь титулярному советнику: Пушкина просили о покровительстве, у Пушкина искали заступничества… Вот только два случая из многих подобных им… В июле-августе 1836 года Александр Сергеевич пишет А. А. Жандру об одном из просителей: «Я обещался его тебе представить, отвечая за твою готовность сделать ему добро, коли только будет возможно». Нужно иметь в виду, что Жандр в 1836 году занимал должность директора канцелярии морского министерства. Согласитесь: никакой камер-юнкер и помыслить бы не мог так обращаться к подобного ранга чиновнику и тем более заранее за него отвечать.

Кстати, Александр Сергеевич далеко не всегда соглашался помочь просителям, некоторым и отказывал, как отказал Н. А. Дуровой, которая торопила его с изданием её «Записок» и просила его превосходительство Пушкина представить её опусы Николаю Первому на войсковых манёврах. Ей он ответствовал следующим образом: «Государю угодно было стать моим цензором: это правда; но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие».

Пушкин мыслил масштабами крупного государственного деятеля России. Так, например, в ноябре-декабре 1836 года он пишет В. Ф. Одоевскому: «…по моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера (о постройке железной дороги. — *Э. А.*). Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Всё, что можно им обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород ещё была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — и моё мнение — было бы: с неё и начать…».

Есть ещё одно весьма влиятельное официальное лицо, которое пусть не напрямую, пусть косвенно и посмертно, но всё-таки подтвердило версию о том, что в конце своей жизни Пушкин был не камер-юнкером. И лицо это — государь император Николай I. Как известно, после гибели Пушкина царь распорядился о зачислении обоих сыновей покойного в самое привилегированное военное учебное заведение России — Пажеский корпус. Каждому из сыновей его была установлена пенсия в размере 1200 рублей в год.

С 1829 года согласно высочайше утверждённым правилам о порядке зачисления в пажи и определения в Пажеский корпус право зачисления малолетних сыновей в пажи было предоставлено исключительно родителям, относящимся к первым четырём классам табели о рангах. Так вот, четвёртым классом, имевшим такое право, являлись лица в звании камергера. Николай не мог об этом не знать, а значит, поступил в согласии с им же установленными правилами.

Понимаю, что и мои доводы убедят не всех. Камергером он был или камер-юнкером, возможно, имело большое значение для того, кто вызвал его на дуэль, но сам на неё не явился. А для России он был и остаётся просто Пушкиным. Это его самое высокое звание. Дать звание Пушкина или назначить Пушкиным невозможно.

Ольга Немежикова

Мёртвые души, покой и любовь

Русаков Э. *Майский сон о счастье: повести и рассказы.* — Красноярск: «Литера-Принт», 2015

Повесть Эдуарда Русакова «Полуголый король» из книги «Майский сон о счастье» (победитель номинации «Проза» премии имени Ф. Искандера, 2017) вызывает мощный катарсис, эффектом вполне сопоставимый с впечатлением от классической трагедии. Любовь и мир, в котором для любви не находится места. Неискушённая девушка и циничный красавец-поэт. Обожание и снисхождение. Постель и бритва. Оцепенение от развязки, и желание понять — почему?

Как на духу, ничего не скрывая, рассказчица Люся принимает случившееся поначалу за сказочный подарок, затем как злую судьбу. Капканом клацает финальная строка, от которой физически тянет стужей: «*Душа моя мертва*». Утопленником, упомянутым на первой странице повести, всплывает мысль: так это… записки мертвеца? Вот почему, чем дальше по тексту, тем ощутимее становится не по себе. По-житейски простые события предстают словно под росчерком очередного граффити, усиленного, как и положено, позицией умолчания, в которой Люсю обдаёт смутной догадкой о встрече с силами, вызывающими безотчётный нарастающий страх.

Короткая исповедь (менее сотни страниц), как по ломаной линеечке изложенная от точки «любила» до точки «убила», вроде должна быть проста и понятна — нисколько! Под внешними картинами повествования колышется мрачная стихия иррационального, настойчиво требующая интерпретации происходящего.

Самое неожиданное в этой истории — реакция героини на убийство: спустя много лет она не только не испытывает раскаяния в содеянном, но продолжает любить своего хохочущего фантома, пребывая в состоянии самом противоречивом. Мотивы смеха и страха пронизывают повесть насквозь, переплетая и стягивая отношения в узел, который можно лишь разрубить, что Люся и делает, пытаясь освободиться, но безуспешно: наступило смирение, но отнюдь не облегчение. И кто знает, что ждёт героиню за чертой жизни, куда зовёт её хохочущий призрак в золотой короне?

…а может, он жив? Нет-нет-нет, я его убила. Теперь уже всё равно, всё равно. Или… нет, ничего не пойму. Если я его убила — почему я мертва, а он жив — и не даёт мне покоя? А если он жив… если он жив — я снова убью его!.. я убивала его много раз!.. я убила его… я хотела его убить… не могла иначе.

Читателю разрубить не дано, и потому придётся тянуть с разных сторон повествования то одну ниточку, то другую в поиске ответов, в поиске зерна света в провале иррационального, потому что выход оттуда необходим: жизнь питается порядком, человек нуждается в освоении опыта, если хочет жить осмысленно и двигаться дальше.

О повествовательнице Люсе известно немного. Сирота, художница, тихоня, до роковой встречи она работала и готовилась к поступлению в полиграфический институт.

Прекрасный обликом поэт, Валерий Поляков появляется из далёкой зимы 1975 года в воспоминаниях постаревшей Люси. Днём и ночью её посещает видение *прекрасного короля, обнажённого, в золотой короне (…) он зовёт меня! Зовёт и хохочет.* Она часто рисует его, но, спохватываясь, тем же фломастером стыдливо набрасывает на него какую-нибудь одежду, так что король становится полуголым. Ей так и не удастся «обнажить» его насколько-то продолжительно, чтобы понять и освободиться.

Впрочем, свобода…

А что это такое — свобода? Зачем она мне? Она мне совсем не нужна. Мне нужен человек, без которого я не могу обойтись. Мне нужно быть постоянно возле него… любит, не любит — не так уж важно… хотя важно, конечно… но мне — лишь бы с ним, без отрыва, всегда, навсегда. Магия желаний и их реализации насквозь пронизывает воспоминания Люси, но она, словно заговорённая, скользит по поверхности, утешая себя тем, что *это — моя жизнь, мой единственный вариант, и другого и быть не может, и не требуется.*

Первая фраза, произнесённая при знакомстве Валеры с Люсей, символично заявляет об окончании движения: «*Так на чём мы остановились?*» С первых слов Валера, казалось бы, предлагает встречу воспринимать как случайную и непродолжительную: какая разница, как зовут эту *молоденькую девушку с веснушками на плечах*, Лариса или Люся? Но за первыми впечатлениями

и до последней строки читателя не оставляют сомнения: что происходит на самом деле?

Встреча для Люси оказалась вершиной умопомрачительного счастья и обрывом с него, но она об этом ещё не знает, как не знает саму себя — всё у неё ещё только случится, хотя и со знаком минус. Через Валеру. Отныне она видит мир сквозь него, видит не столько окружающую действительность, сколько пассию в ней — своё ослепительное солнце. Все планы, что были до встречи, растворятся как не было. Кажется, даже люди в её восприятии появляются ниоткуда, с ним, с её Валерой, вступают в контакт и опять в никуда исчезают.

С первой встречи на многолюдной вечеринке Валера, которого Люся приняла и за танцора, и за пианиста, вообще *всё, что он ни делал, этот молодой человек, — было очень красиво*, очаровывает её поразительной красотой, томным одиночеством и избранничеством: *лишь один человек — выделялся.* Он сообщает о грядущей публикации своей первой книги стихов и шокирует Люсю странным мировоззрением, которое не только не скрывает, но элегантно демонстрирует. С первых минут Люсю посещает догадка, что окружающие *для него — просто плохие партнёры, статисты.*

Походя Валера оскорбляет Люсину подругу и свою бывшую любовницу Вику Повидлову, опошляет улыбку Джоконды. Восхищается редким красноватым оттенком каштановых волос и золотыми глазами Люси и тут же снисходительно отмечает её «низкорослость». Люся было пытается от него сбежать, но красавец ни на шаг не отходит от девушки, в свою очередь поразившей его скрытым порывом при знакомстве встать, чтобы по-старинному сделать книксен, и прелестной невинностью. Под саркастические комментарии он показывает Люсе местных литературных «монстров», усиленно накачивается алкоголем, впадает в трогательное оцепенение от дурковатого фантаста, лицезрея «страсть в ничтожестве», и под предложением маскарада сражает публику дерзким появлением в обнажённом виде. Приз за «лучший костюм» на маскараде он получил — Люсину любовь, попутно позволив ей сыграть дебютную роль спасительницы. От стремительной смены неожиданных сцен Люсе станет страшно до вскрика, её любовное признание под пьяный смех Валера обзовёт пошлостью, но *голый король в золотой бумажной короне… беззащитный и смелый… и даже без фигового листка* отныне станет её судьбой. Впрочем, взаимно.

Позже Валера спросит Люсю, не было ли ей стыдно за него во время маскарада? Она ответит, что он был красив, ей было не стыдно, а страшно. Этот непонятный страх в дальнейшем будет лишь нарастать.

Стремительное знакомство вылилось в деятельное продолжение — Люся на такси увозит пьяного Валеру к нему домой, где и остаётся. Период ухаживаний остался в прошлом, уложившись в краткий полонез первой встречи: *он повёл меня плавно и галантно — словно партнёр в старинном бальном танце (как они там назывались? Менуэт? Мазурка?) — по комнатам огромной квартиры.* Не ждут Люсю с поэтом ни прогулки, ни цветы, ни даже стихи, не будет задушевных разговоров — ни в чём подобном Валера не нуждается.

Обаяшка — так назвала Вика *жестокого, но ужасно милого поэта,* прощая ему абсолютно любые выходки, прошлые и будущие. Люсю от ревности будет передёргивать: женщины ахают непрерывно, сражённые мужчиной, самой природой созданным для любви и напрочь обделённым этим чувством. Любовь (родство душ) и похоть Люся вполне различает, но решает: *ничего не надо, лишь бы Валера был рядом. А точнее: лишь бы я — рядом с ним. (…) Каждое утро, проснувшись и глядя на его спящее лицо, я благодарила судьбу и молча молилась: пусть так продолжится хоть немного, не вечно, не долго, хоть сегодня и завтра, и ещё чуть-чуть, ну, пожалуйста…*

Жил Валера в однокомнатной квартире. 1975 год — кто был прописан в этой квартире ранее и каким образом Валера в неё заселился, остаётся только гадать — о своих предках и связях он не распространяется. Его жильё набито книгами, пластинками (музыки мы не услышим, не увидим ни одной книги) и безделушками, напоминающими больше театральный реквизит (*веера, букеты высушенных цветов, крашеных перьев, шкатулки, вульгарные фаянсовые статуэтки*), которые никогда не подвернутся под руку, не разобьются и не сломаются. От пыли Люся ни разу не чихнёт, ни одну шкатулку не откроет и, конечно, ничего там не обнаружит. Валера с гордостью укажет на швейцарские часы с боем (неясно, работают они или только украшают интерьер) и *старинн(ую) бритв(у), экстра-класс, бельгийская сталь*, которая находится в постоянном употреблении. Вещи важны для Валеры, в то время как Люсе важен лишь сам Валера, настолько, что она ничего не привезёт с собой из общежития, где жила, не упомянет ни о чём, что хотела бы забрать в новую жизнь, похоже, даже хобби она не имела, а если имела, то не вспомнила.

Он любил комфорт — и я стала завершением его домашнего комфорта. Он был со мной очень ласков — как с собачкой или славным, но чужим ребёнком.

Люся работала, много. Валера много пил (после «обнажённой» выходки «накрылась» книжка стихов, закрылись многие двери), зарабатывал мало, но Люся материальные заботы взяла на себя и даже *испытывала наслаждение от сознания того, что он от (неё) зависит. (…) Эта его зависимость от меня… ах, как же это было сладко! Если честно*

и просто — я с радостью покупала его любовь… то есть мне казалось, что — покупаю… Да я бы с удовольствием купила и его самого, целиком, полностью…

На первый взгляд кажется удивительным, что любовь художницы и поэта, несмотря на его бесконечную театральность *(каждый день обязательно что-нибудь врал, придумывал, сочинял, — словно репетировал, проверяя на мне свою фантазию)*, станет для Люси воистину нудной прозой, к тому же именно так — прозой, их сожительство и назовёт Валера. В воспоминаниях Люси описан вечерний маленький пир «во время чумы» с декламированием Пушкина — своих стихов Валера не читал никогда. И хотя Люся открыто не сетует, несложно догадаться, что у неё не было потребности ни в домашних, ни в выездных «представлениях», они тяготили её, а это, в свою очередь, не мог не чувствовать впечатлительный Валера. Неспроста он спросил при знакомстве: не карикатуристка ли Люся? И пожалел, узнав, что «просто» художница — ведь вокруг столько карикатур! То-то бы они вместе повеселились — так и слышалось «между строк» его плавного красивого жеста, указующего на персонажей. Однажды он рассказал Люсе, как выглядит рай: белая комната, кровать и никого, потому что другие — это уже ад. *Позднее я часто вспоминала: ад — это другие.* Лишь по ночам они друг для друга другими не были.

Пройдёт полгода.

Отношения Люси и Валеры из зимы переместятся в лето, символично минуя весну — традиционное время любви. Начавшись зимой, поздней осенью или началом зимы того же года наступит развязка: на последнюю встречу с Валерой Люся побежит сломя голову, наспех надев пальто и пуховый платок — это и будет единственным указанием на время года.

Первый серьёзный конфликт мировоззрений любовников прогремит летом, с появлением родного брата Валеры — Кузи, о котором Люсе до сих пор ничего не было известно. Он сообщит о смерти матери, которая также до этого случая Валерой не упоминалась.

Вместе с Кузей Люся будет горевать об умершей матери, но появившийся Валера снесёт идиллию, грязно отозвавшись *о старой пьянчужке.* Визжа и трясясь от ненависти, на стон брата «*Бедная мама*» и его упрёк в том, что тот их бросил, взбешённый Валера извергает кощунственную тираду.

Мне было стыдно, что у меня — такая мать… вот я и сбежал! И потом — я хотел быть свободным. И не жалею ни о чём. А оплакивать горькую пьяницу, которая случайно — совершенно случайно! — была моей матерью, я не собираюсь. (…)

Ах, мать — это святое слово! Ах, мать — это… это… это четыре буквы — и всё! Фу! По-вашему, каждая женщина — святая? Ведь почти каждая — мать! Так, что ли? Так? Да вы что, в конце-то концов, за дурака меня принимаете?

На увещевание опомниться: *ведь нельзя так — о матери… нельзя…* — Люся от взгляда Валеры отшатывается. Она перепугана, Кузя выглядит контуженным. Однако ночью Люся видит спящего у подоконника Валеру с лицом, мокрым от слёз. *Никогда я так сильно не любила его, как в ту ночь.* Ей хочется верить, эти слёзы — о матери.

Кузя — человек совершенно другого склада, нежели брат. Он искренне любит и жалеет маму. Работает в милиции, мастер карате, собирается поступать в институт на юридический факультет. В детстве за излишнюю упитанность его дразнили дети, теперь над его внешностью (*неприлично румян и лыс*) потешаются девушки, но он не озлобился, не потерял веру в доброе начало.

По возвращении с похорон герои единственный раз выезжают на природу — ярким солнечным днём. Это тем более показательно, что основной хронотоп повести локализуется преимущественно в закрытых помещениях, нередко в вечернее, ночное время: в квартирах юбиляра Бармалаева, Валеры, под дверью его квартиры, в общежитии, на рабочем месте Люси. Свои воспоминания она ведёт из дома в Подмосковье, откуда во сне летает над нелюбимым городом с обглоданным названием Кырск, в перечислении топонимов которого (остров Отдыха, Караульная гора) безошибочно узнаваем Красноярск.

На пикнике у родника, под пение птиц, среди цветов познакомятся и полюбят друг друга Вика и Кузя. *Он даже в институт её провожал, и встречал после занятий, и цветы дарил, и радужные планы строил. Когда они шли рядом, за версту было видно, что это — влюблённые.* И отношения, и характеры героев второго плана, противопоставленные главным героям, усиливают страдания Люси, вынужденной соглашаться с жёсткими правилами игры своего короля. Она тоскует по нормальной любви, ожидаемой в нормах культурных традиций.

Вика Повидлова, оптимистка и отличница, будущий акушер-гинеколог, очень любит свою работу и убеждена, что *самое благородное дело — помогать рождению ребёнка. Самое глупое дело,* бурчит ей в ответ Валера. Вика, в отличие от Люси, любопытна, неугомонна и всегда в кого-нибудь влюблена. К жизни она относится с необременительной практичностью, непривязчива и надеется встретить настоящую любовь.

Беспечная Вика не просто подруга Люси, она — слепое орудие рока с широким спектром возможностей. Вика «начинает и выигрывает», ей «поручено» знакомство Валеры с Люсей и вызов её на исполнение завершающего акта. Невинный рассказ Вики о рождении младенца с синдромом

похмелья укрепляет Валеру в его праве обвинять и презирать мать.

Хроническое поношение святого угрожающе набирает обороты, вызывая необратимые изменения в чувствах Люси: любовь со скрипом и болью перерождается в ненависть, намертво пропитанную зависимостью от пассии.

Впервые Люсе захотелось ударить Валеру, когда тот брезгливо обозвал пошлятиной пастораль у ручья: *среди слабо белеющих в темноте ромашек—сидели, обнявшись и босиком, Кузя с Викой. Они—пели.*

Их скорую свадьбу Валера твёрдо намерен расстроить, считая себя обязанным уберечь Кузю от опрометчивого решения (шлюха брату не пара), ведь, кроме брата, у него никого нет.
—А я?..—прошептала я, чуть не плача.—Меня ты совсем не любишь?..
—Ну, перестань. Будь умницей.

Потрясённая Люся взывает к памяти о первой любви, на что Валера с остервенением сообщает о соблазнившей его, девятиклассника, сорокалетней соседке, которую он, смеясь, называет «первой учительницей». Люся в ужасе просит его замолчать.

Впервые Люсе захотелось убить Валеру, когда тот, зная слабое место—жалостливость Вики, спровоцировал её при всех на любовное признание, сказав, что с Люсей он живёт *просто так, назло*. Интересно, что в своей игре в убитого вестью тайно влюблённого Валера действительно назвал предполагаемый срок своей женитьбы—когда выйдет книжка и решится его литературная судьба, хотя на тот момент, судя по содержанию, брак в его планы не входил. Это дополнительно показывает, что «свободный» Валера совершенно не понимает себя: при агрессивной декларации независимости его настроением и поступками управляет исключительно среда.

Кузя, видя измену невесты, под издевательской насмешкой брата теряет сознание. Вика по простодушию не может понять злой умысел давнишнего приятеля. А Люся объявляет о своей ненависти, не будучи в состоянии сдержаться, после чего Валера её прогоняет. Тут-то и начинается искус, который Люся не выдержала, и не выдержала дважды.

Никакой любви, вроде, не осталось—а без него всё равно не могу. (...) Если б он умер—мне стало бы легче.

Люся видит мучительный и загадочный сон, в котором, задыхаясь, пытается догнать убегающего Валеру по нескончаемой лестничной клетке: *я всё бегу, а сверху доносится недосягаемый жестокий смех.* В слезах и поту она просыпается.

Приступы изнуряющего отчаяния, ревности и появившейся тошноты усугубляют состояние Люси. Вскоре, не выдержав напряжения разлуки, она устремится к дому Валеры, увидит его, входящего с девушкой в подъезд и, окончательно потеряв над собой контроль, бросится следом. Макабрическая ночная пляска под дверью, запятнанной кровью её разбитой руки, галлюцинации смеха из замочной скважины, сексуальные фантазии, лихорадочный поиск женщины по закоулкам квартиры довершат метаморфозу—когда под утро Валера откроет дверь, через порог шагнёт уже другая женщина.
—Плевать. (...) Мне теперь на всё плевать. От меня ничего не осталось. Делай со мной что хочешь—я от тебя не уйду. Хоть убей.
—Зачем же убивать,—возразил он тихо.—Убивать—нехорошо... Живи.

И посмотрел на меня с любопытством и лёгкой тревогой.

Однако Валера *неплохо выспался—несмотря на мой нескончаемый стук. Выглядел очень свежо—ясноглазый, успевший побриться, в чистой сиреневой рубашке.* По его виду можно предположить, что Валера ждал возвращения раскаявшейся Люси, триумфально насладился сценой унижения и, удовлетворённый, выспался, а утром невольно поразился увиденным. Эту же цветущую рубашку он наденет для последней встречи—умрёт красивым, как и появился.

С возвращением Люси Валера тоже начинает меняться. Смутно он догадывается, что ситуация вышла из-под контроля—Люся уже не та, хотя и вернулась по своей воле. Но... по своей ли воле она вернулась? Ведь, по её словам, от неё ничего не осталось—это состояние Люся принимает как данность. На всякий случай Валера *стал явно потише. Я бы сказала: добрее,—но я не верила в его доброту. Не верила в возможность доброты. Даже его редкие слёзы, свидетелем которых я однажды оказалась,—это были злые слёзы.*

Ни слова не сообщая Валере, вообще никому не сказав о беременности, Люся делает аборт. Видимо, близких подруг в общежитии у неё не было, Вика на тот период словно исчезла. Не исключено, поделись Люся своими сомнениями хотя бы с кем-то, тем более с Викой, женщины всем миром убедили бы её рожать. Но чего не случилось, того не случилось. И хотя Люся комментирует решение самообманом—*чтоб не думал, будто я его собралась шантажировать*—несложно догадаться, что на данный момент это пока единственно доступная ей месть за надругательство над её чувством, за уничтожение личности. Вполне возможно, что как раз женский инстинкт (позже она назовёт его подлым), «подбил» её на этот довольно тёмный для неё шаг. Много лет спустя Люся, сожалея, вспомнит: *если б я в тот раз этого (убийства нашего ребёнка) не сделала, вообще всё могло бы повернуться по-другому...*

(...) Жили спокойно. Каждый—сам по себе. Разговаривали редко, так лишь—обменивались репликами.

Однако Люся не теряет надежды склонить Валеру на откровенность, страстно желая понять, что

она для него значит, что он за человек, *что для него — главное? Стихи? Независимость? Стремление доказать окружающим и самому себе собственную уникальность?* Но Валера твёрдо убеждён, что *между мужчиной и женщиной не должно быть задушевных бесед.* Убеждён, что мужчина и женщина не способны найти общий язык. Убеждён, что женщина озабочена лишь одним: *как победить? Как сожрать его с потрохами, своего ненаглядного? (…)*
— Всё не то, не то, не то, — тоскливо шептала я, но не вырывалась из его снисходительных объятий.

Что — не то? О чём не догадывался Валера? О том, что вся его жизнь, взгляд на неё и есть не что иное, как пресловутый бой с собственной тенью, который ему видится лишь в бессмысленном споре с женщиной? Люся прекрасно понимала: Валера не стал бы её и слушать. Однако и самой себе она вряд ли могла признаться в природе нарастающего страха. Тем более что теперь потерять Валеру она почти не боится — после злопамятной ночи он стал заметно мягче и заботливее. *Я с тихой радостью начинала убеждаться: он привыкает ко мне, он уже почти мой…*

Присутствует устойчивое ощущение, что героине присвоен авторский взгляд в её размышлениях в духе собственничества и фатальной зависимости от сексуальных утех — оба этих мотива звучат недостаточно убедительно.

Сложно определить однозначно на основании текста, как Люся воспринимала Валеру: как объект эстетический (духовный) или геденистический (физиологический). Люся попала под чары неотразимого образа, под античную прелесть совершенного телосложения и вполне могла воспринимать любовника как изысканное произведение искусства, рядом с которым волей небес ей позволено жить. Но Люся даже в мыслях не пытается «посадить» Валеру под замок, внушить зависимость от её присутствия, не молит о каких-либо ограничительных обстоятельствах — она просто желает быть рядом, мечтает слушать его стихи, говорить о разном, что вполне естественно. Она не заносится перед другими женщинами своим «приобретением», наоборот, ей отвратительны их пошлые восторги, она не льстится на жильё, на содержание за счёт мужчины и бесповоротно отказывается от желанного до поры до времени брака. Ведь сердечность в отношениях любящих людей имеет целью совсем не владение, а взаимопонимание, надёжность и уверенность в завтрашнем дне, в жизни в целом. Люся скорее воспринимает Валеру вроде капризного мальчика, которого пока никак не удаётся убедить в том, что добрая сказка лучше злой, в том, что лучше не лицедействовать, а жить просто, искренне. Конечно, здесь и заключался её шанс на счастье, её миссия, которую исполнить она не смогла. Зачатый ребёнок мог оказаться спасением, тем самым зерном света, ростком неподдельной любви, прежде всего для неё самой, да и для Валеры, быть может, тоже. Хотя гарантии нет — в такие вещи можно только верить. Ясно одно: зло не победить злом, а своего добра Люсе, получается, не хватило на нескончаемый поток испытаний. И помощи ждать было неоткуда, кроме как от самой себя, но себя она потеряла.

Осенью в жизнь героев врывается новая перипетия: неожиданно на семинаре молодых литераторов Валеру объявляют талантливым поэтом, он становится популярным и впадает в эйфорию. *Лишь одно меня огорчало: сознание своей абсолютной непричастности. Он счастлив — а я ни при чём.* Когда-то отринутая книжка готовится к публикации. «Соло на трубе» переименовано в «Солиста хора». С удивлением и радостью Валера отмечает, что его вдруг все полюбили: раньше ему упрямо казалось — только завидуют. Валера с трудом скрывает удивление — он тоже, оказывается, способен к добродушию, а не исключительно к высокомерию.

Собственно, что произошло? После признания и популярности Валера заметно «оттаивает». Его гордыня на данный момент блаженствует, и он легко соглашается на компромисс: убирает из книжки несколько стихотворений, не устраивающих издательство, и цепляет к сборнику «паровоз», он же фиговый листок — *идеологически заряженное стихотворение.* Параллельно Валера освобождается от чувства вины за «обнажённую» выходку. Почему его, такого «независимого», не отпускало чувство вины? Для уяснения причины потребуется вернуться на вечеринку писателей — место встречи с Люсей.

Из многочисленной братии *нечётких, аморфных, расплывчатых* коллег — гостей юбиляра — Валера демонстрирует Люсе галерею избранных «карикатур». Мы видим колоритные портреты, слышим разные голоса и интонации героев третьего плана. Безымянный литератор в модном замшевом пиджаке, страстный «читатель» Сократа. Исписавшийся завистливый поэт Румянцев под парами о перемене места жительства, с него Валера потребует *подробный список вещей, над которыми нельзя смеяться.* В антракте споёт *шарманщик со своей обезьяной* — баянист и блондинка с коровьими глазами. Фантаст Шакальский, *небритый и дурнопахнущий,* поделится замыслом романа о клопах-трансформаторах и взвоет о пропащей доле русского фантаста в паутине еврейского заговора. Картину довершит патриарх Бармалаев, перед которым, в окружении свиты, будучи изрядно пьян, Валера шокирующим перфомансом презрительно намекнёт на уровень способностей пишущей братии. И вот наконец Валере удалось услышать от Бармалаева (*не с целью извинения, конечно*) прощение за *шалость* — отпущение грехов получено. Теперь, после оценки таланта Валеры

и свалившейся на него долгожданной порции признания и славы, соратники предстали милыми людьми, старшими товарищами по цеху. Надо отметить, друзей, судя по всему, у Валеры никогда не было.

Однако на фоне приятных ему изменений Валере впервые показалось, что Люся… усмехается над его уступками общественным требованиям. Возможную насмешку над собой Валера воспринимает неадекватно-болезненно, но быстро успокаивается и по-деловому предлагает Люсе заключить брак.

Я даже ойкнула — так это было неожиданно.

— Ты это… серьёзно? — испуганно прошептала я.

(Почему, почему, почему я вдруг так испугалась?..)

Действительно, почему?

Приём умолчания вновь открывает просторы читательской интерпретации. Новая роль, казалось бы, такая желанная, долгожданная. Но скорее всего, женская интуиция обдала Люсю холодом страшного предчувствия: Валера втянул её в игру сил совсем не водевильной природы, первый испытательный акт в двух действиях она уже проиграла, и навряд ли ей удастся отказаться от роли во втором.

Самое время обратиться к не вошедшим в книгу лирики стихотворениям, которые Люсе было суждено прочитать и запомнить на всю жизнь, так и не догадавшись, почему именно эти стихотворения остались в памяти, а не те, что потом прочитает в книжке (получается, книжка была издана посмертно). Лирика традиционно выражает скрытые движения души — Люся, читая стихотворения, тщетно пытается разгадать их смысл. Так о чём же эти стихотворения?

Первое — о непомерной цене любых начинаний. Второе о том, что жизнь опасна, лг «*Ухмылкой маскиру(ет) вечный страх*», но, собравшись, выходит навстречу судьбе лишь для того, чтобы убедиться — наступил *конец*. В третьем хор мальчиков уступает место хору девочек, который зазвучит громче. В четвёртом стихотворении призыв к преодолению бесплодности. В пятом лг «*Всё растерял, всё продал, пропил*» и с презрением уходит «от всех». В последнем, шестом, муссируются тема рока и аллюзия к «Медному всаднику». Подборку стихотворений можно рассматривать и как иллюстрацию творческих усилий Валеры, и как поэтическое автопредсказание.

И ещё.

Почему он ни разу, ни в одном из своих стихотворений — ни в книжке, ни в тех стихах, что были выброшены… — почему он ни разу не упомянул обо мне?!

Люся терзается сомнениями, пытаясь хоть как-то себе объяснить причину назревающего ухода и отказа от брака. Выводы её открытиями не назовёшь, положение вещей она прекрасно видела с самого начала. *Я была ему не интересна! Я казалась ему слишком простой и понятной, до прозрачности… Вот и решила щёлкнуть его по носу… и перестаралась.*

Впрочем, возможно, всё это — лишь поздние, нынешние мои домыслы, а тогда я и сама не осознавала подлинных мотивов своих поступков. Не могла ничего понять, объяснить… да и не пыталась. (…) Вероятно, уже тогда во мне было предчувствие, что скоро всё кончится, и кончится плохо!.. Быть может, я просто хотела бессознательно уклониться от участия в этом финале, и спасительный (подлый!) женский инстинкт гнал меня: прочь, прочь.

Месть (*И вот тут меня обожгло стыдливой радостью: а ведь это не он — я! я его бросаю!..*), конечно, была Люсиной очередной ошибкой. Она и должна была уйти, но не из мести, а чтобы разобраться в себе, в своих чувствах и, быть может, понять, что нуждается в совершенно иной модели любви, нежели слепая зависимость.

Люся, уходя, впервые услышит просьбу Валеры с ним серьёзно поговорить, объяснить причину неожиданного для него поступка, но Люся не знает, что ему ответить, она просто подчиняется инстинкту. *Когда разберусь во всём, соображу — тогда обязательно приду и попробую тебе объяснить.* Получается, не сильно-то Люся зависела от постельного рая — ведь она даже не к другому мужчине уходит, о чём сама себе с горечью говорит, да и Валера прекрасно знает, что никого, кроме него, у неё никогда не было. Тем не менее Люся впервые для себя озвучивает задачу разобраться в происходящем. Возможно, она бы и справилась, поняла, что Валера и сказочный образ, в который безоглядно влюбилась, совершенно не совпадают — драма вечной раздвоенности реальности и фантазий, любовь и ненависть в одном флаконе, которые крайне сложно на практике разделить и преодолеть. Ещё сложнее встретить человека цельного.

Второй акт стремительно приведёт к необратимой развязке. Валера фактически подставит шею Люсе, находящейся в состоянии аффекта, *а лезвие так ослепительно сверкало, так ослепительно… так невыносимо ослепительно…*

Чем глубже вчитываешься в повесть, пытаясь понять героев, тем яснее понимаешь, и в этом тоже магия текста, что оба героя — слепые жертвы, и убийца, и убиенный — оба вызывают искреннее сострадание.

Люся изначально страдает низкой самооценкой и неспособностью к анализу происходящего — ей сочувствуешь как безнадёжной больной. Убив своего ребёнка, она не избавилась от привязанности (как это удалось Медее, заплатив за освобождение от любви к Ясону чудовищный выкуп), а навсегда вернулась в клетку, которую неоднократно

попыталась покинуть. Как Маргарита Фауста, она оказалась податлива чужому влиянию, вяло поддавшись течению обстоятельств. Ей, действительно, свобода ни к чему — на поверку реализовывать оказалось нечего, если что изначально и присутствовало (тот же порыв получить приличную специальность) — вверзлось в пропасть рокового чувства. Её желание исполнилось — любимый человек навсегда с ней, но легче от этого не стало.

Валера изначально вызывает впечатление человека разочарованного и болезненно эгоцентричного. Он, здоровый, красивый, талантливый мужчина с высшим образованием, обеспеченный жильём, не в силах простить судьбе ни рождения «не у той матери», ни грязного соблазна юности, которому не смог противиться, окончательно растлив душу — никто не спорит, испытания для личности впечатлительной серьёзные, но случаются и тяжелее, и с последствиями необратимыми. Однобокая картина мира, в которой он безнадёжно увяз, не имеет опоры на вечные ценности, у неё нет никакой концепции развития, нет ни прошлого, ни тем более будущего, она мрачна настолько, что лучше бы не родиться — именно эта участь и постигает его ребёнка, о котором он даже не узнает. Валера безнадёжно одинок и мучается бессмысленностью существования, от которого пытается убежать, непрерывно играя. Да и кому он мог бы открыться? Ведь он в принципе не допускал, что кто-то его поймёт. И, по большому счёту, не ошибался. Ну кто поймёт его самый радикальный посыл? Ведь Мать — жизнь подарила, и уже потому — Мать, а прочее среди людей положено великодушно прощать, во всяком случае, стремиться к тому, по-детски не путая священное понятие со слабостью опустившейся женщины.

В этой повести добро не победило. Но жизнь продолжается. Живы и здравствуют, хотя и порознь, Вика и Кузя. Поэты продолжают писать стихи. Джоконда в Лувре одаряет всех загадочной улыбкой. Читатели читают книги и думают о них. Конечно же, затем, чтобы добро могло выдерживать натиск зла и побеждать, чтобы любовь не была назывным чувством и чтобы счастье было не только сном в майскую ночь.

Общая интерпретация данной повести может быть сведена к реализованной метафоре расхожих отношений между мужчиной и женщиной, ведь формальных семей на порядки больше, чем счастливых. Вечная встреча на балу Золушки с прекрасным Принцем вскоре теряет паркет под ногами, пара в ритме вальса переносится на качели межличностных отношений. Однажды их сорвёт с несущей оси — женщина зарежет любовь как барана, «*почти не испорти(в) его красоту*», и спокойно продолжит существование с воображаемым образом, смирившись с реальностью. Убить за один раз своего ненаглядного она, конечно, не сможет — человеческая психика этого не позволяет, женщина будет убивать мужчину (или наоборот, мужчина — женщину, разницы никакой) в меру индивидуальных особенностей и талантов на данной ниве. Безусловно, за пределами текста открыты другие пути реализации бытового мифотворчества.

Однако эта интерпретация слишком общая, чтобы ответить с весомой долей убедительности на вопрос, который назревает на протяжении всего содержания: почему, ну почему Валера так и не смог открыться Люсиной любви, которая была послана, не иначе как ему во спасение, вроде лодки утопающему? Ведь Люся искренне его любила, да и он начал меняться — дело шло ко вполне житейской развязке. Речь не идёт о читательской потребности хэппи-энда, проблема глубже, её хочется понять — она настолько крепко укоренена в тексте, композиционно завершена, что финал при всей его неожиданности вовсе не кажется данью модным литературным течениям.

Можно отговориться, что Люся не оказалась диковинным кладезем терпения и мудрости, что Валера — безнадёжный циник. А можно пристальнее взглянуть на историю, рассказанную Люсей.

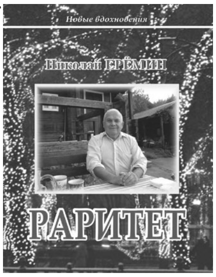
Вернёмся в начало. Валера, несмотря на договор на издание своей первой книги, мается в одиночестве и тоске. Он вынужден был добиваться признания в обществе, которое откровенно презирает, и вот, наконец, признание получено, но ни от кого, кроме как от Вики, он не почувствует искренней радости за свой успех, лишь зависть сквозит в «поздравлениях». Будущее не сулит ничего хорошего: он никому не интересен, ни без успеха, ни с успехом; его никто никогда не поймёт. Возможно, он думает о смерти и взмолился о занавесе дурной пьесы. И в этот момент Вика знакомит его с юной барышней. Валера чувствует, как нечто, той непонятное, побуждает её при знакомстве встать и по-старинному сделать книксен (видимо, ничего подобного ему до сих пор испытывать не приходилось, сигнал принят: «*Забавно*»). Люся тоже интуитивно почувствовала мгновенно вспыхнувшую между ними связь. Исполнительница Валере понравилась, это хороший знак, её любовь — залог того, что она исполнит все его желания, ни перед каким не остановится, надо лишь виртуозно играть, осторожно вести её сквозь спектакль к финалу. (Ещё жёстче: вот душа, которой будет заплачено за избавление — договор подписан.) Конечно, Люся не догадывается, что её ждёт, с какой целью, быть может, ясно увиденной и чётко запечатлённой Валерой, они встретились. Возможно, почувствовав вкус иной жизни, Валера пожалеет об избранном сценарии и даже захочет переиграть второй акт. Казалось бы, самое время позволить Люсе остыть от сверхнапряжённых отношений и самому отойти от привычных

розыгрышей, осмыслить, наконец, происходящее. Он так и не понял, что Люся никогда, никогда не играла в чувства. И для того чтобы её вернуть, надо не висельника «заказывать», а самому измениться. Но подобные идеи лишь нерешительно топчутся вокруг глухой крепости его миропонимания.

Здесь же уместно ответить на вопрос о смехе: почему Валера смеётся над Люсей? Линейка интерпретаций может быть довольно широкой, начиная от чувства превосходства, кончая тем, что любовь Люси оказалась для него платой за *конец*, а для неё ловушкой, захлопнувшейся в момент убийства. Этим актом Люся не только лишилась возможности когда-либо понять и Валеру, и себя в этой нездоровой истории, но и убила саму возможность её исцеления.

Люсин страх исчез—душа мертва и бояться больше нечего. Казалось бы, остались покой и любовь. Но состояние постаревшей Люси напоминает скорее сомнамбулический самогипноз, нежели гармонию. *Повторяю, я тиха и спокойна.* Спокойствие её шито белыми (седыми) нитками и больше похоже, как сказал Валера, на *маразм, притворяющийся мудростью.* Спокойствие вмиг исчезает, когда милые ей воспоминания вдруг оборачиваются сомнениями. Валеру Люся убила, но его смех, его образ убить не смогла, поскольку адекватного замещения даже на ниве творчества найти не пыталась. Люсе недоступен катарсис, она так и не спустилась в зрительный зал, так и осталась на сцене, ослеплённая солнцем, да и сам Валера с этой сцены никуда не исчез. Но именно благодаря такому финалу, не позволяющему сладко уснуть, благодатный эффект катарсиса, просветляющий, очищающий чувства от мути эмоций, и доступен читателю.

Д*и*Н ревю



Николай Ерёмин

Раритет

Красноярск: «Литера-Принт», 2018

Переводчик

Меня перевёл на испанский
Язык
Старичок-эмигрант…
Он любит
испанские сказки
И песни, и танцы, чудак…
И ценит в поэте талант,
Рифмуя
Алмаз-бриллиант…
И всё—
Меж сибирских забот
Со мной по соседству живёт…

• • •

Продолжительность жизни равна
Свету мысли
И скорости света…

И, конечно, не наша вина,
Что мы все
Забываем про это…

А когда вспоминаем—
Уже
Света нет ни вокруг, ни в душе…

• • •

Харизма,
Испытав немало,
Не зря
Влюбилась в маргинала…

Заметив это,
Полон сил,
И он
Харизму полюбил…

Был старт!
И вырвался в финал
Харизматичный
Маргинал…

Скажу,
Секретов не тая:
Всё дело в том,
Что это—я,

Поэт метаметафоризма
И маргинальная харизма—
Капризная
Душа моя…

Миясат Муслимова

О феномене женского

Парадоксы поэзии и неожиданны, и закономерны. Когда поэт в стихах обращается к другому, на самом деле он обращается к себе, но говоря о себе, всегда говорит с другим. Где, на каких границах пересечения «я» и «ты» мы получаем свыше великое право почувствовать головокружительную многомерность жизни и приблизиться к её дыханию? Мы можем мучительно искать язык выражения своих чувств, шифровать их загадочными метафорами, чтобы сложностью описания скрыть силу той правды, которую мы порой и себе не можем сказать. И как должна быть велика сила этого чувства, чтобы безоглядно говорить о сокровенном. Это выстраданное право, дающее ту высоту свободы, перед которой уходит всё случайное и лукавое. Татьяна Парсанова — поэт редкой силы, о чём и свидетельствует её книга «В унисон с дождями…», выпущенная в этом году в Москве редакционно-издательским домом «Российский писатель». Любовное, пейзажное, бытовое, социальное — всё в лирике Т. Парсановой глубинно-философское и, самое главное, столь полнокровное, что властно захватывает читателя. Виртуозно владея технической стороной стихосложения, она не хочет удивлять изысками формы, и сам читатель менее всего думает об этом, потому что в подлинном совершенство формы естественно, как дыхание.

Что же делает голос автора особенным, почему так хочется прислушаться к нему? Семь разделов книги, каждый из которых — как биение собственного сердца, ощущаемое здесь и сейчас. «И лишь с тобой…», «Ну что, душа, ты снова не на месте?», «Чем пахнет ежевичное варенье?», «Такая жизнь — бурлящая река…», «Милый ангел, ау…», «Из разнотравий собранным нектаром», «Афган. Незабытая война». В каждом из них — та же героиня, но кажется, что перед тобой распахивается бездонность и широта всей жизни, жизни, связанной с историей страны, с миллионами людей одного поколения, уникальность которого с течением времени всё больше постигается и самыми большими скептиками. И чем личностно-индивидуальней лирическая героиня Т. Парсановой говорит о себе, тем от страницы к странице явственней портрет целого поколения. Наверное, дело в том, что у нас одна история на всех, в том, что мы учились жить и чувствовать у тех, кто без колебаний встал на защиту страны в июне сорок первого, кто впитал любовь к своей земле с самого рождения и думал о долге перед ней. За прошедшие более чем два десятилетия после развала советской страны даже самый оголтелый её противник, пройдя через дары эпохи дикого капитализма и коммерциализации всех сфер жизни, не может не признать права на ностальгию по тому высокому и прекрасному, что было в людях советской эпохи («Вам, нынешним, и не понять…»). Современная поэзия богата числом молодых, ищущих свой язык и придумывающих его. Но они ярко вспыхивают и быстро угасают, это преимущественно поэзия одного дня. Причин содержательной пустоты много: кризис человеческой души, утрата идеалов, смысла жизни, отрыв от корней. Но самая главная причина в том, что сказать ещё нечего и делиться нечем. Поэтому современная поэзия всё же движется и развивается преимущественно поэтами среднего поколения. Читая книгу Т. Парсановой, невольно вспоминаешь слова Гегеля о том, что хотя гений и вспыхивает в юности, лишь зрелый возраст способен давать подлинно зрелые художественные произведения: многое должно пройти через ум и сердце автора, прежде чем он будет в состоянии воплотить в конкретных образах подлинные глубины жизни.

«И лишь с тобой…» — так называется первый раздел книги. Это вечная, как мир, и в то же время уникальная и неповторимая история одной любви, рассказанная женщиной-поэтом. Татьяна Парсанова расширяет пределы понятия женской поэзии, вводя традиционную тематику в бытийно-философский контекст и открыто демонстрируя абсолютную приверженность женской стихии. Там, где к понятию «женская поэзия» традиционно относятся с некой иронией, понимая под ней пусть и талантливо написанные стихи, но касающиеся узкой сферы чувств, там, где порой сами поэтессы пытаются дезавуировать женское начало или дать его в узких рамках утешно-безутешного обладания, Т. Парсанова превращает женское в универсалию весомого слова о мире, в меру его оценки. Её лирическая героиня — это женщина, усмиряющая во имя любви гордыню, но при этом не теряющая своё «я», а словно кристаллизующая его с опытом жизни. С каждым разделом книги

образ её дополняется, он многомерен: возлюбленная, мать, дочь, друг. Это женский космос, пронизывающий мир, как рентген, выявляющий подлинность и мнимость, силу и слабость, но не с точки зрения всеведающего и судящего, а в силу следования каким-то инстинктом нравственному чутью. А оно не судит: понимает, прощает, милует, внимает. Нет, это не ангельский голос, этот голос земной женщины, которым говорят миллионы. И это не разрушение цельности характера, а органика богатой натуры, чутко отзывающейся на разнообразие жизни и её вызовов, это умение быть больше той ситуации, в которую поставила жизнь, умение совмещать по отношению к ней позицию внутри — и вненаходимости.

Вечная женственность — понятие, связанное для нас с именами В. Соловьёва и А. Блока, овеянное мистикой. Новое время даёт новое, всеобъемлющее наполнение этому понятию, и оно художественно ярко и убедительно в произведениях Татьяны Парсановой. Обычно обретение одного ведёт к отказу от другого или его потере, ослаблению, но её героиня, абсолютно понятная в открытости своих женских чувств, умеет видеть мир в свободе от самой себя (отсюда и мудрость, и самоирония), сохраняя при этом ту же силу внутренней энергии чувства. Образ любящей женщины в её поэзии многомерен, богат, неоднозначен, но во всём органичен. И в интонационном богатстве, и в разнообразии средств художественной выразительности, в яркой образности создаётся полнокровный образ Женщины, в которой соединилось всё, что мы находили и в песенной народной лирике («Не цветами-лебедой»…), и в страстной бунтарской лирике Цветаевой («Метель взбесившейся волчицей»…), в сдержанном драматизме Ахматовой («Мешаю кофе с дымом сигарет»…), в раскольничьи-обжигающих и молитвенно-утоляющих строках всех тех, кому диктовала строки Муза. Да, героиня Татьяны — и воплощение всеобщности женской судьбы, но она же и та единственная, которая творит своего Мужчину, причём не как идеальный образ: она задаёт ему такие горизонты существования, которые он сам в себе не мыслил. Чётко определяя границу между мужчиной, принадлежащем внешнему миру и ей лично, в публичном существовании она задаёт ему высочайшую планку, благословляя на подвиг и мученичество: «Когда с тебя сдерут седьмую шкуру, Когда в душе мятущейся ни зги; Знай — там ты должен лечь на амбразуру, А здесь — тебе прощают все долги. И пусть октябрь смывает радуг блики, И радость дня затеряна во тьме… Ты знай, что там ты должен быть великим, А здесь ты тот, кто просто нужен мне».

Стихотворения, раскрывающие переживание Женщиной всех перипетий любовных отношений, воссоздают и мир Мужчины. Это, конечно, не прямое слово героя, пусть и цитируемое, это образ-отражение. Читательское восприятие следует авторскому переживанию, поэтому он всё равно будет оцениваться с точки зрения соответствия ожиданиям героини. Мир мужчины — это другой полюс, не менее непостижимый и сложный. Ничего не изменилось со времён цветаевского ожога («…мой милый, что тебе я сделала?..»), разлюблённость вечна, как и любовь, но есть та точка преломления, где настоящим проверяется прошлое: а было ли оно? И если было, не было ль обманом? И так до бесконечности. Женщине дано уметь отпускать, пусть через бесконечный поединок ума и сердца, но дано ли мужчине уходить не раня, не перечёркивая свет прошлого? Как много порой остаётся невысказанного: из гордости, из боли, от отчаяния. И в самый тяжёлый миг расставания женщина максимально близка к прощению («В оправданье тебе я ищу по привычке причины»). Да, малодушие одного в любви искупается благородством другого, но позволяет ли это отказаться от понимания правды хотя бы перед самим собой? Знает ли мужская любовная лирика беспощадность самоанализа? «Денисьевский цикл» Ф. И. Тютчева, пожалуй, уникален в этом смысле. Любовь как поединок, по мысли предания, завершается гибелью более ранимой души, чаще это женская доля («любя, страдая, грустно млея, Она изноет наконец»). У Тютчева в поединке гибнет и второй, не в силах пережить потерю. Но это ответ 19 века.

Вечная загадка: чем рождается любовь и что её разрушает? Архетип женщины требует безоглядности и вечной преданности («Я пойду за тобой… Позови»). Любовь — это искусство принимать другого таким, как он есть, или пытаться ломать его? («Слово на слово…»). Это и искусство щедрой самоотдачи, и искусство усмирения («Я кричу себе — стой!»). Любовь женщины — это не часть жизни, а вся жизнь, это понимание того, что в отношениях двоих есть мера, которую нельзя переходить, чтобы не оказаться перед лицом потери. Отсюда молитвенная страстность обращения, явного или неявного. Явного тогда, когда это уже признание необратимости потерь, неявного тогда, когда есть время сохранить любовь, ибо есть нечто, о чём не говорят, но что осознаёт каждый в своей общечеловечности, не разделённой на мужское и женское: «Не стань чужим, прошу тебя, В слепом желании быть правым». Услышит ли? Доказывающая каждым словом, что равная ему в уме, воле, силе, а для читателя — превосходящая — правдой и глубиной понимания, сохранением достоинства, не поступающаяся при этом искренностью и силой чувства, лирическая героиня Татьяны Парсановой утверждает силу и достоинство Любви, открывает через лирическую исповедь новые грани высоты человеческих чувств и доказывает, что назначение

художника — уметь находить свет в глубине человеческого сердца и посылать его миру.

Второй раздел книги под названием «Ну что, душа, ты снова не на месте?..» — не просто диалог лирической героини с собой. Это другое измерение жизни после того, как Любовь отпустила человека («Разрушают бастион надежды Думы невесёлые мои… Так бывает… Словно из одежды, Вырастают люди из любви…») Но то, что казалось драмой конца, вдруг оборачивается такой паузой созерцания, которая вмещает миры и пространство и одновременно даёт ясность и зоркость осмысления всего. Жизнь после жизни или, наконец, свобода для неё? Возможность совмещать в себе позицию внутри — и вненаходимости даёт не свободу перемещения, а свободу разворачивания духа. Любовь, покидая человека, оставляет его один на один перед лицом времени. Философичность стихотворений Татьяны Парсановой, как уже отмечалось, — неотъемлемое свойство её поэтического мироощущения, оттого так органично каждое из них. Строки то выпеваются, как песня, где невозможен иной порядок слов и мыслей, оставляют какое-то тягучее эхо, рождённое пластичностью образа, его прорастанием в другие образы и смыслы, то звучат упруго, сжато, афористично. Мотивы пустоты и одиночества, когда сердце, пережив утраты, предательство, боль, «всё меньше верит в исцеленье» и учится искусству прощать, понемногу отступают. Очень тонко, искусно показано, как оттаивает сердце, как меняется взгляд, потому что жизнь каждым движением, каждой картинкой, напоминая о себе, меняет восприятие мира. Это симфония, где всё взаимосвязано и отсылает друг к другу, где, как оказывается, всё соединено Любовью, вбирающей в себя малое и великое («Прошлого памятка — синий кусочек винила. Темой любви на подкорку записано детство…»). Мир привычно делят на земное и небесное — тема для романтического страдания, в котором всегда есть какая-то часть условного. В мире Т. Парсановой нераздельны одно от другого, поэзия, искусство — это та форма перетекания жизни, в которой душа находит и спасение, и возрождение.

Формула счастья у каждого своя, но это потому, что людям свойственно забывать детство. Третий раздел книги «Чем пахнет ежевичное варенье?» предваряется эпиграфом: «Формулу счастья придумали дети, Просто её мы забыли немножко…». Но сами стихи больше чем о детстве. Они о верности своим идеалам, о любви к своей стране — о том, что из нас пытаются вытравить вот уже несколько десятилетий, чтобы вычеркнуть целую эпоху нашей истории. Учебники истории, как оказалось, можно переписывать в угоду политической конъюнктуре, а правда сердца одна, и со свойственным ей бесстрашием она всматривается не в лица ожидающих, а в саму жизнь: «Такой далёкий семьдесят восьмой… Подумать страшно — это в прошлом веке. Девчонка, деревенская, с косой, С мечтою о Советском человеке». Что новое время принесло на алтарь Отечества или совести? Успех любой ценой, в том числе и преступной? Имитацию всего, что пользуется спросом на биологическом уровне? Разрыв с почвой, потерю корней? И какая сила звучит в стихотворении «Биографическое», утверждающем ту преемственность, что питала веками мощь истории страны. Картины детства — эпизоды счастья: родная деревня, речка, голос мамы, запахи парного молока — это счастье без границ, это вечность, которая в зрелые годы осеняет с особой любовью, как послание. И как хорошо умеет Татьяна передать настроение, найти слова, которые созвучны сердцу читателя. Брызги счастья из далёких шестидесятых слетают в ладони, и что может быть счастливее таких воспоминаний, о былом ли или о возможном: «Спозаранку С небес сочится мягкий тёплый свет. Сквозь дрёму слышу, как хохочет мамка И папа басом вторит ей в ответ. Щебечут, заливаясь звонким смехом. Причина — только им двоим ясна… А лучик солнца, сквозь ресниц прореху, Пытается прогнать остатки сна… Нахохлившись, спускаюсь я с кровати, Поёживаясь от прохладных струй… И сразу — *мамино* тепло объятий И папин, чуть колючий, поцелуй…»

Почему самое личное читается как исповедь собственной души? Может, мне это поколенчески близко: судьбы родителей — вехи истории. Это другие горизонты мироощущения, и очень хочется, чтобы новые поколения читали так же, с тем же чувством сопричастности. Талант поэта позволяет читателю пройти чужой путь как свой и выйти преображённым. В стихотворении «22 июня» ритм почти телеграфный, но зримость метафор и психологичность деталей просто обжигают. Миг между спящей страной («…Ищет, сквозь сон, губами новорождённый — грудь…») и летящим Молохом войны чувствуешь кожей. А в монологе отца («Моему папе. Июнь 41»), в стихотворении «Я добровольцем. На войну. Мне надо…» — то же искусство давать кадр, кратко и ёмко выстраивать драматургию текста. Документальность и художественность — черты реализма, который одновременно и символичен, когда речь идёт о поколении отцов. Это к ним можно отнести характеристику «все как один». И потому так естественно продолжение стихотворения сноской автора с краткими биографическими данными: «Парсанов Василий Петрович родился 9 августа 1924 года. Уже в июне 1942 года ушёл на фронт. Участвовал в боях с июля 1942 по февраль 1944 года. В феврале 44-го года, после третьего ранения, был переведён в 42-й учебный танковый полк. Зам. командира взвода. Демобилизован в марте 1947 года».

В других разделах книги («Такая жизнь — бурлящая река…», «Милый ангел, ау…», «Из разнотравий

собранным нектаром»)—та же внутренняя жизнь героини с её неистовостью и сдержанностью, силой и нежностью, отчаянием и мудростью. Сестра по духу Марине Цветаевой, Татьяна несёт своё слово о мире с чувством той правды, которая даёт свободу быть собой и любить эту жизнь вопреки всему: «Пока не отболело—не молчи! Пусть—бьёт судьба зашоренностью буден, Из рук от счастья выпали ключи, И «быть—не быть»—пусть снова выбор труден. Пусть рвутся струны раненой души, И воется так сладко в одиночку. Пока не отболело—не спеши На всём, что обещалось, ставить точку. Когда ж мир станет безнадёжно стар И декабри прищурятся уныло—Бессонниц пей живительный нектар, Чтоб вдруг однажды вспомнить—было… Было! И распознать судьбы простую вязь, Когда вернётся строк цветная стая. И закричать, слёз горьких не стыдясь—Спасибо, Святый Господи! Живая…»

Татьяна Парсанова—очень русский поэт—по духу, по содержанию, по мироощущению. Ей доступны все струны поэтической лиры России, но пишет она свою симфонию, в которой звучит музыка есенинской соприродности: «Из разнотравий собранным нектаром Дурманит хутор ветерков каскад. Июльский вечер, разморённый жаром, В Едовле гасит розовый закат… Разнежившись на бархатном просторе Дугою выгнул спину млечный мост. За косогор, на вспаханное поле, Кидает небо горсти спелых звёзд. Ковыль степной под ноги лёг попоной, Маня привалом мягким с темноты. И ангелы с улыбкой отрешённой, Раскрашивают нежностью мечты…». Время—явление биографическое, астрономическое, психологическое. Оно многомерно. В стихах Татьяны есть ещё и время духовное, которое вбирает в себя все ценности и смыслы. Она не пытается учить, но такую поэзию душа впитывает, как горячий песок—воду. Говорят, в человечестве происходит исчерпание ресурсов. Но жизнь опровергает расхожие представления, посылая новых и новых людей Слова.

Есть темы, настолько тяжёлые для нашего сознания, что мы малодушно забываем о них. Они уходят из поля публичной жизни, хотя это сфера общенациональной памяти. Но забвение—форма предательства. Тем более по отношению к тем мальчикам, которые гибли в Афгане. Один из сильнейших разделов книги—«Афган. Незабытая война». Пожалуй, не только из разделов книги, но и из всего, что написано об этой войне, о боли, которая неизбывна. Этот цикл—и памятник погибшим, и покаяние, и очищение. Строки опаляют, невозможно остаться непричастным к горю матери, жизнь которой остановилась в тот «страшный день, когда домой с Афгана, Сын вернулся в цинковом гробу». В каждом стихотворении—разные герои, но у них одна судьба—оказаться на чужой войне. И один выбор: и юные мальчики, брошенные в это пекло, и суровые командиры выбирают не между жизнью и смертью, а между честью и бесчестием. Переходя от одного стихотворения к другому, ты как читатель нигде не получишь права хоть на долю секунды выйти из этого нечеловеческого напряжения жизни. Каждое из 18 стихотворений вмещает в себя сюжет, равный по эпичности и психологизму роману, фильму, рассказу, при этом там начисто отсутствует то, что мы называли бы развитием действия: там всё—кульминация, всё по высшему счёту. И держит каждая строка: не отвернуться. И кто бы ты ни был до этого, ты становишься другим, тем, кто в свои 20 лет принимает на себя не только огонь, но и пепел мира («Бой захлебнулся и стих…»). Рассказ строится как монолог юного лейтенанта, а в финале оказывается повествованием седого полковника, воронка времени даёт читателю разные точки зрения—и извне, и изнутри. Разворачиваясь из будущего ли, из прошлого ли, мы всё равно имеем дело с настоящим войны, и оно держит нас смертельной хваткой, потому что у совести и долга нет духовников, и вменять солдату грехи или отпускать их не может никто. Не может, потому что между тобой и тем единственным человеком, чья жизнь была тебе дорога, есть бремя, которое ни на кого не возложить. Бремя памяти, вины, долга, любви… Осознавать это можно тогда, когда другой для тебя навсегда остаётся живым, когда мерой твоих поступков становятся погибшие на той войне, погибшие, но живые перед совестью.

Наверное, мера оценки написанного поэтом—это не только удачно найденный оборот речи, это то, за скольких ты смог сказать, сказать так, чтобы люди вздохнули с облегчением: лучше не скажешь. Пусть будет сказано и лучше, но уже есть высота, по которой придётся равняться остальным. Каждая строка афганского цикла—и воскрешённая жизнь, и памятник героизму, братству и любви. Стихотворения—это монологи во времени, когда жизнь, проходя через возраст подруги, невесты, вдовы, матери, продолжает вести незримый диалог с теми, кто остался навсегда молодым. Нет, боль не становится легче, но какое надо иметь сердце, чтобы вместить в себя всё и не отпускать ушедших, возвращая вновь и вновь их к жизни. «Письма из Афганистана» с эпиграфом «Нашим мальчишкам посвящается»—пронзительнейший диалог через время и через миры, очень личный. Любовь, которую не может погасить время, время, которое исчисляется болью, боль, перед которой склоняешь голову. Сила художественной убедительности автора во многом кроется в языке, богатом, гибком, живом. Его разговорность—не проявление сниженности стиля, а отражение напряжения жизни, где интонационное и лексическое богатство речи естественны для человека. Для

простого человека, о котором давно как-то не принято говорить. Лирика поэта возвращает нам утраченную оптику зрения, оптику сердца, ума и правды. Всё великое просто. И это всё — рядовое для таких людей, которые иначе не могут жить. И понимаешь: вот она, соль земли. Ребята 781-го отдельного разведывательного батальона ограниченного контингента Советских войск в Афганистане 3-й разведывательной десантной роты. Те, на ком мир стоит, — народ, явленный в отдельных лицах, судьбах. Не предаём ли мы их в суете, разбрасываясь на шоу-идолов, кумиров успеха, победителей рейтинговых списков? Масс-культура превращает общество в великое торжище людское, рассыпает в труху наш человеческий капитал. И как нужны сегодня такие талантливые книги, как книга Татьяны Парсановой, особенно молодым, чтобы дать духовный иммунитет. И. Бродский называл литературу системой нравственного страхования, и книга «В унисон с дождями...» подтверждает это, напоминая о высших и подлинных ценностях жизни.

ДиН ревю

Виктор Мельников

Ты мне навстречу из осени шла...

Москва: «Перо», 2017

В стихах Виктора Мельникова живёт и дышит сегодняшний день, не приукрашенный, но и не затенённый унылым чёрным цветом. Действительность у него перекликается с ностальгией, и тогда особенно лирично и нежно звучат воспоминания о прошедшем милом детстве, о беспокойной юности с её дорогами, встречами...

Много стихотворений посвящено подмосковной Коломне: в них — история города, прошлое его и настоящее.

И, конечно же, самые искренние, душевные, трогательные строки — о любви. Автор не представляет женщину богиней: она реальна, но в то же время так притягательна, светла, и любовь предстаёт великим чувством, изменяющим и облагораживающим героя, а вместе с ним и весь окружающий мир.

Весна в Михайловском

Небо светлеет с зарёй.
Луг жемчугами расшит.
По небу лёгкой мечтой
Облако-ангел кружит.

День просыпается — тих,
И растворяется мгла.
Веет неведомый стих
Лёгким движеньем крыла.

В окна струится рассвет,
Даль перед взором — близка.
Музе певучей в ответ
Вольно струится строка!

А лепестки, словно снег,
С вишни — и наземь, и ввысь.
Слиты мгновенье и век.
Время... цветение... жизнь.

Чёрная речка

Невесёлый бег коней.
Лес насупился вдали...
Бьются мысли — всё о ней:
Натали, Натали...

Рядом чёрный человек —
Боль лихая и беда.
Отогнать — и лечь на снег
Навсегда, навсегда.

Смертью грянул пистолет,
Александр на снег упал.
Что же выстрел твой, Поэт,
Запоздал, запоздал?

— Что, Данзас, нахмурил бровь?
Всё ли, всё ли?.. Кончен век?..
И дымится, каплет кровь
Алой вишенкой на снег.

Красноярский литературный лицей

Мастерские Елены Тимченко

Даша Голощапова

9 класс

Прогулка с Пушкиным

Видение пронеслось мимо нас, мы видели его и никогда больше не увидим

Из Байрона

Представим на одно мгновение, что всемогущие физики открыли секрет путешествия сквозь время. Вообразим, что отправиться в девятнадцатый или совершенно любой век — легче лёгкого. Мечта!

У меня вот целый список есть, с кем бы я встретилась и где побывала бы, но судьба — раз! — и ограничивает меня Александром Сергеевичем Пушкиным. Как назло, я никогда не испытывала особого удовольствия ни от его стихов, ни от его личности. А что делать, нельзя упустить такой шанс — поговорить с человеком другой эпохи!

Я бы не стала спрашивать его о чём-то глобальном, кому это нужно? С персоной из девятнадцатого века хочется говорить о самом девятнадцатом веке.

— Каково это — думать на французском, живя в России?

— Как общество к государю императору относится?

— А удобен ли ваш сюртук?

И другие незначительные вопросы. Я бы рассказала ему про наш век, про наших Аракчеевых и наших декабристов. Возможно, Александр Сергеевич оценил бы мой талант рассказывать анекдоты. В конце концов, нас объединяет любовь к великому Байрону! Говорить о литературе с поэтом — что же может быть замечательнее?

Я бы попросила его показать свои любимые места в Петербурге, клянусь, мы бы обошли весь город во время нашей беседы. Я бы сказала, что у меня в Красноярске тоже есть прекрасные улочки, проспекты и заведения, и, уверена, Пушкин бы не поверил мне.

Наступила бы ночь, но наша прогулка не закончилась бы. Я ведь даже не могу представить, как выглядел погрузившийся во тьму город двести лет назад, а Александр (mon cher, позвольте обойтись без формальностей, мы же весь день провели вместе) прочитал бы мне одно из своих стихотворений.

К рассвету мы бы распрощались.

Fare thee well! and if for ever,
Still for ever, fare thee well.

И Пушкин, и улочки старинного Петербурга, и стихи — всё бы обратилось в видение, и я бы вновь обнаружила себя в реальности нашей эпохи.

Господа, а ведь я начинаю симпатизировать Пушкину!

Ольга Григорьева

8 класс

Падение Ривербурга

Мой чудный плоский мир рушился у меня на глазах.

Картонный макет большого города, выстроенный из нескольких наборов интерьерных паззлов для детей. Я кропотливо работала над каждой деталью, стараясь не поломать «кирпичи», сделать панели ровными и симметричными, потому что с детства меня раздражала кривизна в чужих и собственных работах. Мне хотелось реалистичности, но в коробках были лишь разобранные, раскрашенные в серо-бежевой гамме фигуры, которые издалека напоминали средневековые замки, дома и башни. Сады, лавки, каменная кладка дорог — мои удачные попытки воссоздания городского уюта из подручных материалов.

Отчётливо помню таверну «Пивная келья», сколоченную из деревянных порожков, оставшихся после ремонта и более не нужных по хозяйству. С крыши здания свисала табличка, гласящая о бесплатной выпивке для участников крестовых походов и их родственников. Внутри был помещён маленький фонарик, светивший тёплым, напоминающим свечу огоньком. Это была моя любимая постройка, мне казалось, что в городке «Келья» станет культовым прибежищем для музыкантов.

У города было своё название — Ривербург. Его жители — ривербуржцы, а мне, в силу возраста

не умеющей произносить чёртову восемнадцатую букву, приходилось нелегко, когда знакомые спрашивали об этом. Звучало на детском языке так: «Гхивегхбугх».

Но «river» — река, и город действительно напоминал Венецию. Канавы для водоёма были сделаны из белого пластилина, но возможности фильтровать воду не представлялось — пришлось бы переворачивать всё с ног на голову, поэтому в реке плавали мёртвые мухи и пенопласт.

Я покупала петрушку и укроп, рассаживала семена в низкие горшки, поливала, и вырастали настоящие леса. Газоном же становилась трава для кошек, с помощью которой те очищали организм. Правда, тогда я об этом ни слова не слышала. В лесах жили лисы, зайцы и даже небольшой зелёный дракон — эти статуэтки мне дарили.

Однажды в магазине я присмотрела игрушечных солдатиков-тамплиеров, и не смогла не вымолить их. Фигурки были настолько хорошо раскрашены, что казались совсем живыми. Они стали первыми жителями Ривербурга. Вскоре были куплены простые рабочие, рыбаки, ткачихи, королевская семья… Я не могла остановиться, моё фэнтези увлекало меня, как младенца погремушка.

Грустными холодными вечерами я, томно щурясь, имитировала быт средневекового общества. Король и королева гуляли по улицам, помогая своим подопечным, словно те и не были крепостными, почему-то я считала, что так правильно. В моём государстве не было финансовых систем. Словно при коммунизме, всё оставалось бесплатным и общим. Монополий не было тоже, а на этой почве отсутствовала и всякая конкуренция.

Мой чудный плоский мир — утопия. Не основанная ни на чём детская идеология.

А знаете, кто разрушил всё это?

Я. С возрастом мой интерес к сказке пропадал, а места на подоконнике становилось всё больше — фигуры разбирались на паззлы, складывались в коробку и забывались до поры. Пластмассовые воины отправлялись в «казармы», откуда больше не выходили, а реку пришлось слить — она была в отвратительном состоянии.

Так Ривербург был стёрт из моей памяти. И самое большое разочарование — осознавать, что интерес к зодчеству во мне был раздавлен тяжестью годов.

Даша Семёнова

лицей №2, 7 класс

Таинственный язык

Нет, я ничего не имею против молодёжного сленга в умеренных количествах, я ведь и сама не без греха. Но иногда стоит мне поговорить с кем-то из ровесников, в речи которых мне знакомы только союзы и предлоги, в голове возникает вопрос: «Что вообще происходит?».

Есть и такие слова и выражения, от которых у меня просто кровь из ушей льётся. Например, словосочетание «в натуре». В какой, простите меня, натуре? Что это вообще значит? Или это невыносимое «халасё» (хорошо) и «позязя» (пожалуйста). (Здесь я делаю паузу и разъярённо кричу где-то за кадром.)

В письменной речи тоже есть свои шедевры. Например, вы знали, что слово «люблю» можно сократить до «лю»? «Зачем?» — спросите вы. Подростки отвечают, что для того, чтобы сэкономить время. Серьёзно? Вау, вы сэкономили 0,5 секунды, как вы изволите ими распорядиться? Ещё в письменной речи можно встретить английские слова, написанные русскими буквами. Это та ещё загадка, скажу я вам.

А вот вам сленговый ребус, для того чтобы разнообразить ваш досуг: «Чел, твой моцык мну оч оч нра!» Удачи.

В общем, русский язык в вашем распоряжении. Коверкать его или нет — наш выбор. Но помните, что, когда вы употребляете слова вроде «магаз» или «в натуре», в мире рыдают лингвисты и просто грамотные люди.

Усекли, ребзя?

Как прогнать тоску

Депрессия — худший друг подростка, но тем не менее она часто захаживает к нему в гости. И не только к подросткам — ко всем людям. Я представляю её как пожилую печальную женщину в чёрном — она садится на краешек кровати или стола, закуривает сигарету и выпускает дым прямо тебе в лицо. От этого краски меркнут, в голову лезут вопросы вроде «Жизнь бессмысленна, к чему я вообще здесь?», а сердце сжимают тиски печали. И ведь не хочется пребывать в таком состоянии, хочется радоваться жизни, но отогнать Депрессию невозможно. Вы наверняка задумывались — как с ней бороться?

Никак.

Не боритесь с ней — дайте ей то, чего она хочет. Покажу на примере.

Когда мадам Депрессия наведывается ко мне «на чай» (видимо, заваренный из моих слёз), я встречаю её спокойно и наливаю чашечку этого самого чая — иногда даже две.

Я ложусь на кровать (а если не успеваю добраться до неё — то прямо на пол, ничего страшного), включаю специально подобранный плейлист под названием «Депрессия» и думаю самые грустные мысли, которые могу. Когда эти мысли доводят меня до определённой кондиции, я начинаю рыдать. В голос. На полу. Нельзя останавливать

себя — ведь если ты усмиришь свой гнев, обиду и горечь, они никуда не исчезнут, они останутся, а потом вылезут в самый неподходящий момент (один раз я разрыдалась от того, что не могла ровно нарезать хлеб), поэтому нужно дать себе волю. Если всё очень серьёзно, то я могу даже начать рушить собственную комнату, выкидывать из шкафа одежду, сметать со стола предметы и переворачивать стулья. И не надо так странно смотреть, это нормально. В это время Депрессия ошалело сидит на стуле, выронив чашку, — явно не такого приёма она ждала.

Чтобы, так сказать, добить себя, я включаю грустный фильм, желательно с печальным концом. А потом ложусь спать. Когда я просыпаюсь — Депрессия ушла, а её едкий дым уже развеялся. И всё уже не так плохо, и жизнь обретает смысл.

Предупреждение: этот способ не является универсальным, как говорится, «на любителя», но вы всё равно попробуйте — вдруг поможет.

От редактора

Да, способ радикальный, потому что кто потом будет отстраивать разрушенную комнату, не родители ли? И всё же нельзя поспорить вот с чем: если долго загонять депрессию в себя — то, что Даша называет борьбой, — можно обидеть эту пожилую даму до того, что она окончательно испортит вам жизнь. Спорт, пробежки, улыбки до ушей — и вышеописанная дама никогда вас не побеспокоит. Хотя… Не так всё просто. «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп». А я Маяковскому верю.

Е. В.

Слава Карелина

лицей №2, 7 класс

Оставайся такой

Лучи утреннего солнца пробираются в дом на зелёной равнине близ гор. Свет разлетается по дому с бешеной скоростью.

Дмитрий работает на астрономической станции «Планета». Каждое утро он уходит туда ни свет ни заря и возвращается только под вечер. Станция находится очень далеко. Проснувшись, он будит жену Викторию, которая тут же идёт готовить завтрак. В это время Дмитрий тихонько открывает дверь в комнату дочки и маленький лучик света пробегает внутрь. Он смотрит на свою дочь Алико… Она такая беззаботная, такая яркая и чистая. Отец надеется, что она всегда будет такой. Улыбнувшись своим мыслям, он идёт на кухню.

Стол накрыт. Родители вместе садятся завтракать. Каждый думает о своём. Так, в тишине, иногда посматривая друг на друга, они заканчивают трапезу.

Виктория провожает мужа до калитки, он быстро целует свою жену в щёку и отправляется прямо по дороге. Она недолго смотрит ему вслед, а затем идёт в сад.

…Множество книг. Это первое, что бросается в глаза в маленькой, но уютной комнате. Тысячи книг. И в каждой из них маленькая история, которая жива, пока её читают. Так считала Алико с самой первой книги, которую взяла в руки, когда ей было пять.

Алико проснулась уже давно, но как обычно лежала, глядя в потолок, и мечтала. Мысли мелькали одна за другой: «Как пройдёт сегодняшний день? Что нового я узнаю? Как закончится та история?» — подумала она и тут же вскочила на ноги. Глазами быстро нашла полку, на которой стояла недочитанная книга. Алико пододвинула стул к стене, забралась на него и стала тянуться за книжкой. Несмотря на то, что ей уже десять, выглядела она точно не на свой возраст. Маленькая, хрупкая, совсем беззащитная. Но умная не по годам и сообразительная.

— Ещё немного, ну давай.

Алико встала на носочки, но тут открылась дверь и мама заглянула в комнату.

— Али, что ты делаешь? — спросила мама и посмотрела на полку, куда дочь пыталась дотянуться. — Ты бы хоть позавтракала.

— Завтракать можно и с книгой в руках, мамочка, — сказала девочка с желанным трофеем под мышкой и широко улыбнулась. Мама произнесла:

— Ну ладно. Твой завтрак ждёт тебя на столе. Я поеду в город. Нужно кое-что купить. Не скучай, — произнесла мама и вышла из комнаты.

Девочка быстро спустилась на пол. Поставила на место стул, положила книгу и открыла занавески. Яркий свет тут же заполнил всю комнату.

Через несколько минут девочка уже сидела за столом, держа в одной руке книгу «Приключения Тома Сойера», а в другой — ложку. Её глаза бегали по строчкам, в то время как рука отправляла в рот ложку-ракету с пассажирами-хлопьями. Алико весело побалтывала ножками, всё больше погружаясь в захватывающий сюжет.

На ней было голубое платье с фартучком. Это её лучший наряд. В нём она похожа на свою любимую героиню — Алису из «Страны чудес». С густыми светлыми волосами и синими глазами, Алико выглядела так, как будто только что сошла с картинки из этой самой книжки.

Малышка дочитала книгу, захлопнула её и закрыла глаза, вспоминая яркие моменты. Ей нравилось делать так после каждого прочтения. Али казалось, что таким образом книжка и её история навсегда останется с тобой.

Бах!

В один миг весь дом заполнился чёрным дымом. Девочка испугалась и тут же забралась под стол.

— Эй! — донеслось с улицы. — Здесь есть кто-нибудь?

Алико молча сидела под столом. Дым стал рассеиваться, и она увидела, что в дом кто-то зашёл.

Девочка осторожно выглянула. Человек, вошедший в комнату, был похож на сумасшедшего. Рыжие волосы торчали из-под шляпы в разные стороны, зелёные, как трава, глаза рассматривали комнату. Али тотчас узнала его. Это же Безумный Шляпник! Девчушка не поверила своим глазам. Ей так хотелось познакомиться с ним, узнать, как он тут оказался?

Она нерешительно начала вылезать из-под стола. Гость заметил хозяйку и радостно улыбнулся.

— Эг-ге-гей! — крикнул Шляпник. — Я так и знал, что ты тут. Пойдём со мной, нам нужна твоя помощь.

Он схватил Али за руку и потянул к выходу. Девочка только хотела спросить, чем она может помочь столь неожиданному и почти невозможному гостю, как вдруг перед ней предстала ещё более нереальная картина.

Огромный корабль лежал посредине её сада и дымился. Но самое невероятное было то, что вокруг него толпился волшебный народ. Здесь были все: семеро гномов изучали инструкцию, мальчик в одежде из сухих листьев и смолы летал и подбирал отломившиеся запчасти, два принца спорили о том, как правильно ставить деталь, а феи пытались приготовить немного еды.

— Что вы тут делаете? — наконец спросила ошеломлённая Алико. — Ведь вы герои книг. Разве вы не придуманные?

— Всё верно, девочка. Мы придуманные. Разве ты не знала, что когда человек придумывает какого-то героя или просто фантазирует, на далёкой галактике, которая называется Лира, рождается фантазия. Со временем эта фантазия превращается во что-то подобное нам: либо в волшебное существо, либо в человека, либо в звезду.

— Я не знала этого.

— Никто на вашей планете не знает этого. Кроме тебя, Алико.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? — удивилась девочка.

— Мы все знаем тебя, а ты нас. Когда ты читала про нас, мы подсматривали за тобой. Твоё имя означает «звезда». И ты связана с космосом. А значит, и с нами, — Шляпник широко улыбнулся. — Ты восхитительная девочка, Али. Будь всегда такой.

Он отпустил её руку.

— Поможешь нам починить корабль? — вдруг спросил герой. — С удовольствием, — ответила девочка. — Я много знаю о кораблях.

— О, я не сомневаюсь.

Весь день маленькая Алико чинила корабль вместе с новыми друзьями. Она рассказала о том, как восхищалась ими все эти годы. Гости поведали ей тайны и рассказали всё про свою галактику. Алико слушала и запоминала всё в мельчайших деталях.

Но вот день подошёл к концу. Корабль отремонтирован, можно отправляться. Малышка попрощалась с новыми друзьями и пообещала, что никогда их не забудет.

И она не забыла.

Спустя десять лет Алико стала писать фантастические рассказы.

ДиН авторы

Анкудинов Кирилл Николаевич

стр. 149

Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в городе Златоусте Челябинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета. Служил в армии. Окончил аспирантуру Московского педагогического государственного университета имени В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «Ex libris НГ», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

Астафьева Анастасия Викторовна

стр. 116

Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Дочь В. П. Астафьева, выдающегося русского писателя, уроженца Красноярского края. Писать начала с пятнадцати лет. Автор

многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский Альманах» и др. По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. В 2012 году окончила Санкт-Петербургский университет кино и телевидения по специальности «Киноведение».

стр. 169

Ахадов Эльдар Алихасович

Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.

стр. 81

Ахпашева Наталья Марковна

Абакан, Красноярск, 1960 г. р.

Поэт. Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова (Абакан). Член Союза писателей России. Выпустила более 30 стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходивших в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг: «Я думаю о тебе», «Солярный круг», «Тысячелетье на исходе», «Кварта», «Из памяти древней». В переводе автора дважды издавалось сказание хакасского поэта Моисея Баинова «Хан-Тонис на тёмно-сивом коне». Дипломант I Международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак торна» (Уфа, 2011). Награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела».

стр. 10

Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил Пермский государственный университет имени А. М. Горького. В конце 80—начале 90-х его стихи публикуются в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989), куда прибыли авторы отечественного подполья, удостоен Гран-при и титула «Махатма российских поэтов». В 1991-м принят в Союз российских писателей, в том числе по устной рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил рубрики «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы»—в издательстве «Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!»—в Пермском книжном издательстве. В 2005 году за «утверждение идеалов великой русской литературы» творцы Великих Лук награждают Юрия орденом-знаком Велимира «Крест поэта». Третья книга «Не такой» выходит в 2007 году в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отмечена всероссийской литературной премией имени Павла Бажова. В 2013 году увидела свет четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», получившая две престижных награды—премию имени Алексея Решетова и всероссийскую общенациональную премию «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. Входит в редколлегии двух отечественных журналов: «Дети Ра» и «День и ночь». Член Русского ПЕН-центра и Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. Награждён орденом общественного признания Достоевского I степени.

стр. 89

Бергин Борис

Ростов-на-Дону

Родился в Ростове-на-Дону, учился в Ростовском государственном университете (ныне ЮФУ) на физическом факультете. Параллельно с учёбой, с первого курса, писал стихи, которые печатались в ростовской газете «Комсомолец», которая сейчас называется «Наше время». Много лет жил на Донбассе, последние годы перед войной—в Донецке. Писал очерки о положении русских на Украине, о русской культуре, статьи на политические, исторические, литературные темы. В 2015 году опубликована подборка стихов в журнале «День и ночь».

стр. 49

Берлин Борис

Остров принца Эдуарда, Канада

Родился в Москве. Член Международного союза писателей Иерусалима. Автор двух книг прозы.

Публикации в журналах «Эмигрантская лира», «Дарьял», «Этажи», «Звезда востока», «Литературный Иерусалим», «Мишпоха», газете «Московский комсомолец».

стр. 87 **Брель Сергей Валентинович**
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище №1 имени К. Д. Ушинского, затем Московский открытый педагогический университет имени М. А. Шолохова по специальности «Учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность «Драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Член Союза писателей XXI века. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства».

стр. 33 **Верясова Дарья Евгеньевна**
Москва, Абакан, Красноярск, 1985 г. р.

Родилась в Норильске. Жила и училась в Красноярске, позже окончила Литературный институт в Москве. Работала журналистом, руководителем литературно-драматической части в театре. Лауреат Илья-Премии 2009 года, премии «Пушкин в Британии» 2013 года. В 2016 году стала лауреатом литературной премии В. П. Астафьева за повесть «Похмелье», которая ранее была напечатана в журнале «День и ночь». Монастырская проза «Великий Пост. Дневник неофита» в 2018 году вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий написана документальная повесть «Муляка», опубликованная в журнале «Волга» и вошедшая в лонг-лист премии «Повести Белкина» в 2012 году и в шорт-лист премии «Дебют» в 2015 году. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Октябрь», «Дружба народов», альманахе «Пятью пять». Автор нескольких книг стихов.

стр. 10 **Зайцев Геннадий Николаевич**
Москва, 1934 г. р.

Видный советский и российский деятель органов государственной безопасности. Родился в деревне Антыбары Чусовского района Пермской области. В 1953 году был призван в армию. Три года прослужил в отдельном полку специального назначения Управления коменданта Московского Кремля и Отдельном офицерском батальоне. Окончил Высшую школу КГБ имени Ф. Э. Дзержинского. В дальнейшем дважды был командиром спецподразделения «Альфа» (1977–1988 и 1992–1995). Стоял во главе спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников. В 1985–1986 годах под его руководством был проведён захват двенадцати шпионов ЦРУ. Возглавлял личную охрану председателя КГБ СССР Юрия Андропова. 1 декабря 1986 года указом Президиума Верховного Совета СССР Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников. С 1988 по 1992 год — заместитель начальника 7-го управления КГБ СССР. Во время октябрьских событий 1993 года в Москве командир «Альфы» и его подчинённые отказались штурмовать защитников Дома Советов. В 1995 году вышел в отставку в звании генерал-майора. С 1999 года — вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В 2006–2008 годах — член Общественной палаты России. Награждён многими орденами и медалями. Автор двух документальных книг — „Альфа“ — моя судьба» (2006) и «Спецназ „Альфа“»: дела и люди» (2016). Лауреат литературной премии «России верные сыны» имени Александра Невского. Почётный гражданин города Чусового. В 2018 году в парке истории реки Чусовой, на аллее защитников Отечества установлен памятный знак в честь группы «Альфа» и её командира. Живёт в Москве.

стр. 130 **Калинин Андрей**
Красноярск, Санкт-Петербург, 1985 г. р.

Родился и учился в Красноярске, по образованию экономист-математик. Помимо самиздата, печатался в красноярском литературном альманахе «Росток», газетах «Интеллигент. Москва» и «Интеллигент. Нью-Йорк».

стр. 23 **Кузичкин Сергей Николаевич**
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Печатался в коллективных сборниках столичных издательств «Детская литература», «Литературная Россия», красноярских писателей, в литературных альманахах и журналах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Норвегии, Канады. Автор нескольких книг прозы. С августа 2006 года автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» и журнала для детей школьного возраста «Енисейка». Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

стр. 167
Курская Дана
Москва, 1986 г. р.

Автор книги стихов «Ничего личного» (издательство «Новое время», 2016). Член Союза писателей Москвы. Организатор Российского ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest. Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Лауреат российских поэтических конкурсов молодёжи. Публикации в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга», «Юность», «Дети Ра», «Москва», «Кольцо А», «Бизнес и культура», «Автограф», а также газетах «Литературная газета», «Литературная Россия» и др., на интернет-порталах «45 параллель», «Полутона», «Сетевая словесность», «Этажи», «Интерлит» и др.

стр. 142
Ломтев Александр Алексеевич
Саров, 1956 г. р.

Родился в селе Пузо (ныне Суворово) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Окончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Основал несколько газет: «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России, в том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток», «День и ночь» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд». Повесть «Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Председатель общероссийской медийной организации «Клуб главных редакторов региональных СМИ России». Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России.

стр. 161
Миллер Лада
Монреаль

Родилась в Новгороде. До восемнадцати лет жила в Воркуте. После окончания Саратовского медицинского института эмигрировала в Израиль. Работала в терапии и реанимации. С 2002 года живёт в Монреале. Врач-ревматолог. Замужем, мать троих детей. Стихи пишет с детства. Печаталась в поэтических сборниках и альманахах в России и за рубежом. В 2016 году вышла книга стихов «Голос твой».

стр. 84, 86
Минин Евгений Аронович
Иерусалим, 1949 г. р.

Поэт, пародист, издатель, родился в городе Невель Псковской области. Председатель Международного Союза Писателей Иерусалима, член СП XXI век, член Российского ПЕН-центра. Издатель и главный редактор журнала «Литературный Иерусалим», лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта—Израиль, а также премий журналов «Флорида», «Дети Ра» и «Литературной газеты» («Золотой телёнок»). Автор 11 книг.

стр. 91
Миронов (Лазарев) Вячеслав Николаевич
Красноярск, 1966 г. р.

Родился в Кемерово в семье военнослужащего. С родителями объездил половину Советского Союза. В 1988 году окончил ВВКУС, в 1992-м—Высшие курсы военной контрразведки МБ РФ, в 2004-м—СибЮИ МВД РФ. В различных должностях принимал участие в некоторых вооружённых конфликтах на территории СССР и РФ. Имеет ранения, награждён орденом Мужества. Автор нескольких книг прозы. Лауреат различных литературных премий. Полковник полиции в отставке. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

стр. 83
Молчанов Виталий Митрофанович
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской академии нефти и газа. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и Координационного совета Ассоциации писателей Урала. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции—2010», лауреат малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV Международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, дипломант V Международного конкурса памяти Владимира Добина («Русское литературное эхо», Израиль), победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, победитель литконкурса фестиваля «Гоголь-фэнтези—2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо—2009» по результатам литконкурса фестиваля «Русский стиль—2009» (ФРГ) и других литературных знаков отличия. Публиковался в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Живой звук» (Москва), «Окна» (ФРГ), в альманахах «ЛитЭра» (Москва), «Гостиный двор» (Оренбург), «Чаша круговая» (Екатеринбург), в газетах «Зарубежные задворки» (ФРГ), «Южный Урал», «На Юго-Восточных рубежах (Челябинск), «Литературная гостиная» (Тверь), «Молодой Дальневосточник»

(Владивосток), в сборнике «Обретённый голос», в «Антологии русской поэзии XXI века» и др.

стр. 186 **Муслимова Миясат Шейховна**
Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селении Убра Лакского района. В 1982-м окончила филологический факультет, в 1999-м — юридический факультет ДГУ. Заслуженный учитель Республики Дагестан, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования. Поэт, переводчик, литературный критик. Член Союза журналистов РФ, номинант Всероссийского конкурса имени А. Сахарова «За журналистику как поступок». С 2004 года по настоящее время — член жюри Всероссийского конкурса журналистов имени А. Сахарова. Лауреат премии Союза журналистов РД «Золотой орёл» в номинации «Защита прав человека». Лауреат премии «Золотое перо России». Член Союза российских писателей. Председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей. Лауреат литературной премии имени Расула Гамзатова. Победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа — 2010». Дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака (Иерусалим). Лауреат литературных премий имени М. Волошина в номинации журнала «День и ночь», всероссийской премии «Поэт года — 2013», дипломант международного литературного конкурса «Русский стиль» (Германия, 2013), финалист национальной литературной премии «Поэт года — 2013» и др. Обладатель титула от мэрии Тбилиси «Посланник грузинской культуры». Автор сборника публицистики «Испытание свободой» и поэтических сборников «Диалоги с Данте», «Ангелы во крови», «Ангел на кончике кисти», «Наедине с морем», «Камни моей родины», «За словом, за дыханьем, за любовью», «Мамины сны». Автор книги переводов лакского эпоса «Парту-Патима» на русский язык.

стр. 178 **Немежикова Ольга Владимировна**
Красноярск, 1965 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила с отличием два факультета в Красноярском институте цветных металлов (ныне ИЦМИМ) по специальностям «Горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «Экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в журнале «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 163 **Нервин Валентин Михайлович**
Воронеж, 1955 г. р.

Член Союза российских писателей, автор 12 книг стихотворений. Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса в отставке. Лауреат литературных премий имени Н. Лескова (Россия) и имени В. Сосюры (Украина), специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии — 2013), Международной Лермонтовской премии (2014). Стихи переводились на английский, немецкий, румынский, украинский языки.

стр. 85 **Орлов Александр Владимирович**
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 17 **Саввиных (Наумова) Марина Олеговна**
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельнике «Обзор» (Чикаго), коллективных сборниках и антологиях. Автор десяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Член Союза российских писателей, Международного Союза писателей Иерусалима, Международного ПЕН-клуба, Гильдии межэтнической журналистики. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Награждена орденом общественного признания имени Достоевского I степени. Главный редактор литературного журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 165

Семёнова Наталья

Омск, 1980 г. р.

Лауреат Омской молодёжной литературной премии имени Ф. М. Достоевского в номинации «Поэзия». Участница Форумов молодых писателей России (2010, 2015) и Форумов молодых писателей, пишущих для детей (2011, 2015). Публиковалась в газетах «Мальчишки, девчонки», «Молодость», «Вестник культуры», «Школьный вестник», «ЭХО»; журналах «Литературный Омск», «Поднять паруса!», «Омская Муза», «Водолей»; «Развивалки», «Архитектура и строительство», в альманахе «Складчина», антологии «Годовые кольца», коллективных сборниках «Это мы», «Формула радуги», «Студенческая весна», «На первом дыхании», «Иду на честный разговор» и др. Автор книг стихов «Переменился ветер в голове» (Омск, 2010), «Рай для старого самолёта» (Омск, 2016).

стр. 3, 6

Тарковский Михаил Александрович

Красноярск, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век». Финалист Патриаршей литературной премии 2018 года. Живёт в Красноярске.

стр. 61

Титов Арсен Борисович

Екатеринбург, 1948 г. р.

Родился в Бирском районе Башкирии, окончил исторический факультет Уральского государственного университета, лауреат нескольких литературных премий, в том числе лауреат Международной премии «Ясная Поляна», Международного кинофорума «Золотой Витязь», премии имени генералиссимуса А. В. Суворова, дважды лауреат Премии губернатора Свердловской области и других. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «15 лет вывода советских войск из ДРА», «За гуманизм и служение России» и другими. Автор 22 отдельных изданий прозы, переводчик с грузинского. Член Союза российских писателей, сопредседатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей.

стр. 15

Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, альманахе «Енисей», профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. Своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр. 17

Ягодинцева Нина Александровна

Челябинск, 1962 г. р.

Родилась в Магнитогорске. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького, член Союза писателей России с 1994 года. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной книги литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 500 публикаций в литературной и научной периодике. Стихи автора вошли в антологии: русской женской поэзии «Вечерний альбом» (Москва, «Современник», 1991), «Современная уральская поэзия» (Челябинск, фонд «Галерея», 1996, 2003, 2011), «Антология русского лиризма. XX век» (Москва, «Студия», 2000), «Русская сибирская поэзия, XX век» (Кемерово, 2008), «Наше время: антология современной поэзии» (Москва, Нижний Новгород, 2009), «Русская поэзия. XXI век» (Москва, 2009). Лауреат Всероссийских литературных премий имени П. П. Бажова (2001, за книгу «На высоте

метели»), имени К. Нефедьева (2002, за рукопись книги «Теченье донных трав»), имени Д. Мамина-Сибиряка (2008, за книгу «Поэтика: принципы безопасности творческого развития»), Сибирско-Уральской литературной премии в номинации «Поэзия» (2011, за рукопись книги «Листая пламя»), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга — 2007» (за монографию «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности), литературной премии Уральского федерального округа (2012, за электронную книгу литературной критики «Жажда речи», в соавторстве с А. П. Расторгуевым). Член жюри Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, председатель жюри Южно-Уральской литературной премии.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. О. Наумова

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Иса Айтукаев
Андрей Бардаков
Ольга Ермакова
Валентина Ерофеева-Тверская
Ольга Карлова
Татьяна Савельева
Михаил Тарковский

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Дарья Романова

СЕКРЕТАРЬ
Юлия Вятчина

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков — Набережные Челны
Сергей Арутюнов — Москва
Александр Астраханцев — Красноярск
Юрий Беликов — Пермь
Светлана Василенко — Москва
Вера Зубарева — Филадельфия, США
Сергей Кузнечихин — Красноярск
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим, Израиль
Виталий Молчанов — Оренбург
Миясат Муслимова — Махачкала
Анна Сафонова — Южно-Сахалинск
Евгений Степанов — Москва
Вероника Шелленберг — Омск
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева — Челябинск

16+

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки использована картина Елены Чебаевой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».
ИНН 2463042749
Расчётный счёт 40702810800600000186 в «Сибирском» филиале банка ВТБ ПАО в г. Новосибирске
БИК 045004788

Корреспондентский счёт 30101810850040000788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.10.2018
Дата выхода в свет: 30.10.2018
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Александр Куроедов (Омская область) | Озеро Разлив | 132 × 80,5 | 2018

Константин Войнов (Красноярск) | Закон тундры | 150 × 200 | 2018

На обложке: *Регина Присяжникова* (Иркутская область) | За окном дождь | 100×145 | 2018
Елена Чебаева (Иркутская область) | Иркутский двор этим летом (фрагмент) | 61×91 | 2017